

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 г.

№ 7-8 (667) • 2011

«ЮНОСТЬ» © С. Красавская. 1962 г.



Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

E-mail: unost-contact@mail.ru
<http://unost.org>

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Лев АННИНСКИЙ
Зоя БОГУСЛАВСКАЯ
Валерий ЗОЛОТУХИН
Елена ИСАЕВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Валерий КОЗЛОВ
Владимир КОСТРОВ
Нина КРАСНОВА
Татьяна КУЗОВЛЕВА
Валентина ЛАНЦЕВА
Евгений ЛЕСИН
Георгий ПРЯХИН
Владимир РАДЧЕНКО
Ольга РЫЧКОВА
Александр СОКОЛОВ
Борис ТАРАСОВ
Елена ТАХО-ГОДИ
Олег ТОЛКАЧЕВ
Игорь ШАЙТАНОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

главный редактор,
заведующий отделом поэзии
Валерий ДУДАРЕВ
главный художник
Дмитрий ГОРЯЧЕНКОВ
заведующая отделом критики
Анна КОЗЛОВА
ответственный секретарь
Ярослав ЛИТВИНЕНКО
заведующий отделом культуры
Александр МАХОВ
заместитель главного редактора,
заведующий отделом прозы
Игорь МИХАЙЛОВ
главный консультант
Эмилия ПРОСКУРНИНА
заведующая отделом
духовного наследия
Марина РЫБАКИНА
заведующая отделом
публицистики
Екатерина САЖНЕВА
консультант главного редактора
Евгений САФРОНОВ
директор по развитию
Светлана ШИПИЦИНА

ПОЭЗИЯ

Наталья ГРАНЦЕВА Послесловие Л. Аннинского	3
Марина МАМОНА	81
Мэлор СТУРУА	106
Борис ЛУКИН	143
Вячеслав САМОШКИН	154

ПРОЗА

Елизавета ТРУСЕВИЧ	
РОМАН ПОВЕСТЬ	26
Андрей ИВАНОВ	
БОНАПАРТ В ЕГИПТЕ Исторический роман	85
Шуга НУРПЕИСОВА	
ПОВЕСТЬ Послесловие Г. Пряхина	113

ЗАМЕТКИ НЕТЕАТРАЛА

Лев АННИНСКИЙ	
ОЛЕША ВОЗВРАЩАЕТСЯ?	159

ШУМ ВРЕМЕНИ / ТЕМА НОМЕРА

Рустем ВАХИТОВ	
БЫЛ ЛИ ВЫСОЦКИЙ АНТИСОВЕТЧИКОМ? Попытка исследования	15

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Дмитрий БОБЫШЕВ	
УВИЖУ САМ Человекотекст, книга 3. Продолжение	146

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Абу-СУФЬЯН	
КОБЫЛИЦА Восточная поэма. Предисловие Г. Пряхина	163

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Юлия ГИАЦИНТОВА	
В ГРЕЦИИ ВСЁ ЕСТЬ	160
Владимир КОРКУНОВ	
ЧУДАКИ ИЗ КОЛОКОЛАМСКА	161

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Роман ТИМОФЕЕВ (г. САМАРА)	170
Елена ХАНТЕР (США — РОССИЯ)	171
Александр РУЛЕВ (Томская область)	182
Александр БЫВШЕВ (Орловская область)	183
Виктор АФОНИЧЕВ (Новосибирская область)	184

В КОНЦЕ КОНЦОВ

// Детектив на ночь //	
Валерий ИЛЬИЧЕВ	
ПОХОЖДЕНИЯ	
«ПОДМИГИВАЮЩЕГО ПРИЗРАКА» Повесть. Продолжение	199
// Зеленый портфель //	
Владимир ГРИПАК	
СЧАСТЛИВОГО ПУТИ	205
// «До востребования» //	
Галка ГАЛКИНА	
СПАСАТЬ НАДО КОНСТАНТИН ЕВГЕНИЧА!	206
// VERIORA VERIS //	
Шалун ГЕО, человек в оркестре	
КЧЕМУМЫШЛИТО?!	207

Заведующая редакцией
Лидия ЗЯБИНА
 Заведующий отделом информации
Игорь РУТКОВСКИЙ
 Специальный корреспондент
 по Белгородской области
Нила ЛЫЧАК
 Редактор-корректор
Юлия СЫСОЕВА
 Верстка и оформление
Елизавета ГОРЯЧЕНКОВА
 Главный бухгалтер
Алла МАТЮХИНА
 Финансовая группа
Лариса МЕЛЬНИКОВА
 Заведующая отделом рукописей
Ирина УШАКОВА
 Интернет-версия
Наталья СЫСОЕВА
 Секретарь-референт
Анастасия АХРОМЕЕВА
 Дежурные по редакции
Аврора КОТОВА
Людмила ЛОГАЧЕВА
Татьяна СЕМЕНОВА
Татьяна ЧЕРЫГОВА
Людмила ГУДКОВА
 Администратор
Зинаида ПОТАПОВА

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
 д. 8, стр. 1.

Для почтовых отправлений:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: **+7 (499) 251-31-22,**

+7 (499) 250-83-98,

+7 (499) 250-40-72,

тел./факс: **+7 (499) 250-40-60**

Рукописи не рецензируются
 и не возвращаются.

Авторы несут ответственность
 за достоверность предоставленных
 материалов. Мнения автора
 и редакции могут не совпадать.
 При перепечатке материалов ссылка
 на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в типографии
 ФГУП «ПИК ВИНТИ»

140010, Люберцы, Московская обл.,
 Октябрьский пр., 403

Тел. **+7 (495) 974-69-76**

Тираж 6 500 экз.

Формат: 60x84/8

Заказ №



Наталья ГРАНЦЕВА



Наталья Гранцева родилась в Ленинграде. Окончила Литературный институт им. Горького. Публиковалась в журналах «Юность», «Нева», «Звезда», «Новый мир» и других. Автор трех поэтических книг и нескольких книг исторической эссеистики. Член Союза российских писателей. Живет в Санкт-Петербурге.

ФЕНИКС ПОЭЗИИ

Путь, откровение, экстрим, знание, истина, явленность — это лишь несколько определений того, что мы понимаем под словом «поэзия». В шестнадцать лет мы, скорее, ощущаем свойства этого феномена, в восемнадцать уже начинаем понимать. Проживи мы тысячу шестьсот восемнадцать лет, кто знает, каковым бы стало наше представление о поэзии как высшем способе познания действительности?

Одно можно сказать вполне определенно — сказанное поэзией скрывает в себе значительную часть не сказанного словами. Перефразируя Тютчева, правда есть мысль неизреченная. Но до мысли еще надо дорасти.

Эмоциональная составляющая сказанного более всего и привлекает нас, пишущих и читающих. Это фантомное и человеческое сокровище, подверженное в максимальной степени забвению и разрушению, поэзия и пытается сохранить. А слово «сокровище» — дерево, растущее на крови. Почва крови требует для сохранности не сердечного тепла, а холода. Дождитесь животворящей прохлады! После начала надо преодолеть и середину.

Золотая середина вовсе не является серединой в математическом смысле, о чем и сказано уже языком чисел. Сказано так об искусстве любого письма.

Искусство же поэтического письма есть плод искусства чтения. Само чтение в эпохи перемен бесплодно, как смоковница. Музыка сфер не слышна за какофонической стеной громкоговорителей, бесмертная красота звездного неба затмевается флагами и тучами. Слово перестает быть читаемым. Только в эпохи исторической зрелости поэт осознает смысл слова, числа, знака препинания — его скрытого присутствия. В любом тексте.

Явь и неявь обретают симфоническое значение в имени. Оно становится прозрачным, постижимым, одиноким, как сфинкс. Оно стоит на семи китах, плывущих к острову Буяну при попутном ветре. Оно — часть речи. Часть речи — часть имени. Часть имени — часть времени. Поэзия и есть Время.

Шумномолчащее, единственное, ключевое — созданное поэтической историей России.

Наталья Гранцева

МОСКВА

1.

В Москве цветет сирень, а в Петербурге — нет.

В Москве уже весна, а в Петербурге пусто.

И соколом степным летит сквозь белый свет

Железная стрела любви тысячеустой.

Многоотчитым сном многопечальных дней

И я лечу, и я полет опережаю.



Лечу в зеленый май посланницей теней,
Как будто в мир иной сознание погружаю.

Покинув календарь, взываю к алтарю
И слышу новизну в обличье стеаринном,
И воздухом двойным дышу, и говорю
На языке двойном, и божем и змеином.

2.

Москва — любимая волчица, подлунной шерсти органза,
Смотри в очей своих бойницы на неземные образа.

Смотри в звериные скрижали и слушай леса звездопад.
Твой Рем и Ромул не пропали, а в тридесятом царстве спят.

О них не сложит небылицы седых историков синклит.
Под ними — черных бездн гробница, над ними — власти мегалит.

Созвездий псы сторожевые и снега белая орда,
И лиственницы голубые, и елей мертвая вода.

3.

Запропадившись в амнезии монгольских вил и вод вины,
Москва придумала Россию — большой проект большой страны.

В больном меду воображенья, уснув, как зимняя пчела,
В тоске по головокруженью свой образ мира создала.

Пыльцой цветочной, вязким воском, дурманом, вставшим на дыбы,
Явился луг духовный Мосха — большой проект большой судьбы.

Мечта в шагреневых границах, пространства сбитень голубой,
Зола времен и вьюг теплица, чужих безумств замес крутой —

Все веществом и плотью прочной взошло, покрылось, обросло,
Пустило корни в звездной почве, преобразив добро и зло.

И неба опыт безразмерный — ее полет в тартарары,
Где скрытан ключик эфемерный — большой секрет большой игры.

В стенах дворца, под крышей хлева, мерцают, как в небытии,
И короли, и королевы, и офицеры, и ладьи,

И огнедышащие кони, и пешек жертвенных войска,
И жар гроссмейстерской ладони, и смех двойной часовщика.

И времени воздвигнув стены, они отринуть не вольны
Земную власть святого плена — большой триумф большой войны.

4.

Москва, Литературный институт,
Тверской бульвар, кафе-пивнушка «Ли́ра» —
Вот юности безбашенный редут,
Мушкетеры, шпаги, пушки и мортиры.

Кто умер, кто забыл свои мечты,
Кто утонул в этиловом болоте,
Кто сдался в плен гламурной суеты,
Кто предан службе, прибыли и плоти.

Отваги и безумства закрома
Разбиты войском ржавчины и прели.
И тучный не является Дюма
На улице поэта Руставели.

И в небе не летит метеорит
Земной судьбы предвестницей летучей.
И больше ничего не говорит.
...И Бог улыбку сдерживает в туче.

* * *

Клянусь тебе, я знала, что ты прав!
И что с того? Сознания анклав
Жил в окруженье страхов чужеродных,
Растивших свой нерукотворный нрав.
И страсть царила, истину поправ.

Да разве по-иному быть могло?
Ведь молодость — всевластия ремесло,
Веселый шабаш демонов голодных
И дьяволиц — прекрасному назло
Седлающих безумства помело.

Мы знать не знали о других мирах.
Мы щеголяли в белых свитерах,
В пуловерах и джемперах свободных.
Летали в боевых прожекторах
Чужой войны, ведущейся в горах.

И что осталось от забавы той?
Руинный прах, крапивный травостой
И ядовитый опыт всенародных
Кривых зеркал — стеклянный суп густой...
И черноплодки горестный настой.



* * *

Какие странные слова...

А. Ахматова

То с Тютчевым, то с Блоком говорю,
Играю в запад, балуюсь с востоком,
И если вспоминаю о высоком,
Всевышнего за жизнь благодарю,
За почв апрельских алчный первоцвет,
За холод вод невыплаканных пресных,
За моря полнолунный Интернет
И рыб его, цветных и бессловесных.

Где бродишь ты, душа моей тщеты?
Где ищешь неземные удивленья?
Поют отныне прозу потребления
Гражданских бурь звенящие щиты,
И варварских девизов лебеда
Заполоняет, радости не пряча,
Родных времен бессильные года —
Привет тебе, удачи неудачи!

В краю утрат не плачут по слезам,
В кругу слепых не пляшут на могилах.
Миров убитых оживить не в силах
И ранозаживляющий бальзам.
Дай бог прожить живущим без небес,
Освоить дайвинг самопоенья,
И если тот, кто умирал, воскрес —
Не услышать его сердцебиенья.

* * *

Если станет сердцу тяжело,
Мы поедem в Царское село,
Чтобы все забылось и прошло.

Чтобы унесли в тартарары
Жизни нашей горькие дары,
Тьма, которой душат нас миры.

Только воздух Царского села —
Счастья невесомая скала,
Дом из бестелесного стекла.

Как легко там время избывать,
Юность в тишине отогревать,
Руки муз прощенья целовать.

Вдалеке от страсти и молвы
Слушать в окруженье синевы
Табакерку с музыкой листвы.

Только там прошедшего не жаль
И прозрачен памяти хрусталь —
Века царскосельская печаль.

* * *

Я тоже в этом времени жила,
Любя его туманы и загадки,
Я тоже знала эти зеркала,
Их свет кривой и хитрые повадки.
Я не держу на будущее зла,
Да и с былым я не играю в прятки.

Кто жаждет мщенья веку, тот воздаст..
И далее по тексту. И однако
Корм не в коня, не по копытам наст,
Не по зубам поводья Зодиака.
Свинья не съест? Не выдаст? Не предаст?
Гудят в крови эритроциты мрака.

Бульжником прикончи циферблат.
Календарю черкни по горлу бритвой.
Твой персональный безъязыкий ад —
Трансгенный ужас, выстраданный битвой.
А ненависти сладкий виноград —
Колодец вод, отравленных молитвой.

Вот, говорю, и выразился прах.
Вот, говорю, и высказались бездны.
Я тоже в этих сумрачных мирах
Жила-была, не ведая железных
Законов рока, стынущих в горах,
В долинах блага и ущельях тесных.

Распалась жизнь на тысячу частей.
Рассыпалось бесплодное цветенье.
И вот, забыв отверженных детей,
В пустыне века одинокой тенью
Стою в кругу рождений и смертей,
Закрыв глаза, как горькое растенье.



* * *

Все выцветет — и детский интерес
К непостижимой бездне мирозданья.
Все кончится — и летопись небес.
Все выветрится — вера и дыханье.

Исчезнет все — и жизненный трансфер,
И череда земных переселений...
Но знаю я, что с музыкою сфер
Сольется тайна воодушевлений.

Но знаю я, что дождик и роса
Сольются с ней, отзывчивой и гулкой,
И ты замрешь, расслышав голоса
Над века музыкальною шкатулкой:

Там будет миг с предвечной полнотой,
Меланжа дымка, запахи туманов,
Австрийский май и Штраус золотой,
И юный шелест розовых каштанов,
И голос Бога — вечно молодой.

ЗАКЛИНАНИЕ

Смотри на жизнь во все глаза,
Во все глаза природы темной,
И, отвергая чудеса,
Ищи иные небеса
Своей истории огромной.

Развей туманный декаданс,
Вернись к великим идеалам,
Геополитики баланс
Построй, как выстраданный шанс
Спаستись смиренным душам малым.

Страна, люби своих жильцов,
Люби своих мужей бесценных,
Своих младенцев и юнцов,
Своих духовных мертвецов
И победителей вселенных.

Храни в крови их слабый свет.
Багряной окруженный дымкой —
Без лейкоцитов жизни нет.
Они — судьбы иммунитет
И власть под шапкой-невидимкой.

Молись за будущее их.
Беги от нового витийства.
Спаси спасителей своих
И выжги в пропастях земных
Нечистый путь самоубийства.

* * *

Да здравствуют новые времена!
Да здравствует утренняя страна,
Идущая на работу.
Да здравствует юности жадной день,
Душа, обнимающая сирень,
Пилоты и самолеты.

Да здравствует ветер — и стар и млад —
Да здравствует жизни старинный клад,
Алмазы и изумруды!
Да здравствует страсти любая масть,
Да здравствует смертной печали власть
И нового слова чудо.

Не бойся затмений, не жди комет —
Есть только один настоящий Свет,
А тьма всегда одинока,
Летает бескрылой пылью бытия,
У сферы границы ища и края
И мудрую нежность барокко.

* * *

Пока живет мемориальный страх
В крови столицы-падчерицы бедной,
Она дровишки ищет и очаг
Буржуйки ржавой бережет. Последний
Кусок не ест и сушит сухари,
Подсолнечное масло прикупает,
Перловку в склянки старые ссыпает
И прячет соль в дубовые лари.

Меняются эпохи и года,
Но неизменна память-фельдшерица.
Бинты и вата, йод и череда,
Да чугунок с крещеною водицей —
Вот все ее сокровища и хлам.
В душе — крест-накрест связанный бечевкой
Газетный сор, упрятанный кладовкой,



Да холод зим, подобный зеркалам.
 В щелях паркетных, в трещинах земли,
 В кровавых полированных мастиках
 Гудят спасений вечных корабли
 Беззвучным зовом в пыльных повиликах
 Несбывшегося. Время не изжить,
 Не выжить призрак страха из сознания.
 Отверженной служа, воспоминанья
 Не устают погосты ворошить.

Им не дано утешить и согреть —
 И жизнью жить, и смертью умереть.

Лев АННИНСКИЙ

ДВОЯКОДЫШАЩАЯ ЭРА

Что ж из несказанного ясно?

Наталья Гранцева

Ясно, что не все. Может, в этом — спасение души, дышащей абсурдами эр и эпох. Смутно чувствовалось: сокровенное — не высказать, лучше и не пытаться. Из прогулок по литературным лесам было вынесено ясное убеждение: если читаешь или пишешь, то прислушивайся именно к недоговоренному. Еще яснее сказал об этом наш Михаил Гаспаров: «Недосказанное есть часть сказанного, а не наоборот».

Наоборот, мы все это тоже попробуем по ходу дела.

Но первое, что озадачивает на первых же страницах книги Натальи Гранцевой «Мой Невский, ты — империи букварь...», где предъявлен нам замечательный портрет Петербурга, — в пятнадцати четверостишиях — чуть не полсотни определений. Какая уж там «недосказанность»! Все — «о тебе».

«О тебе, Петербург, — фоторобот Европ, лицедей-мореход, альбинос-эфиоп. О тебе, Петербург, — полиглот-землемер, несогласных эпох пионер. Как тебя величать, всемогущий мираж? Дух воинственный? Лидер идейных продаж? Цитадель злодеяний? Убийств пантеон? Исступленных умов бастион?»

А может, смысл-то и таится в том невыразимом, что ускользает? В том, как оно ускользает от ожидаемой логики? Как эта логика испытывается на двоякодышащем полигоне истории?

«Ты — молодости Иерусалим, ты — Рим страстей, Афины размышленья...»

Вообще-то Иерусалим — символ скорее древности, чем молодости; Рим с его законами — скорее цитадель размышления, а Афины — как раз стадион страстей. Все двойится, как в зеркалах. Петербург все смешал?

«Ты все смешал — и райский сад, и ад. Ты выпустил из залов и подвалов кондитерских ванильный аромат и смрад царубийственных кинжалов. Ты время запустеньем напоил, ты стал царем измен и вероломства. Ты воздухом бессмертья одарил безжизненного голода потомство».

Голодное потомство и счастливое детство — все это придется извлечь из недоговоренности... Но что сразу и бесповоротно явствует из стихов — это действительно гимн Петербургу. Неудивительно, что летит за Гранцевой слава лучшего из современных петербургских поэтов.

А что, питерцы все еще конституируются в современной русской поэзии как автономный отряд? Да неужто — после того, как Рейн и Городницкий отчалили в Москву, а Бродский и Бобышев вовсе за океан, — питерская школа сохраняет ореол независимого литобъединения? У Гранцевой адрес явно шире питерского; первая ее книга, вышедшая тридцать лет назад, называлась «Мой дом — Россия, с видом на Неву»; общероссийский прицел сохраняется неизменным при всех видах, хотя мишень сверхзадачи все глубже уходит в «непроницаемость».

Из крупных поэтов «Невского разлива» именно Наталья Гранцева переживает бытие родного города как свидетельство вселенского бытия и ни на миг не теряет при этом ощущения города, который когда-то «под морем основался».

Теперь — ни «топи блат» давно минувшей эры, ни черноземного духа нынешней национально-воскрешаемой лирики. Фактура гранцевского Питера — камень. Гранит. Чугун. Мрамор. Сталь. Цепи. Антенны и шпили. Тротуары, мосты, парапеты. Кальций и йод...

Если это гимн, то... двоякодышащий. В каждый камень Растрелли вложил свечение, но оно невидимо. В гранит оделась Нева, но по чугунным каналам чиновная рыщет плотва... Гимназисты безумные бомбы кладут в рукава. Обезьянья симметрия. Лабиринты пустоты. Мраморный ужас белой ночи. Угар, дым, озноб, гипноз. Сталь трамвайных линий. Всех цепью живую сковал углерод... И наконец:

«В европейский туман одета азиатская белизна».

Азиатская ясность — из-под европейского тумана? Вместо туманно-далекого Востока и близкого, ясного, упирающегося в глаза Запада... Не химера ли все это? Не затменье ли души и ума?

Оно самое.

Наступает затменье души и ума,
Из пространства времен выплывает зима,
Снегом полнит небесные сферы.
Призрак жизни кружится в объятиях вьюг,
И душа в сотый раз ускользает из рук
Прирученной гранитной химеры.

Еще два вопроса по фактуре. О фактуре стиха. И о фактуре сознания.

Фактура стиха, полного таинственных умолчаний и невысказанных мелодий, должна бы, по питерской традиции, тяготеть к символистским туманам. Но сухой, нервный почерк Гранцевой вызывает скорее к акмеистской четкости. Еще отчетливее — к логике смысловых скачков, отработанной мастерами современного постмодерна. В последнем я могу ошибиться, но что при прощании с «камланиями» Серебряного века Гранцева пускает в хоровод исчезающих фигур тень Николая Гумилева — вряд ли случайность.

Вообще поразительно точны ее мгновенные персональные вбросы и экономны до виртуозности, недаром на расстоянии четырех строк от Гумилева в стихе проблескивает «Оккама бритва»¹.

¹ Для лириков, далеких от физики: «Бритва Оккама» — призыв срезать аргументы, умножаемые без необходимости, апофеоз экономности.

Вот впечатляющий пример: обрезанная со всех сторон бритвой Оккама характеристика XX века, с которым героиня Гранцевой прощается то ли без сожаления, то ли с сожалением; то и другое — в глубине недосказанности. А на поверхности:

«Прощай навек, уйду, не оглянусь на твой пожар
духовного заката, на плач теней — невольниц или
муз перед иконой черного квадрата.

Хочу забыть, как лик ее чадил, пока трещала разума лампада, и войско голых сущностей водил Андрей Платонов по земному аду».

Платонов очерчен одним штрихом... Как и Малевич, очерченный молчанием.

А вот что сказано о столетии, предшествующем XX веку:

«Луч времени над нами занесен, и света нет, и выплаканы слезы. И боль сознания утешает сон, прохладный, как тургеневская проза».

До чего же точно высвечена тургеневская проза — на фоне бездны, которая под куполом небесным выжжена историей.

И еще один пример — уже из века XIII.

Сидят нынешние умники, пьют вино из толстокожих бутылей, «одинокы, безумны, незрячи, пьяны». Историю страны помнят плохо, но рассуждают о ней охотно. Кутают телесную оболочку в мех, слушают, как:

«...кукует кукушка на ходиках старых... То-то сладко им будет зимой тосковать, календарный листок по утрам обрывать, размышлять о монголо-тарах...»

Иго, оспоренное сыном Николая Гумилева Львом и реанимированное нынешними борцами на национальную Русь, — тема горячая. О татаро-монголах всерьез и с болью пишут сегодня поэты.

А Гранцева — всерьез?

Не всерьез. А имитируя тусовочный треп нынешних златоустов.

Почему?

Потому что в сознании Гранцевой и татарская тема, и другие саднящие моменты русской (и мировой) истории возникают не сами по себе, не как ключи, обнадеживающие искателей истины, а в контексте более широкого, более необъяснимого и более безнадежного сознания, которое и составляет в данном случае лирическую суть.

Это сознание естественно возникает в душе на волне великой эры Просвещения, в великой стране, которая мыслит себя не иначе как венцом человечества, в школе, которая обещает обогатить человека всем, что создала великая мировая культура. Гармония, завещанная нам из эпохи всечеловеческого детства, ложится в базис личности. Ленинградская девочка, рождением лишь на считанные годы отошед-



шая от смертельной блокады, учится параллельно в трех школах: в обычной, в музыкальной и в спортивной. Высшее образование получает — еще до Литературного института — на химфаке Ленинградского университета, потом в Финансово-экономическом институте. Параллельно мистике стиха живет в душе магия знания, культ науки, вера в то, что мир един и объясним. Монтень и Риман, Птолемей и Эдисон, Сократ и Парацельс, Сен-Симон и Фурье выстраиваются рядом с досточтимым Вильямом Оккамом.

И все пронизано этой верой в разум. Математический смех доносится из подземелий науки. Герой, с Франкенштейном¹ в башке, пронзает невидящими глазами разумную мглу, пытается вычерпать ее пригоршнями ума, путается в иерархии констант, где царят прецессия, эклиптика и орбита, воображает себя в египетской гробнице, где царят коллайдер и баррель нефти, бредит гармонией, в которой царит квадрат... Нагой мозг, отрешившись от веры, съезжается до состояния пациента вечной аптеки.

«Заперт мир в огромной клетке неземных координат».

Магия этих координат сообщает поэзии Гранцевой свой шарм, но главная боль (головная боль) остается: обнаружить смысл в наличной реальности, которая обступила нас в начале долгожданного XXI века и еще более долгожданного Третьего тысячелетия христианской эры.

Что же обнаруживается?

Есть ли система в этом безумии, которое окружает людей сегодня? Может, прав Беккет: игра окончена, начинается абсурд?

Был Беккет прав — конец игры.
Жизнь как бездомная собака.
Ее духовные миры
Не глубже мусорного бака.
Все милосердие — в смрадной мгле:
Прогорклый хлеб и вздох окурка,
И на бутылочном стекле
Слепящий отблеск Петербурга.

Отблеск, пойманный в телескоп тысячелетий, гаснет в реальности, которая кишит вокруг. Саранча в кинозале на звездные войны глядит. Кишмя кишат оккупанты прилавка, пищевода, унитаза. Светлый путь оборачивается дорогой к ларьку, сокровенное — мусорным баком. Там — в отбросах, в отходах, в гнилье и в старье — грез подгнивших бока наливные.

¹ Для физиков, далеких от лирики:

Франкенштейн — герой одноименного романа Мэри Шелли (дочери философа Вильяма Годвина и жены поэта Перси Биши Шелли) о том, что человек в искушении разума способен создать монстра, с которым не сможет совладать.

Где-где грезы прошлого?

Там уже неразличимы «титularные акакии, макары» (Башмачкин? Девушкин?), на их месте — «доброрядочные граждане эпохи мертвых перемен». «Пир иллюзий закончился пьянкой». «Клешни и алчущие рты, мутанты, клоны и химеры...»

И как же мы, потомственные интеллигенты, чувствуем себя на этом гноище-торжище-капище?

И мы пред будущим теряемся,
Рассудок мистикой затмив,
И мы хмельными притворяемся
И мимикрируем под миф.

Мистика прячется в недосказанность. Мифы маскируются под реальность. Или наоборот? Но так или иначе — «проиграно сражение века». Безбожные старцы, возвращавшие когда-то Богу звездную карту исправленной, тоскуют по райским дарам. По дармовщине, иначе говоря. Прешпекты дымятся под подошвами новых горожан. Кто такие? Тоже интеллигенты?

«Лузера-интеллигенты, косяки сирот подвальных, общежитские студенты — дети дыр провинциальных».

Помнятся ли отцы и матери этим детям дыр, этим пленникам биомассы? Ведомо ли насельникам пожарища то, что сгорело? Интересно ли им, что почувствуют их будущие дети, если из нынешних дыр что-то произойдет?

Ученица Платона и Платонова старается вселить эту муть — в систему всечеловеческих координат... Не получается:

«Биомасса истории, пиршества разума крохи, вещество созидания, храма любви чернецы, страстотерпцы судьбы, штрафники лучезарной эпохи — наши матери бедные, бедные наши отцы...»

Словно пепел, развеяны ваши бесценные муки, ваши кроткие жизни, как сор, с бытия сметены. И приходят, смеясь, на имен ваших милые звуки наши бедные дочери, бедные наши сыны...»

Отрезаем эту жуть бритвой Оккама. Возвращаемся в ту «лучезарную эпоху», которая мнила себя наследницей мировой истории. Хороша ли эпоха, взрастившая лирическую героиню Натальи Гранцевой? Как расплести то великое и то страшное, что там переплелось? Где окажется тогда чаемая системная ясность? И что обнажится на дне разума: безнадега, прорвавшаяся сквозь иллюзии, или надежда, прерванная несчастьем?

Что делать тем, кто воспитан в надежде? И кто виноват в крушении надежд?

Из двух роковых русских вопросов тронем сначала тот, который кажется более ясным.

Кто виноват?

Наталья Гранцева отвечает:

«Пусть мертвый спит. Пусть нету силы забыть, утешиться, простить. Нам не понять того, что было — лишь бедный лоб перекрестить».

Имя опущено в безмолвие. Дело не в нем, дело в нас.

А в нас — что сохранилось на том пожарище?

«Рассеялись прахом умы-лицедеи. Аукнитесь — где вы, золотые дороги, ничтожные битвы, пустые идеи, республики мусора, мнимые боги?»

Опять без имен... Конкретные исполнители исторической воли могут уйти в безмолвие — не они пишут историю.

«Историю пишут пороки и страсти, а я выбираю любовь и забвенье. Не вечен империи звездный блокбастер, но вечно афинской души дуновенье».

Афинская душа детским лепетом подтверждает великий Замысел. А исполнение зависит от сонма невольников, от Темучина до Тамерлана, которых хорошо упоминать в тусовочном трепе. Ибо несоизмерима с ними — проходящая сквозь льды истории ледокольная обреченность Державы:

«Держава с философией шаманской, Отечество с поэзией беды, Империя с душой республиканской, Республика с характером орды».

Стих так и сверкает сколами недосказанности.

Ну а девочке-то что делать, чтобы быть счастливой в этой орде, в этой беде? Ее мама — за семь лет до ее рождения — чудом выжила в блокаду, бабушка — умерла с голоду. А ей, маленькой наследнице великой Державы, что делать? Радоваться? Плакать?

«Там, где жизни останутся крохи, будешь плакать в тюрьме тишины над обрывками мертвой эпохи, над осколками милой страны».

Осколки мы уже перебрали на пепелище, превращенном в торжище, так и не решив вопроса: где теперь прячется неизреченная логика Бытия — в этих ли осколках или в том, что раскололось?

Логике такие вопросы не по силам. Только поэзии, которая слышит шорох вдовьих платьев за криками младенцев и видит прилетающего ангела, только если он в военной форме... И распинается поэзия между двумя категорическими императивами: забыть или помнить?

Поэзия рождается из невозможности это решить. Вымолвить или укрыть немотой? Восстать против судьбы или принять судьбу?

Забудь, душа, погасший, как фонарь,
Весь этот детский мир послевоенный,
Где, словно перепончатая тварь,
Судьба спала, когтями впившись в стену.

Где, сквозняками хриплыми дыша,
Стояли изувеченные зданья,
И шорох юбок вдовьих заглушал
Ребятчих игр веселое звучанье.

Где перед сном, от радости устав,
Не раз меж крыш в какой-то миг короткий
Мы видели, как ангел пролетал
В зеленой плащ-палатке и пилотке.

Вспомним мы еще этого ангела...

...Когда протянет он со шпиля певучее крыло — как лиру. Когда станет искать что-то по следам стиха. Когда в хаосе бытия наткнется на эликсир спасенья — ковчежец рома. Когда вином души осенит эту жизнь, простодушную, «как советское кино».

И когда одряхлевший, состарившийся — признается, что «нет возврата к магической гармонии квадрата».

Естественный вопрос (естественно-научный): а пока ангел летает по страницам поэзии Натальи Гранцевой, что там делает Бог (которого вроде бы не было)?

Бог, посмеиваясь, предлагает людям веру, выведенную по законам чисел и увенчанную призывом, чтоб все стали как братья. Люди догадываются, что все это — не более чем «язык случайностей»; они заявляют, что у них нет более вопросов к Всевышнему, как нет вопросов и к парламенту. Назло Богу люди растаптывают свою жизнь, а Бога разывают, как атом, на тысячу глупых имен, после чего Учитель Небесный, «надев золотые очки, уравнивает пустое стирает с зеленой доски».

Конец урока. Можно сдавать тетради. Мирозданье, неизъяснимо брезжившее в стихах, достоверно.

Что же это за мироздание?

Бездонная тьма — в его основанье. Кто мы такие, где мы — неведомо. Древо Познания — во мгле. Мир заперт в огромной клетке, в иномирной скорлупе, в бытийной западне.

«Мирозданье летит по кривой напролом. Продолжает игру за небесным столом тот, чей ход надо мной поднимает меня. Одиночества шлем и молчания броня — льда блаженство, огня западня».

Обман, подделка и подмена — в ткани, в самой структуре этого мира. Предатели сменяют имена. Былинный дурень слезает с печи. Светлый путь — дорога к ларьку. Милосердье — в смрадной мгле.

«Теперь мы не герои и не птицы, мы — тлен и сор, кусочки черствой пиццы. Мы — стертый файл, изоморфизм планктона, прах типографский, компонент бетона...»

При такой изоморфности даже как-то неловко ставить вопрос о перспективах. Но вопрос стоит.



Хочется опять родиться. А надо — только умирать. Ибо предстоит экстремальная разборка. Очередные гугеноты будут крушить очередных католиков. Все мы — очередные гунны, этруски, хазары.

«Настанет день, и кто-нибудь другой смеяться будет над двадцатым веком, над молодостью нашей дорогой, над верою в добро и в человека...»

И может, мы — последние из тех, кому чужда грядущая потеха, кто все еще сквозь слезы видит век и жертв его, которым не до смеха.

Но мы уйдем — оставим жизнь живым, и, память завещав чертополоху, в последний миг легко благословим чужую, комедийную эпоху...»

В перспективе такого будущего уместнее всего воскликнуть с шекспировской мудростью: «Дальше — тишина». Что и делает героиня Натальи Гранцевой.

А потом думает: другого времени не будет... Может быть, пока земля шарообразна, куда-то вывезет кривая?

Но ведь мы же... как это там?.. Изоморфизм планктона, кусочки пиццы, компонент бетона...

Подхват стиха:

Повеситься? Взорваться? Утопиться? —
Но если петь — то выше на полтона!

На полтона выше? Это и есть ответ на проклятый русский вопрос: что делать? Или это вопрос, повторенный чуть громче? А ответ?

А ответ — совершенно русский — положиться на судьбу.

Да как на нее положишься, когда она спит, когтями впившись в стену? Или когда она — сквозняк, уносящий от тебя пряность бытия. Или когда она — пустая сказка для детей. Все это — варианты ухода от судьбы, выхода из ее обманности, утекания из призрачной «воды времени».

Не уйти, не утечь.

Нет выхода из времени воды.
Судьба — как затонувшая галера.
Вокруг — клешни и алчущие рты,
Вокруг — мутанты, клоны и химеры.

Попробуй же обрести себя среди химер и клешней. Облаком бы просквозить золотым — ни справа, ни слева ничем не прельстившись, ни в наемники сатаны не угодив, ни в агнцы, которых эти наемники ловят?

Там справа свет и слева свет
Томит, слепит и душу студит.

А счастья не было и нет...
Но может, все же будет, будет?

Замечательный апофеоз поколения, у которого почва ушла из-под ног, а душа без ощущения почвы жить не может.

Так, может, в почву и уйти, с концами?

При всей комичности такого варианта для героини Натальи Гранцевой — она к нему примеривается. Вот растения времени не боятся, их время идет по кругу, их жизнь течет бесстрастно и потому бесстрашно... «как слезы по лицу» (пронзительный штрих в умопостижимом автопортрете).

Может, с фауной полегче, чем с флорой? Какие слезы у дельфинов? Разве все инфузории и чибисы — не из той же родной, не из райской ли созданы глины?

Вот из глины этой и вылепить бы убежище. И герметик купить, чтоб не дуло в окно! Урожай сложить в мешки и кадушки. Замки смазать, запереться и сторожить свой дворик.

Кажется, это единственный сигнал, который Наталья Гранцева посылает своему поколению — послевоенным соратникам-сверстникам, готовым уйти в сторожа и дворники, только бы не служить обанкротившейся Системе...

Она и не служит. Она только спрашивает:
«Двадцатый век, зачем ты был на свете?»

Она только предчувствует ответ... то есть отсутствие ответа... то есть отсутствие страха, когда предчувствуешь отсутствие ответа:

«Бояться жизни смысла нет, хотя она тоталитарна».

Да! Нам это ясно из всей недосказанности. Но как все же сохранить душу? Что делать с любовью в этой тоталитарности?

«История любит свои преступления».
Опять «история»... А мы?

Мы этой чаши не просили,
Но мимо нас не пронесли
Все унижения России,
Ее народа и земли.

Не минет нас ни сия чаша, ни иная. Не та, так эта. Не эта, так та. Как повернется.

Где голова, где хвост у этой хим-эры?
А она — двоякодышащая.
«Двоякодышащая эра».
К этому добавить нечего.



Рустем ВАХИТОВ



Рустем Вахитов — политический публицист, философ. Родился в 1970 году в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет, аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию по философии. Живет в Уфе, преподает в университете.

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемый наш читатель! Пришло время исправить историческую несправедливость. Выдающийся поэт двадцатого столетия Владимир Семенович Высоцкий очень хотел опубликовать стихи в журнале «Юность». Не сложилось. Чиновники от литературы того времени поиздевались над поэтом вдоволь. Один из них до сих пор скачет по телеэкрану и выдает себя за друга Владимира Семеновича, хотя сам Высоцкий свое мнение о его творчестве высказал в преамбуле к одной из своих песен. И эту запись знает вся страна!

К сожалению, корпус стихотворений Высоцкого и в наше время не обрел своего исследователя «со взором горящим», вдумчивого литературоведа. Поэта давно и успешно загнали в стан антисоветчиков! Воспоминания о Высоцком превратились в пространные монологи о пьянстве и наркомании.

Да не смутит читателя эпитафия к материалу Рустема Вахитова. Большие поэты и писатели часто обращались к властителям. Вийон — к Карлу Орлеанскому, Булгаков — к Сталину, Высоцкий — практически к Брежневу.

Нам необходимо сейчас за «дрянью воспоминаний» рассмотреть и понять подлинные устремления и чаяния поэта, осветить его образ. Но уже ясно, что Высоцкий беззаветно любил родную землю, страдал за Русь-матушку и чтит народ, в душе которого сохранился навеки.

Вообще-то историческую несправедливость исправить нельзя! Но напомнить о том, что июль — месяц памяти Владимира Семеновича Высоцкого, — можно и должно!

Был ли Высоцкий антисоветчиком?

Попытка исследования

Мне претит роль «мученика», такого «гонимого поэта», которую мне навязывают... Я хочу поставить свой талант на службу пропаганде идей нашего общества, имея такую популярность... Я хочу только одного — быть поэтом и артистом для народа, который я люблю, для людей, чью боль и радость я, кажется, в состоянии выразить, в согласии с идеями, которые организуют наше общество.

Из письма В. С. Высоцкого секретарю ЦК КПСС П. Н. Демичеву (лето 1973 года)

1.

Образ Владимира Высоцкого прочно вошел в идеологический пантеон современной постсоветской России. Во всех СМИ обязательно отмечают его день рождения (25 февраля) и день смерти (25 июля), по

телевидению транслируются многочисленные фильмы о Высоцком, фильмы с его участием, отрывки из концертов, по радио звучат его песни. Выходят монографии о Высоцком, сборники его стихов. При



этом все это приправляется определенным идеологическим ракурсом рассмотрения его биографии и творчества. Суть этой идеологемы вкратце такова. Высоцкий якобы был убежденным антисоветчиком и антикоммунистом, он, мол, неустанно клеймил советскую власть в своих стихах, песнях, в актерских выступлениях. Идеалам советского официоза он противопоставлял ценности свободы, демократии. Советская власть ему отвечала тем же: Высоцкого травили в газетах, не принимали в творческие союзы, не печатали его стихи, не выпускали книги, часто запрещали ему играть в кино те или иные роли, «вырезали» из фильмов песни, которые он специально писал к ним. За всю его жизнь в СССР было выпущено лишь несколько пластинок-миньонов, ни один из более чем тысячи его концертов не был официальным легальным концертом с афишей, все они проходили под видом встреч актера со зрителями. КГБ следил за ним, донимал его звонками и вызовами, фабриковал против него уголовные дела, обвиняя то в изнасиловании малолетней, то в экономических преступлениях. Во многом вследствие этого прессинга и морального давления Высоцкий сначала стал пить, а затем употреблять наркотики, что и привело его к преждевременной смерти. Но затем, когда эта деспотическая власть рухнула и в России установилась демократия, справедливость восторжествовала: книги Высоцкого стали выходить массовыми тиражами, песни — звучать с экранов телевизоров и из динамиков радио, посмертно ему было присвоено звание народного артиста России и присуждена Госпремия, ему поставлены памятники, в честь него названы улицы.

Интересно заметить, что сегодняшние антисоветские идеологи иногда слово в слово повторяют обвинения против Высоцкого, которые выдвигались советским официозом, клеймившим певца и поэта как «не нашего» автора, поющего «с чужого голоса» (были такие штампы в советской журналистике). Сам Высоцкий резко возражал против приписывания ему антисоветчины и «чуждого мировоззрения», о чем он прямо написал в открытом письме секретарю ЦК КПСС П. Н. Демичеву в 1973 году (это для него была единственная возможность ответить на травлю в газетах, развернутую против него в конце 1960-х, поскольку его ответы на статьи-доносы не напечатала ни одна из газет, отметившаяся шельмованием певца). Но ни вчерашним блюстителям чистоты советской нравственности, ни сегодняшним ниспровергателям всего советского (парадокс, но часто это одни и те же люди, виртуозно перестроившиеся вслед за господами Ельциным и Яковлевым) не было и нет дела до мнения самого Высоцкого.

Что ж, попытаемся разобраться в вопросе: был ли Высоцкий антисоветчиком?

2.

Вопрос этот, по сути, распадается на два вопроса: был ли антисоветчиком сам Владимир Семенович Высоцкий и является ли антисоветским его творчество, прежде всего песенное, которое и оказывало громадное влияние на массы (его стихи и прозу знал ограниченный круг знакомых ему людей, прежде всего из московской богемы времен застоя).

Это два разных вопроса. Мировоззрение автора и дух его творчества не связаны столь прямолинейно, как хотелось бы некоторым скорым на суждения критикам... Это блестяще показал выдающийся советский философ-эстетик М. А. Лифшиц в своих работах, критикующих примитивный социологизм раннего советского литературоведения. Он доказывал, что творчество — сложнейший феномен, который невозможно считать просто производной психологических особенностей автора или стереотипов социального окружения, в котором он сформировался как личность. Настоящий творец тем и ценен, что перерастает рамки своего класса и сословия, становится понятен и близок всем членам общества независимо от социального происхождения, выступает выразителем национальной жизни и культуры. Уже не так важно, что считает он сам, ведь он превратился в рупор своего народа, выразителя его особенностей, раздумий, чаяний. Так, Лев Толстой, будучи помещиком и дворянином, что неизбежно наложило отпечаток на его личность, в своих романах выразил настроения, чувства русского крестьянства, в интересах которого сконцентрировалось все самое лучшее, что было в тогдашнем русском обществе (эту мысль впервые высказал В. И. Ленин в знаменитой статье «Лев Толстой как зеркало русской революции», Лифшиц лишь подвел под нее теоретическую базу). Действительно, взгляды самого Толстого или толстовство — это одно, на них лежит печать богоискательства, которое было столь популярно в кругах интеллигенции рубежа веков (в этом смысле Толстой предвосхитил декадентствующее антицерковное христианство Серебряного века). Дух его романов — совсем другое, там толстовством и не пахнет, там предчувствуется превращение народа в историческую силу, в главнейший фактор исторического развития, это и произойдет в 1917–1920-х годах, когда народ сметет аристократо-буржуазную надстройку и станет строить «общество победившего третьего сословия» российского образца.

Все это в полной мере касается и Владимира Высоцкого. И дело не в оценке его творчества как гениального — это спорный, неоднозначный вопрос, который трогать сейчас не стоит. Дело в том, что отличие Высоцкого от других бардов той эпохи

очевидно, оно осознавалось самим Высоцким и неоднократно звучало в его оценках бардовской песни. Все другие певцы-поэты — от Окуджавы и Галича до Кима и Кукина — были «интеллигентскими бардами» (кстати, это общепринятый термин, попавший даже в интернет-энциклопедию). Не потому, что они принадлежали к полуоппозиционной интеллигенции по происхождению и по образу жизни, а потому, что в своих песнях выражали ее и только ее мировидение, настроения, интересы. Они, так сказать, были классовыми интеллигентскими авторами. Высоцкий же не был только им. Кроме интеллигенции Высоцкого знали и любили и другие, остальные слои советского общества — от партноменклатуры до рабочего класса и люмпенов. И уж конечно, повторюсь, рабочие и бичи любили Высоцкого не за то, за что его любили актеры с «Таганки» и участники «Метрополя», и находили они в его песнях совсем другие смыслы, нежели Новодворская и Свицидзе. И это как раз и есть свидетельство того, что через песни Высоцкого говорила не московская интеллигентская богема, а сам советский народ, коль скоро этот народ и узнавал себя в этих песнях. Причем это был, конечно, не народ пропагандистских плакатов, повестей и фильмов (такого народа нигде не существовало, кроме как в умах идеологических работников), а народ настоящий, живой, противоречивый, могущий выпить, а могущий и завод раньше срока построить, ругающий власть и за нее же готовый на амбразуры...

Именно поэтому нужно различать взгляды человека Высоцкого, которые неизбежно были связаны с ценностями его ближайшего социального окружения, и то мировоззрение, которое содержится в его песнях и стихах.

3.

Человек Владимир Высоцкий, безусловно, исповедовал достаточно либеральные взгляды. Он был убежденным антисталинистом. Марина Влади свидетельствует, что он открыто выражал свою нелюбовь к Сталину: когда на их свадьбе, которая проходила в Тбилиси, один из грузинских гостей предложил выпить за генералиссимуса, Высоцкий демонстративно отказался. Он осуждал ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году и из-за этого даже поссорился с отцом. Он отрицательно отнесся к вводу наших войск в Афганистан (впрочем, тут сыграл роль эмоциональный фактор: в это время Высоцкий был в США, и по американскому телевидению крутили видеоряд с выжженной напалмом афганской деревушкой и обезображенным трупом девочки как при-

мер «зверств советского империализма». Высоцкий был просто вне себя от возмущения).

Высоцкому не нравилась идеологическая цензура в СССР, от которой он постоянно страдал. Ему не нравилось вмешательство спецслужб в личную жизнь, что он также испытал на себе (ему постоянно звонили и предостерегали от определенных поступков, кураторы из КГБ считали возможным ему советовать, с кем ему дружить, а с кем — нет, его запугивали, следили за ним). Ему не нравилось, что выезд за рубеж советских граждан связан с такими трудностями (безотносительно к тому, что сам он в этом плане обладал большой свободой). Его возмущало, что за рубежом советским запрещалось общаться с бывшими советскими гражданами, выбравшими эмиграцию.

Он не был доволен зарплатами актеров в театре (сам он получал на «Таганке» 150 рублей в месяц при средней зарплате в СССР в 120 рублей) и низкими ставками на гастролях. Он считал, что певец, могущий собрать тысячную аудиторию и работающий перед ней по четыре-пять часов на износ (часто после концертов Высоцкий падал от изнеможения, пальцы его были в крови, а струны гитары порваны), должен получать соответствующее вознаграждение. Как и большинство советских интеллигентов, он вообще считал, что умственный труд в СССР оплачивался слишком скудно.

Побывав в Европе и в США, он пришел к выводу, что кое-что можно позаимствовать у Запада. Его не могло не подкупить, что там свободно выходили его книги и диски (только во Франции и в США при его жизни вышло тридцать девять больших дисков с его песнями, тогда как в СССР, напомним, — всего лишь шесть миньонов с тремя-четырьмя песнями в каждом), что популярный певец хорошо зарабатывает (по словам его импресарио эмигранта Шульмана, в 1979 году за неофициальные концерты в США Высоцкий получил более тридцати тысяч долларов — чудовищную для советского артиста сумму). Его привлекали и западный уровень жизни, западная техника, комфорт: он любил иностранные машины, одежду, сигареты и сокрушался, что в СССР не производится продукция того же качества.

В общем, его взгляды были типичны для человека того среза советского общества, к которому он принадлежал. Таких же взглядов придерживались его друзья — артисты с «Таганки», литераторы круга «Нового мира» и «Юности», свободные художники Москвы и Ленинграда, тысячи советских интеллигентов.... Это был обыкновенный «советский либерализм».

Но от советского богемного бытового, кухонного и гостинного либерализма до антисоветчины — про-



«Одна затяжка навевает думы...»

пасть. Прежде всего, антисоветизм — это публично заявляемая, продуманная и проводимая в жизнь политическая позиция. Людей, ругающих власть, недовольных теми или иными ее инициативами, высмеивающих руководство и начальников, в СССР было много (уж никак не меньше, чем в современной России), и не только в столицах и в среде интеллигенции. Практически каждый советский человек когда-нибудь да травил анекдоты о Брежневе на кухне в кругу друзей, возмущался порядками в стране. Но сознательных антисоветчиков, которые отрицали советскую идеологию и встали на путь прямой борьбы с советским государством в связке с геополитическими противниками этого государства, было очень мало. На весь СССР и сотни две не набралось бы. Их называли «диссиденты», их имена были на слуху, о них писали советские газеты и говорили западные радиоголоса. Показательно, что Высоцкий всегда от них публично отмежевывался. В интервью американскому телевидению он прямо сказал:

«Я — не диссидент, я — актер». В знаменитом письме к Демичеву написал: «Мне претит роль “мученика”, этакого “гонимого поэта”, которую мне навязывают». И это было никаким не лукавством, как кажется некоторым сейчас, а чистой правдой. Высоцкий никогда не встречался и не пытался встретиться с лидерами диссидентов — Сахаровым, Солженицыным, Боннэр, хотя, в принципе, возможности для этого у него были. Только однажды в Париже он пришел на вручение премии Андрею Синявскому, но не потому, что тот был «борцом с системой», а в силу того, что тот был его бывшим преподавателем в школе-студии МХАТ. Встречался он в Нью-Йорке и с Иосифом Бродским, но в частном порядке, как с поэтом, мнением и оценкой которого дорожил.

Высоцкий никогда не участвовал в демонстрациях диссидентов, не подписывал их воззвания и письма в их защиту. В своих публичных выступлениях и в СССР, и за рубежом он никогда не допускал антисоветских и антикоммунистических высказываний.

ваний. После перестройки были обнародованы факты слежки за Высоцким агентами КГБ в США, они в своих донесениях в Москву даже удивлялись сдержанному и лояльному тону Высоцкого.

Высоцкий чурался диссидентов вовсе не из страха за благополучие своего жизненного мирка, который преследовал его товарищей по цеху, имеющих гораздо больше благ от государства, вроде официального фрондера Е. Евтушенко. В сущности, что могли власти сделать с Высоцким, если бы он даже пошел по антисоветской дорожке? В 1970-е годы за это уже не расстреливали. Посадить в тюрьму или психушку или даже просто уволить с работы и оставить без средств к жизни не дали бы круги, поддерживавшие его на Западе, одна Марина Влади как председатель общества советско-французской дружбы и член ФКП могла бы устроить такой международный скандал... Да и в СССР его поклонников в высших эшелонах было немало — вплоть до Андропова и Щелокова, и они бы смогли спустить на тормозах самое суровое решение... Исключить из партии Высоцкого было нельзя: он в ней не состоял. По той же причине его нельзя было исключить из Союза писателей, лишиться званий и наград, доступа в спецраспределители и элитные дома отдыха. У него и так этого никогда не было. Запретить его печататься также было невозможно — Высоцкого и так не печатали, за всю жизнь вышло лишь одно искореженное стихотворение в альманахе «День поэзии». Слава Высоцкого распространялась через неофициальные, любительские магнитофонные записи — но нельзя же было заставить всех советских людей избавиться от магнитофонов...

Итак, не из страха за свое благополучие Владимир Семенович Высоцкий не поддерживал диссидентов. Он этого не делал по идейным соображениям. Понимаю, что сегодня в это трудно поверить, но в 1970-е годы в СССР либералы вовсе не были поклонниками фон Хайека и Бжезинского. Советский либерал 1970-х годов, типичное «дитя XX съезда», был сторонником «социализма с человеческим лицом», то есть конвергенции, соединения отдельных черт социализма и капитализма. Идеал рисовался ему в виде обновленного советского общества, где широкие социальные гарантии, плановая в главных областях экономика, власть партии сочетались бы с элементами западной демократии, свободными выборами в советы, гласностью, свободой выезда за рубеж, легальным мелким предпринимательством и хозрасчетом. Все это очень напоминало идеи ленинского нэпа и прямо обосновывалось ссылками на Ленина и его наследие. В сущности, если оставить в стороне антисталинизм тогдашних советских либералов, их программа во многом совпадала, скажем, с

программой нынешних конструктивных левых, например КПРФ.

Высоцкий был как раз таким демократическим социалистом. Он, конечно, не был правоверным марксистом-ленинцем и вообще, видимо, не был силен в марксистской теории, но человеком левых воззрений он, безусловно, был (и именно это он и имел в виду, когда утверждал в письме к Демичеву: «...хочу... быть поэтом и артистом для народа... в согласии с идеями, которые организуют наше общество»). Он искренне сочувствовал творцам Октябрьской революции, когда играл в спектакле «Десять дней, которые потрясли мир», и его современникам это было очевидно. В 1968 году он вместе с другими актерами, игравшими в фильме «Интервенция», подписывает письмо, где они пытаются убедить начальство, что фильм лишь воплощает ленинское понимание революции как праздника трудящихся, и нет оснований сомневаться, что это не так. В 1976 году, отвечая на неофициальную анкету, Высоцкий указал, что самой выдающейся исторической личностью он считает Ленина, и на протяжении всех оставшихся лет он никогда не отказывался от этих своих слов. Он и Сталина не любил в духе идей XX съезда, считая, что Сталин искажил ленинское наследие, погубил свободный демократический социализм, и тому есть много подтверждений.

Наконец, его поведение за рубежом говорит о его политических взглядах само за себя. Он избегал там контактов с «правыми» антикоммунистическими политиками, которых так любят наши диссиденты и антисоветчики. Среди его друзей были сплошь «левые» (такова была и его жена Марина Влади, которая стала активисткой левого движения в 1950-е годы, задолго до встречи с Высоцким). Он участвовал в мероприятиях французской компартии, выступал на ее митингах и фестивалях. Один из самых прочувствованных откликов на его смерть выпустила на Западе газета французских коммунистов «Юманите».

Нужно при этом подчеркнуть, что Высоцкий не любил леваков, левых радикалов. Он резко отрицательно отзывался о французских «новых левых», участниках мая 1968-го, об итальянских «Красных бригадах», зло высмеивал Мао Цзэдуна — кстати, кумира западных леваков. В то же время он иронически относился к Анджеле Дэвис, к компартии США, которая, в отличие от ФКП, твердо следовала указаниям из Москвы, не отклоняясь ни вправо, ни влево от линии ЦК КПСС. Из этого вполне понятны действительные политические симпатии Высоцкого, которые он, конечно, по цензурным соображениям прямо не высказывал. Высоцкий чурался и левого экстремизма, и державного национал-коммунизма

советского образца, он был умеренным социалистом в духе еврокоммунизма. Он считал, что такой умеренный демсоциализм вполне может стать и идеологией СССР и что он ничуть не противоречит устоям советского общества.

При этом Высоцкий был твердым советским патриотом, даже невзирая на свои разногласия с идеологами и правителями СССР. С этим было связано еще одно очень важное его разногласие с диссидентами. Дело в том, что советские диссиденты открыто занимали в «холодной войне» позицию врагов СССР. Они могли именовать себя патриотами, но Россия, которую они «любили», уже или еще не существовала в действительности (для националистических диссидентов Шафаревича и Солженицына это была дореволюционная царская Россия, для либеральных диссидентов Сахарова и Буковского — гипотетическая постсоветская демократическая Россия). Реальная, настоящая Россия, существовавшая тогда под названием СССР, не признавалась ими Родиной, которую нужно любить и защищать, несмотря на отношение к ее политическому руководству. СССР им представлялся неким «социальным уродцем», плодом чудовищного социального эксперимента, который нужно уничтожить во что бы то ни стало, и если Запад готов оказать в этом помощь, то ею нужно воспользоваться. Академик Сахаров из своей горьковской «элитной ссылки» обращался с письмом к немецкому писателю Беллю, где призывал Запад размещать в Европе побольше ядерных ракет, нацеленных на СССР. Солженицын из «вермонтского далека» рассуждал о том, что и власовцы были хороши, коль они боролись против Советов. Такая позиция для Высоцкого была неприемлемой, об этом свидетельствует отношение Высоцкого к вопросу собственной эмиграции.

Высоцкий часто выезжал за рубеж — бывал в Париже, Мадриде, Риме, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке. Он вполне мог остаться там, как это делали тогда многие представители творческой интеллигенции, получившие возможность выехать за границу. Шла «холодная война», и на Западе охотно принимали советских невозвращенцев — без проволочек предоставляли им гражданство, работу на «радиоголосах», хорошие гонорары. Соблазн был велик. Но Высоцкий, которому было на что озлобиться после многих лет замалчивания и даже открытой травли в прессе, остался верен обещанию, которое дал еще в своей ранней песне-отклике на слухи о его эмиграции:

Я смеюсь, умираю от смеха.
Как поверили этому бреду?
Не волнуйтесь, я не уехал.
И не надейтесь — не уеду.

В интервью программе «60 минут» американского телевидения Высоцкий подтвердил это и объяснил свой отказ эмигрировать: «Я уезжаю уже четвертый или пятый раз и всегда возвращаюсь. ... Я люблю свою страну и не хочу причинять ей вред. И не причиню никогда (курсив мой. — Р. В.)».

То есть Высоцкий прекрасно понимал, что его эмиграция на Запад станет мощным оружием в пропагандистской войне Запада против СССР. Он не желал врагам СССР дать в руки такой козырь. *Высоцкий, в отличие от Сахарова и Солженицына, открыто занял в «холодной войне» место не по ту, а по эту сторону, остался советским патриотом.* В то же время, видимо, он считал себя неким «вестником мира и разрядки», он желал наладить отношения между СССР и теми кругами на Западе, которые были настроены скорее дружелюбно, чем враждебно к стране реального социализма, хотя и не хотели превращаться в марионеток политики Кремля и оставляли за собой право критиковать те или стороны советской жизни. Имеются в виду как раз круги умеренных социалистов, еврокоммунистов. Видимо, это желание Высоцкого выполнить неофициальную дипломатическую миссию встретило сочувствие у некоторых группировок в политической элите СССР. Именно они и дали «добро» на женитьбу полуопозиционного актера и барда на западной еврокоммунистке и на поднятие перед ним «железного занавеса». Но сам факт этого только лишний раз доказывает, что Высоцкий не был антисоветчиком. Убежденного антисоветчика нельзя использовать в таком качестве, не смогли же гэбисты заставить Солженицына стать «вестником разрядки». Солженицын был сознательный и принципиальный враг советской власти, он желал как можно большего вреда СССР и поэтому ни за что не хотел своими действиями улучшать имидж Советского Союза и укреплять его международное положение. Высоцкий же согласился и сделал для этого все, что от него зависело.

Здесь не время и не место оценивать политические взгляды Высоцкого, хотя отношение к ним может быть разным (лично я, например, вовсе не сочувствую евросоциализму). Но очевидно одно: Высоцкий не только не был антисоветчиком, он был убежденным советским патриотом.

4.

На первый вопрос мы ответили, теперь обратимся ко второму. Напомню, он звучал так: было ли творчество Высоцкого антисоветским. Причем мы оговаривались, что творчество автора напрямую не

связано с взглядами, которые типичны для его социальной среды и которые высказывает он сам. В этом смысле тот факт, что Высоцкий как личность вовсе не был антисоветчиком, а, напротив, был патриотом СССР, хотя и не во всем соглашавшимся с советской идеологией, ничего не доказывает. Человек Высоцкий мог говорить одно, а творчество его — пропагандировать другое. Как же доказывают свое мнение те, кто считает, что творчество Высоцкого антисоветское?

Прежде всего это делают, в соответствующем духе интерпретируя те или иные строчки Высоцкого. Пример такого обращения с текстами поэта можно найти у современного музыковеда Ф. Раззакова. Из строчек «Гололед! — и двуногий встает / На четыре конечности тоже» Раззаков делает довольно неожиданный вывод, что Высоцкий здесь... сравнивает русского человека с животным. Из строчек «Наизусть читаем Пушкина, / А кругом космическая тьма» из песни «Марш космических негодяев», в которой описываются космические пираты будущего, Раззаков заключает, что Высоцкий... обвинял советскую систему в том, что она гордится грамотностью своих граждан, а окружена тьмой... Показательно, что Раззаков при этом демонстрирует слабое знание текстов Высоцкого, в своей статье он утверждает, что это отрывок из песни «В далеком созвездии Тау-Кита», конечно, сей факт не добавляет доверия его «анализу». Кроме того, Раззаков забывает упомянуть, что куплетом раньше космические пираты поют: «Наизусть читаем Киплинга...», хотя у него был такой подходящий случай обвинить Высоцкого в очернении не только советской, но и британской действительности...

Если говорить серьезно, перед нами довольно сомнительный метод анализа текстов. При наличии заранее имеющегося твердого мнения об авторе и достаточно буйной фантазии с помощью этого метода можно доказать что угодно... Допустим, я вбил себе в голову, что Агния Барто была яркой антисоветчицей и коварно вливала яд хитро закамуфлированной антисоветской пропаганды в свои известные детские стихи. Расчет был ужасен и прост: это же дети, они еще не понимают смысла стихов, но запоминают их, когда же они вырастут, антисоветизм будет в них сидеть на уровне бессознательного.

Возьмем, например, четверостишие про бычка, который идет и качается. Бычок — это, конечно, простой советский пролетарий-трудяга, который цинично сравнивается с рабочей скотиной. Качается он оттого, что на советских предприятиях под красивые словеса о трудовом энтузиазме из пролетариев выживали последние соки, изнуряя их аврами и субботниками. Его жизнь коротка и трагич-

на, «доска судьбы» кончается, ему суждено «сейчас упасть», погибнуть в расцвете лет, не увидев вдоволь отдыха, сна, не вкусив простого человеческого счастья...

Чушь? А я ведь лишь придал немного пародийного оттенка тому методу, при помощи которого Раззаков выуживает из стихов Высоцкого якобы имеющийся там тайный антисоветизм.

Более серьезные обвинения, которые выдвигали против Высоцкого некоторые критики в советские времена. Так, в статьях с показательными названиями «О чем поет Высоцкий?», «С чужого голоса», которые буквально посыпались на певца и поэта в конце 1960-х, повторялись на разные лады мысли, которые можно вкратце свести к следующему: Высоцкий в своих песнях изображает лишь темные стороны советской действительности — жизнь эзков, алкоголиков, забывая о других ее светлых сторонах — о честных трудящихся, о самоотверженных комсомольцах и коммунистах, которых воспевают официальная советская песня. Герои Высоцкого говорят на жаргоне, а не на литературном языке, часто ругаются, смеются над советскими лозунгами. Итак, Высоцкий искажает нашу действительность, внушает своим слушателям, что в ней нет ничего хорошего, повторяя все то, что уже давно говорят враги советской власти за рубежом и к тому же высмеивает нашу идеологию, ценности советского общества. Очевидно, что Высоцкий — антисоветчик, только нужно разобраться, занимается он этим по недомыслию и глупости или он сознательный враг советской власти.

От этих обвинений пародией не отделаешься. За ними стоит целая теоретическая концепция, своеобразно трактующая смысл и назначение литературы. Эта концепция очень популярна среди склонных к ханжеству чиновников, любящих всех поучать, а также среди простых наивных людей, которые в силу слабого эстетического развития и недостаточного гуманитарного образования не так хорошо разбираются в специфике литературного творчества. Правда, они редко высказывают ее связно, но мы сделаем это за них. Согласно этой концепции, главное предназначение литературы — нравственное. Конечно, литература должна в меру развлекать читателя, в меру очаровывать художественными ухищрениями, но все это второстепенно и подчинено наиболее важной функции — воспитанию. Общество должно стремиться сделать своих членов и особенно молодежь лучше, добрее, вежливее, трудолюбивее, целеустремленнее, отвадить их от лени, праздности, погони за удовольствиями и других пороков. Конечно, можно и нужно просто внушать людям нравственные нормы, это и делают учителя в школах, преподаватели в вузах, главы семейств

и должны делать СМИ, государственные органы. Но просто слушать заповеди морали скучно. А вот если их облечь в занимательную форму — рассказ с захватывающим сюжетом, снабдить словесными украшениями, метафорами, рифмой, то совсем другое дело — воспитательный процесс идет столь же эффективно, сколь незаметно.

Стихи и песни Высоцкого, безусловно, не отвечают такому пониманию литературы. Ведь с точки зрения этой концепции автор должен изображать в своих произведениях только высоко нравственных безупречных людей как примеры для подражания, а если он изображает пьяницу, распутника, преступника, то нужно показать, что такое поведение ни к чему хорошему не приводит, что «скользящая дорожка» ведет к падению и гибели и тот, кто по ней пошел, сам потом раскаивается в этом. Короче, в рамках этой теории отрицательные типы в произведениях литературы возможны лишь, если эти произведения содержат мораль, предостерегающую читателя от подражания таким типажам. Именно этого и ждали от Высоцкого советские ревнители строгой морали. А он не только не оправдал их ожиданий, он строил сюжеты своих песен как бы издеваясь над такой «теорией литературы». Возьмем его известную раннюю песню «Я был слесарь шестого разряда». Там описывается рубаха-парень, который является высококвалифицированным слесарем и потому хорошо зарабатывает: «Получал я всегда сколько надо / — И плюс премию в каждый квартал», но не отличается высокими нравственными качествами. Большие деньги он тратит на то, чтобы пить, гулять и изменять оставшейся в Рязани невесте с «шалавами в Москве». Но он сурово наказан за пьянство и разврат: «Вижу я, что здоровье тает, / На работе — все брак и скандал...»

Он выгоняет шалав без слов, и ему сразу же становится лучше. Слушатель — сторонник моралистического понимания искусства — ждет ожидаемой развязки: обращения к трезвой жизни, женитьбы, семейной и трудовой идиллии, а получает словно пощечину — совершенно противоположное: «Если б знали, насколько мне лучше. / Как мне чудно, хоть кто б увидал! / Я один пропиваю получку / — И плюс премию в каждый квартал!»

Песня написана для того, чтоб посмеяться над теми, кто видит в литературе одну лишь воспитательную функцию.

Действительно, такой взгляд на литературу, в определенные эпохи даже очень популярный (например, в XVIII русская литература была чрезвычайно назидательной), все же очень узок и однокло. Произведения литературы — это не приправленные красотами нравственные поучения. Сво-

дить их только к этому так же глупо, как требовать от литературы, чтоб она в занимательной форме популяризировала новейшие научные открытия. Между прочим, такая отрасль литературы есть, называется она научно-популярная литература, но к художественному творчеству она не имеет прямого отношения. Чем лучше произведение научно-популярной литературы выполняет свое прямое предназначение — в понятной упрощенной форме излагать научные концепции, — тем меньше в нем от истинной художественной литературы. То же самое можно сказать и о морализаторской литературе. Люди старшего поколения помнят, что в СССР было много литературной продукции такого рода — о передовиках производства, ударниках-доярках, летчиках-героях, в них все было правильно и нравственно, герои вели безупречно моральный образ жизни, говорили на правильнейшем литературном языке. Эти произведения в изобилии содержали в себе все то, в отсутствие чего суровые критики упрекали произведения Высоцкого. Их хвалили критики, авторам вручали премии, давали медали. Вот только читать их было скучно, и они так и оставались пылиться на полках магазинов и библиотек. То есть даже с точки зрения морализаторов свое предназначение они не выполняли — никого не вдохновляли образцами высокой морали.

И наоборот, можно привести множество настоящих высоких произведений литературы, вошедших в пантеон мировой классики, которые совсем не отвечают требованиям, предъявляемым к литературе морализаторами. Так, в «Ревизоре» Гоголя практически нет положительных персонажей, одни взяточники, пьяницы, казнокрады, сплетники, развратники, лицемеры. Иногда в качестве такового пытаются выставить слугу Хлестакова Осипа, это очень удобно для идеологического анализа — мудрый народ противопоставляет гниющему дворянству, но это все же натяжка. Ведь и Осип вслед за своим хозяином обманывает руководителей городка, чиновников, прислугу, пытается извлечь из их непрозорливости личную выгоду. Только желания у него попроще: наесться побольше каши и щей, получить у господ монетку в кулак, да и поумнее он своего хозяина, понимает, что обман скоро раскроется. Но где это и когда ум считался нравственным достижением? Итак, нет у Гоголя примеров для подражания, нет и наказания порока и морали в конце. Ясно, что такой ушлый чинуша, как городничий, снова наскребет денег и откупится от настоящего ревизора. А не откупится, так пришлют на его место такого же самодура и ворюгу... Что же касается Хлестакова, то он вообще увильнул безнаказанным... Да и саму ошибку нельзя рассматривать как наказание за грехи чиновников: это ведь просто случайность, стечение



«Больно мне за наш СССР»

обстоятельств, они это так и воспринимают и ничуть не раскаиваются в своих бесчинствах, а лишь винят себя за доверчивость. С точки зрения морализаторской теории литературы «Ревизор» Гоголя — сплошное очернение действительности императорской России (кстати, именно так он и воспринимался многими современниками, и не только читателями и зрителями, но и критиками). Однако бесспорно, что это одно из талантливейших произведений русской литературы.

Здесь не место и не время поднимать сложный философский вопрос о сущности искусства. Замечу только, что в русской классической традиции укоренилась совершенно другая концепция литературы, которая видит в ней своеобразное «человековедение», познание человеком себя, глубин своей души, смысла своей жизни, раскрытие внутренней красоты, гармонии человека, но, конечно, не рациональными, а художественными методами. Причем для русской классической литературы как раз характерен интерес не только к героям, совершенным во всех отношениях — и в умственном, и в нравственном, и в физическом. Русская классическая литература главным образом обращена

к простому маленькому человеку, не столь талантливому, не столь умному, не столь удачливому, лишенному безупречного эстетического вкуса, не всегда даже чисто плотному в нравственном отношении. Он где-то комичен, но несмотря на это он тоже человек, достойный любви, уважения. Здесь видна преемственность между русской литературой и христианской традицией, которая призывает в любом даже падшем и жалком человеке видеть Образ Божий. Собственно Высоцкий исходил из этого, восходящего к русской классике понимания литературы. (Высоцкий вообще классический автор, что прошло мимо внимания его хулителей, недаром же он так боготворил Пушкина и держал на письменном столе его посмертную маску.) Герой пьес Высоцкого, каждая из которых — монолог какого-либо типичного персонажа тогдашней действительности или диалог между ними, — такой маленький человек. Он не герой труда, не покоритель космоса, не образцовый комсомолец, о которых писали официальные газеты и прошедшие цензуру книги. Он может быть зэком, может быть алкоголиком, может быть шофером, который поднял руку на напарника. Но зато

он настоящий, а не плакатный и плоский. У него есть внутренний мир, надежды, стремления, чувства, с ним интересно, его жалко...

Попробую конкретизировать. Высоцкого упрекали в поэтизации уголовников в блатных песнях. Но разве герои этих песен — матерые профессиональные преступники, жестокие и циничные, ненавидящие все цивилизованное? Если оставить в стороне шуточные блатные песни, в которых Высоцкий, как мы уже показали, издевается над наивными представлениями о цели литературы, то выяснится, что песни эти — вовсе не о настоящих матерых преступниках. Нет, их герои — просто шпана, хулиганы, которые любят побахвалиться, выставить себя «настоящими блатными», но на самом деле способны лишь в подворотне вечером прохожего избить да стырить что-нибудь, что плохо лежит, из озорства... Они даже и настоящей блатной фени не знают, так, два-три слова, хотя для законопослушных граждан, «фраеров» и этого хватает, чтоб до смерти напугаться такого «героя»... В худшем случае герой Высоцкого — лагерник, но не «авторитет», а «мужик», то есть не профессиональный преступник, а человек, севший случайно, по глупости вступивший в конфликт с законом: «Сгорели мы по недоразумению. / Он за растрату сел, а я — за Ксению», «...нас каждый день мордуют уголовники...»

То есть этот тот же самый паренек из шпаны, а то и вовсе «фраер», который оказался уже за колючей проволокой.

Показательно также, что преступники — герои этих песен Высоцкого — воюют с немцами в составе штрафных батальонов. Историки СССР знают, что настоящие профессиональные преступники отказывались брать в руки оружие в 1941 году и защищать советское государство — государство для них было врагом, а винтовка — символом вояжера. Тех заключенных, которые пошли защищать Родину, они презрительно называли «суками», «ссученными», что на блатном языке значит «продавшийся лагерной администрации, предатель». И потом после войны в лагерях были целые войны между «ворами» и «суками»: когда получившие волю победители-штрафники, покутив и пограбив, снова попадали на нары, их там ждали ножи и заточки ревнителей уголовной морали — «воров»...

И Высоцкий не выдумал этот персонаж — приклатненную шпану — из некоего злого умысла разрушить мораль стойких советских людей, которые якобы ничего такого до Высоцкого не знали и не видели. Высоцкий взял его из жизни. В годы детства и отрочества Высоцкого — в конце 40-х — начале 50-х, когда в стране царил послевоенный разор и кривая преступности зашкаливала, такой шпаны было видимо-невидимо в московских дво-

рах (об этом есть пронзительный фильм «Прощай, шпана замоскворецкая»). В те годы любой московский мальчишка, кроме разве что совсем уж отъявленных «мажоров» — детей дипломатов из сталинских высоток (которые увлекались другой — западной романтикой и становились стилистами и битниками), так или иначе водил знакомство с такой шпаной (тем более что советская школа была демократичной и в одном классе оказывались и дети начальников, и дети уголовников) и в той или иной мере подпадал под ее сомнительное влияние; чтоб не отличаться от других, старался выглядеть храбрым и отчаянным... Конечно, юный Высоцкий также иногда заигрывался, поэтизировал шпану, хотя чаще высмеивал ее, выставлял в комичном виде: «Я здоров, чего скрывать, / Я пятаки могу ломать, / Я недавно головой быка убил», «с грабежу я прихожу, / язык за спину заложу / и бегу тебя по городу шукать», но всегда при этом он жалел их, видел в них тоже людей, имеющих своеобразные представления о чести, справедливости, пусть и людей оступившихся, заблудившихся...

На этапе зрелости у Высоцкого начинает преобладать именно это понимание шпаны — как «маленьких людей», таких же, как остальные, только оступившихся. Обратимся к «Балладе о детстве». В ней есть глубокие строки, повествующие о наказе бывшего фронтовика-метростроителя своему сыну, который связался с такой шпаной.

Стал метро рыть отец Витькин с Генкой.
Мы спросили: зачем? — Он в ответ:
Мол, коридоры кончаются стенкой,
А тоннели выводят на свет.

Пророчество папашино
не слушал Витька с корешом.
Из коридора нашего
в тюремный коридор ушел.

Этим ребятам, поддавшимся сомнительным чарам полууголовного мира, противостоят в автобиографической песне Высоцкого такие же ребята, вышедшие из тех же коридоров, но ставшие законопослушными гражданами, честно служащими Родине и народом каждый на своем месте:

Дети бывших старшин да майоров
До ледовых широт поднялись,
Потому что из тех коридоров
Им казалось сподручнее вниз.

Они не идеальные пионеры и комсомольцы, сошедшие с плакатов. Они живые ребята, когда-то они

тоже выменивали у немцев ножики, поддавались чарам субкультуры уголовной братвы, но затем одумались: простые и мудрые наказания их отцов — бывших фронтовиков перевесили...

И это же касается многих других персонажей песен Высоцкого.

5.

Те, кто называет творчество Высоцкого антисоветским, имеют и совершенно превратное представление о советской цивилизации. Они воспринимают советскую цивилизацию в соответствии с ее саморекомендацией, то есть отождествляют ее с тем пропагандистским образом, который она сама и создала. Согласно этой саморекомендации советская цивилизация — государство победивших в ходе революции свободных рабочих и крестьян, до самозабвения преданных идеалам марксистского коммунизма, не знающих ни пороков, ни разочарований, ни сомнений. А если и есть среди граждан государства рабочих и крестьян такие — замеченные в грешках или в сомнениях, то это — отклонения от нормы, вырожденцы, которых можно и нужно перевоспитывать (или явные враги, которых нужно уничтожить). Такими хотела видеть советскую цивилизацию ее элита — политическое, идеологическое руководство, да и многие рядовые граждане, попавшие под влияние пропаганды. Но это не значит, что такой она была в действительности. Впрочем, тот черный образ советской цивилизации — как сообщества рабов, униженных и оскорбленных, которыми манипулирует циничная и корыстная партократия, — рисуемый современной либеральной пропагандой, так же карикатурен и далек от истины, как и лубок советского агитпропа.

Высоцкий не очернял и не высмеивал советскую действительность. Действительность он просто изображал, конечно, иронично, с улыбкой, но не зло, а тонко, душевно, потому что сам был частью этой действительности. Высоцкий высмеивал штампы неумелой пропаганды, тот убогий, урезанный, заидеологизированный образ советской цивилизации, который навязывали всем работники идеологического ведомства (среди которых, кстати, большинство были будущими яркими антисоветчиками типа Яковлева или Познера). И еще неизвестно, кто принес больше вреда советскому народу: те, кто создавал этот убогий неумный образ, или те, кто его высмеивал...

И в этом смысле Высоцкий был вполне советским поэтом, и его песни — подлинный памятник советской эпохе, по которым легче уловить ее дух, чем по пропагандистской продукции тех «пролетариев пропагандистского цеха», которые во время оно

клеили Высоцкого как антисоветчика и клялись идеалами коммунизма, а потом с легкостью сожгли партбилеты и стали клясть Советский Союз. Высоцкому удалось создать поразительный по своей творческой силе «социальный театр». Его песни написаны от имени множества различных живых, не приглашенных и не подретушированных персонажей советского общества — шоферов, эзков, профессоров, колхозников, спекулянтов, евреев-диссидентов, солдат, офицеров. Каждый из них имеет свое мировидение, свою, пусть узкую и однобокую, правду, с которой автор не обязательно согласен (поэтому и глупо осуждать Высоцкого за слова его персонажей; Высоцкий, если выражаться терминами М. Бахтина, был не монологичен, а диалогичен и даже полифоничен), но каждый из них все равно человечен, а значит, достоин внимания и понимания или как минимум того, чтобы его выслушали — через поэта как через орган речи такой коллективной личности, как народ.

И песни эти именно советские, потому что в них выражены реальные, а не идеологические ценности советского общества, не те ценности, которые провозглашались с трибун, а те, которыми общество жило. Они, конечно, не были совершенно противоположны: с трибун говорили о коллективизме — и народ ценил коллективизм, с трибун говорили о справедливости — и народ желал справедливости, но идеологическая обертка не совпадала все же с бытийным содержанием в точности. Реальный коллективизм — это не только подвиги самопожертвования в «борьбе за урожай» (хотя и они были), но и, например, взаимопомощь в кругу блатных знакомых, посредством которой удалось доставать дефицит. Но, как говорил еще Маркс, — наши недостатки — продолжения наших достоинств....

Итак, когда мы задаемся вопросом, было творчество Высоцкого советским или антисоветским, мы должны осознать: быть советским человеком — это вовсе не значило напоказ славить партию и правительство и приукрашивать действительность, замалчивая все ее недостатки. Быть советским значило верить в возможность справедливого общества, в победу мира, дружбы, бескорыстия, это значило ненавидеть несправедливость, эгоизм, накопительство. Принципами коллективизма, нестяжательства социализма, советский строй и отличался от капитализма, строя либерально-буржуазного. Такими и были миллионы граждан СССР, которые, возможно, не являлись образцами нравственности и не сильно разбирались в идеологии, но которые честно делали свое дело, служили обществу и Родине в меру своих сил и талантов. Как герои песен и стихов Высоцкого. Как сам Высоцкий.

Елизавета ТРУСЕВИЧ



Елизавета Трусевич — выпускница и аспирантка ВГИКа, член Союза писателей России.

Автор сценариев короткометражных художественных фильмов «Иностранная фамилия» (диплом Второго международного литературного фестиваля в Праге), «Везунчики» и «Вера № 2»; негровых фильмов «Близко к сердцу» (об известном кардиохирурге Лео Бокерии, фильм приурочен к юбилею Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева), «Дорожите счастьем, дорожите...» (специальный диплом Второго всероссийского фестиваля документального кино «Человек и война» за создание образа поэта на войне), «Параскева Пятница» (к 200-летию со дня смерти Н. Шереметьева), «Счастье осталось в доме...» (к 105-летию со дня смерти А. П. Чехова, диплом на международном театральном фестивале «Мелиховская весна»), двух фильмов из серии «Кремлевские лейтенанты» («Старший сын: месть Сталину» и «Александр Щербakov: испытания в небе и на земле», телеканал «Звезда»).

Режиссер и автор сценариев документальных фильмов «Десять персонажей в поисках автора», «Единственная любовь дочери губернатора».

Автор сценария и режиссер анимационного фильма «Лампочка» (диплом Международного фестиваля детского анимационного кино «Золотая рыбка»; лауреат Второго международного фестиваля экранного творчества «Московские каникулы» — диплом «За светлый и чудесный образ»).

Автор сценариев фильмов «Телевизор» (полнометражный художественный фильм, победитель XXVI Международного фестиваля ВГИК в номинации «Лучший сценарий полнометражного художественного фильма» в 2006 г.), «Лида» (второе место на конкурсе на лучший сценарий полнометражного художественного фильма на национальной киностудии «Беларусьфильм» в 2007 г.), «Великие провалы. "Бежин луг"» (победитель XXIV Международного фестиваля ВГИК в номинации «Лучший сценарий негрового фильма»).

Рассказы, повести и статьи публиковались в «Детской роман-газете», «Роман-газете», «Парламентской газете», «Зорьке» и других газетах и журналах.

РОМАН

ПОВЕСТЬ

Рисунки Анны Дудяковой

Я готов представиться. Зовут меня Роман, мне тридцать восемь лет. Внешность у меня просто ужасная. Волосы какого-то неопределенного цвета. Довольно длинные глаза — такие, что одни говорят, что глаза у меня широко расставлены, а другие, наоборот, что близко. На самом деле и то и другое. Меня немного утешало то, что Тулуз-Лотрек тоже был немного сутул, Байрон тоже немного хромал, Исаак Ньютон тоже немного заикался, а Ибсен тоже был немного косоглазым. Если говорить о моей семье, то воспитывала меня одна мать, отца же я никогда не знал. В семнадцать лет укатил из дома, окончил университет (не буду загружать вас всякими аббревиатурами). Скажу только, что по профессии я, скажем так, ученый. Слово это в данном контексте звучит все-таки как существительное, а не как прилагательное. Если же рассматривать его как прилагательное, то, честно говоря, никакой я не ученый... Вовсе нет.

Долгое время, со школы, я упорно игнорировал все предметы, кроме физики и математики. Для меня существовала только точная красота точных наук. Я не стыдился того, что ни разу не был ни в одной галерее, а Врубеля как-то при всех обозвал Рубелем. Я никак не мог взять в толк, почему люди делают такие глаза, когда обнаруживается, что ты не читал «Онегина» или слыхом не слыхивал Моцарта, а вот не знать известной теоремы или не разбираться в алгоритмах — это нормально. Не знаю, дело вкуса. Но волей случая мне пришлось лучше любого литературоведа изучить творчество самых великих писателей. Теперь, только к тридцати восьми годам, я прослушал немало классической музыки и посетил все художественные галереи в городе. Одним словом, я, совершенно для себя неожиданно, стал образованнейшим человеком. И всякое искусство превратилось для меня в точную науку, которую я рассчитывал и высчитывал. На это я потратил десять лет жизни.

Вот об этом я вам и хочу рассказать — как все это получилось...

Обычно в книгах пишут «в тот день...» или «однажды». Никакого того дня не было и не было ни-

какого «однажды». Долгие годы я изобретал одну вещь. Звучит, конечно, глупо — «изобретал»... Но как иначе скажешь? Не расписывать же тут всю эту ерунду — мои вычисления и чертежи. Во-первых, вы все равно ничего не поймете. Вы наверняка из тех, кто знает Рубеля и не знает алгоритмы. Так что говорить на нормальном, научном языке с вами бесполезно. Так что уж поверьте мне на слово. Я изобрел один великолепный аппарат.

В обыкновенные весы я вмонтировал микросхему, так что с виду даже и непонятно, что это новейшее изобретение века. В чем суть моего изобретения, я скажу позже. А пока, представьте себе, в каком я был смятении. Верите ли, очень часто такое случается: у тебя есть талант и все такое, ты можешь высчитать чуть ли не новую планету на небе, а в магазине не можешь даже правильно подсчитать сдачу. Так вот я был как раз из таких болванов. Именно поэтому я был в смятении. Просто не знал, что делать со своим чудо-изобретением.

Потому первым делом я решил позвонить своему закадычному другу — Тасику (все его так звали — Тасик). Мы учились с ним на одном курсе, и вообще-то он был славный мальчик. Уж он-то был ученый во всех смыслах — и как существительное, и как прилагательное. Он знал и Врубеля, и алгоритмы. К тому же он был очень красивый парень. Конечно, не мне судить об этом. И может, я бы даже и не заметил, какой он красивый. Но, во-первых, он сам об этом говорил, а во-вторых, об этом все говорили. Не знаю даже, кто раньше начал говорить — он или все. Так что то, что он красивый, — это точно. Когда мы с ним жили в общежитии, у него на стене висел плакат Пола Ньюмена. Вообще-то я фамилии не очень запоминаю, но этого запомнил потому, что его фамилию слышал по сто раз на дню. Тасик, гад, нарочно этот плакат повесил. И все, кто заходил к нему, сразу же говорили: «Тасик, ты — вылитый Пол Ньюмен». И вправду вылитый. Когда он сидел на кровати, а над головой этот Ньюмен, то волей-неволей так скажешь... А Тасик на это скромно так отвечал: «В нашей профессии лучше быть не Ньюменом, а Ньютоном». Он еще и остряк, этот Тасик.



Одно я в нем не любил — его ужасную привычку рассказывать анекдоты. Ну ни секунды не может без анекдота, и все такие дурацкие и не смешные, прямо плакать хочется от его анекдотов. А у него это как болезнь, как знаки препинания — так и сыплет этими анекдотами, черт бы его побрал.

Так вот, когда я ему в тот день позвонил, я сразу так и сказал: «Приезжай, дело есть, только ни одного анекдота в моем доме, по рукам?»

Да, я же забыл сказать самое главное. Ну, это для меня самое главное... Когда я звонил Тасику, трубку взяла его... как это называется... ну, подруга, что ли... Имя у нее дурацкое — Кира. Честно говоря, мне хоть и неловко в этом признаться, но она мне страшно нравится. Просто до чертиков нравится. Тасик подцепил ее сразу после окончания универа, и они до сих пор вместе. Признаться честно, я втайне жду, когда они расстанутся. Должно же это когда-нибудь произойти, в конце концов! С ней же невозможно жить — это очевидно. Она просто невыносима! Хотя бы я, конечно, ее вынес как-нибудь. Вообще-то я понимаю, что она просто дрянь и любить ее не за что. Но в том-то и фокус, что я это понимаю, а все равно люблю.

Не знаю, чем она мне нравится. Попробую объяснить... Начну с самой мелочи. Она не красит ногти. Да, да... Мне это жутко нравится. А знаете ли вы, как трудно найти девушку, которая не красит ногти? Это почти невозможно, правда! Я вот лично никак не возьму в толк, чего это женщины носят с этими ногтями. Кому они нужны-то? Это глупость, конечно, но мне в Кире это нравится. Во-вторых, она какая-то дурацкая, эта Кира. Глупая, конечно, до ужаса! И какая-то бедовая, что ли... То певицей хотела быть, то актрисой. Но голос у нее — просто жуть! И к тому же она на фотографиях получается без глаз... Так у нее глаза красивые, огромные, а на фотографиях они куда-то пропадают. Куда ей быть актрисой-то, без глаз? Глаза у нее, между прочим, разного цвета — один янтарный, а другой серый. Ну да не о том речь. Она мне нравится потому, что она какая-то очаровательно глупая. И ее глупость можно расценить вовсе не как глупость, а как непосредственность, что ли. Бывает, такое ляпнет, а мне нравится. Все в ней нравится. Наверное, это и есть любовь. Когда понимаешь, что человек — дрянь, а все равно нравится.

Так вот, в тот вечер она подняла трубку — голос у нее низкий такой, как будто она большая и строгая. Только благодаря этому голосу она иногда не выглядит полной дурой. Можно такую чушь ляпнуть, но таким умным голосом, что никто и возразить не посмеет. Она это умела, моя Кира. Я ее всегда про себя называл «моя Кира». Честно говоря, я не ожи-

дал, что она подойдет к телефону. А когда я звоню, то всегда в уме прокручиваю первые слова, которые скажу (у меня какой-то панический страх перед чертовой телефонной трубкой). Сейчас я заготовил немного небрежную фразу закадычного друга: «Тасик? Здорово, валяй, приезжай ко мне!..» И так далее.

Но трубку взяла Кира.

— Алло, я слушаю.

Я не люблю таких неожиданностей, у меня ужасная реакция, я даже тут не мог, как все нормальные люди, услышав женский голос, мило поздороваться и позвать Тасика. Вместо этого я произнес заготовленную перед звонком фразу.

— Тасик, здорово!

Самое интересное, что Кира даже не удивилась.

— Это Кира, — сказала она.

— Кира, доброе утро, — сказал я. За окном была уже ночь, это я от волнения ляпнул.

— Доброе утро, — это она ляпнула потому, что она дуручка, ей-богу.

— Тасика позови.

В трубке послышался грохот. По-моему, моя девочка уронила трубку. Она всегда все роняла.

Наконец, я услышал Тасика.

— Тасик, приезжай, дело срочное, — сказал я.

Тасик всегда меня уважал. И уж, конечно, знал, что я по пустякам не стану ему звонить. Трубка в моей руке говорила голосом Тасика, и для меня эта нелепая красная телефонная трубка теперь была самым Тасиком. Меня она раздражала, честное слово.

— Лучше ты приезжай, — зевая, сказал Тасик.

Держу пари, это он нарочно зевнул. Очень нужно ему зевать в такую рань... Я знаю Тасика: когда он нервничает, то всегда делает вид, что зеваает. А нервничал он потому, что боялся. Знаю, что он еще с универа все время боялся, что я что-нибудь выдающееся изобрету.

Конечно, я ужасно обрадовался, что еду к Тасику. И вы, наверное, даже поняли почему. До Тасика ехать — полчаса на автобусе. Но я приехал к нему уже после полуночи. То есть пять часов добирался. Даже брился я долго, примерно час. Я совершенно разучился бриться, потому что уже полгода не выходил из дома. Десять лет я вел затворнический образ жизни, выбираясь из дома только в галереи и музеи. А последнее время, когда я приближался к финишной ленточке, и вовсе перестал покидать свое уютное жилище...

И теперь никак не мог сообразить, что такое творится на улице. Эти шесть месяцев добровольного затворничества пролетели для меня, как один день. И, честно говоря, я ужасно удивился, что на улице лето. Поэтому мне пришлось вернуться домой, снять пальто и свитер. Еще примерно час я искал



©Дудякова Анна, 2011 г.

хоть одну приличную рубашку. Нашел одну — совершенно белую, даже и не знаю, откуда она у меня. Несколько секунд я тупо смотрел на эту рубашку, не понимая, как она у меня оказалась. А потом вспомнил. Черт возьми, лет десять назад я в этой рубашке женился. Какая же эта была несусветная глупость, честное слово! Она была моей первой женщиной, первой любовью, и поэтому, видимо, первой женой. Теперь-то я понимаю, что она не была ни любовью, ни женщиной, ни женой. По правде говоря, я даже не помню, как она выглядит. Жены у меня давно нет, а вот рубашка оказалась весьма кстати.

Живу я, конечно, ужасно. Вокруг кавардак, хлам. Этого я не замечал и увидел только в зеркале. Впрочем, и вид у меня был тоже не из приятных. Я как-то одичал, и даже бритва не помогла. Мои дурацкие черные волосы отросли чуть ли не до плеч. Одним словом, выглядел я просто чудовищно... Я же вам говорю, что полгода проторчал дома, корпел над своим изобретением. Ел я мало. Еду мне приносила соседка — милая такая дама с демоническим именем Тамара, которой я хорошо платил (чтобы не было вопросов, скажу сразу, что деньги у меня водились — примерно два года назад я изобрел новейшую модель микроволновой печи и продал права на это изобретение Тасику). В общем, похудел так, что самому было жутко. И хотя я довольно высокий парень, при такой худобе мне казалось, что меня тут вообще нет. Да уж, с такой рожей точно надо быть нобелевским лауреатом и только в этом случае рассчитывать на Киру. Короче, я натянул на себя свой старый свадебный костюм, обстриг свое ужасные длинные волосы, а затем вообще побрился налысо.

Вот в таком виде я и вышел на улицу. В первый раз за полгода. Было уже полпервого ночи. Темно. А я люблю, когда темно. Никто тебя не видит и ты никого не видишь. От уличного воздуха у меня немного кружилась голова. Но это пустяки.

Когда я приехал к Тасику, то сразу увидел, что он трусит. Испуганный такой, но вида не подает, мол, ему все равно. А сам боится, уж я-то знаю. Боится, что я вдруг получу Нобелевскую премию и пройду во фраке по красной дорожке. Он бы этого не пережил, честно! И почему это Нобелевские премии всегда получают те, кто этого меньше всего хочет?.. Держу пари, что Тасик во фраке был бы не то что Пол Ньюмен, а скорее Ален Делон. Пришлось бы ему плакат на стене менять (если он все еще висит у него на стене). Но он никогда ничего не получит, потому что он, может, и Ален Делон, и Пол Ньюмен, но никак не Моцарт. Это уж точно.

— Чего звал? — небрежно так спрашивает.

— Поделиться хотел, — говорю. По правде, я к нему приехал потому, что он тот еще проныра. Вез-



де пролезет. Он в делах пролезания знает толк. Может, и мне подскажет. Хотя была еще одна, более веская причина. Я хотел похвастаться. Но не потому, что хотел просто похвастаться. Делать мне нечего, как хвастаться перед Тасиком — это уж последнее дело. Я не отдавал себе в том отчета, но смутно понимал, что хочу рассказать Тасику о своем изобретении из-за Киры. В душе я лелеял надежду, что если стану нобелевским лауреатом, то она бросит Тасика и станет, наконец, моей Кирой. Тасика, конечно, тоже жалко. А я ему за это что-нибудь изобрету. Все равно он сам для него важнее, чем моя Кира. Весы с микросхемой я на всякий случай оставил в прихожей, чтобы этот гад раньше времени не вынюхивал.

— Выкладывай! — сказал он. — Ты меня из постели поднял.

Ага! Это он нарочно про постель. Поддевает меня, намекает...

Я увидел, как мимо приоткрытой двери кто-то пробежал. У меня даже тахикардия началась. Это она... Она... Тасик, конечно, перехватил мой безумный взгляд.

— Ты мне смотри! — он шутливо пригрозил мне пальцем.

— Куда смотреть?

— Ты лучше спроси, куда не смотреть... А то ведь я за просмотр буду с тебя деньги брать. Моя Кира не открытка, чтобы на нее так пялиться.

— Я на нее не как на открытку смотрю, а как на мадонну Литту...

— Набокова, что ли? — спросил Тасик.

— Нет, да Винчи.

— Будешь? — спросил Тасик, доставая из-под кровати бутылку начатого коньяка.

Я кивнул. Спаивает, гад...

С Тасиком у нас были странные, мучительные отношения. Он ко мне относился со всей страстью и ревностью, как к женщине. И не надо думать ничего дурного. Просто этот болван считал меня чуть ли не гением. В этом-то и была вся его мука. С одной стороны, он хотел приблизить меня к себе, с другой — ужасно завидовал, с третьей — ревновал меня ко всем знакомым и прятал ото всех, как ревнивый муж жену. Ей-богу, Кирочку он так ни к кому не ревновал, как меня.

Этот гад неплохо поживился на нашей дружбе. Во-первых, благодаря моему изобретению (о котором я вам уже говорил) он открыл фирму, которая в общем-то процветала. А мне за все мои идеи он платил копейки. Впрочем, я, парень не жадный, продавался. Тасик знал, что я живу другим — живу своей мечтой, делом всей своей жизни. И чтобы ничто меня от ЭТОГО не отвлекало, я на скорую руку изобретал всякую чепуху — типа усовершенствован-

ного пылесоса, на эти деньги и жил. Тасик с ужасом ожидал все эти годы, когда же я закончу то — самое главное...

Теперь он сидел напротив меня красный, взволнованный. Ожидая чего-то... Мы выпили по рюмке, и я хотел уже было рассказать ему о своем деле, как вдруг мы с ним услышали страшный крик Киры.

Два года я ее не видел. И вот она... Если бы Тасик два года не видел женщину, он бы и думать о ней забыл. А я все эти два года жил мыслью о ней... И вот она передо мной. Босая, растрепанная. Ее рыжие волосы разбросаны по плечам, лицо немного опухло ото сна, а на щеке — четкий след от ее ладоней — видны даже линии. Наверное, спала на собственной руке. На ней дурацкая пижама в какие-то слоники. Ей все еще хочется казаться ребенком. У нее и вправду очень детское лицо...

Иногда я специально захожу в магазин игрушек и смотрю на куклы. Знаете, такие немецкие куклы с пухлыми щечками и большими глазами, в таких больших шляпках или с косами, все на одно лицо. Эти куклы напоминают мне Киру. Когда я только-только влюбился в нее (это было одиннадцать лет назад), то как помешанный ходил, в голове прокручивал нашу встречу, вспоминал каждое ее слово, каждый ее жест.

Нас, конечно же, познакомил Тасик. Тогда она была его девушкой (она и сейчас его девушка). А знаете, девушка лучшего друга — это всегда заманчиво. Но, ей-богу, я встретил ее раньше, просто этот пройдоха оказался смелее. Тогда Кира была еще никем (хотя она и сейчас никто). Но тогда она была никем вдвойне — только окончила школу и продавала растворимый кофе на улице. Знаете, такой в бумажных стаканах. Ужасный кофе, просто невыносимый. Надо сказать, что тогда мы с Тасиком жили в одной комнате в общежитии. Но в универ ходили не вместе. Он вечно опаздывал. А я любил все делать медленно. Выходил за час и шел странным путем, петляя и сворачивая во двory. Мне так лучше думалось. Так вот, в одном из дворов и находилась ее «кофейня». Я не хотел пить. Но она, эта девушка под дурацким цветастым зонтом, чем-то поразила меня. У нее было очень детское лицо, мне тогда показалось, что лет с семи ее лицо совершенно не изменилось. В ней светилась какая-то невинность, хотя по ее зеленым теням и слипшимся от туши ресницам я все же определил, что это еще та девица. Что она, должно быть, довольно умело пользуется и тенями, и слипшимися ресницами, и своим необыкновенно хорошеньким личиком.

Я твердо решил познакомиться. Почему бы и нет? Ведь люди же как-то знакомятся. Как? Для меня это всегда была загадка. Но они же берут откуда-то друг

друга. Почему бы и мне не рискнуть... Некстати (а вернее, кстати) я вспомнил и свою бывшую жену. Она сама со мной познакомилась. Мы стояли на остановке. Около получаса. Счастливые люди дождались своего автобуса и уезжали. А мы с ней были в этом вопросе привередливые... Нам нужен был именно 12-й. И этот 12-й никак не шел. Мы стояли на остановке и это нас как-то сближало. Как будто мы вдвоем в комнате... Я и она. Она первая решилась завязать разговор и сказала:

— У вас шнурки развязаны...

С этого все началось... Я вспомнил это и смело подошел к девушке.

— Кофе, — сказал я для начала.

Она довольно проворно приготовила мне кофе. Но я никак не уходил.

— Что-нибудь еще? — спросила Кира (тогда я еще не знал, что у нее такое милое мужское имя).

Я молчал. Наверное, выглядел идиотом. Но, черт возьми, меня это не пугало. Я привык выглядеть идиотом.

— Что-то еще? — повторила она с тем самым чисто профессиональным раздражением, которое свойственно всем продавцам.

— У вас шнурки развязаны, — наконец сказал я. Она удивленно посмотрела на меня, потом на свои ноги. Я тоже посмотрел на ее ноги. На ее черные очень милые туфельки с каким-то чудовищным бантиком на носке.

— Извините, ошибся, — только и сказал я и поспешно ретировался.

Моя бывшая жена и здесь все напортила, ведьма! Я шел по улице, сжимая в руках горячий стакан кофе, и думал об этой девушке. Наверное, она решила, что я ненормальный. И правильно решила. Когда я зашел в аудиторию, то зачем-то взял в руки мел и хотел было написать число на доске, но замешкался. Я не знал, какое сегодня число. Вся моя профессия была связана с числами. Но в реальной жизни этих чисел для меня не существовало. Обычно меня не интересовало, какое сегодня число. Характеристики дня были более пространные: грустный летний день, или дня не было вообще, потому что просидел в комнате со своими бумагами, или дождливый день... Сегодня же был прекрасный хмурый поэтический день, день без числа. Однокурсники не могли назвать точное число — мнения разделились между 5 и 6 сентября. Я, подумав, выбрал первое. Так на один день раньше я встретил ее. В аудиторию вошел профессор Виктор Викторович — он был моложав, красив, и все его обожали.

— А! Рома, похвально... — он стукнул меня по плечу (Виктор Викторович обожал такое панибратство со студентами).

Я сел на свое место и думал только о ней. Рядом со мной висела огромная таблица Менделеева, внизу, в пустых клетках, где когда-нибудь появятся новые элементы, были вписаны женские имена: «Викуся, Элла, Верочка...» Мне почему-то стало невыносимо скучно, я не знал имя той девушки, но знал, что среди этих имен нет ее имени. Ее имя еще не вписано в таблицу Менделеева...

И вот, представьте себе, в аудиторию входит Тасик. Он всегда был немного пафосный и шумный. Он всегда врывался. На нем всегда было что-то яркое, пестрое. Он всегда опаздывал и из всякого опоздания устраивал шоу. Вот и сейчас распахнулась дверь и... Так и хочется сказать, «с ветром и снегом влетел он». Никакого ветра и снега не было. Но он все-таки влетел.

— Виктор Викторович, дорогой... Простите, умоляю... Опять пробки...

— В шампанском? — съязвил профессор.

— Вы всегда нас понимали. — Тасик развел руками.

И только сейчас в его руке (которой он так театрально развел) я увидел знакомый бумажный стаканчик с кофе. У меня точно такой же стоял на столе.

В голове у меня пронеслись тысячи мыслей: мы шли к институту одним путем, от метро — не по прямой, как короче, а как длиннее. Видимо, он тоже хотел прогуляться. И точно так же он увидел ее и купил тот же самый кофе. Только, конечно, не говорил ей про шнурки. Он не такой дурак, как я. Знаю, как он знакомится. Тысячи раз видел. Так все мило, непринужденно... Я представил себе, как это происходило.

Вот он подходит к ней, улыбается своей пакостной улыбкой. Начинает так же банально, как и я:

— Кофе, пожалуйста.

Она молча готовит. Но он ей уже нравится. Еще бы, такой парень. Он это чувствует, от этого становится еще более уверенным в себе.

— Что-нибудь еще? — спрашивает она.

Он молчит. Не потому, что смущен, просто тянет.

— Что-то еще? — повторяет она.

— Да, если можно, добавьте в кофе немного перца и горчицы, для остроты.

Вот и острота... Она немного удивлена и уже заинтересована.

— Я не слышала, чтобы...

— Знаете ли, в жизни так не хватает остроты, пусть хотя бы кофе...

Ну конечно, она уже смеется. Боже, какой у нее смех! Все, у них уже это случилось... Они уже вместе. В мыслях они уже вместе.

— И где вы такое слышали?

— Когда ездил в Марокко, по первому образованию я востоковед...



Конечно, вопрос о втором образовании напрашивается сам собой.

- А по второму? — она уже заигрывает с ним.
- Сейчас я учусь в физмате... Здесь, недалеко...
- Как интересно... А я еще не выбрала...

Я никогда не мог понять, как у людей так мило и складно идет разговор — слово цепляется за слово, они узнают друг о друге так ненавязчиво, так ловко, так изящно дают друг другу понять, что все возможно... Почему я никогда так не мог? Тогда, на оставке, у нас все было неловко и пошло. Я завязал шнурки, немного помолчал. Она тоже. Ей, по-моему, было все равно. Мне, по-моему, тоже. Она пригласила меня в кафе, сказала, что автобуса все равно не дожидаться... Я пошел. Потом мы пошли ко мне. Все молча, глупо и совершенно некстати.

То ли дело Тасик... Этот подлец сел рядом со мной. Мы вместе сидели. Как-никак друзья. Так значит. Никуда от этой бесполезной и мучительной дружбы не деться. Я завидовал его легкости, он завидовал моей гениальности. Мы соперничали. Хотя каждый был обречен на проигрыш. Он залпом допил кофе и поставил стаканчик на стол рядом с моим. Мы невольно оглянулись друг на друга. Все ясно. Чего уж тут говорить. Я проиграл.

Тасик скучал, лекцию слушал вполуха. И тут я заметил, что он пишет имя в пустом квадратике таблицы Менделеева. Тогда я в первый раз узнал ее имя... Из-под нелепого зеленого фломастера появлялись четкие буквы. Тасик писал как назло медленно, выводя каждую букву, а потом заштриховывая ее... К... И... Я смотрел на его отвратительную руку... Р... А...

Кира?

- Кира, — сказала она, протягивая мне руку.

Я молчал, тупо глядя на нее. Тасик обнимал ее за талию, и ей это, похоже, нравилось.

— Ну, истукан, чего ж ты молчишь? Он скромный, — усмехнулся Тасик. — Любите и жалуйте — Роман, лучший мой друг и коллега. Ну, поцелуй же девушке руку.

Ее рука так и повисала в воздухе, ожидая то ли пожатия, то ли поцелуя.

— Такой девушке, как вы, можно целовать только ноги, — сказал я.

Иногда я, при всей своей неловкости, бывал дерзок и даже неадекватен. Сейчас я просто с ума от ревности сходил. Я встал перед ней на колени, наклонился и поцеловал носок черного пыльного ботинка.

— Можете заодно и шнурок завязать, — сказала она...

Все это было одиннадцать лет назад. И они до сих пор вместе. Вернее, все мы до сих пор вместе.

После окончания института я развелся и совсем замкнулся на своей работе. Тасик иногда звонил мне и доносил какие-то сплетни то про одного, то про другого, не забывая о себе. Я знал, что они с Кирой живут вместе, что она все-таки поступила в театральный институт, но почему-то его не окончила, что живут они паршиво и что Кира без конца обивает пороги всяких киностудий и прочее и прочее.

Вот она... Передо мной... Я не видел ее два года. Я любил ее. Сначала я услышал ее крик. А потом показалась и сама она. Я подумал, что она кричала от страха, но теперь по ее сияющему лицу я понял — она кричала от радости. Это был крик ликования. Она улыбалась. Нет, все-таки она — лучшее, что случилось со мной в жизни.

— Тасик... Я так похудела! Я даже и не думала, что моя система даст такие результаты!

Кира обняла Тасика и поцеловала. Знаю, она хотела вызвать во мне ревность. Зачем? Чисто инстинктивное желание вызвать ревность даже у такого ненужного типа, как я.

— Посмотри... Я вешу всего 20 килограммов... Как ребенок!

Кира поставила на пол весы и театрально, как балерина, расставив руки, встала на них. Это были мои весы, те самые, в которые я вмонтировал микросхемы. Конечно, они показывали вес, но вовсе не тот... Но я не сказал об этом Кире. Она была счастлива, как ребенок.

— Рома, прости, я не поздоровалась... — теперь она уже поцеловала в щеку меня. Инстинктивное желание вызвать ревность, только теперь у Тасика. — Мне просто необходимо похудеть... Меня, кажется, берут сниматься в одном фильме... Тасик, скажи...

— Ну да, да, — недовольно пробурчал Тасик.

— Режиссер, конечно, в меня влюблен, — прощепетала Кира.

Ее послушать — так в нее все всегда влюблены. Тасик часто смеется над этим. Но самое смешное, что это почти всегда правда. Особенно если учитывать то, что она вкладывает в это слово.

— Съемки через месяц. Для этого мне нужно похудеть, покрасить волосы в белый цвет, и вставить черные линзы...

— Кира, милая... Это все чертовски интересно, но у нас с Ромой серьезный разговор...

Кира рассмеялась.

— Пойду съем кусочек торта. А то 20 килограммов — это, по-моему, перебор...



©Дудякова Анна, 2011 г.



Она ушла, оставив в комнате весы.

Мы немного помолчали. Было как-то неловко. Кира — это единственное, что было общего между нами. Абсолютно разными и совершенно не созданными для дружбы вообще с кем бы то ни было, а в особенности друг с другом. И все же я всегда знал, что Кира — сумасшедше красивая, дурацкая, нелепая — должна быть мне благодарна. Для Тасика уважение ко мне было главным стержнем его любви к ней. Он знал, что я по-настоящему люблю эту женщину. И он почти автоматически любил ее. Пока я буду любить ее, его любовь также не иссякнет. Я помню, как он заигрывал с моей бывшей женой по той же причине. Уверен, у них случилось все, что может случиться. Но как только он понял, что я не люблю ее, его любовь также прошла. Что ж, тем хуже для меня. Киру я никогда не разлюблю...

Поток бессвязных и довольно мерзких мыслей прервал Тасик. Он барабанил пальцами по столу.

— Ну... Так что ты там...

— Я сделал то, что задумал еще в универе, — сказал я.

Сказал так загадочно и немного пафосно. Нарочно, конечно, чтобы хоть как-то отомстить Тасику.

— Ну... — нетерпеливо сказал он.

Я видел, что по его щекам ходили желваки, как два камешка.

— Хотел с тобой поговорить. — Я тянул время. Меня это немного забавляло.

— Ну, что за черт...

— Это будет открытие века... Вот только, боюсь, наш век мне этого не простит, — сказал я.

— Оружие, что ли? — удивился Тасик.

— Намного опаснее.

— Вот те на! Опаснее атомной бомбы?

— Ну, в каком-то смысле опаснее...

— Романтик... Дорогой мой друг... Колумб в XXI веке не нужен, все уже давно открыто.

— В том-то и дело, — кивнул я. — Мое открытие для того, чтобы закрывать...

Я взял в руки весы, которые оставила на полу моя Кира, и протянул их Тасику.

— Я изобрел весы, — сказал я.

Это прозвучало так просто и немного наивно, что Тасик, по-моему, даже облегченно вздохнул. Хоть я много раз слышал эту фразу — «облегченно вздохнул», я никогда не понимал, как можно облегченно вздохнуть. Но сейчас, глядя на Тасика, я понял, что действительно можно.

Тасик засуетился, очень доброжелательно мне улыбнулся и даже похлопал меня по плечу.

— Молодец, Ромка... Я всегда знал, что ты великодушный ученый... Что тут... Весы с голосом или с запахом? В чем тут фишка?

Ненавижу это слово — «фишка». А Тасик все время говорит «фишка». По-моему человек, который говорит «фишка» и рассказывает анекдоты, не достоин уважения. Сейчас Тасик был со мной почти нежен, я бы даже сказал, ласков. Наверное, он ожидал, что я изобрету, ну, скажем, машину времени. Я даже на секунду представил себе, как вдруг говорю Тасику: «Привет, я изобрел машину времени». Черт возьми, он бы поверил! Точно поверил бы! Вот тогда бы он поплясал у меня. Я даже пожалел, что не изобрел машину времени. Ради Тасика стоило, честное слово. Но у меня в рукаве еще были припасены джокеры.

— Взвесься, узнаешь, — сказал я.

— Не хочу портить себе настроение, — Тасик улыбнулся. — Видишь, уже брюхо растет.

Он даже приподнял майку, показывая мне свой живот. В этом невинном жесте было все: вот мол, какие мы близкие друзья, что я даже могу показать тебе свой живот, а почему бы и нет? И минуту назад я вовсе не трусил, что ты, мой друг и однокурсник, без пяти минут нобелевский лауреат... До чего же меня раздражал Тасик. Но и это было вполне объяснимо. И причина была, прямо скажем, низкая, недостойная и старая, как мир, — Кира. И хотя Кира была не такая старая, как мир, чувства, которые я испытывал к ней, были не новы, честное слово...

Я положил весы на пол и встал на них. Тасик нагнулся, рассматривая стрелку. Я тоже нагнулся. Мы с ним оба близоруки. Ага... Стрелка показывала 450 килограммов.

— Да они испорченные, — удивился Тасик и испытывающе посмотрел на меня. — Или тут какой-то фокус...

Тасик сказал уже не «фишка», а «фокус». И почему-то вся злость на него сразу прошла. Мне даже стало его немного жалко — говорит «фокус» вместо «фишка» и уже полчаса не рассказывает анекдоты. В общем, он неплохой парень, если бы не моя Кира... О ней я буду упоминать в каждой строчке моего довольно бессвязного рассказа.

— Ну, колись... — Тасик улыбнулся. — Ты же знаешь, моя фирма готова купить любое твоё изобретение... Ух, голова!

Он даже легонько стукнул меня по лбу.

— Это не просто весы...

— Я уже понял!

— Это весы таланта.

Как только я сказал «весы таланта», то почувствовал, что начинаю нервничать. Такое со мной случалось. Только две вещи на свете заставляли меня нервничать — это Кира и мое изобретение. Это я нарочно так сказал — две вещи... Кира точно такая же вещь. Такая же важная вещь, как и мои весы, над которыми я трудился годы.

— Ты п-п-понимаешь! — быстро заговорил я. Когда я волнуюсь, то немного заикаюсь. — Латинского «талант» переводится как «весы»... Уже в самом слове заложена возможность взвесить талант, я думал об этом... Довольно долго чертил схемы, сравнивал вес Пушкина, Толстого, Шаляпина... Ну понимаете, вес не физический... Ты понимаешь, о чем я? И в конце концов мне удалось... В этих дурацких весах микросхема...

Тасик молчал. Я тоже. Мне вдруг стало ужасно весело, хотя я понимаю, что я самый настоящий подлец, который мелко (а вернее, крупно) мстит лучшему другу. Да еще за что мстит! Положение — прямо как в водевиле. Самый банальный любовный треугольник.

Я почему-то некстати вспомнил, как однажды, очень давно, еще в школе, был влюблен в одну девочку. Даже помню, как ее звали — Алиса. Она была самая что ни на есть дура. Я уже тогда, в четырнадцать лет, это понимал. Я уже тогда понял, что настоящая любовь — это любовь к очень недостойному, скверному человеку. Любить достойных легко. Это уже не любовь. Любить, не замечая недостатков, — это на время. А вот влюбиться так, чтобы трезво смотреть на девушку и думать... Она сутулая, кривоногая, ногти все обгрызенные, наверное, истеричка... А все равно нравится, ну нравится!

Это было в седьмом классе. История с Алисой. Но она была влюблена в другого мальчика. Классическая история, которая всегда со мной случается. Этого другого звали Артем. Так вот однажды, на самом обыкновенном и для меня довольно бессмысленном уроке геометрии (бессмысленном потому, что я уже тогда проявлял уникальные способности к точным наукам, а если отбросить всякую скромность, то просто был юным гением), меня вызвали к доске. Меня иногда вызывали — чтобы пристыдить других. Я был что-то вроде показной обезьянки, на которую ходили смотреть. Говорят, так ходили на Моцарта. Но он все-таки хоть что-то играл. Я же просто чертил на доске какие-то фигуры, числа... Но взрослым все равно было интересно. Так вот, стоит у доски этакий чудо-ребенок, немного странноватый, даже диковатый. И чертит на доске равнобедренный треугольник. И вместо классических АВС называет свой треугольник Алиса, Артем, Рома. Ребята, конечно, смеются, Алиса в слезах выбегает, Артем после уроков бьет мне морду. А я драться никогда не умел...

Честно говоря, скучная история. Которая снова повторяется, теперь, когда мне уже тридцать восемь лет. Снова эти дурацкие А, В и С...

— То, что ты сказал... Это... Это серьезно? — спросил наконец Тасик.

— Абсолютно, — серьезно сказал я.

Тасик снова впал в транс.

— И... И какой же вес у... у Пушкина?

— 500 килограммов, — ответил я.

— А есть какие-то... ну... пределы? — спросил Тасик.

— Конечно, как и в человеческом весе... Примерно от 10 килограммов (в эти килограммы входят минимальные человеческие способности) и до... где-то до 570 плюс-минус. Ну, 570 — это, конечно, редкие случаи. Самый толстый человек на планете весит столько, я имею в виду физически. Если килограммы переваливают за двести — это уже, если так можно выразиться, ожирение таланта.

— А ошибка... — Тасик даже не закончил фразу, а я уже отвечал ему.

— Ошибка возможна на три-четыре килограмма, так что почти равна нулю.

Я даже не заметил, что все это время стоял на весах. Как бы рекламируя свое изобретение. Тасик еще раз мельком взглянул на стрелку весов. Я даже увидел его мысли без какой-либо чудо-машины. Держу пари, что он подумал что-нибудь вроде «у этого кретина вес почти как у Пушкина, черт его дери вместе с Пушкиным».

Тасик так и не взвесился. Бойтесь, гад. Я даже подумал, глядя на Тасика, что такие весы не нужны. На кой они? Я и так знаю, какой мой вес. И Тасик тоже, кажется, знает...

Несколько секунд Тасик молчал. В нем боролись весьма противоречивые чувства — с одной стороны, чисто дружеская зависть, с другой — прагматизм.

— Ну что ж... — Тасик вдруг крепко пожал мне руку. — Поздравляю! Это открытие века... Ты прав, оно многих закроет...

В комнату вошла моя Кира. В руках у нее был большой кусок торта, все щеки были измазаны шоколадом.

— Тасик, мне, кажется, надо поправиться. Это же дистрофия.

Тасик молча посмотрел на нее и кивнул. Она улыбнулась, и я заметил, что у нее все зубы в шоколаде. Я подумал в эту минуту, что все бы на свете отдал за эту девушку. Все... Но у меня ничего не было. Кроме этих весов. Которые в который раз показали, что любовь — это... любить девушку, которая весит всего 20 килограммов. Вот это любовь.

Вечер закончился бурным отмечанием моего открытия. Киру мы не посветили в свой секрет. Я хотел, чтобы она услышала обо всем по телевидению. Может, тогда она меня полюбит. Как и все женщины, она была склонна влюбляться в тех, в ком ценила успех. Талант. Как и все женщины, она выбирала



по весу. В ее глазах сейчас я ничего не весил. Пока. Тасик в ее глазах весил немного больше. Немного.

В этот вечер пьяный и завистливый Тасик рассказывал мне о ней. Как и у меня, у него было две темы — это я (со своей гениальностью) и Кира (со своей красотой). Две весьма болезненные темы. Иногда он сбивался и начинал говорить обо мне, о нашей учебе, о его надеждах стать хорошим ученым, о том, что ради Киры он загубил свой талант (это вранье, губить было нечего) и стал зарабатывать деньги.

Тасик напился, стал разговорчив, дружелюбен и все время говорил «наше открытие». Я не хотел слушать всю эту чушь и аккуратно переводил разговор в нужное русло. В этот вечер, после долгих лет моего добровольного заточения, я наконец впервые поговорил с лучшим врагом о не своей любви.

Оказалось, что Кира — та еще штучка. У нее, как у той девицы из «Легкого дыхания» Бунина, совершенно снесло крышу (это я передаю слова Тасика). У Бунина это было сказано несколько иначе: «Последнюю свою зиму» она «совсем сошла с ума от веселья, как говорили в гимназии».

Кире очень нравится нравиться, и она мечтает стать актрисой. Каждое лето, как на работу, ходит на экзамены в театральные вузы и с завидным постоянством (которое ей, впрочем, чуждо) проваливает эти экзамены. Наверное, ее 20 килограммов дают о себе знать. А в другие времена года — осенью, зимой и летом — она пытается познакомиться с каким-нибудь типом, который весил бы хотя бы 500 килограммов, как Пушкин. Недавно она подцепила такого. Он режиссер. Эдуард Курносов. Довольно скверный тип, но, говорят, талантлив, как черт. Делает самое настоящее кино, и кажется, если еще не вошел в историю, то уже одной ногой там.

Тасик даже поведал мне название его последнего фильма: «Из бездны в бездну. Симптомы». Я представил себе типа, который мог дать фильму такое название. Он, наверное, плюгавый, немного экстравагантный, непременно с прической каре. А может, наоборот — толстый коротышка с красной физиономией. Курносов оказался чем-то средним между первым и вторым. Мне вдруг стало до чертиков грустно, когда я вдруг представил себе, как Кира пытается понравиться этому Курносову.

Наверное, она всеми правдами и неправдами попала на кинопробы. Тасику соврала что-нибудь, причем это вранье было до пошлости глупым, настолько, что в него просто стыдно было не поверить — типа пошла к подруге или в парикмахерскую.

Я представил себе, как все эти полубезумные девушки рвутся на эти чертовы кинопробы. И среди них моя Кира. Нет, она вовсе ничем не выделяется на фоне остальных. Она — такой же фон. В каком-нибудь не-

навязчиво приоткрытом платье или узких джинсах. Она так же красива, как и сотни других. Представляю, как Курносова тошнит от всей этой молодой, пестрой, глупой красоты. Но Кира... Она ведь еще и хитрая. Уж я-то ее знаю. Может, на пробах разревелась или еще что-то в этом роде. Уж не знаю как, но вечером Курносов пригласил ее в ресторан. И теперь она должна похудеть, стать блондинкой и вставить черные линзы.

Так она получала какой-то дурацкий эпизод. Моя рыжая разноглазая Кира... Эта девочка умеет своего добиваться. А как бы я хотел добиться ее.

— Ну, теперь-то она узнает! — кричал Тасик. — Наше изобретение еще прогремит!

В этот момент мой милый пьяный друг даже не испытывал зависти. Это уже было нашим изобретением. Хотя бы на сегодняшний вечер.

Ночь я провел у них на кухне. Мне было невыносимо тоскливо, жалко Тасика и противно от самого себя. И вообще как-то скверно на душе. Моя любовь к этой дрянной девушке уже становилась какой-то манией. И я подумал, что люди любят примерно одинаково. Ведь любят все. И жадные, и глупые, и гении, и безумцы, и негодяи. На какой-то период все они становятся одним и тем же — лучше, чем есть на самом деле. Но потом вновь жадный становится жадным, глупый — глупым, а негодяй — негодяем. Я был ни первым, ни вторым, ни третьим. Я был никем. А она была для меня даже более желанной, чем Нобелевская премия.

Я проснулся от легкого прикосновения чьей-то руки, открыл глаза и увидел перед собой ее. Она редко мне снилась, а сейчас была передо мной, как во сне. Из окна падал яркий утренний свет, какой бывает только очень ранним утром, и этот свет пронизывал ее волосы насквозь. Казалось, что ее волосы горят и их надо потушить.

— Доброе утро, Рома, — сказала она своим низким взрослым голосом.

Я слышал, как она иногда шепелявила с Тасиком, как девочка. А со мной всегда говорила только так — немного строго и насмешливо.

— Проводишь меня? — спросила она. — Тасик, кажется, вчера перебрал.

Я кивнул и быстро встал. Ночью я даже не разделся, так и заснул в джинсах и своей нелепой свадебной рубашке.

— Обещал довезти меня на машине, а сам проснуться не может...

Наивно было полагать, что я умею водить машину. Я вообще ничего не умел и был довольно ничемным типом. Она это знала. Тасик ей говорил об этом не раз, уверен.

— Я возьму такси, — мрачно сказал я.

Всю дорогу она говорила мне о кинопробах. Говорила очень подробно и немного навязчиво. Она была к тому же честолюбива. Но так, как все красивые девочки, которые почему-то хотят сниматься в кино.

— Это потрясающий фильм! — говорила она. — Не просто какая-нибудь безделушка, а серьезный проект для мыслящих людей.

В какой-то момент мне показалось, что я говорю не с ней, а со своим соперником — Курносовым. Это были его слова. Слова, которые мне бы он никогда не сказал, слова, заготовленные для таких вот бессмысленных черноглазых блондинок, как моя зеленоглазая рыжая Кира.

— Это будет фильм о бессмысленности человеческой жизни. Действие происходит в тридцатых годах прошлого века... Я буду играть возлюбленную главного героя... Наверное, у меня будет бальное платье... да?

Я кивнул. Моя милая Кира думала, что прошлый век был девятнадцатым. Я не стал ее в этом убеждать. Она вкратце пересказала сюжет фильма. Это было что-то размазанное и никчемное, но она с таким жаром уверяла, что Курносов гениальный режиссер, что я поверил. У него целая куча каких-то наград, и его знают почти во всем мире. Мне немного смутило слово почти. Когда так расхваливают человека, то на «почти» обычно не остается места.

Я заметил, что Кира говорит слишком громко, видимо, хочет, чтобы ее услышал таксист. Он несколько раз обернулся на нее, и это ей, по-моему, польстило. Кира чувствовала себя почти актрисой. Мне стало ее немного жаль.

— Проверишь меня? — она протянула мне какие-то смятые листы. Пока она их нашла в своей сумочке, прошла целая вечность. Я мог бы часами наблюдать за тем, как она копается в своей сумке. Как у нее от негодования немного приоткрыт рот и волосы все время лезут в глаза.

— Вот! Это мой кусок. — Она, как школьница, подсмотрела на текст и начала говорить, краем глаза наблюдая за таксистом. Смешно, что произвести впечатление на таксиста ей было так же важно сейчас, как пару дней назад на Курносова.

— И что? — сказала вдруг она, немного меняя голос.

Я молчал.

— Ну... А ты отвечай... Я же не могу без партнера, — прошептала она.

Я заглянул в сценарий и ответил.

— Ничего.

— И что?

Я снова посмотрел в листы. Диалог со словами «И что? Ничего» повторялся три раза.

— Ничего... Тут это два раза, — оправдывался я.

— Рома, не рви тонкую нить повествования... Это же вдумчивое кино.

Мне вдруг показалось, что я черноглазая блондинка в ресторане с Курносовым и он говорит мне про тонкую нить повествования. Стало как-то грустно, что я не родился женщиной. Наверное, им живется веселее. Можно изменить цвет глаз, волос, фигуру, прическу, а мир от этого не изменится.

— И что? — третий раз сказала Кира, пытаясь что-то играть. Что, я так и не понял.

— Ничего, — ответил я ей.

Дальше следовал другой диалог.

— Ветер, слышишь? — немного томно сказала она.

— Это не ветер, это шепот... — Эта фраза была, видимо, так хороша, что автор (он же режиссер Курносов) решил произнести ее еще раз.

— Нет, это ветер, — играла Кира.

— Нет, это шепот, — отвечал ей я.

Таксист уже потерял к нам всякий интерес, и я подумал, что вдумчивое кино не для него, он бы точно разрушил тонкую нить повествования, переключив канал, а, скорее всего, просто не включая его...

Мы приехали вовремя. Кира умоляла меня остаться с ней. Она страшно боится этих проб. Место действия было весьма прозаично — обычная комната, куда набилась куча девиц, которые были очень милы друг с другом, всем своим видом пытаясь показать, что они не конкурентки. Мне даже стало немного страшно: все они были одинаковые — блондинки с черными глазами. Комната была вся в зеркалах, и каждая из них пыталась выучить текст. Я слышал со всех сторон:

— И что?

— Слышишь? Ветер...

— Это шепот...

— И что...

— Шепот... Ветер...

Я подыгрывал Кире, чтобы получился диалог. Она называла меня партнером. Ей, кажется, нравилось это слово. Может быть, это слово несколько раз произнес Курносов. Слово, конечно, скверное, но мне было до чертиков приятно, что она так говорит. Все же я был для нее никем. А тут хоть на пару минут она повысила меня до партнера. Вдруг все девушки замерли, через гримерку в другую комнату прошел какой-то здоровенный тип с очень белыми волосами и довольно женственным лицом.

По реакции девушек я понял, что этот тип знаменит и красив.

— Не может быть... Это Величаев! — шептала мне на ухо Кира, и я чувствовал, что моя любовь к ней



действительно мания, если она не проходит даже сейчас, когда я вижу несколько штук таких, как она.

— Хороший актер? — для приличия спросил я.

— Не знаю, но футболист потрясающий... Как он играет!

Мне стало невыносимо скучно. Первой на пробы пошла, естественно, черноглазая блондинка. Одна из них. А все остальные прильнули к закрытой двери, пытаюсь хоть что-то услышать. И услышали. Видимо, по роли нужно было петь. И она запела.

Я сидел в стороне и думал о том, что скоро стану знаменит, получу Нобелевскую премию благодаря своему нехитрому изобретению, женюсь на Кире (у нее слабость ко всяким премиям, а о Нобелевской она даже слышала) и уеду с ней в деревню. Жить. Просто жить. В округе не будет людей, только я и она. Тасику, в залог и в качестве извинений, оставлю какие-нибудь свои чертежи и разработки, пусть пожинает чужую славу. А я хочу пожинать чужое счастье.

В этот момент я услышал вдруг музыку... Очень знакомую прекрасную музыку. Я всегда был не слишком грамотный во всех областях, кроме точных наук, но, изучая вес гениев, немного поднатрел. Это была музыка Моцарта. Того самого, у которого было ожирение гениальности.

— Алло! — сказала Кира, и музыка прервалась. — Да, милый... Да, со мной... Какие весы? Какого таланта? Ну конечно, приснилось, ты вчера перебрал...

Это звонил Тасик. Мой добрый друг Тасик, которому приснилось, что ему все приснилось.

— Он просит тебя срочно приехать, — растерянно сказала Кира и тут же забыла и обо мне, и о Тасике, потому что противный голос помрежа крикнул: «Кира!..»

Через минуту я услышал, как поет Кира. Даже я, влюбленный бесконечно и безнадежно, покраснел от этого пения. Видимо, у Киры певческого таланта было не больше 5 кгэ. Мне стало ее жалко, и даже в этой жалости я увидел повод для любви к ней...

Домой я добирался на автобусе, без билета. Все деньги потратил на этого чертова таксиста, которому Кира почему-то хотела понравиться. Денег у меня никогда не было, но мне этого вполне хватало. Я уселся у окна, время от времени наступая на пятки какой-то тетке. Как в детстве — всегда хочется сидеть у окна, глаза на бессмысленных прохожих. Я вспомнил бывшую жену, с которой нас познакомил автобус, и мне стало невыносимо грустно, что все эти воспоминания принадлежат какому-то чужому мне человеку, кому угодно, только не мне. Я наблюдал за ними как за незнакомыми мне прохожими из окна автобуса. В моей настоящей

жизни, которая началась сразу после окончания университета, был тот самый вакуум, то одиночество, о котором я всегда мечтал. У меня была чужая любовь, мифический друг, и реальным для меня оставалось только мое изобретение, на которое было положено все, что может положить человек на весы. На эти весы я все и положил.

Меня, как человека неудачливого в бытовых делах, словил контролер, и я с видом обреченного долго доказывал высокой смуглой женщине с завивкой, что у меня нет денег. Выворачивал карманы и открывал пустой кошелек.

— Скоро я получу Нобелевскую премию и все отдам, — искренне сказал я.

Она впервые за все время нашей нудной перепалки улыбнулась и махнула рукой:

— Иди уж, алкоголик.

Мне было даже приятно, что она назвала меня алкоголиком. Было в этом слове что-то до боли реальное, лишенное одиночества. И мне впервые за полгода показалось, что я все-таки существую...

У подъезда меня ждал Тасик, примостившись на детские качели. Одет он был как всегда с иголки — белый пиджак, белый плащ, белые брюки. Он вообще любил носить белые брюки, видя в этом какой-то особый шик. Вчерашняя пирушка никак не отразилась на его красивом холеном лице. Глядя на него, я даже подумал, что если бы был женщиной, то я точно бы в него влюбился. Сейчас же он меня до чертиков раздражал.

— Я завтра уезжаю... В Хельсинки. Насчет микроволновых печей. — Тасик закурил, хотя давно бросил. — Хотел тебя видеть перед отъездом... Слушай... Это все правда, что ты вчера молол?

Когда Тасик встал с качелей, то я с радостью заметил, что качели покрашены, но почему-то не сказал ему об этом.

— Я слов на ветер не бросаю...

Я выразился довольно картинно. Хотя анекдоты, пословицы и устойчивые выражения меня раздражают. Но сейчас слово «ветер» напоминало мне о Кире, и поэтому я так сказал.

— Ну ладно, пошли... Покажешь мне чертежи и микросхемы. Надо же что-то решать, — хмуро сказал Тасик. — А ветер-то какой, а?

Он запахнул свой дорогой плащ с отливом.

— Это не ветер, это шепот, — брякнул я.

Тасик с удивлением посмотрел на меня, и я понял, что Кира не показывала ему этот дурацкий текст.

Мне стало весело. Значит, Тасик не был ее партнером. А я был.

Дом мой был похож на пещеру. Кругом паутина, тараканы и вообще какой-то кошмар. Стекла окон

из-за уличной грязи и пыли как будто были выкрашены в серый цвет. Стол завален бумагами. Один стул — для меня, потому что больше ко мне никто не ходил. И тогда зачем мне второй стул? Теперь же этот вопрос встал особенно остро. Тасика как дорогого гостя я посадил на единственный стул, а сам смастерил себе табуретку из книг: подо мной лежали Достоевский, Декарт, Большая советская энциклопедия, Шекспир и русские народные сказки. Я с гордостью чувствовал, что сижу на сокровище всех веков и народов.

Я очень подробно рассказывал Тасику о том, как я придумал принцип работы и схему. Сначала, естественно, на бумаге. Человек всего лишь механизм, просто нужно его изучить. А такие вещи, как талант или любовь, — всего лишь детали. Просто их не видно, как не видно радиации или молекул. Но если представить, что они есть, чисто теоретически, то теоретически можно их и подсчитать. Не знаю, как насчет любви — это субстанция изменяется каждую секунду, и это нечто слишком индивидуальное, чаще чисто физическое, то, что для меня не представляет интереса в научном смысле. Но талант... талант совсем другое дело. Человек уже рождается с определенным весом. Не только с определенным весом тела, но и с определенным весом таланта, который с возрастом, если позволит природа, увеличивается.

Показал Тасику свои вычисления. Пушкин, Чайковский, Шаляпин, Толстой, Ницше, Эйнштейн, Эйнштейн... Я брал индивидуумы из разных областей и пытался подсчитать, сколько весит их талант. За стандартную меру измерения я взял обыкновенные килограммы.

Тасик смотрел на мои расчеты, записанные неровным быстрым почерком. Это были годы трудов, безнадежных и глупых трудов. Но этот труд принесет мне все, о чем я мечтаю. Под словом «все» я понимал, конечно, Киру... Впрочем, за полгода заточения я вконец одичал, перестав адекватно воспринимать людей и окружающий мир, и теперь, когда все было закончено, не понимал, как жить дальше. Жить с этим...

Тасик хмурился, читал молча, нервно жевал жвачку. Интересно, что в этот момент делает Кира? Наверное, пробивает себе дорогу наверх. Я представил, как она пытается очаровать этого Курносова и этого отвратительного футболиста. Обоих сразу. Когда она стала жить с Тасиком, то была слишком маленькой девочкой, теперь она выросла. Почувствовала вдруг свою особенную пошловатую красоту. Это все, что у нее было. Ни особенного ума, ни таланта. Только красота и молодость. И она собиралась выжать из этого все.

Иногда я с радостью думал о том, какая она отвратительная, никчемная и бессмысленная... И мне было от этого мучительно приятно. Что я, такой трезвый и хладнокровный человек, люблю девушку, о которой знаю все. Как писал Бальзак, импровизированная страсть. Может, никого из критиков эта фраза и не зацепила (случайно произнесенная, если мне не изменяет память, в «Шагреновой коже»), но для меня в этих словах было простое объяснение любви: просто импровизация, просто любовь, выдуманная и взлелеянная мною же, я бы даже сказал, любовь — как изобретение... Этот велосипед каждый изобретает для себя сам. Велосипед, который все равно никогда не поедет, потому что вечных двигателей не бывает.

Тасик по-прежнему молчал. Я видел, что он уже все прочитал. И просто делал вид, что снова и снова пробегает глазами. Наверное, соображал, что сказать.

— Так, так... — произнес он.

Тасик был не слишком умен, чтобы сказать что-нибудь другое.

— А почему Зинаида Гиппиус весит всего-то 48 килограммов? — спросил вдруг он.

Я пожал плечами.

— А мне ее стихи нравятся, — задумчиво сказал он.

Это было так некстати, что я даже улыбнулся.

— Ну и на здоровье! Можно ценить и 48 килограммов.

Тасик был как-то очень задумчив. Я молчал, ожидая, что он скажет. Он всегда был для меня чем-то вроде агента, проньюрой, который знает все ходы и выходы. И все-таки я относился к нему с почти братской нежностью.

Когда я подумал об этом, то даже растрогался. Бывает ведь такое, что судьба как-то случайно свяжет тебя с каким-нибудь прескверным типом и ты вынужден любить его, как любят нелюбимых родственников. Оказывается, с друзьями развестись даже тяжелее, чем с женой. Моя жена ушла от меня тихо и безболезненно. Развод мы праздновали так же весело, как и свадьбу. В загсе нам выдали красивый диплом о расторжении брака (почему-то красного цвета, хотя едва ли мы заслужили красный диплом в нашем бессмысленном браке), затем мы пришли домой, и она — моя банальная, бытовая, очень женская жена — позвала каких-то друзей, накрыла стол, и я даже предложил ей надеть свадебное платье.

За два года женитьбы мне как-то особенно понравился рассказик Николо Макиавелли (в то время я как раз занимался эпохой Возрождения, подсчитывая вес мастеров того времени). Так вот, эта была преславная вещица, я бы даже сказал, написанная с



документальной точностью, — о том, как некий черт был послан своим шефом «оттуда» на землю с предписанием жениться и проверить, как живут люди. Этот самый черт, прожив со своей чудной женой, так намаялся, что стал проситься опять в ад, только бы не жить с нею... Эта новелла имела, между прочим, большой успех, я перечитал ее в нескольких вариациях — душещипательный рассказик перевел в стихотворную форму Лафонтен, а Уилсон написал по ней пьесу.

В конце концов я и сам уже был готов проситься в ад. Впрочем, после развода еще полгода мы жили вместе. Ей некуда было идти. Мы именно жили. Как соседи. Как скучные люди, лирики и романтики в душе, которые вынуждены быть злыми мизантропами, живя под одной крышей. Нет, она меня не раздражала. Подозреваю, что ее раздражал я. Женщины куда более раздражительны. И я с нескрываемым нетерпением ждал, пока же она найдет нового типа, к которому переедет жить. Как добрый друг, я радостно встречал ее после свиданий, спрашивал: ну как? А она, не понимая меня, списывала мою странную заинтересованность в ее личной жизни на высоту моей натуры. Хотя в этом была моя низость. Я мечтал об одиночестве. Наконец она кого-то нашла, пафосно сообщила мне об этом, мечта, по-моему, о сцене ревности, хотя это уже было, скорее, инстинктивное желание. Затем я лично помогал ей собирать чемоданы и был излишне любезен. В какой-то момент даже струхнул, что переусердствовал, и она возьмет да останется. Но она ушла. И я был счастлив так же, как в день свадьбы и в день развода.

После ее ухода я стал как-то незаметно опускаться, возвышая науку. Я трудился над изобретением днями и ночами, мечтаю при этом о Кире. С тревогой подозревая, что если когда-нибудь и женюсь на этой девушке, то наверняка буду мечтать о том, чтобы провести неделю в аду.

— Значит, так, — сказал Тасик.

В его голосе я почувствовал деловые нотки. Так, в моем друге просыпается пионервожатый, староста курса, карьерист и начальник.

— Первым делом я запатентую изобретение. Затем мы организуем пресс-конференцию, на которой заявим о сенсации...

Я кивнул. Мне было все равно. Лишь бы поскорее все это закончилось. Что «все это», я не знал. Но смутно догадывался, что «все это» — не из приятных.

Тасик сидел у меня до вечера. Я подробно, как школьный учитель, объяснял ему до мельчайших подробностей то, как работают весы таланта. Он слушал меня внимательно, с нескрываемым восхищением. Иногда я замечал, как Тасик доставал из

кармана пиджака мобильный и смотрел на экран. Звонка от Киры так и не было.

— Если она мне изменит, я ее убью, — сказал вдруг Тасик.

Эти слова прозвучали так некстати, что я в них поверил. И втайне позабавился: изменит... Хотел бы я, чтобы Кира мне изменила. Слово «измена» уже таит в себе свершившиеся отношения, любовь, жизнь, счастье и предательство. Кира мне никогда не изменит. Тем, кого нет, невозможно изменить.

Под вечер я выпроводил Тасика, завалился на кровать и заснул беспокойным сном гения.

Ночью я услышал настойчивый стук. Я даже не понял сначала, кто это. Стук не прекращался. Я встал и инстинктивно пошел на этот стук, который, кажется, шел от двери.

И вот представьте себе, что когда я открыл дверь, то увидел на пороге Киру. Это было так неожиданно, что я даже не смутился своего довольно неприятного вида, какой обычно бывает у людей, которых неожиданно подняли с постели.

— Можно? — спросила она.

Я все соображал: кто это и чего она хочет? Пока, наконец, до меня дошло, что это женщина моей мечты, прошло несколько секунд.

— Почему ты стучала? — спросил зачем-то я.

Это первое, что пришло мне в голову. Кира задумалась. Она не знала, зачем стучала.

— А что, ты уже изобрел звонок? — она улыбнулась и нажала на звонок. Послышался противный визг.

— Проходи, — сказал я.

— Прости, что так поздно... Мы с Тасиком страшно поругались, и я сбежала из дома.

Только сейчас я заметил в ее руке чемодан, который она поставила почему-то возле моих ног. Этот чемодан был моим трофеем. Что может быть прекрасней чемодана любимой девушки?

Кира по-хозяйски вошла в мою комнату. Только сейчас я заметил, что она была в милом спортивном костюме черного цвета с белыми полосками по бокам. Этот спортивный костюм взбудоражил меня больше, чем любое самое красивое платье. Она была в нем так мила, так по-детски нелепа, как будто только-только сбежала с урока физкультуры. Видимо, просто не успела переодеться.

— Я тебе не стесню, — произнесла она дежурную фразу.

— Что ты, буду только рад, — так же дежурно ответил я.

Почему-то с любимой девушкой всегда хочется говорить дежурно.

— Хочешь есть?

Я надеялся, что она скажет: не хочу. В холодильнике у меня почти ничего не было, кроме старых слипшихся пельменей. Но она сказала: хочу. А чего еще можно было ожидать от Киры. Видели бы вы, как она ест. Как голодный подросток. Сейчас она сидела за моим столом в предвкушении старых пельменей, рассказывая, как и почему она поругалась с Тасиком. Чемодан я зачем-то притащил на кухню и поставил рядом со своим стулом. Я любил этот чемодан и не хотел с ним расставаться.

— Я прошла пробы, — начала Кира. — Знаешь, я оказалась самая талантливая среди этих выскочек, хоть никаких институтов не заканчивала. Видно, это у меня природное... Курносов потрясающий человек. Он гений, нет, правда, не смейся, он настоящий гений. Когда-нибудь ты будешь гордиться тем, что знаешь человека, который знал Курносова. Его фильмы... Это... Это безумие. Понимаешь, великое безумие. Для меня было очень важно получить эту роль... Очень. И вот, когда все закончилось, он пригласил меня в клуб. Только прошу, ничего такого не подумай. Он не меня лично пригласил, там была вся съёмочная группа. А я тоже теперь вроде как съёмочная группа.

— Тебе он нравится? — с тоской спросил я.

В эту секунду я испытывал к Кире странное чувство — как будто она была для меня не женщина, а человек. Восхитительный и любимый человек. Я спросил это таким тоном, как, наверное, спросила бы ее мама.

— Если ты имеешь виду то, что я подумала, то нет. Нет и да...

— А что ты подумала?

Вода в чайнике закипела, и я бросил туда пельмени. Кира с некоторым удивлением посмотрела на это.

— Еще одно твоё изобретение?

— Ага, так быстрее, — ответил я. — Ну, так как?

— А никак. Я безмерно уважаю его. Как творческую личность, конечно. Тебе этого не понять. Ты так далек от творчества.

Не выношу эту фразу — «творческая личность». Есть в ней что-то мерзкое, не находите? Только не творческая и не личность может произнести это гнусное словосочетание. И я произнес. Причем с какой-то вызывающей обидой.

— По-твоему, физик не может быть творческой личностью?

Этот вопрос поставил Киру в тупик. Несколько секунд она молчала, и по ее сосредоточенному лицу я понял, что она думает.

— Может быть, может.

Мне вдруг показалось, что это очень романтично. Кира в моем доме. Так неожиданно для меня.

На моей кухне. Ест мои пельмени. Я был почти счастлив.

— Я боюсь Тасика, — вдруг неожиданно тихо сказала Кира. — Он... Он страшно ревнив. Я боюсь, что он однажды убьет меня.

Мне стало смешно. Наверное, каждая женщина хочет, чтобы ее убили из-за любви. Тасик бы не смог, он всегда носит белые штаны и белую рубашку, а убийство — дело грязное. Но мысль о том, чтобы убить Киру, мне понравилась. Я стал представлять, как бы это сделал я. Наверное, я бы ее отравил. Да, это, пожалуй, лучше всего.

— Он ревнует меня к Курносову, — сказала Кира. — А это так глупо, честное слово... Это просто смешно. У Курносова очень милая жена. Ты, наверное, слышал о ней... Она очень модная художница. Ее картины сейчас в моде... Ты даже меня не слушаешь...

Я действительно не слушал. Мне было невыносимо скучно. Была минута, когда я едва не поддался соблазну рассказать Кире о своем изобретении и о том, что вскоре стану знаменит и она непременно меня полюбит. Или решит, что полюбит. Что в общем-то для нее одно и то же. Но я вовремя удержался. Мы сидели с ней за столом, разговаривали, и я понимал, что сейчас она доест эти бессмысленные пельмени, встанет и пойдет спать. Все очень просто, как это и бывает в быту. Я постелю ей постель, оставлю на кровати свою пижаму, как честный и гостеприимный хозяин. И на этом все закончится.

В моей голове прокручивались тысячи мыслей. Мне нужно было, чтобы она встала. Просто встала за какой-нибудь бессмысленной вещью, подошла к окну или к шкафу. И что тогда? Я трусливо подкрядусь к ней и обниму, даже не видя ее глаз.

— У тебя есть соль? — Этот вопрос прозвучал весьма кстати и поэтому привел меня в некоторое смятение.

— Возьми в шкафу, слева, — сказал я.

Она встала и подошла к шкафу. Вот тут бы я и мог подлететь к ней, взять ее за руку и поцеловать. Но я не шелохнулся. Это самое сложное — выбрать ловкий момент для неловкого поцелуя. Второй поцелуй будет легче. Третий — уже как само собой разумеющееся... Кира взяла соль, каким-то очень некрасивым мужским жестом посолила пельмени и начала есть. Я заметил по себе, что с каким-то странным упоением замечаю все ее недостатки и некрасивости.

— Спасибо, что приютил меня.

Я хотел развести руками: мол, не за что. И опрокинул соль. Тысячи мелких частиц на скатерти, белых атомов, которых почему-то боятся люди.



— К соре, — грустно сказала Кира.

Она взяла щепотку соли и посыпала мне через плечо. Я быстро перехватил ее руку и поцеловал. Начало было положено. Эта детская рука с обгрызенными ногтями была теперь словно бы путеводной нитью к ее лицу. Я перегнулся через стол и поцеловал Киру. Кира как-то случайно оказалась в моих объятиях.

Я много раз себе это представлял и теперь больше предавался не тому счастью, которое тихо овладело мной, а очень хладнокровно, быстро, как разведчик, соображал, что же мне делать дальше. Я целовал ее, а про себя думал, что нельзя останавливаться. Что если я остановлюсь, то нужны будут какие-то слова. И они наверняка окажутся неверными. Я целовал ее потому, что хотел закрыть ей рот. Чтобы она молчала. Теперь от простого случайного поцелуя надо было перейти к большему — потом хотя бы будет какой-то повод продолжать отношения... Все это я быстро обдумывал, целуя ее. Это был почти план действий. Ее длинные жесткие волосы все время мешали — лезли мне в рот, и я боялся, что она оторвется от меня, чтобы поправить волосы. Забавно, что в такой ситуации я даже успел позавидовать Тасику — он был куда раскованнее с женщинами. Держу пари, что, целуя девушку, он никогда не думал о том, о чем думал я. Я же не просто думал, а думал о нем...

Теперь нужно было расстегнуть ее кофту, это уже будет хоть каким-то продолжением. Не могу же я бесконечно затыкать ей рот поцелуями. Я начал расстегивать ее кофту. И запутался. В этих дурацких застежках. Это были даже не пуговицы, не молния, а черт знает что. В какой-то момент я понял, что тупо смотрю на свои пальцы, которые пытаются что-то сделать с этой ужасной застежкой. А она, должно быть, смотрит на меня. Сверху вниз. А моя гениальная голова, набитая мыслями, уже начинала лысеть. И она смотрит и смотрит на меня. Сверху вниз... И я чувствовал себя идиотом.

И вот тут случилось то, чего я боялся. Случились слова.

— Сразу видно, что у тебя не было девушки в этом сезоне, — сказала Кира.

Я был так взволнован, что никак не мог сложить сказанные ею слова во что-то разумное. Девушка... В этом сезоне. В каком сезоне?

— В каком сезоне? — спросил я, лишь бы что-то спросить.

— В этом... Сейчас это модно, все такое носят. Смотри, как это расстегивается.

Она, как в магазине, продемонстрировала мне, как правильно расстегивать эти петли. Я смотрел. Причем не просто смотрел, а честно запоминал как.

Потом она проворно застегнула спортивную кофту, встала и молча вышла в другую комнату.

У меня не было ни обиды, ни злости, а только мучительная, бесконечная тоска. Все пропало. В этот момент я подумал о Тасике, и мне стало нас немного жаль.

— Ну где же ты? — от неожиданности я даже вздрогнул.

Ее голос звучал так просто, так бытовому. Я встал и пошел к ней.

В комнате было темно. Я никак не мог привыкнуть к темноте.

— Ты здесь? — спросил я.

— Ну конечно, а где же мне еще быть?

И все показалось вдруг так просто. И вправду, а где же ей еще быть?..

По утрам меня будило небо. Оно заглядывало в окно — всегда яркое. С солнцем или без. Я открывал глаза, и иногда мне казалось, будто я оторван от земли. Перед глазами только небо, и больше ничего. Потом я медленно просыпался. Небо заключалось в рамки окна, как на фотокарточке старого знакомого. И в нем не было ничего особенного...

Только сейчас я припомнил события прошлой ночи. Кира... Неужели она была со мной? Значит, она меня все-таки любит, а может быть, любила все эти годы. И причем тут слава, деньги и мое дурацкое изобретение? Все так просто. Как у самых простых и прекрасных людей. Есть двое. И между ними случается любовь. И совсем не обязательно, чтобы один из них был нобелевским лауреатом...

Кире рядом не было. Было очень тихо, и я решил, что она ушла. Я даже обрадовался. К чему лишние иллюзии? И вдруг в кухне послышался грохот. Кто-то что-то уронил. Ясно, что этот кто-то — Кира. Я окончательно проснулся. Мне стало почему-то очень радостно — давно я не просыпался вот так, от того, что кто-то что-то уронил на кухне. Это было как в детстве.

Увидев меня, Кира улыбнулась. У нее были хорошие новости. Она разбила сахарницу, и теперь сахар, как искусственный снег, рассыпался по всей кухне.

— Это к сладкой жизни, — сказала она, нежно улыбаясь.

Я внутренне содрогнулся от словосочетания «сладкая жизнь». Было в этом что-то жутковатое.

— Я поживу у тебя, не против? — спросила вдруг Кира.

Спросила это так просто и мило, как будто в этом вопросе не было ничего такого... Ни Тасика, ни нас. Как же с ней все до противного просто! Я преклонялся перед ее простотой.

— А как же Тасик? — лениво спросил я, хотя мне было все равно.

— Он сегодня улетает в командировку, вернется — все решим...

Я снова и снова умилялся ей. Слово «командировка» звучало как-то пошло, а «все решим» — как-то глупо. Но я не сопротивлялся. Мне ужасно захотелось сказать Кире какой-нибудь пошлый комплимент. Типа:

— Ты самая красивая в мире.

Но Кире, видимо, приелись подобные нежности.

— Ну Рома... Ты за мир не говори. Ты же нигде не бывал, а единственная женщина, которая у тебя была, — Мария Кюри.

Я даже опешил. Вот те на! По правде сказать, мне это даже польстило — значит, они с Тасиком говорили обо мне. Тасик, конечно, говорил гадости. А что еще может сказать о тебе лучший друг?

— Ты хочешь сказать, Склодовская-Кюри. А откуда ты ее знаешь? — осторожно спросил я.

— Ах, да откуда же мне ее знать... Так говорит Тасик.

— Ну почему же, — возразил я. — Еще была Мария Гёпперт-Майер.

— Ах, одни иностранки! И все Маши, — вздохнула Кира.

Я улыбнулся. Обожаю, когда она говорит глупости. Может, я просто чересчур умен, чтобы западать на умных женщин? А может, и вправду, кроме двух нобелевских Марий, у меня в жизни не было женщин. Забавно: я всегда считал, что женщины умнее мужчин. Жаль только, что весь свой ум они тратят на всякие глупости.

Мы, как влюбленные молодожены, сели за стол пить кофе. Сахар никто не убрал, и я подумал, что если этого не сделает Кира, то сахар так и останется тут навечно. Ну и пусть. Значит, когда случайно рассыпается сахар — это к большой и вечной любви...

Несколько раз разрывался телефон. Звонил Тасик. Наши мобильные лежали рядом — на столе. И то на ее, то на моем телефоне высвечивалось имя Тасика. Как только затихала музыка Моцарта на Кирином телефоне, навязчиво звенел мой незамысловатый гудок.

— Может, просто отключим их? — спокойно спросила Кира.

— Подозрительно... — глубокомысленно заключил я.

Если бы я изобрел весы совести, то, наверное, моя совесть сейчас весила бы немного.

— Телефон недоступен только у таких доступных женщин, — сказала Кира, смело отключая телефон.

Слово «доступных» она сказала с какой-то милой гордостью. Это меня почти растрогало.

Я же все-таки дрогнул и трусливо взял трубку. Тасик почти кричал:

— Рома, друг! Куда же ты делся, черт тебя дер! Я уже в самолете. Лечу в Хельсинки, по делам. Как только вернусь, мы с тобой развернемся, будь здоровчик! Алло, ты на связи?

Я что-то промычал в трубку. И тут он сказал то, чего я больше всего боялся.

— Да, с Кирой-то я развожусь! Ну, брат, она и стерва! Душу продаст за какую-нибудь поганую роль. Пусть катится... Черт с ней, девка продажная! Небось сейчас с этим типом, Курносовым, распивает кофе...

Это мы распивали кофе, и я даже не покраснел. Все можно списать на большую любовь: глупость, позор, измену, предательство... Я так и сделал.

Тасика не было целую неделю. И я даже почти забыл о нем. Это была самая счастливая неделя моей жизни. Мы жили с Кирой вместе. Под одной крышей, вернее, под одним потолком. Мы были счастливы. Я любил ее, как безумный. И мне казалось, что эта женщина — предел моих человеческих мечтаний. Бывает такое — когда человеку, в один короткий период, после долгих лет тоски и невезения, вдруг на голову сваливается целая куча удач. Обычно это заканчивается весьма скверно, но кто думает об этом в такие моменты? Я не думал.

Кира поменяла цвет волос. Она стала блондинкой. Все ради этой крошечной и бессмысленной роли. Но я не возражал. Мне казалось, что я еще не имею права возражать. Хотя ее рыжие волосы, как у Венеры с картины Боттичелли, сводили меня с ума. Кстати, Боттичелли имел весьма солидный вес — около 250 килограммов. Помню, когда я подсчитывал вес, то думал, конечно, только о ней — о Кире...

Мы ходили с Кирой в парикмахерскую. Я был так счастлив, как будто мы шли в театр или на какой-нибудь прием. Пойти с любимой девушкой в парикмахерскую — это что-то большее. Это уже сродни походу в загс. А через пару дней она заявила, что хочет изменить форму носа и немного надуть губы. Я попытался ее отговорить, но эта девушка, несмотря на то, что мы жили вместе, все же не была моей, и я не имел на нее никаких прав. Тем более прав на ее губы и нос.

Она ужасно трусила, но говорила, что без этой коррекции ей никогда не видать роли. Что Курносов дал ей этот эпизод как бы авансом, а в этой роли он видит яркую, экстравагантную блондинку, но без клиповой пошлости, а с античной неприкосновенностью. Она его почти процитировала. И слезно умоляла меня пойти к пластическому хирургу. Я сдался.

— Подожди меня, — попросила Кира.

Она звонко поцеловала меня и скрылась за дверью кабинета. В этом поцелуе было столько нежно-



сти и вместе с тем обыденности. Как будто мы давным-давно вместе. Давным-давно и навсегда.

Я утонул в большом мягком кресле — теоретически комфортном, но на практике дико неудобном. На журнальном столике лежало несколько бессмысленных журналов. Глядя на них, я почему-то вспомнил свою первую любовь — Алису, о которой я уже говорил. Я иногда вспоминаю ее, и эти мысли всегда доставляют мне несколько приятных секунд. Она любила книги и журналы с такими вот, как она говорила, «гладкими страничками». Это было так мило. Тогда мы еще не знали пошлого слова «глянцевый». Это были просто гладкие странички, и не больше. На свое тринадцатилетие она пригласила весь класс. Алиса была хорошенькая, так тогда мне казалось. Я принес ей в подарок книгу. Это была большая красивая книга о древних греках. Я помню, что это была очень интересная книга, с картинками и всякими историями. А мой соперник, тот самый А — Артем — принес ей какую-то кулинарную книжечку. Я знаю, что ее он стащил у мамы, а деньги на подарок растратил. На мою книгу Алиса равнодушно взглянула, сказала дежурное «спасибо» и отложила в сторону. Книга Артема привела ее в неописуемый восторг. «И странички гладкие... Как я люблю...» Она звонко поцеловала Артема в щеку. Это был мой первый поцелуй...

Теперь я держал в руках такой вот гладкий журнал и с улыбкой проводил пальцем по его обложке. Где теперь Алиса, кто знает?

От нечего делать я открыл журнал, и, как назло, с гладких страничек на меня смотрела гладкая физиономия Курносова. Я не питал к нему отвращения, напротив, даже был благодарен, что он, сам того не ведая, соединил нас с Кирой. Хотя, конечно, он был на редкость мерзким типом. Извинял его только талант.

Я прочитал про него хвалебную статейку с этаким эстетским привкусом. Вот полюбуйтесь: «Киноманы и кинолюбы со всего мира с вожделием ждут фильм великого российского режиссера Курносова. Репортаж со съемок фильма “Из бездны в бездну. Вожделие”».

Напоминать, кто такой Курносов, нет нужды. Его имя уже давно прогремело рядом с именами Феллини и Тарковского, Антониони и Бергмана. В его фильмах есть все: от искрометной легкости до глубокомысленного пессимизма, от большого пафоса до крайнего цинизма. Дважды его картины удостоивались самых престижных наград, а недавно Курносов стал заслуженным деятелем культуры.

О чем же будет его новый фильм по роману знаменитого писателя Тима Кошечеева? Курносов, как и все гении, немного суеверен. Он отмалчивает

ся. И все же в кулуарах удалось выяснить, что это картина о любви, о непростой любви непростых людей, о снах и сновидениях наяву... Что ж, звучит заманчиво. Конечно, это будет непростой фильм о сложных ценностях. Но зрителю-гурману картина как всегда придется по вкусу.

На главную роль Курносов рискнул пригласить великого форварда Славу Величаева. Что ж, талантливый человек талантлив во всем. Наверняка знаменитый футболист проявит себя и на кинопоприще.

«Я не люблю футбол, но моя жена его обожает. Когда она однажды включила трансляцию какого-то матча, я случайно увидел, как по полю бежит человек с очень фактурным лицом... Так все и решилось», — рассказал режиссер...»

Там же было и несколько фотографий. На одной из них вдалеке стояла Кира. Я узнал ее спину и черное платье в горошек...

Я с тоской откинул этот нудный журнал. Нашел что читать. Журнал с названием «Кинолюб» ничего хорошего не предвещает априори... Я никогда не любил искусство. За искусственность. Корень в этом слове — основа. А не годится, когда искусственные цветы пускают корни, убивая живые. Не могу, правда, сказать, что за последние полгода искусство меня не захватило. Конечно, как и всякий человек, я оказался под его влиянием. Однако естественные науки мне представлялись более естественными...

Почему-то вспомнилось, как ходил в Третьяковскую галерею, когда работал над весом Иванова, художника практически без фамилии. Его картины меня живо интересовали. Примерно три часа я просидел напротив «Явления Христа народу». Эта работа сильно впечатлила меня. Эта картина — естественнее всех естественных наук. Глядя на полотно, я понимал, что настоящую живопись, музыку, литературу нельзя назвать искусством. Это самые настоящие естественные науки. Естественные, идущие изнутри человека. Все прекрасное проливается на землю, прорастает, цветет. Все прекрасное подчиняется законам невозможности несуществования. Как не могут не существовать закон тяготения или теорема о параллельных прямых. Все это уже есть и было в мире... Все... И «Лунная соната», и «Явление Христа народу», и «Братья Карамазовы», и «Летят журавли», и «Евгений Онегин», и закон всемирного тяготения... Земля от начала создания своего таила в себе все это. И только ждала, пока появится человек, который внезапно увидит что-то прекрасное, величественное и откроет всему миру...

Глядя на лица людей, которые с ужасом, со счастьем, со смирением, с безумием, с недоверием смотрят на Христа, отворачиваются или смеются, боятся

или радуются, я думал о том, что каждое естественное и прекрасное люди встречают так же. И на месте Христа — воплощения этой естественной красоты и величия — мог быть нарисован и сам Иванов, и Моцарт, и Пушкин, и Эйнштейн, любой из этих отъявленных грешников, которые волей случая смогли открыть в мире нечто, что мир таил в себе.

Я смотрел на картину три часа, я был заморожен ею, я плакал и смеялся.

Смотрительница музея с опаской смотрела на меня, о чем-то тихо переговариваясь с экскурсоводом. Я услышал, как она говорила школьникам о том, что, говорят, один посетитель, глядя на эту картину, сошел с ума. Я улыбнулся. Этот грустный бродячий анекдот слышал и я, когда тоже был школьником...

Все это вспомнилось мне здесь. Насколько я понял, процедура затягивалась. Что ж, я ждал эту девушку целую вечность. Это хороший повод, чтобы подождать еще.

Я вновь занял свое место в этом чудовищном кресле и еще раз пролистал журналы. Снова эта безумная парочка... Курносое и Белла Муне. Вот их фотографии. Они на лошадях в загородном поместье, они на сцене, они в своем доме восседают на каком-то троне... Они возле какого-то дворца, похожего на Букингемский, только значительно больше. Внизу подпись: «Белла и Эдуард у нового дома». Я посмотрел на обложку выбранного мной журнала. Название этого издания было более многообещающим — «Дамский каприз». От скуки и потому, что человека всегда тянет к «гладким страничкам», я прочитал интервью с Беллой.

«Белла, у вас такой красивый дом...

— Да, мы с мужем недавно сюда переехали. Это наше гнездышко... Мы очень долго его свивали. Архитектора выписали прямо из Англии, мебель Эдуард закупал в лучших антикварных магазинах. Мы с Эдей очень старомодны и обожаем старинные вещи. У нас в гнездышке вы не найдете вещей моложе XVIII века.

— Как же вы управляетесь со всем этим хозяйством?

— Ой, что вы! Какое там! У нас ни на что нет времени! Эдя все время на съемках, и я сейчас работаю над новым полотном... Всем занимается наш мажордом. Вообще у нас восемнадцать слуг — конюхи, садовники, повара...

— Если уж вы коснулись своего творчества, то, может быть, расскажете нам о ваших творческих планах?

— Что вы, плохая примета! Могу только сказать, что я готовлю выставку своих работ, общая тема — абсурдность и брэнность мира...

— Ваш муж великий режиссер, а какими блюдами вы его балуете?

— Он у меня гурман. Мы любим японскую кухню, филиппинскую...

— И традиционный для нашего журнала вопрос. Какой дамский каприз вам свойственен?

— Обожаю коктейльные платья. У меня их в шкафу больше ста... Пора кое-что отдать на аукцион, чтобы помочь бездомным детям. Мы же не должны забывать о тех, кто беднее нас!..»

Я с интересом рассматривал фотографии этой Беллы и все больше убеждался, что Тасик все же не зря ревновал Киру к этому Курносому. Белла могла быть женой и, может, даже художницей, общественным деятелем или деятелем искусств, но только не любимой женщиной. Уверен, именно она, волевая и сильная дама, у которой нет ни одного каприза, кроме коктейльного платья, своей твердой, отнюдь не мозолистой рукой толкала своего гениального мужа. Не знаю, как и куда. Но толкала. Не то чтобы она была уродлива. Вполне ухожена, моложава, стройна. Правда, общий вид портила тяжелая челюсть, чуть выдававшаяся вперед, но этот огрех природы был явно ненадолго. Держу пари, уже несколько врачей бьются над этой проблемой. Впрочем, в ее лице было что-то такое, что невольно хотелось закрыть глаза и никогда их не открывать. Что я и сделал...

Мне было невыносимо скучно. Над этими журналами хотелось плакать. Может, поэтому у них гладкие странички — чтобы не оставалось следов от слез читателей?.. И все же я продолжил свое изучение этого «гладенького» мира, где в свои тридцать восемь лет я открывал для себя презабавные вещи. Нет, я вовсе не испытывал неприязни к этим людям. Гениям прощается многое, это я понял, высчитывая вес таланта многих великих, проживших правильные и не вполне правильные жизни. А в том, что и Белла, и ее муж талантливы, я не сомневался и уже горел желанием посмотреть ее картины и его filmy. В конце концов, это те самые люди, кто скоро, очень скоро встанут на мои весы...

В другом журнале под названием «Завидный жених» я нашел развернутую статью о Величаеве. Похоже, в этом мире одни и те же лица, одни и те же фамилии. Статья называлась очень мило: «Моцарт футбола».

«Хватит восхищаться заграничными секс-символами в мире футбола, у нас есть свои ребята, достойные прославлять не только наш футбол, но и нашу страну. Самый высокооплачиваемый футболист, игрок престижного испанского клуба, забивший восемь голов в прошедшем чемпионате, Олег Величаев теперь пробует себя на новом поприще. Олег уже примерил на себя ампула актера, снявшись



не в одном музыкальном клипе. Теперь он задействован в новом фильме самого Эдуарда Курносова. Несмотря на свой плотный график, Олег согласился ответить на несколько наших вопросов.

— Олег, как тебе дается мастерство актера?

— Нормально. Да я же сам себя играю, вроде ничего пока.

— Это никак не мешает твоей футбольной карьере?

— Да нет. График съемок подстроен только под меня.

— Чем порадуешь нас на предстоящем чемпионате?

— Победой, конечно, а как же! У нас меняют форму, теперь она будет ярче, и думаю, это принесет нам удачу. Цветовую гамму подбирали лучшие модельеры и даже сама Белла Муне — она большой художник, это точно. И болельщик тоже что надо! Так что, Россия — оле-оле!..»

Статью я не дочитал потому, что услышал голос Киры.

— Дорогой!

Я даже сначала не понял, кому это она говорит, и никак не прореагировал.

— Рома, да куда ты пропал?

До меня стало доходить, что слово «дорогой» относилось ко мне. Я зашел в кабинет. Кира сидела у стола, кроме нее здесь никого не было.

— Милый, — ласково сказала она. — Помоги мне выбрать нос...

Я внимательно посмотрел в большой альбом с гладкими страничками. Там была изображена одна и та же девушка, только с разными носами. Это было как из фильма ужасов.

— Может, этот? Как думаешь, мне пойдет? — она ткнула пальчиком в одну из фотографий, над которой было написано — «греческий нос».

— Кира... Может, не надо? — с тоской спросил я, зная, что спорить бесполезно.

— Надо, милый... Это же карьера!

Слово «карьера» она где-то подслушала. И я подумал, что Кира, в сущности, неплохой человек. Она естественна, даже слишком. Но все эти слова, штампы, коллективные глупости и пошлости — все, чему она не может противостоять и никогда не сможет... И все же я любил ее. И знал, что буду любить даже с греческим носом. Моя любовь к ней была громогласно озвучена мной, мной же признана и мной взлелеяна. Моя любовь к ней была сродни магии. Сродни любви к сестре, матери или дочери — когда разлюбить просто нельзя.

В кабинет неожиданно вошла женщина. Видно, она ничего не унесла с работы — ни нос, ни губы. Нос был у нее слишком большой, губы легли на

лице тонкой бледной ниточкой, волосы серого цвета небрежно собраны наверху. И все же было в ней что-то родное, манящее. Я даже залюбовался ею. Женщина казалась усталой и ко всему равнодушной. Для нее мир состоял из носов, ушей и губ. Людей в этом мире не было.

— Ну что, выбрали? — спросила она, и мне показалось, что она с трудом подавляет зевоту.

— Одну секунду... Мне нужно посоветоваться с режиссером...

Кира начала набирать номер мобильного. И я с отвращением подумал, что между ней и Курносовым все же что-то есть. Именно что-то, более точного слова не подобрать.

Кира с телефоном вышла за дверь, и мы остались с женщиной наедине. Мы были незнакомы, но никакой неловкости не испытывали. Нам было настолько безразлично существование друг друга, что и мне, и ей казалось, что мы в комнате не наедине, а одни. Чтобы хоть чем-то занять себя, я взял в руки альбом с носами и ушами, начав его перелистывать. А затем машинально провел рукой по странице — гладкая... Бумага противно заскрипела под моим пальцем. Женщина вдруг подняла голову (до этого она была занята какими-то бумагами).

— Странички гладкие, — зачем-то ляпнул я, как бы оправдываясь за случайный скрип.

— Книжки с гладкими страничками — самые бессмысленные, я теперь это точно знаю, Рома, — сказала вдруг женщина.

Несколько секунд я смотрел на нее, и теперь ее лицо мне казалось другим. В нем проступали иные черты. Тонкие губы, губы ребенка, ясные серые глаза, глаза двенадцатилетней девочки... Алиса.

— Я тебе не сразу узнала, — сказала наконец она.

— Я тоже...

Она взяла у меня из рук книгу и тоже провела по ней пальчиком. Это был наш секрет, и по этому секрету мы друг друга и узнали.

— Как ты? — спросила она.

— Никак, — ответил я. Мне почему-то не хотелось говорить, как я. — А как ты?

— Никак, — ответила Алиса.

Мы рассмеялись. Вернее, мы оба были довольно замкнутые и хмурые. И та тень улыбки, которая промелькнула на наших лицах, для нас была сродни истерическому хохоту.

Мы были рады друг другу. Вместе с тем мы знали, что если бы эта встреча не состоялась, то каждый из нас бы несколько не расстроился.

Вернулась Кира и принесла с собой тысячу ненужных слов. Она говорила много и взалхлеб. Тема была одна — нос. В этом кабинете слово «нос» было произнесено по крайней мере раз сто. Так что вско-

ре из этой словесной груды я уже различал только одно — «нос... нос... нос...».

Мне показалось, что если сейчас мимо меня важно пройдет нос, то я не удивлюсь... Мысли ассоциативно — от низкого к высокому — вывели меня к Гоголю. Что вполне естественно. Я вспомнил, как недавно перечитал всего Гоголя (в школе, как я уже говорил, меня интересовали только точные науки). А теперь, когда мне уже к сорока, я волей случая стал начитанным и образованным человеком. Я не мог не подсчитать вес Гоголя. Этот писатель был одним из самых странных и великих людей. Его вес оказался равен 485 килограммам, что весьма внушительно.

Мог ли знать Гоголь, что пройдут века и нос действительно станет фетишем, призраком, отдельным и даже мыслящим существом?! Сейчас Кира думала носом, чувствовала носом и даже любила носом...

— А как же крылья? — донесли до меня слова Киры.

Крылья?.. Это что-то новенькое. Неужели в этом земном Кирином мире есть место крыльям?

— Крылья можно подрезать...

— А линия будет прямая, да?

— Да, и плоская. Довольно редкая форма... На переносицу можно даже класть спички, настолько она прямая... Это такое упражнение, свидетельствующее о плоскости и прямоте.

— Ну ладно, давайте...

Я представил себе, как Кира будет класть на переносицу спички, гордясь своим особенным носом...

Наконец этот сюрреалистичный разговор был закончен, и мы с Кирой ушли. На прощание я пожал Алисе руку, сказав дежурное: «Рад встрече».

Это не ускользнуло от внимания Киры. Узнав о нашем давнем знакомстве, она попыталась всеми правдами и неправдами рассказать о ней как можно больше сплетен, коих она знала немало.

— Она же первая жена Тима Кошечева.

Где-то я уже слышал это имя. Ах да! По его роману снимают этот скверный фильм. Меня уже начало все это раздражать — писатели, актеры, жены и мужья... Все это мешалось у меня в голове. Тем более что я был почти что пещерным человеком, отвыкшим от внешнего мира. И теперь волей случая Кира втянула меня во всю эту светскую жизнь со сплетнями и прочей чепухой.

Что ж, я сам добровольно связал свои святые естественные науки со всем этим.

Кира довольно подробно рассказала мне об этом писателе, который строчит по десять книжек в год. Все, конечно, знают, что половину за него пишут литературные рабы, но другую половину — он сам. Что в наше время редкость. Так что он и впрямь вели-

кий писатель... Я верил всему на слово. Год назад он развелся с женой, то бишь с Алисой, и теперь ходит в завидных женихах. Долго шел бракоразводный процесс, об этом шумели все газеты. Но наши газеты шумят не шумно просто потому, что никому не нужны те, о ком они шумят.

Мне стало почему-то неприятно, что Алиса — эта девочка, именем которой я назвал один из углов равнобедренного треугольника, — судилась с каким-то мужем. Все это никак не вязалось с тем детским образом... Впрочем, Кире я об этом не сказал. Она бы тоже судилась. И потом, какое мне до этого дело?..

Этой ночью мне снился Тасик. Как редко снятся те, кого любишь. И как часто те, кто случаен. Вот так всегда. Те, кого любишь, не приходят даже во сне... А ненужные и незванные лезут в твой сон без спроса.

Я проснулся с жуткой головной болью. Вот-вот должен был приехать Тасик, и я с ужасом ждал встречи с ним.

Однако все складывалось как-то подозрительно удачно. Тасик разбудил меня телефонным звонком и сказал, что моя микроволновая печь имела грандиозный успех. Это прорыв в деле микроволновых печей. Теперь он едет в Токио подписывать новый контракт...

Потом Тасик понизил голос и загадочно прошепел:

— А о нашем деле пока ни слова... А то из-под носа уведут! Жди... Приеду, все сделаю как надо!..

Сонная Кира лежала рядом, и голос Тасика, который витал в нашей комнате, был некстати и не по делу. Но вот связь прервалась. И голос улетучился. Кира сказала что-то милое, бытовое, типа: «Приготовь завтрак...» И все снова стало на свои места.

Операция «Нос» была запланирована на среду. Слова «среда» и «нос» поселились в нашем доме. Эти слова произносились чаще, чем наши имена, чаще, чем слова «люблю» или «спокойной ночи»... Слова живут своей тайной и немного жуткой жизнью. У слов есть прописка в одном доме, а в другой их никогда не пускают. В моем доме слово «люблю» ранее не проживало никогда. С появлением Киры это слово стало повторяться так часто, что я уже перестал понимать, что оно значит. Слово без смысловой нагрузки. Просто люблю. Просто милая. Просто дорогая. Как все просто! Я обожал в ней эту простоту и то, что за каждым словом стоял просто набор букв.

Кира немного трусила. Подходила к зеркалу, трогала свой носик, морщила его, мысленно с ним прощалась. Человеку трудно менять что-то в своей



жизни: квартиру или прическу, мужа или цвет волос, родину или занавески, мысли или мебель... То ли дело нос! С этим носом Кира пошла в первый класс, этот нос краснел и распухал от слез, пролитых из-за двойки, этот нос мешал ей при первом поцелуе, на этот нос она надевала карнавальную маску на выпускном, этот нос «сгорал» на солнечном пляже...

Я ласково провел рукой по ее переносице, и мне стало ужасно грустно, что я люблю самую никчемную женщину на свете. Люблю ее с любимым носом и цветом волос. Если она с такой легкостью меняет нос, то что уж говорить обо мне...

Однажды, в одно обыкновенное утро, Кира торжественно сообщила мне за кофе, что сегодня вечером мы приглашены на выставку в галерею. Это нужно было произносить именно за кофе и именно таким тоном. Кира добавила, что она хочет, чтобы я пошел с ней. Сначала она сказала «хочу». Но как только я стал тихо, но уверенно сопротивляться (ненавижу эти «коллективные» радости: фестивали, клубы, выставки и прочую дребедень), Кира уже перешла на «прошу». Когда же и это не возымело действия, я услышал «умоляю!». Если любимая девушка умоляет, то нельзя не подчинился. И я подчинился.

Выставку устраивала Белла, та самая жена Курносова. Я знал, почему Кира хочет, чтобы я пошел. Ей нужно было, чтобы жена ее покровителя увидела, что у Киры есть жених (муж, парень, друг), а значит, никакой серьезной опасности нет.

Это был вторник. Дожливый мутный вечер. Последний день, когда Кира показалась в обществе рыжей красавицей с картины Боттичелли со своим милым носиком, который скоро исправит точная наука медицина.

Я как всегда надел свой единственный свадебный костюм, выглядел скверно, глупо и неловко. Кира же была хороша как никогда. В белом платье она напоминала невесту. И я думал о том, что знал ли я, когда женился на своей теперь уже бывшей жене, что мой свадебный костюм переживет наш брак и будет на мне, когда я пойду под руку с другой женщиной. Чаще всего вещи прочнее, чем чувства. Поэтому, наверное, люди так и ценят вещи вокруг себя...

В галерее было полно народу. Это напоминало модную вечеринку. Кира то и дело шептала мне: вон пошел тот, вон прошмыгнул этот... вон промелькнула нога того, вон тебя задел плечом этот... Я не знал ни того, ни этого. И смутно представлял, что здесь вообще делаю.

Чтобы хоть как-то отвлечься, я начал рассматривать картины (по-моему, я единственный это делал). Впрочем, «картины» — неподходящее слово в дан-

ной ситуации. Это была какая-то дребедень, честное слово. Даже не берусь описать, что там было нарисовано, по той причине, что там не было нарисовано ничего. Я даже заглянул за холст — у меня вдруг промелькнула шальная мыслишка, что, может быть, что-нибудь все-таки нарисовано на обратной стороне холста, но я ошибся — там было так же пусто.

Тогда я начал читать название этих не случившихся картин. Надо сказать, это было куда интересней. Например, «Сон Набокова». Звучит, ничего не скажешь! Мало того, что Набокова, так еще и сон. В самом углу чисто белого холста была нарисована какая-то точка. Я даже подумал, что, может быть, эта картина — почти что реализм, ведь кто знает, может, Набоков и не видел снов. Но это пафосное название почему-то напомнило мне книжку про доброго старого Карлсона, который живет на крыше. Того самого, который виделся каждому ребенку на небе вместо ангела в давно забытом атеистическом детстве. Я вспомнил, как мама читала мне эту книгу и как я каждый вечер с нетерпением ждал новой главы. «Карлсона» мама прочитала мне по крайней мере раз тридцать, и, в конце концов, я запомнил эту книжку чуть ли не наизусть.

«Малыш вновь огляделся по сторонам.

— Ну а где твои картины с петухами? Они что, тоже взорвались? — язвительно спросил он Карлсона.

— Нет, они не взорвались, — ответил Карлсон. — Вот, гляди.

И он указал на припиленный к стене возле шкафа лист картона.

На большом совершенно чистом листе в нижнем углу был нарисован крохотный красный петушок.

— Картина называется «Очень одинокий петух», — объяснил Карлсон.

Малыш посмотрел на этого крошечного петушка. А ведь Карлсон говорил о тысячах картин, на которых изображены всевозможные петухи, и все это, оказывается, свелось к одной красненькой петухообразной козявке!

— Этот «Очень одинокий петух» создан лучшим в мире рисовальщиком петухов, — продолжал Карлсон, и голос его дрогнул. — Ах, до чего эта картина прекрасна и печальна!..»

Вспомнив это, я вдруг громко рассмеялся, что, наверное, было не очень-то прилично. Многие стоявшие рядом обернулись. Как назло, рядом стояла и эта Белла. Я хотел было ретироваться, но она уверенным шагом направилась ко мне. Я запаниковал. Еще вышвырнут отсюда, хотя ну и ладно, к лучшему.

Но Белла так мило мне улыбалась, что пришлось улыбнуться в ответ. Честно говоря, я не мастак улыбаться, когда не хочется. Но все-таки мне было уже

тридцать восемь лет. К этому возрасту уже почти все умеют улыбаться, когда не хочется.

— Рада вас здесь видеть, — дежурно сказала она. — Из какого вы журнала?

Я струхнул. Как уже говорил вам, я довольно плохо соображаю: собеседник что-то говорит, а я никак не могу сложить его слова в осмысленные предложения. Вот и сейчас слово «журнал» поставило меня в тупик. Причем тут журнал?

— Вы ведь журналист? — спросила она.

Я уже начинал ее раздражать.

— Нет, я ученый, — скромно сказал я.

При слове «ученый» она чуть наклонила голову, как делают умные собаки, когда хотят вникнуть в смысл слов. Похоже, я поставил ее в тупик.

— Очень рада вас здесь видеть, — снова сказала она.

Сказала уже второй раз. Скорее всего, первый раз она сказала эту фразу машинально, а теперь действительно была рада меня видеть.

— И как же ученые смотрят на искусство?

Я не знал, как ученые смотрят на искусство. И лихорадочно соображал, чтобы придумать. Пауза затянулась и казалась уже неприличной. Белла нервничала. Я был не очень-то приятный собеседник и всегда знал это. Теперь это узнала и Белла. Она была немного смущена и не понимала, как выпутаться из этого странного разговора с этим странным типом.

— Как вам мои картины? — наконец сказала она.

— Эти картины написаны лучшим в мире рисовальщиком петухов, — сказал вдруг я.

Правда, у меня и в мыслях не было обижать ее. Честно. Просто так как-то сказалось само собой.

Она вновь растерялась, не зная, что ответить. И, похоже, даже не обиделась. Просто попыталась сообразить: что это значит? А вдруг «рисовальщики петухов» — это какое-нибудь новое течение... Или новый термин в живописи, кто его знает... Был же «Бубновый валет», и «Синий всадник», и «Ослиный хвост». Многое чудное было. Почему не быть и «Рисовальщикам петухов».

— Что вы этим хотите сказать? — осторожно спросила она.

Я с тоской подумал, что нужно отвечать. Иногда на меня нападая астенический синдром, когда я понимал, что никак не отвертеться и просто необходимо разговаривать с людьми. Сейчас моя собеседница была настроена именно на то, чтобы поговорить со мной.

Я почему-то вспомнил, как давным-давно ездил в Данию в качестве представителя фирмы Тасика. Он тогда не смог поехать и послал меня. В нашей делегации, состоящей из двух человек, был еще переводчик. Так вот этот самый переводчик пропал

вдруг на все три дня поездки. Просто исчез (честно говоря, он был тот еще пропойца). Именно благодаря ему это были три дня небывалого счастья. Русского никто не знал, и мне не нужно было ни с кем разговаривать и никого слушать. Что может быть прекраснее на свете!.. Я просто молчал, и этому была уважительная причина. Это было время прекрасного молчания, которого нас ежедневно и ежеминутно лишают все эти бессмысленные люди, окружающие нас везде и всегда. Впервые в жизни я почувствовал себя свободно. Английского я не знал. Честно говоря, я бы с удовольствием и свой язык забыл. Когда окружающие не понимают и не слышат тебя, они становятся словно бы декорациями. И я чувствовал себя отшельником среди людей. Клянусь, что был почти счастлив, что бывает со мной крайне редко...

Сейчас, глядя на Беллу, которая явно заинтересовалась моей персоной, я мечтал только об одном: чтобы случилось чудо и из моих уст вдруг посыпались бы непонятные чужие слова. Но, увы, мы понимали друг друга. Это, конечно, громко сказано, но наш словарный запас был примерно одинаков, а значит, я все-таки хоть что-то должен ей сказать. И я сказал ей примерно то же, что и вам. А что еще мог сказать? По правде говоря, я не какой-нибудь бунтарь или правдолюб. И потому совершенно искренне жалел о своей глупой выходке и всеми силами пытался как-то сгладить положение.

— У вас очень необычное искусство (так, первый шаг сделан, давай, продолжай в том же духе!)... Я бы сказал, что оно отсылает к двадцатым годам двадцатого века (черт, как же это слово-то... на языке вертится...). Помните? «Бубновый валет», «Синий всадник», «Ослиный хвост»... Ваше творчество — это... (Если я не вспомню это слово, она не поверит во всю эту чушь...) Ваше творчество — это ретроинсталляции (ну вот, молодец!.. ай да Ромка, ай да сукин сын!..). Даже не знаю как, но совершенно бессознательно мне пришло в голову именно это (на счет бессознательного это тоже в точку!)... Рисовальщики петухов...

Я боялся, что вдруг в памяти Беллы всплывет ее розоватое детство, книжка в яркой обложке и образ величайшего и добродушнейшего циника мировой литературы — Карлсона. Но нет, ничего не всплыло.

— Вы очень необычный человек, — сказала Белла. — У вас нестандартное мышление...

Мы расстались добрыми друзьями, похоже, Белла была даже польщена потоком этой бессмыслицы. Главное — побольше говорить непонятного и абсурдного, тогда это будет выглядеть правдиво и нестандартно.

Я с тоской смотрел на всех этих людей, толпившихся в галерее. Умора, да и только! Все они хотят



быть нестандартными. Все хотят быть белыми воронами. И каждый из них, говоря какую-нибудь очередную банальность, думает, что это уникально. Стадо белых ворон, да и только.

Лично я хотел только одного — плыть по течению, только что бы рядом никто не барахтался, быть простой, незамысловатой черной вороной. Загнаться в этом мире, забиться в самый его уголок и не знать ни одного языка на свете, чтобы, не дай бог, не протрезвел вдруг какой-нибудь переводчик...

Ко мне подлетела Кира (именно подлетела, ей-богу не вру, это не просто литературные красоты). Эта девочка умела летать, умела парить над всякой моей мыслью и над всяким моим здравомыслием.

— Здорово, да? — она демонстративно обняла меня.

— Да, здорово. — Люблю, когда люди задают вопрос так, что можно им ответить их же словами.

— Тут такие интересные люди...

— Да, интересные...

Кира поцеловала меня и снова куда-то улетела. Вскоре я увидел ее рядом с Курносковым. Вот он, этот чудо-режиссер... Кира о чем-то мило с ним беседовала, и я с тоской подумал, что она в него, похоже, влюблена. Она милая, эта девочка. В ней нет даже расчета. Для нее любовь совершенно безличностна. Она может влюбиться даже в меня, если узнает, что мой талантливый вес будет не менее курносковского. Что я собирался ей это вскоре доказать.

Сев за единственный свободный столик, я выпил несколько бокалов какой-то дряни и немного упокоился. Видимо, за этот столик никто не садился потому, что он был за колонной, а кто хочет сидеть за колонной? Все ходят сидеть на виду.

Но нет, тебя не оставят в покое, даже если ты надежно спрятаешься за колонной. Уже через минуту ко мне подсел какой-то мерзкий тип. Он был действительно довольно мерзкий. Это слово пришло мне на ум не потому, что он был мне лично неприятен, вовсе нет. Это слово было вполне объективным. Как если, глядя на рыжего человека, сказать «рыжий», а на усатого — «усатый». Этот был просто мерзкий, и все.

Он сел рядом, закинул ногу на ногу и закурил трубку. Трубка была ему очень даже к лицу. Я несколько секунд смотрел на него и никак не мог сообразить: где же я его видел? А где-то видел, стопудово! Такую рожу разве забудешь!.. Видимо, я так внимательно смотрел на него, что он и меня удостоил мимолетным взглядом.

— Вам подписать?

Ну вот, опять я никак не мог сообразить: что подписать? И стал лихорадочно соображать, что может подписать человек человеку? Бумагу какую-нибудь или справку.

— Ручка есть? — спросил он.

Этот вопрос я понял и покорно достал из кармана рубахи ручку.

— Так... А где же книга?

— Какая книга? — спросил я.

Он так шумно вздохнул, что я даже растерялся. До чего же я не люблю, когда люди вот так вот шумно вздыхают. Я, например, никогда так не вздыхаю, даже когда один в комнате. А уже если рядом люди, то вообще стараюсь не показывать, как дышу. Кому интересно смотреть, как мерзкий тип, который достал тебя даже за колонной, шумно вздыхает.

— Книги я не дарю, я не книжный магазин...

— А мне и не надо, — сказал я. — Просто я вас где-то видел... А где, никак не припомню.

Впервые он посмотрела на меня как на человека. Не как на колонну, а как на человека. Я даже приободрился, почувствовав себя человеком. И даже шумно вздохнул. Случайно. Впрочем, я уже имел право шумно вздыхать.

— Черт! Вспомнил! — я ударил себя по лбу. — Я видел вашу фотографию с Алисой в ее кабинете! Мы с Алисой учились в одном классе.

Конечно, как я мог забыть. Кира донесла мне все сплетни об Алисе и ее бывшем муже, известном писателе Тиме Кошечеве. И вот этот Тим Кошечев передо мной. Конечно, упоминание о том, что я учился «в одном классе с его бывшей женой», нагнало на него скуку. Да и я, признаться, сам терпеть не могу таких длинных цепочек.

— Очень мило... Я уже стал просто мужем Алисы... Обычно она была просто моей женой, — лениво, но с некоторым раздражением сказал Тим Кошечев.

Он уже хотел свалить отсюда, чему я был бы безмерно рад. Он даже привстал, но почему-то замешкался и спросил:

— И как Алиса?

— Хорошо, — ответил я.

Хотя я не знал — хорошо она или нет. Но почему-то был уверен, что она хотела, чтобы Тим услышал именно эти слова. Он и услышал.

— Держит нашу фотографию на столике, — он усмехнулся. — Она всегда была человек дела, а моя фотография — это всегда хорошая реклама. Ну, передавайте ей привет! Если женщина начинает общаться с одноклассником, значит, дело дрянь...

Он самодовольно улыбнулся и скрылся за колонной. Я остался один. Мне вообще сегодня несказанно везло. Мало того, что я прятался за колонной, так к тому же рядом стоял столик с напитками. Мне хотелось выпить, чтобы более трезво смотреть на вещи. Поэтому я взял рюмку коньяка, какого-то дрянного коктейля и еще чего-то, сейчас не пом-

ню чего. Последнее, что я запомнил, было то, как я шумно вздыхаю...

Утром Кира меня даже не пилила. Разумеется, не из человеколюбия. Она так и сказала:

— Я не пилю тебя только потому, что у меня голова другим занята.

— Спасибо, — сказал я.

Моя голова вообще ничем не была занята, поскольку страшно болела.

— Я вел себя, как свинья, — начал я. — Опозорил тебе, надрался, в общем, скотина настоящая.

Кира улыбнулась. По утрам я не видел ее. Я видел только ее отражение в зеркале и страшно милый затылок. Отражение мне улыбнулось.

— Обожаю твой самоанализ!

Интересно, откуда она знает такие слова, как «самоанализ»... Я хотел спросить об этом, но боялся обидеть это чудо, которое очень мило расчесывало волосы.

Уже вторую неделю мы жили вместе, и я ощущал, как любовь к этой девочке постепенно растет во мне, разрастается и, я бы даже сказал, распухает. Как эта любовь заслоняет все. Даже самого меня. Я не ревновал Киру ко всем этим типам, курносковым и величаевым. Мне казалось, что я не имею никакого права ревновать ее. Она никогда не будет совершенно моей. Просто потому, что я слишком сильно люблю ее. И наша любовь всегда будет односторонним движением.

— Ты помнишь, что сегодня я ложусь в больницу? — спросила Кира.

«Больница» она произнесла с дрожью в голосе. Предполагалась, что я должен ее пожалеть. И я пожалел.

— Бедная моя девочка! — я притянул Киру к себе.

Она по-прежнему стояла спиной ко мне. Получалось, что я обнимаю Киру, а разговариваю с зеркалом.

— Милая моя девочка! — прошептал я.

Этим трюкам я научился у Тасика. Он когда-то сказал мне, что почему-то все тетки, даже выдавшие виды, любят, когда их называют девочками. Кира, конечно, не являлась исключением. Хотя, в сущности, была самой настоящей теткой, причем выдавшей виды. Хотя ее вид от этого несколько не пострадал.

— Ты пойдешь со мной? Ты будешь переживать?

— Да, я пойду с тобой и буду переживать!

Я уже говорил вам, что модель разговора «я — эхо» мне всегда жутко нравилась. Не надо изобретать какие-то дурацкие слова. Вот я и не изобретал.

Последний раз я поцеловал Киру в ее нос, а также в губы и в щеки.

В этот же день Кира легла в больницу. Я, как преданный не знаю кто, сидел в коридоре и ждал не знаю чего. Мимо шныряли какие-то отвратительные медсестры. И я подумал, что в этих стенах можно железно приобрести устойчивый рефлекс к противоположному полу. Глядя на них, я понимал, насколько этот пол противоположный и противоречивый... Вдруг мимо меня прошла и Алиса. Я увидел ее мельком. Хотел даже передать привет от бывшего мужа, но вовремя передумал. Все-таки у меня был хоть грамм такта.

— Не волнуйтесь, все будет хорошо, — сказала она мне и скрылась в кабинете.

— Все будет хорошо, — как попугай повторил я.

Хотя, честно говоря, несколько не волновался. Кира не тот человек, за которого надо волноваться. Уж я-то это точно знаю.

На стене висел большой плакат Моны Лизы, на котором было написано: «Сделай себя сама!»

Мне вспомнилось, как я высчитывал вес Леонардо да Винчи. Надо сказать, что у него был такой вес!.. Что даже не знаю, как с таким весом вообще можно жить. У него было самое настоящее ожирение, да, да, ей-богу! Ну, вы понимаете, о чем я говорю.

Неужели Леонардо да Винчи рисовал эту самую Лизу для того, чтобы ее портрет висел здесь, на этом непочетном месте и в еще тысяче непочетных мест. Мне стало немного грустно. Хотя зря, наверное. Я сейчас вошел в полосу удач. И чувствовал это чисто физически...

Из кабинета снова вышла Алиса. Я заметил, что она не расположена говорить, и мне это страшно нравилось. Не хотелось опять и опять кучу ненужных слов, типа «а ты помнишь?»...

Но ничего такого она не сказала.

— Все в порядке, — деловито заметила Алиса и вошла в свой кабинет.

Я почему-то встал и пошел за ней.

— А ты помнишь?.. — неожиданно для себя сказал вдруг я и тут же запнулся. Алиса смотрела на меня чуть насмешливо.

— Я была так рада, что ты не сказал мне при встрече: «А ты помнишь?»..»

И я вдруг растерялся. Себя всегда считаешь умным и неплохим парнем, но когда встречаешь такого же, как ты, то мороз по коже продирает. Неужели я вот такой?.. Хотя, если вдуматься, что плохого в словах «а ты помнишь?».. И что еще говорить людям, которые не виделись тысячу лет? Собственно, это я и сказал Алисе.

— А если вдуматься, что плохого в словах «а ты помнишь?» И что еще говорить людям, которые не виделись тысячу лет?



— Таким людям лучше вообще не встречаться, — сухо сказала она.

И мне вдруг показалось, что она очень несчастлива. На столе стояла та самая пресловутая семейная фотография. Вернее, экс-семейная.

— А кто это? — спросил я.

Вообще, я не любитель всех этих игр, в которые играют мужчины и женщины. Тем более что Алиса не была моей женщиной. И какого черта я начал играть?

— Только не делай вид, что ты его не знаешь. Его знают все. — Алиса играть не хотела.

Я даже хотел сказать: конечно, знаю. Но снова это странное чувство преобладало над моим цинизмом. Я продолжал эту игру.

— Что-то не припомню...

Алиса взяла с полки книгу и буквально бросила на стол. Просто швырнула. На книге было написано: «Тим Кошечев. Современная литература».

— Зато с гладкими страничками, — сказал я.

Алису это немного рассмешило.

— Это единственное достоинство.

— Он был твоим мужем? — спросил я.

Почему-то мне подумалось, что с Кирой я никогда ни во что не играл. Никогда не делал вид, что не люблю ее, никогда не делал вид, что не ради нее зашел в гости, что не для нее надел костюм... Я всегда любил ее, всегда ради нее заходил в гости, всегда ради нее надевал костюм... Все было ради нее, во имя нее, для нее... А тут... Я сам от себя такого не ожидал. Люди в любви всегда играют. С самого детства. И все равно обе стороны всегда неизбежно знают, что он пришел ради нее, а она ради него надела короткую юбку, а он ради нее флиртует с подружкой, а она ради него заигрывает с другом, он нарочно не берет телефонную трубку, а она нарочно не звонит... У всех одно и то же. До чего же все это скучно! То же было и у Пушкина, и у да Винчи, и у соседа по даче, и у продавщицы из соседнего магазина, и у меня, и у Тасика, и у всякого на земле.

Но при чем тут любовь?

Алиса — это давно забытая детская симпатия, не более... Зачем же тут эта глупая, дурацкая игра и напускное равнодушие?

— Да, он был моим мужем, — нехотя ответила она. — И ты это прекрасно знаешь.

Алиса не играла. Или просто устала играть в эти бессмысленные игры, в которых все равно нет победителя.

— Я? Нет...

— Ну, твоя-то подружка точно знает, а значит, знаешь и ты...

Я молчал. Я стал типичным игроком. Таким немногим забавным и отупевшим от желания скрыть симпатию.

— Да, моя подружка... Я ее очень люблю, — сказал вдруг я и ужаснулся, что использую Киру как прикрытие, как повод для ревности и для гордости. Мне даже стало стыдно. Моя девушка, моя малышка лежит сейчас под наркозом, почти без носа, а я тут играю с бывшей одноклассницей. Какая низость!

— Она очень хорошенькая, — сказала Алиса.

В ее словах я не услышал ни ревности, ни раздражения, которое свойственно всем женщинам по отношению друг к другу. И успокоился. Честно, совсем успокоился. Я вдруг увидел перед собой самого себя. А самого себя я, честно говоря, не очень-то любил.

— С ней все будет в порядке? — спросил я то, что должен был спросить с первых минут разговора.

— Да, все прошло успешно, — сказала Алиса, давая мне понять, что разговор закончен.

И я почему-то подумал, что со мной очень сложно разговаривать, что я совершенно невыносимый человек, и неудивительно, что меня девушки не любят. Как неудивительно, что от Алисы сбежал муж... Вот он — я. И вот она — я...

Я уже пошел было к выходу. Но почему-то остановился. Мне все-таки ужасно хотелось вывести Алису из себя. Вернее, из меня. Не может же быть, чтобы в одном классе столько лет назад учились такие похожие и скверные люди.

— А ты почему не делаешь себе нос или губы или, там, морщины не убираешь? — спросил я.

Это была слабость. Я уже пошел на откровенное хамство. Но Алиса не была бы мной, если бы отреагировала.

— Я же в своем уме, — сказала она.

— Вернее, в моем, — ответил я и трусливо ретировался.

Не знаю, поняла ли она, что я имел в виду. Но думаю, что поняла.

Домой я шел пешком. Вечер никак не наступал. Летом вечера приходят неохотно. Так вот в этот полувечер я вдруг вспомнил, как мы с Алисой пошли в кино. Нам по пятнадцать лет. Я был бесконечно счастлив. Именно бесконечно — потому что у моего счастья не было начала и не будет конца. Это счастье словно всегда ходило где-то рядом, караулило меня...

Фильм был дурацкий, там всё время все пели. Причем для того, чтобы запеть, им не нужно было брать гитару или там играть на рояле. Нет, они просто вдруг ни с того ни с сего начинали танцевать и петь прямо во время разговора. Нам с Алисой это не нравилось. Но мы сидели рядом, так близко, в темноте, что фильм был уже не важен для нас двоих. Мы не смели ничего друг другу сказать. А ручка кресла, которая была между нами, так и осталась пу-

ста — никто не положил туда свою руку... Нет, все-таки это ужасно глупо, когда люди вот так, посреди улицы, вдруг начинают петь. Бред какой-то! Об этом мы и говорили, когда шли из кинотеатра. Было уже очень поздно — тогда казалось, что очень. Я так хорошо запомнил этот день, что и сейчас могу описать все до мелочей: какого цвета была заколка у Алисы, сколько фонарей горело на улице, какого цвета была скамейка, на которой мы сидели, но так и не рискнули поцеловаться, и сколько было полосок на зебре, через которую мы пробежали на красный свет... Все эти глупости прочно засели в моем мозгу рядом с расчетами, теоремами, нужными и ненужными фамилиями и прочим хламом...

— Ерунда какая! — смеялась Алиса, и даже сейчас я точно помню, что она сказала именно так — «ерунда какая», а не «какая ерунда». — Так не бывает... Чтобы люди шли и вдруг ни с того ни с сего начали танцевать.

— Ага, чушь! — соглашался я. — Может, в Париже так и бывает, а у нас нет.

И вдруг я понял, что могу ни с того ни с сего начать танцевать, а может, даже и петь. Меня аж мороз по коже продрал: больше всех смеялся над фильмом, а сейчас, как дурак, сам пушусь в пляс. Алиса захотела мороженого, и я почти танцуя подбежал к ларьку.

— Закрыто!

— Еще не закрыто! — нагрубил я в ответ.

— Мы в шесть закрываемся.

— Сейчас без одной...

— Ты за минуту ничего не успеешь купить.

— Если вы не будете мне грубить...

И вдруг я представил, как было бы здорово, если бы мы все дружно вдруг запели: я, Алиса и мороженщица. Как в том мюзикле. Этот глупый фильм уже не казался мне таким уж глупым. Я хотел петь и, что самое смешное, я хотел, чтобы запела хотя бы мороженщица. Почему поют и танцуют ни с того ни с сего только в Париже?

И я представил себе, как бы это оказалось здорово.

Я уже видел, как я пританцовываю возле ларька и пою со слезой в голосе:

Если ваше сердце не пломбир,
Вы таете от речи столь бесплодной,
Я, как огонь глотающий факир,
Вас умоляю быть не столько холодной.

Ведь я влюбленный и упрямый мальчик,
Не по карману мне бриллианты и сапфиры,
Могу купить лишь вафельный стаканчик,
Ну в крайнем случае — пломбирный...

Могу сводить любимую в кино,
Ну в крайнем случае — в кафешку «Лето»,
Ну а потом неделю все равно
Сидеть, увы, без школьного обеда...

Выход мороженщицы! Она выкатывается из своего ларька и затягивает песню:

Но ты не знаешь жизни, ты — подросток.
Написано: «Закрыто». Навсегда.
Ищи мороженщицу на подмостках,
В объятиях факира-болтуна.

Мне надоели холод и мороз,
Мне надоели ледяные речи,
Хочу весны и море алых роз,
Хочу растаять навсегда, навечно.

Здесь даже летом вьюгою мело,
Не слышно здесь весеннего ручья,
Украла я пломбира полкило,
Факир чтоб не обжегся сгоряча...

Потом мы танцуем и поем уже вместе. Что-нибудь типа:

Йо-хо-хо!
Сердце тает!
Йо-хо-хо!
И сгорает!..

Вот здорово было бы!..

Какой же я все-таки болван: вместо того, чтобы все-таки поцеловать Алису, я представлял себе, как весь мир вокруг поет и танцует. Тогда мне показалось очень романтичным представить эту толстую мороженщицу в объятиях факира. Черт возьми!..

Все-таки у меня воспаленное воображение. Но Алиса... Как же я забыл о ней. Она шла рядом и молчала мороженое, пока я прокручивал в голове эту забавную киношку. Во всех мюзиклах влюбленным вдруг как стукнет петь, и всегда в каком-нибудь красивом месте. Ну, там, скажем, на лавке или на качелях. Я притащил Алису в парк, усадил на качели, и мне тут же представилось, как было бы здорово запеть.

Она говорила что-то не обязательное и что-то смущенно скучное.

— Завтра в школу, а у меня алгебра не сделана.

Я отвечал машинально.

— Ничего, спишешь.

Но как мне хотелось спеть, вы не представляете! Просто спеть! И я представил себе, как бы здорово мы спели, тем более у Алисы был хороший голос, ее в хоре всегда хвалили.



— Завтра в школу, какая тоска!..
 — В школе знают ужасно мало:
 Почему вдруг проходит весна,
 А до этого как не бывало...

— Уже поздно, домой пора,
 Нерешенные дома задачи.
 — Почему вчера как позавчера?
 А сегодня совсем иначе?..

Рассыпается слово, оно не нашлось,
 Оно с взглядом и вздохом слилось.
 — Посмотри, что-то в небе ярко зажглось,
 Может, наша планета родилась...

Та планета, куда я тебя увезу,
 Там, где нет еще ни души.
 Я туда тебя за руку отведу..
 На прощанье Земле помашу!..

В тот вечер мы с Алисой не спели... Какое там!
 Мы даже не поцеловались. Более того, мы даже не
 держались за руки. Теперь я понимаю, что во всем
 виноват только я. Как же ей не повезло, что в тот
 вечер рядом был не Тасик, а такой растяпа, как я.
 Алиса мне так безумно нравилась, что я даже боялся
 наступить на ее тень. Мы прогуляли весь вечер, ко-
 торый почему-то оказался ночью.

И когда я возвращался домой, уже под утро, мне
 казалось, что дворники, которые яростно махали
 метой, должны были вот-вот запеть:

Вжик-вжик... Подметаем утро!
 Заметаем влюбленных след,
 Вжик-вжик... Все на свете мудро,
 Заметаем закат в рассвет!

Вжик-вжик... Кто проходит праздно,
 На асфальт не бросайте сон.
 Вжик-вжик... Подметем его разом.
 Подметем и выкинем вон!..

Вжик-вжик... Подметаем осень,
 Зиму, лето и осень вновь.
 Вжик-вжик... Не бросайте, просим,
 Ни слова, ни сны, ни любовь...

Все это было сто лет назад... В том мире, где пели
 и танцевали дворники и мороженщицы. Это было,
 наверное, не со мной...

Кира пролежала в больнице три дня. И все эти
 три дня я ходил к ней. В одной палате с Кирой лежа-
 ла какая-то Антон фон Антонова. Я не оговорился.

Эту дамочку звали Антон. Ну, Антон так Антон, по-
 чему бы и нет. Кира мне все уши про жужжала.
 А когда я робко спросил, кто это, Кира на меня
 просто-таки заорала. Я даже испугался.

— Полежай в свою пещеру, болван! Она же кумир
 всех мыслящих людей.

Я хотел сказать, что у мыслящих людей не бы-
 вает кумиров, но во время заткнулся. А Кира про-
 должала:

— Она актриса, режиссер, певица, художник, мо-
 дельер, композитор, писатель, поэт, политик, обще-
 ственный деятель, публицист, скульптор, критик,
 ведущая, сценаристка, документалистка, журна-
 листка, фотомодель, продюсер, мультипликатор...

Мне показалось, что мы с Кирой играем в про-
 фессии, как я когда-то играл в детстве с Алисой. За-
 дача игры в том, чтобы перечислять профессии. Кто
 первый прервет цепочку — тот проиграл. Эта Антон
 фон Антонова в ней уж точно не проиграет.

— Она потрясающая, уникальная!.. Хотя ты зна-
 ешь, по-моему, у нее слишком много морщин.

Ну вот, я так и знал! Кира не может хорошо гово-
 рить про женщину!..

— И потом, ты знаешь, — Кира понизила голос до
 шепота, — она говорит во сне.

— Ну и что? — По мне так пусть хоть поет во сне.

— А то... У нее голос другой.

— Какой еще другой?

— Ну... Все восхищаются ее голосом. У нее — очень
 детский голос, как из мультика. А во сне она гово-
 рит другим голосом, обычным, низким... А знаешь,
 я лучше ее. И голос у меня интереснее, и внешность...

Я с тоской подумал, что природа, видимо, часто
 ошибается. Дает талант одним, а «подозревают» его
 у других. Это как болезнь. Легко ошибиться и по-
 ставить неправильный диагноз.

Мне было жаль мою девочку. Она одной из пер-
 вых людей опробовала мои весы. И уж я-то знал,
 что природа не наградила ее талантом. А она, глу-
 пенькая, еще надеялась.

Однако я не хотел ее в этом разуверять и ответил
 как истинный влюбленный:

— Ты у меня самая талантливая!

Мое откровенное вранье немного скрашивали
 слова «у меня». Все-таки я трусливо оставлял для
 себя путь к отступлению.

Мимо прошла Алиса. Я заметил, что она в но-
 венькой короткой юбке, и это меня немного при-
 ободрило. И я уже надеялся на фразу типа «Да вот,
 прямо из ночного клуба, не успела переодеться» или
 что-то в этом роде. Эти слова бы подействовали на
 меня как опоздавшее на тридцать лет признание
 в любви. Но Алиса только спросила (причем не у
 меня):

— Как настроение?

Кира улыбнулась. С перебинтованным носом улыбка выглядела жалкой.

— Все ОК!

— Рада за вас.

Меня злила Алиса. Видимо, с такой же страстью я злился на самого себя.

— Какая вы нарядная сегодня, — едко заметил я.

И снова наткнулся на стену.

— Спасибо. Вчера целый день по магазинам ходила, — сказала она достаточно холодно.

Это было поражение. Эта юбка была не для меня. Она говорила со мной так же спокойно, как с подружкой, хотя, подозреваю, у нее не было подружек. Слишком уж для этого она была мной.

Тасик все никак не возвращался. Я даже струхнул: не эмигрировал ли он. Но нет. Звонил он регулярно, докладывая, что все складывается идеально.

Трубка орала голосом Тасика:

— Я влюбился, черт возьми! Как мог я столько лет потратить на эту...

Бальзак бы сказал «куртизанку». Тасик выразился по-другому.

— Не смей так о ней, — резко сказал я.

Трубка рассмеялась.

— Бери ее себе! У меня теперь есть Эрика, шведка... Она потрясающая!

— Ты же языка не знаешь, — вяло сказал я.

— В любви язык не нужен... Вернее, нужен, но мы нашли общий! — рассмеялся Тасик. — Задержись на неделю. Не дрейфи! Приеду — завертится у нас с тобой! Смотри, про весы никому ни слова.

— Ни слова, — повторил я, и трубка монотонно загнула.

Через три дня Кира вернулась к нам домой. Я уже мысленно говорил «к нам». Кира была моей. Дом был нашим. И все было общее. Она играла в большую девочку, и я был самым нежным и заботливым не знаю кем на свете.

Однажды ночью она вдруг попросила у меня персик. Я, конечно же, встал, оделся и выбежал на улицу. И тут до меня дошло! Да я просто обалдел! Неужели эта милая дурочка читала О. Генри? Я медленно шел к супермаркету, хотелось бы написать: вдыхал свежий ночной воздух, но нет — я его не вдыхал, потому что курил. И вспоминал, как давным-давно, в школе, когда я был почти что счастлив, мы с милой девочкой Алисой читали О. Генри. Самую красивую романтическую историю о любви, которую почему-то написал не великий романтик Шекспир, а великий юморист О. Генри.

Наверное, любовь — довольно забавная штука. По-моему, комедиографы говорят о ней точнее, чем романтики. Нам было тогда по тринадцать, и, клянусь, Ромео и Джульетта не произвели особого впечатления. Зато новелла О. Генри — вот это да! Вот это вещь! В ней все про отношения мужчины и женщины, про любовь и бессмыслицу, которая всегда рядом с любовью... Как же он назывался, этот рассказ? Черт возьми, не помню... Как же назывался этот рассказ?.. Нет, мне никогда не вспомнить. Я уже слишком стар, слишком грамотен, образован, умен и прочее и прочее... В моем мозгу не удержалось название маленького рассказа О. Генри. К моим тридцати пяти у меня уже были седые виски, да-да, совершенно седые! Разве может человек с совершенно седыми висками вспомнить название новеллы (романа, повести, даже рассказа!)...

Я взял упаковку персиков, которые были совершенно идеальной формы и идеально красного цвета, как будто их кто-то выкрасил акварельной краской. Ну и умора! У таких персиков ни вкуса, ни запаха. Если бы я подsunул Кире пластмассовые персики, то, держу пари, она бы даже не отличила те от этих.

Очереди в магазине не было. На кассе сидела хорошенькая юная продавщица. Внешне она была потрясающе интересная. Я бы даже сказал, необыкновенная. Я смотрел на нее не как мужчина на женщину, а скорее как ценитель на талантливо нарисованную картину. У нее были очень черные вьющиеся волосы, которые как будто дымились над ее головой, огромные фиолетовые глаза, какой-то нарисованный рот. Все черты ее лица были очень крупными и какими-то вызывающе красивыми.

Уверен, с таким личиком она мечтает стать артисткой. А пока сидит вот на кассе в ночную смену и зевает.

— Простите, вы не помните название рассказа О. Генри?

— О чем? — не поняла девушка. И уставилась на меня, как на психа. Или, вернее, как на типа, который с ней заигрывает.

— Ну... Такой рассказ... Как одна молодая особа сказала своему мужу, что хотела бы сейчас съесть персик. А была ночь. Примерно как сейчас. И он, представьте себе, побежал за этими персиками. Парень попал в череду всяких событий, но все-таки персик добыл. А непостоянная девушка сказала ему...

Далее я цитировал дословно. Эти слова для нас с Алисой были нашими словами, которые мы производили по делу и нет.

«Гадкий мальчик! — влюблено проворковала она. — Разве я просила персик? Я бы гораздо охотнее съела апельсин...



Благословенна будь, новобрачная!..»

Девушка слушала меня с интересом. Но когда я закончил свою речь, к концу немного пафосную, она вдруг быстро затараторила:

— Да ну вас! Вы все не то рассказали! Когда он вернулся домой, то оказалось, что его жена мертва. Он испугался, что убийство повесят на него, и сбежал. За ним гонялись полиция и наркодилеры... Оказалось, что в персиках наркота! Чистый кокаин! И его молодая жена тоже работала на наркоторговцев, и она специально послала его за персиками... Они должны были поехать в медовый месяц, и она бы провезла персики через границу, то есть наркотики, а не персики... Но ее раньше убили, тогда он...

Я немного запутался и примерно в этом месте уже перестал слушать мою очаровательную собеседницу. Все-таки как она была прекрасна, пока слушала. Мне стало немного жаль эту девочку. Такая хорошенькая, но как только открывает рот, ее красота сразу становится какой-то утомляющей и убогой. Не сможет же она всю жизнь просидеть с закрытым ртом.

И правда, когда девушка молчит, сколько в ее красоте скрыто ангельского и почти неземного!.. Я иногда думал об этом, глядя на красивых девушек. Мне всегда казалось, что из них выигрывают только молчаливые. Даже когда Кира молчит (моя Кира, которую я знаю со всех сторон и все стороны принимаю), даже она, когда молчит, кажется, таит в себе нечто возвышенное, чего так не хватает в женщинах как в самых земных и примитивных существах.

Вот оно — примитивное и земное существо — передо мной. Она почти закончила свой монолог, мой внутренний монолог тоже закончился, и вдруг до моего уха долетают слова:

— Тим Кощев...

— Что Тим Кощев? — не понял я.

— Это его книга, — удивилась девушка.

Она никогда не слышала про О. Генри. И я мог запросто сказать ей, что О. Генри весил 250 килограммов. Держу пари, она нисколько бы не удивилась. И было бы уже неважно, что это за вес. Признаться честно, подсчитывать вес О. Генри было весьма непросто. Мне пришлось прочесть все его рассказы и даже стихи (мало кто знает, что он писал стихи, довольно странные, если не сказать больше). Надо заметить, что путем трудных вычислений стихи не потянули на слишком уж большой вес. Зато сколько весили его рассказы! Маленькие, но весьма тяжелые, честное слово!

Девушка достала из-под прилавка книгу, на которой было почему-то кровью написано «Тим Кощев «Персики в аду»». Ну, не кровью, конечно. Но как будто бы кровью.

— А я думал, что про персики — это О. Генри, — растерянно сказал я. И тут же почувствовал себя последним неучем и кретином.

— Какой еще Генри... Это же Кощев! Такой клеветный писатель, обчитаетесь...

Она это сказала так обожаемо, что мне даже захотелось обчитаться. Но книгу попросить я не решился, тем более что страничка была аккуратно загнута примерно на середине. И потом, персиков ждала моя Кира. Ага, так вот откуда эта романтическая фантазия о персиках ночью. Прямо из «Персиков в аду». «Небось в больнице подсунули», — с тоской подумал я. Кира всегда обожала все, что происходит не с ней. Она часто рассказывала о себе всякие нелепые истории, которые очень напоминали пересказ фильма или книги. Я-то хоть честно делал вид, что верю во все эти запутанные небылицы, а Тасик обычно так прямо в лоб и говорил (в этот милый лобик с выбившейся рыжей прядкой): «Ты что, Кира... Это же в фильме было».

Секунду она смущалась, но ее так просто не расколешь, эту девчонку. Она смеялась и говорила, что сюжет был взят из ее жизни. Даже если этот сюжет был позаимствован, скажем, из Бальзака. Хотя это, конечно, смелое предположение. Кира вряд ли читала Бальзака, так что источником ее вдохновения были, скорее, типы, подобные Кощеву...

Домой я припоздился. И Кира тут же привязалась ко мне с расспросами, что делал и где был. Мне стало очень скучно, потому отвечал по своему безотказному методу «я — эхо».

Наконец, она отстала от меня, нехотя съела пару персиков и как ребенок заснула у меня на коленях. Я вновь стал любоваться ею. Может, это и есть счастье — любить бессмысленную, глупую девчонку, даже не обманываясь на ее счет. Просто любить. Бескорыстно. Без романтики. Без порыва. Любить тихо и цинично. Зная о ней, наверное, больше, чем она знает сама о себе...

Я поцеловал мою девочку в лоб.

«Будь благословенна, новобрачная!..»

Все это время я находился в состоянии какой-то невесомости, как те самые типы в древнем Египте, которые плыли по реке, не помню, как она называется. Река эта была между жизнью и смертью. Вот и мне казалось, что я нахожусь в каком-то странном пространстве, — пространство это было между тем-то и чем-то. Между чем — даже не знаю. Я чувствовал, что скоро жизнь моя изменится. Весы, которые мирно стояли у меня под кроватью, и смятые чертежи в пятнах кофе, которые лежали у меня в столе, — все это скоро станет не моим... Вернее, не только моим.

Иногда я представлял себе эту будущую жизнь. Вернее, пытался хоть что-то представить, закрыв глаза. Но ничего не представлялось.

В этой новой жизни точно будет Кира. Но почему будет?.. Она и есть. Вот она, рядом... Спит, отвернувшись к стене и подложив руки под горячую щеку. Она уже есть в моей жизни. И все-таки ее нет. Это только тень. Но она будет. Я это знаю...

Через пару дней Кире снимали повязку. Она потребовала, чтобы я не ехал с ней в клинику, а ждал дома. Вокруг этого события она устроила целую шумиху, мне даже смешно стало. Но если бы я только улыбнулся, то получил бы, это точно. Все ее ценные указания я всегда выполнял с серьезным лицом. Она велела мне сесть в кресло, отвернуться к окну и ждать ее. А когда я услышу, как Кира скребется в дверь ключом, то ни в коем случае не оборачиваться.

Так я честно и сидел в кресле, наблюдая жизнь за окном.

Погода стояла прекрасная. Знаете, такой классический летний день, как будто с лубочной картины народного умельца. Облака — пушистые, будто очерченные толстым фломастером, оставляющим чуть воздушный теневой контур, — аж противно от такого совершенства. Солнце — совершенно круглое и ослепительно желтое, только что лучики не подрисованы... В общем, безвкусный был день, что и говорить... Я почему-то подумал, что скверно, когда «все как надо». И облака, и лучики. А мне нравилось, когда небо все разорвано и солнце такое тоскливое, как электрическая лампочка. Бывали и такие дни. Разные дни случались... Так зачем же Кира изменила себе нос? Чтобы он был очерчен фломастером, как на картинке народного умельца? Если бы народного. Нет, она хотела быть как девушка с тех журналов, которые Алиса называла «гладкими страничками». Алиса... Почему же, о чем бы я ни думал, мысли всегда возвращают меня к ней? Наверное, тогда, в детстве, мы как-то срослись с ней. И спустя почти тридцать лет я все равно видел в ней себя. Не могу сказать, что я себе нравился. Но зато я понимал себя. И это было важно. Это-то и привлекало меня в Алисе. Я понимал ее. Помню, как она рисовала принцесс в тетрадке. Все девочки рисуют принцесс. И она рисовала. И самое сложное было нарисовать нос. Вот ее лицо... Вот она... Алиса... Склонилась над тетрадкой так низко, что ее волос коснулся парты, и я хочу случайно прищемить ее пряди своим локтем, чтобы она вскрикнула и обернулась ко мне. Но она слишком занята. Она рисует принцессе нос. Это поважнее, чем какие-нибудь задачки. Но у нее дело не клеится. Алиса сопит, как ежик, со злостью стирает неудавшийся нос ластиком. Но вот принцес-



© Дурякина Анна, 2011 г.

син нос готов... Я украдкой подглядываю. Это очень ровная линия. Почти под линейку. А под этой линией две точки. Нос готов. Как просто. Теперь Алиса с такой же легкостью стирает неудавшиеся носы и рисует новые. Только неудавшиеся носы рисовала-то не она...

Раздался телефонный звонок. Я дернулся и с удивлением обнаружил, что все это время спал.

Это звонила Кира. Она плакала в трубку, мне было ее, конечно, жалко, но в трубке слышалось какое-то бульканье, и это было немного смешно. Она скороговоркой сказала, что на носу ужасный шрам и она не хочет, чтобы я ее видел. Поэтому когда она придет, я не должен оборачиваться, а должен так и сидеть в этом кресле до скончания века.

Наконец она пришла.

Все было очень таинственно, и было в этом даже что-то утопически-романтическое. Кира соорудила что-то вроде ширмы, разделившей комнату на две части. Я не имел права заходить на ее территорию и мог видеть только ее стройный силуэт. Прямо как театр теней. Правда, пьеса оказалась довольно скучной — тень ела, тень читала, тень спала. И над всем этим действием парил ее голос, как будто бы этот голос шел чуть ли не с небес.

Так продолжалось несколько дней. Кира никуда не выходила. В смысле не только не выходила на улицу, но даже не выходила за пределы своего кукольного театра. Я работал. У меня была еще масса незаконченных дел, связанных с новым изобретением. И неожиданное исчезновение Киры, вернее, ее превращение в тень, было весьма кстати. Я даже



обрадовался. Девчонка не мешала мне, а рассказывать о весах я почему-то не хотел. Мне казалось, что еще не время. Я мечтал, как она услышит о моем триумфе по телевизору, по этому бессмысленному изобретению, которое с моим и рядом не стояло.

Пока же Кира просматривала кипы модных журналов с гладкими страничками и искала хоть малейшее упоминание своего имени. Мы жили с ней затворниками, и я был от этого почти счастлив. Кира, напротив, мучилась. Однажды я услышал крик за ширмой. Я знал этот крик — это был крик радости. Она всегда кричала так, когда радовалась. По-моему, это была весьма надуманная реакция. И я даже представлял себе, как тщеславная и глупая девчонка стоит у зеркала и примеряет на себя разные улыбки, разные лица: вот так она будет хмуриться, а вот так радоваться. Ей идет, когда она надувает щеки. Ей идет улыбка.

Все больше и больше я замечал, что она сама придумывала себе характер, жесты, реакции, даже лицо. Все было придуманным.

— Смотри, тут про тебя написано!

Я даже вздрогнул, хотя, честно говоря, я обычно не вздрагиваю. Я вообще не понимаю, как люди вздрагивают или шумно вздыхают, — это все равно что перед зеркалом репетировать улыбку. Но тут чего-то вздрогнул и даже шумно вздохнул. Ей-богу! Неужели уже кто-то пронюхал про мое изобретение?

Но нет, все оказалось проще. Это была статья про Беллу и ее выставку. Кира зачитала мне ее вслух.

«Свершилось! Столица вздрогнула от нового культурного события» — так начиналась статья. Ну вот, опять вздрогнула. Я даже попытался себе представить эту картину: столица вздрогнула. Что самое интересное — мне это удалось. Перед глазами возникала одна из картин Беллы. Так, видимо, вздрагивает столица. «Это был триумф! На выставке собрались все сливки общества: талантливейший режиссер Эдуард Курносов, знаменитый форвард Олег Величаев, великий русский писатель Тим Кощев...»

Едва я услышал фамилию Кощев, меня вдруг понесло (про себя, конечно). Любопытно, что Чехов (вес которого был весьма большим — 485 кило) никогда в жизни не называл себя писателем, он говорил несколько иначе: литератор. В этом что-то есть, не находите? Я даже не знаю что, но что-то определенно есть... Я, конечно, не писатель, а простой ученый, но, ей-богу, будь я писателем, то в жизни бы не назвал себя так. Писатели — это Толстой и Достоевский... Это звучит уже не как род деятельности, а, скорее, как степень признания... Так, наверное, думал и Чехов. Представляю, как он, такой долго-

вязый, немного неуклюжий, скромно улыбался и говорил: «О нет, что вы, я всего лишь литератор!»

Тим Кощев не был долговязым и неуклюжим, у него было лицо просто мерзкого типа, без конкретных примет типа усов или бороды. Есть такие люди, которым не нужно описание: просто мерзкое лицо, и все. Чего тут еще рассыпаться в описаниях?

Кира все читала и читала, так что я уже пропустил добрую половину статьи, произнеся про себя гневный монолог в адрес этого Кощева. К чему бы это? Опять, опять и опять это довольно мелочное чувство, которое бредет рядом с чувством великим: ревность и любовь. Хотя я бы даже сказал — бывшая любовь, далекая и забытая. Смешно, но люди ревнуют не только жен или бывших одноклассниц, на даже тех, кто им совершенно безразличен. Я подло подумал, что хорошо бы прочесть этого Тима Кощева, любопытно было бы высчитать его вес, черт его дер!

— Внимание, а вот и про тебя! — важно сказала Кира. Какая же она все-таки молодец! Как милиционер, подняла руку и сказала: внимание! Ну чтобы я без нее делал? Пропустил бы свою фамилию в статье — это уж точно. — «Интерес к выставке проявляют не только люди искусства, но и знаменитости из мира науки — здесь можно было увидеть представителя фирмы “Категория” Романа Бурова...»

Интересно, меня уже записали в знаменитости. Видимо, слава или успех скромно шествуют за признанием. Кира радовалась, как ребенок. Я же не видел в этом ничего особенного: наверняка Тасик проплатил этому журналу, чтобы упоминали его никчемную фирму. Однако то, что было написано далее, заинтересовало меня куда больше.

«Как признается сама Белла Муне, она создала новое направление в живописи. Она и ее последователи называются “Рисовальщики петухов”. “Эта птица имеет непосредственную связь с солнцем, — говорит Белла. — Как и солнце, петух “отсчитывает время”. Так и наше искусство — это новый отсчет экзистенциального времени...»

Это объяснение мне показалось весьма забавным. Я даже почти что зауважал Беллу. А себя посчитал чуть ли не за критика. А что, черт возьми, из меня получился бы великолепный критик! Может, в прошлой жизни я и был критиком, кто знает? И, возможно, меня так достали все эти писатели, художники и прочие типы, что в нынешней жизни я не выдержал и изобрел весы таланта. Как мир на семьдесят процентов состоит из воды, так мир на семьдесят процентов состоит из кретивов!

Когда подумал об этом, то у меня почему-то даже поднялось настроение. А Кира все еще читала эту муть. От нудного и заузного описания картин автор

статьи перешел к не менее нудному и заумному описанию платьев и прочей чепухи. Это уже я слушал вполуха. Оказывается, Белла блеснула каким-то новым платьем. Ну хоть чем-то она блеснула. Я даже втайне порадовался за нее. Хотя Кира не преминула обозвать ее уродиной и еще чем-то. Я точно не слышал, чем. Женщины не очень-то любят себе подобных, а уж тем более себе бесподобных. Я уже это давно заметил...

Наша жизнь текла скучно и размеренно. Еще неделю мы прожили вместе с Кирой, не видя друг друга. Она была скрыта от моих глаз за ширмой. Особенно мне нравились вечера. Когда я тихонько работал, вычисляя вес Микеланджело, Кира на своей половине читала роман Тима Кошечева. Иногда я отрывался от своего занятия и смотрел на ее профиль. Эта девочка все еще оставалась для меня чем-то запредельным. В смысле за пределами простой человеческой любви, к которой она наверняка привыкла.

Мне казалось, что так у нас случится вся жизнь. Именно случится. Иногда она зачитывала мне куски из этого скверного романа. Она как-то заметила, что от написания пошловатых детективов Тим Кошечев перешел к серьезной литературе. Насчет серьезной — это именно характеристика Киры. Кстати, его последний роман назывался очень серьезно — «Печень», вышел в какой-то странной серии под названием «Подзаборный роман». Там было что-то про типа, который разговаривал со своей печенью, или что-то в этом духе...

Иногда мне звонил Тасик. Причем звонил из разных углов земного шара. Насчет углов — это уже выражение Тасика. Я хотел было возразить, что у шара не может быть углов, тем более у земного. Но вспомнил, что все-таки виноват перед ним, и не стал спорить. Он мимоходом говорил, что заключил кучу контрактов и по возвращении нас ждет триумф. Я покорно соглашался. Хотя, честно говоря, не хотел думать о его возвращении.

Не помню, кто и когда это говорил (надо бы, к слову, уточнить, ведь у меня ко всем великим свой шкурный интерес по весу их таланта), так вот, этот некто говорил (уверен, что это кто-то из древних то ли греков, то ли римлян) примерно следующее: если я вижу человека, то он для меня существует, а если не вижу — то нет. Все очень просто. До такой степени просто, что мне становится ужасно весело от этой простоты. Тасика я не видел и посему как бы закрывал глаза на его существование. Он становился для меня некой абстрактной фигурой. К тому же, будучи человеком все же довольно здравым, я довольно здраво оценивал себя как типа бессовестно-

го, живущего только сегодняшним днем, в каком-то странном ощущении временности.

Кира же вообще мало думала. Но однажды, в один ничем не примечательный день, у нас произошла с ней одна примечательная ссора. Эта ссора была интересна тем, что она была жутко бытовая. Я всегда жил один — и вопрос денег, вещей и прочей чепухи меня мало интересовал. Я боялся быта как чего-то нагоняющего зевоту. Я был благодарен судьбе, что родился мужчиной, а значит, мог со спокойной совестью отмахнуться от всякого быта. Но я забыл одну вещь: нельзя, отмахнувшись от быта, так же отмахнуться и от денег. И Кира мне об этом напомнила. Скандал разгорелся будто на пустом месте. Это я так думал (по неопытности), еще не зная, что скандалы всегда разгораются на пустом месте. А собственно, на каком месте им еще разгораться?..

Все началось с колье, увиденного ей на той самой Антон фон Антоновой. То ли из изумрудов, то ли из еще черт знает чего.

— Ты мне никогда ничего не дарил! — резко констатировала Кира.

Вообще-то это было свинством с моей стороны, что я тут же и признал совершенно чистосердечно. В ответ она сказала самую банальную, но вполне правдивую фразу, которая ей как-то была не к лицу:

— Бриллианты — лучшие друзья девушки!

— А ты знаешь, сколько весила Мэрилин Монро? — спросил я, пытаюсь перевести разговор на другую тему.

— Ты что, свихнулся? Я говорю о серьезных вещах!

— Она весила 190 килограммов — довольно много!

— Да уж, она была полновата!..

Это был диалог непонимания. Впрочем, я не считывал на понимание. Когда я высчитывал вес Мэрилин Монро, результат меня удивил. 190 килограммов — шутка ли! Может, она была просто великой актрисой, которую никто не понял? Девушкой, которая была умна настолько, чтобы всем казаться просто Мэрилин, а втихаря читать Толстого и Горького и петь «Интернационал»! Кире я ничего этого не сказал... Моей Кире, которая уже завелась настолько, что от частных бриллиантов перешла к общественному ремонту.

— Рома, — услышал я голос из-за ширмы. Прошло уже две недели, как я жил не с Кирой, а с ее голосом. — Я вот подумала, что тебе нужно сделать ремонт... Я не могу жить в этой пещере. Если ты хочешь жить с такой женщиной, как я, то...

Она еще что-то говорила, а я почему-то уцепился за фразу «с такой женщиной, как я». Что бы это зна-



чило? Неужели есть еще такая... Нет, я не хочу жить с такой женщиной, как ты, я хочу жить с тобой.

По-моему, я это и сказал. Но все мои слова обесценились. Я слышал только одно: ремонт!.. Слово это еще с детства нагоняло на меня тоску, зевоту и более того — астенический синдром. Это слово означает, что весь мир превращается в один большой ремонт, когда единственное спасение — заснуть или исчезнуть.

— Ремонт, ремонт... — твердила Кира.

Она рисовала мне то, что хотела бы видеть в нашем доме (она говорила «нашем», хотя я не считал этот дом даже своим). Она твердила о каком-то одном тоне, желательно пастельном, о том, что хотела бы сломать какую-то стену, уж не помню для чего... Кира говорила так убедительно, что я поразился, как сам до этого не додумался и все это время жил с этой стеной и без пастельных тонов. Она говорила о том, что это не стильно — когда в доме много книг, безделушек и прочей чепухи. Я зевал. Как в школе, на уроке литературы. Хорошо, что Кира этого не видела. А я не видел ее. Только голос — прекрасный женский голос, произносивший слово «ремонт». Я подумал, что ад — это не кипящий котел, в котором заживо варятся грешники. Это уютный летний вечер и голос любимой женщины, постоянно твердящий: «Ремонт, ремонт, ремонт...»

В связи с этим я даже вспомнил фразу Булгакова о том, что ничто не портит человека так, как квартирный вопрос. Булгаковым я занимался довольно много. Возникли трудности с высчитыванием его веса, и пришлось немало потрудиться над этим. Зато теперь я мог запросто сыпать его цитатами. Черт возьми, он был прав. А еще человека сильно портит еще одно аналогичное одно слово из трех букв — быт. Я бы писал это слово на заборах и стенах подъезда. Быт.

Я попытался намекнуть Кире, что у меня пока не так уж много денег. Но намеки Кира никогда не понимала. Пришлось сказать напрямую... И вот тут-то началась моя марафонская пробежка по всем кругам ада.

Кира сразу же села на своего любимого конька: «Такая женщина, как я...» Это она повторяла несколько раз с различными продолжениями. Наконец, она велела мне выключить свет. И когда я исполнил приказ, Кира впервые вышла из своего укрытия и принялась в потемках собирать чемоданы, то и дело натываясь то на меня, то на стулья, то на стены. В квартире было не очень темно, вы же понимаете, что в этом скверном городе не бывает даже по-настоящему темно. В окна постоянно заглядывают любопытные фонари и струится свет от неоновых витрин и рекламных щитов. Я почему-то остро

ощутил это сейчас, когда в полутьме видел, как Кира мечется по комнате, собирая вещи. И мне вдруг до ужаса захотелось, чтобы было по-настоящему, основательно темно. Но здесь не было ничего настоящего и основательного. Все — понарошку. И даже эта темнота в комнате только притворялась темнотой. А Кира всего лишь притворялась «такой женщиной, как я». А я притворялся влюбленным в нее безумцем...

Потому, как и положено влюбленному безумцу, я вырвал у нее из рук чемодан (так, что оторвал ручку). И резко толкнул Киру (так, что она упала на диван). И не своим голосом сказал:

— Ты никуда не поедешь!

Мне показалось, что это сцена из какого-нибудь фильма, который, быть может, когда-нибудь снимет Курносов.

— Ты никуда не поедешь, — уже своим голосом повторил я.

В такие ответственные и драматичные минуты почему-то всегда хочется улыбаться. Я не знаю почему. Это просто-таки искушение. Улыбнуться, глядя на заплаканную девушку, которая бросает бедного, но гениального ученого во имя сладкой жизни.

— Я люблю тебя, — снова не своим голосом сказал я.

Меня уже забавляло это — говорить не своим голосом. И в голове за секунду пронеслась картина, как завтра Кира будет рассказывать подругам (которых у нее нет): «А потом он не своим голосом закричал: “Ты никуда не поедешь, я люблю тебя!..”»

Кира смотрела на меня с замиранием сердца. Мне хотелось в эту минуту сказать именно так — «с замиранием...». Я даже был убежден, что если в этот миг приложить руку к ее груди, то стук сердца не будет слышен... Она смотрела на меня с замиранием сердца, какой уж тут стук.

И вот тут-то началось самое интересное. Я начал говорить ей о том, что не сегодня завтра (ну максимум послезавтра) я стану неслышанно богат (да, я сказал именно «неслышанно» — ничто так не действует на зареванных девушек, как милые, проверенные веками штампы). Она молчала. Я видел в полутьме ее лицо, блестящее от слез. И мне даже казалось, что я различаю слипшиеся от слез ресницы. Глупо, но я все же любил Киру. И мне до одури захотелось поцеловать ее. Я, конечно, ее поцелую — в ее новенький нос, в блестящие от слез щеки, в которых отражается свет фонарей, в ресницы, которые слиплись в одну большую острую ресничку. Но только позже... Сейчас мне нужно доказать, что я могу любить «такую женщину».

— Кирочка, милая моя... Пойми, я — без пяти минут нобелевский лауреат!..

Кира, услышав это, даже дернулась и взглянула на часы. Было без пяти минут двенадцать, и я даже сам поверил, что ровно в двенадцать часов я, как Золушка, вдруг превращусь в нобелевского лауреата.

— Я изобрел одну потрясающую вещь... Эта вещь перевернет весь мир... Весь мир, который был до нас и будет после...

— А который при нас? — спросила она.

— Тоже, — коротко, но важно ответил я. — Эта вещь даже важнее, чем любое оружие... Это очень важная вещь и очень нужная людям...

Я говорил с ней, как с ребенком. Кира почти перестала плакать.

— Что это? — спросила она.

Я встал, достал из-под кровати весы и показал Кире.

— Что это? — вновь спросил она.

Моя недогадливая Кира. Я смотрел на нее и думал, что она все-таки не была примитивной женщиной. В ней есть что-то большее, за что я и полюбил ее. За то, что она — немножко нелепа и бессмысленна. И мне хотелось широким жестом швырнуть весы на ковер и предложить ей взвеситься. Но я вовремя вспомнил, что это не простые весы и моя любимая уже на них взвешивалась. Я побоялся, что истинный вес может напугать Киру, и не стал этого делать.

Потому мне пришлось разразиться скучной тирадой о том, что такое весы таланта и как они устроены. Рассказывая все это, я с тоской думал, что, видимо, эту речь мне еще не раз придется произносить. Тоска!

Кира мне не поверила. И упрямо мотала головой. Я даже на секунду пожалел, что не родился женщиной. И навеки обречен на такую ужасную муку — любить этот безумный противоположный пол. Я зажигался, нервничал, в порыве начинал жестикулировать, как плохой дирижер. А она как-то очень нудным подростковым голосом говорила одно и то же:

— Да ну?! Не может быть!?

Я подумал, что в страшных снах мне будет сниться красивая девушка с голосом подростка: «Да ну?! Не может быть?! Да ну?! Не может быть?!» И, разозлившись, даже вытащил из шкафчика свои чертежи и чуть было не швырнул ей в лицо...

Это было довольно глупо. Эта девочка, милое бессмысленное существо, никогда не поймет того, что здесь написано. Но самое смешное: она и сама не понимала, что не поймет. И как прилежная ученица склонилась над листами. Правда, перед этим попросила включить свет (и отвернуться). Я хотел сказать, что это неважно, что электрический свет не прольет свет на это дело. Но вовремя удержался. Кира оказалась глупа настолько, что искренне полагалась на свой ум.

Я стоял у окна и искренне жалел, что у меня нет глаз на затылке. Хотелось бы посмотреть, как эта милая девушка с добровольно изуродованным носом хмурит свой лоб, пытаясь хоть что-то понять... Но нет, я смотрел в окно и курил.

Пространство уже заполнила ночь. И почему-то вспомнилось, как давным-давно я и Алиса спорили: темнеет ли ночью воздух? Алиса говорила, что темнеет. И говорила это с таким важным и умным видом, что я просто терялся. Она доказывала свою точку зрения вполне основательно, утверждая, что если бы воздух не темнел, то как бы наступила ночь? Одно небо не может «затемнить» всю улицу. Тогда, в лет одиннадцать, я, наверное, впервые оказался слабее этого слабого пола. Я бы готов согласиться со всем, согласившись с частностью, — что воздух темнеет. Почему бы и нет?

— Я все поняла, — услышал я за спиной голос Киры.

И тут же в комнате потух свет. Она действительно поняла, поскольку я почувствовал, как ее холодные ладошки скользят по моим плечам и по моей шее. В эту секунду я подумал, что Кира не то чтобы со мной по расчету... Вовсе нет, ведь слово «расчет» легко можно заменить словом «уважение»... Может, так? Я — нобелевский лауреат, так почему же...

Тут мои мысли прервались, и я уже об этом насколько не жалел...

Утром меня что-то разбудило. Я даже поначалу и не сразу понял — что. Холодные ледяные пальцы Киры скользили по моему лицу.

— Небрить, — сказала она.

Я действительно не брился неделю, и моя жизнь, в общем-то, походила на череду случайных дней, где нет всех этих милых перевалочных пунктов, присутствующих в жизни большинства людей, нет всей этой системности — утром побриться, расчесаться, почистить зубы, в четырнадцать ноль-ноль — обед, в девятнадцать — ужин. Для меня системность состояла только в науке, только в моих расчетах. В жизни же был полный кавардак.

И только сейчас я понял, что, хотя жил с Кирой вот уже почти месяц, мы так и не стали друг для друга мужчиной и женщиной. В моей жизни так и не было никакой системы, которые, как-никак, вносят женщины — со всей этой логикой, любовью и тоской, в конце концов. У каждого была своя довольно бессистемная жизнь. Разве что общие ночи. И разрозненные дни.

Она жила со мной просто потому, что ей пока не с кем было жить. Вот и все. Как жила бы, может быть, с подругой (которой у нее не было). И только сегодня это милое замечание («небрить») как-то ужасно нас сблизило. В одну секунду.



Я обрадовался и в то же время подумал, что воздух, наверное, скоро потемнеет и я даже не посмею возразить, что это не так...

Этим утром Кира расчесывала волосы, а я брился. Все как надо. Все как у каждой супружеской пары — из многих тысяч счастливых и несчастных пар. Когда я об этом подумал, то меня почему-то резануло слово «пара». Я даже бритвой порезался. С одной стороны, я был горд, что вот и у меня — маргинального и жуткого типа — появилась своя пара. С другой — никак не мог понять: как это так, пара? Что ж, теперь нас будет двое? И неважно, где мы будем и с кем — нас все равно будет пара, нас будет двое. Даже если я буду с другой, а Кира с другим, мы все равно будем пара. И даже если я буду любить другую, а Кира другого — мы все равно останемся парой... Да, все-таки в жизни нет системности. Уравнения рушатся, цифры разбегаются, а мы все равно — пара. Что ж, пусть так. Я женюсь на ней. Пусть на земле, заполненной парами, станет еще на одну пару больше.

Этом утром, верите ли, я не только побрился, но и побежал в магазин. У Киры закончился кофе. Вы не поверите, я был счастлив. Какой-то чаплинской походкой я семеня по влажному тротуару, облитому поливочной машиной, и мне хотелось кричать о своем счастье: я иду за кофе, я — без пяти минут нобелевский лауреат и без десяти минут муж самой прекрасной женщины. Я уже не один. Я — в паре...

Знаете ли вы миф про несчастного Самсона? Я узнал о нем, когда подсчитывал вес Рубенса. Смешно, как прекрасная Далила (а скорее всего, не такая уж и прекрасная; все эти словечки типа «прекрасная» или «несравненная» — очень даже мифические; наверняка какая-нибудь кривоногая проходимка, такая же, как и моя Кира), — так вот, конечно же, смешно, как эта мифически прекрасная Далила выведала секрет силы Самсона, которая заключалась в его волосах. Так вот, эта дамочка взяла да и позвала цирюльника, который остриг ему волосы. Вы, наверное, знаете эту историю... Ей заплатили филистимляне. Наверное, она не прогадала, Самсон бы все равно на ней не женился. Он был тот еще бабник!

Смешно, но я думал об этом, сидя на кровати в пустой квартире. Где еще не выветрился запах Кириных духов. На столе стояла банка никому не нужного кофе. А у ножки стула лежала оторванная от чемодана ручка. У меня даже промелькнула нелепая мысль: как же она понесла чемодан без ручки? Меня так искренне интересовал этот нюанс, что я даже готов был позвонить и спросить ее об этом. Или сказать что-нибудь жалкое и глупое типа: милая, ты забыла у меня ручку от чемодана.

Ах да! Так при чем же тут Самсон? Вы, верно, уже догадались... Волосы мои были на месте (уж лучше бы она их остригла). Пропали только весы и чертежи (какая малость по сравнению с предательством Далилы).

Упомянув про себя пафосное «предательство», я даже как-то, прямо скажем, воспрянул духом! Боже, меня предали! И она, эта коварная изменница с лицом ребенка, будет ходить по последнему, девятому кругу ада рядом с Иудой, Брутом и Кассием. Может, даже в перерывах на обед она, моя чудная Кира, начнет стоять им глазки. Говорят, Кассий был очень даже ничего. А потом их всех — предателей, для кого и уготовлен самый страшный, последний, круг ада, — будет терзать своими тремя пальцами Люцифер... Я даже сам содрогнулся от этой мысли. Хотя моя Кира не читала Данте. Теперь же я думал, что своей следующей Далиле я обязательно буду читать на ночь «Божественную комедию». Пусть посмеется...

Ничего более умного, чем просто напиться, я не придумал. Мне казалось, что я просто напился. Вот и все. Но за окном дни сменяли ночи, ночи — дни, воздух темнел и светлел, а я просто пил. Но не как алкоголик. А очень тихо, даже почти по-светски. Представьте себе: на столике лежала тонкая разноцветная пластиковая трубочка-соломинка (уж не знаю, откуда она взялась в моей пещере, наверное, Кира откуда-то приволокла). Так вот, я через эту соломинку выпил не один стакан вина, потом перешел на коньяк и закончил старорежимной водкой.

Эта милая, такая интеллигентная соломинка будто бы подтверждала, что я, как бы это сказать, не алкоголик. Какой алкоголик будет цедить водку через соломинку, при этом придаваясь философским размышлениям?..

Однажды я зачем-то включил свой древний телевизор марки «Горизонт». Наверное, чтобы заглушить соседские голоса за стеной. И услышал голос, знакомый до боли. Это был голос Тасика.

— Разумеется, это прорыв. Причем прорыв не в технике, не в промышленности, а, как бы это сказать, — в сознании людей. До сего дня история не знала подобных прорывов. Во все века люди сами вынуждены были судить любое произведение искусства. И это всегда было весьма субъективно. Теперь же техника дошла до такого уровня, что позволяет вычислить абсолютно объективный вес таланта.

— Что же это принесет человечеству? — Это был уже другой голос.

Телевизор мой показывал скверно, все время рябил, и я слушал его, как радио. Потягивая через соломинку водку.

— Ну, во-первых, — отвечал Тасик, — думаю, целесообразно при поступлении в творческие вузы тут же взвешивать абитуриентов — это поможет избежать ошибок в многих судьбах. Во-вторых, схлынет пена людей, признанных благодаря моде, рекламе и прочему...

— То есть вы хотите провести, так сказать, масштабную инвентаризацию талантов?

— Да, вроде того...

По всем каналам, по всем радиостанциям говорили о Тасике Николаеве. Он стал человеком-легендой, без пяти минут нобелевский лауреат, а какой-то особенно рьяный ведущий даже предположил, что вскоре Нобелевскую премию переименуют в Николаевскую... Я слушал все это со странным спокойствием. У меня даже промелькнула странная мысль: все идет так, как нужно, при чем здесь я? Деньги, слава и, главное, пара... Все это не для меня. Я всегда буду небритый, убогий, одинокий и чуждый этому в общем-то забавному миру.

Когда-то давно, в детстве, весь наш класс пригласили на день рождения к некоему Артему (это имя до сих пор, спустя тридцать лет, нагоняет на меня ужас). Он — самый популярный мальчик в классе — гордо вручил всем пригласительные открытки. Абсолютно всем. Кроме меня...

Этот рок преследует меня с детства — все, кроме меня.

Тогда только Алиса — из жалости — подошла ко мне и сказала, что тоже не пойдет. Неужели у меня была все-таки пара? Но все равно это так давно, сто или двести лет назад, а может, до нашей эры...

Как сообщали все каналы, инвентаризация талантов (это словосочетание лихо подхватили все журналисты) будет проводиться публично. Транслироваться по телевидению. И каждый, каждый знаменитый певец, художник, режиссер, писатель и прочие и прочие... каждый встанет на весы.

Я спокойно созерцал всю эту веселую истерику по телевизору и радио. И с тоской думал, что избрал, наверное, вредную и глупую игрушку. Все это походило не на инвентаризацию, а, скорее, на инквизицию. А люди... Люди никогда не научатся отличать черное от белого, так уж они устроены. Это мой «Горизонт» — черно-белый. А у всех — новые, японские, цветные... Там все пестро и ярко. Какое уж тут черное и белое. Скоро, очень скоро будут безжалостно сброшены нынешние кумиры. Просто потому, что какой-то чудак избрал какие-то сомнительные весы таланта... Тасик из всего устроил шоу. Даже не проверив весы, не испытал их временем. Просто шоу. Я вспомнил, как запоем читал кни-

ги, вычисляя вес их авторов. Это было сто лет назад, ей-богу... А ведь я был тогда счастлив, когда моей единственной спутницей была работа.

По телевизору мелькали уже знакомые мне черно-белые лица: Белла Муне, Курносов, Тим Кошечев, футболист с физиономией кинозвезды, Антон фон Антонова и прочие типы, о которых Кира, к счастью, не успела мне поведать. Все они были уверены, что пройдут проверку. А мне, честно говоря, наплевать.

Не могу сказать, отчего мне так бесконечно и бесчеловечно тоскливо. То ли потому, что оказался таким же болваном, как Самсон? То ли потому, что потерял Киру? То ли что я потерял свое изобретение?.. Другой бы на моем месте, наверное, позвонил бы Тасику или Кире. Другой... На моем месте...

Я постоянно прокручивал про себя эти слова. На моем месте... Что ж, я сейчас вполне на своем месте. И не на этом ли месте я был всю свою жизнь?!

Мне стало весело оттого, что Самсон (который мне был невероятно близок в эти дни) тоже был когда-то рабом. Как и я. Я был рабом у Тасика, изобретая для него новые модели обычных весов, чайников, пылесосов и прочей чепухи, от которой сам бежал, как и от любого другого быта. Верите ли, дома у меня чайник был старый, алюминиевый, даже без свистка, а пылесоса не было вовсе. По мне так уж лучше пыль в доме, чем пылесос. На все это мне было наплевать или начихать, уж и не знаю, что точнее.

Все это было ерундой, от которой я с радостью избавлялся, как от роя ненужных идей, которые, впрочем, приносили кое-какие деньги, чтобы я мог жить и работать над тем... над самым важным и настоящим.

И вот я пришел к финишу. У меня нет имени, нет денег, нет любви, есть лишь годы и апатия. Никто никогда не поверит в такую до ужаса банальную историю: безвестный гений и знаменитый плагиатор. Моцарт и Сальери. Только мой Сальери меня не отравил, в чем я его и упрекаю, он просто украл мое и сам стал Моцартом. Вдруг меня осенила странная мысль. Сальери... А ведь я не высчитал его вес. Интересно, сколько же он потянет?.. Эта мысль меня немного отвлекла.

Я вновь накинул свой свадебный пиджак и выбежал на улицу. Мир был увлечен моим изобретением. Не скажу, что сражен (этот мир уже ничем не сразить, если только уничтожить), но все же увлечен, это точно.

Недавно прошел дождь, я чувствовал запах мокрого асфальта. Этот запах мне всегда напоминал школу, когда мы с Алисой бродили под дождем, и она всегда говорила, что мечтает о духах, которые бы пахли мокрым асфальтом. Звучит, конечно, ужасно



по-дурачки, но тогда я понимал, о чем она. И мы искренне удивлялись, что духи всегда пахнут розой или там еще какой-нибудь ерундой, а не мокрым асфальтом или свежескошенной травой...

Сейчас, вспомнив это, я улыбнулся. Как странно, Алиса тысячу лет назад исчезла из моей жизни, но так и не стала для меня прошлым. Наоборот, с каждым днем для меня она почему-то становилась все более и более настоящей и настоящей. А Кира... Ее зонтик стоял в моей прихожей, ее подушка еще пахла ее волосами, но она уже ушла от меня в далекое прошлое, о котором уже не хотелось и вспоминать. Самое страшное, когда человек становится прошлым, откуда уже не возвращаются.

Я зашел в музыкальный киоск. Ну, знаете, такие, где продают всякие диски и прочую чепуху. И меня сразу же оглушил чей-то голос, я даже не мог понять: поет мужчина или женщина? Но в данном случае это, видимо, было неважно. Продавец стоял ко мне спиной, по-моему, расставляя какие-то диски. Вообще-то я люблю, когда человек стоит ко мне спиной. Когда смотришь человеку в лицо, в глаза, то он невольно становится, ну как бы это сказать, частью твоей жизни. Ты испытываешь к нему антипатию или, что реже, симпатию. А спина — совсем другое дело. Обожаю спины. Особенно обожаю общаться со спинами. Хорошо бы ввести такое правило: разговаривать, повернувшись друг к другу спиной. Вот это было бы дело!

— У вас есть Сальери? — спросил я.

Спина услышала мой вопрос и, как мне показалось, задумалась. В этом нет ничего такого... Почему бы спине не задуматься? Ведь говорят, что в ней есть какой-то спинной мозг. Так что порой и она может быть с большой буквы.

— Это что, из новинок? — спросила Спина.

Какой он все-таки отличный парень, этот продавец! Даже не обернулся. Я мысленно поблагодарил его за это.

— Ну... Вряд ли это можно назвать новинкой.

— А... Значит, не раскрученный, — немного разочарованно сказала Спина.

— Может, Моцарт есть? — спросил я.

Хотя Моцарт был мне, честно сказать, и не нужен. Его вес я вычислил одним из первых.

— Моцарт? — Спина, кажется, услышала знакомое имя. — Ну... Че-то такое было...

Спина встала на табуретку. «Спина» звучит, конечно, глупо, но уверен, что, увидев лицо этого продавца, я наверняка испытал бы глубочайшее разочарование. А сейчас к этой спине у меня были почти дружеские чувства. Впрочем, все спины на одно лицо.

Мой добрый друг усиленно искал Моцарта на верхних полках. И ведь нашел. На меня градом сыпались диски: «Моцарт и Констанция», «Частная

жизнь Моцарта», «Моцарт и Сальери». Когда спина нашла этот диск, то не удержалась от бурных возгласов («Вот, и Сальери нашелся!..»).

— А вот тоже вроде как Моцарт... Только называется Амадеус. Вот тут написано, — и Спина стала по слогам читать аннотацию dvd-фильма. — Оскар-носный фильм Милоша Формана. «Оскар» за роль Сальери — Мюррэй Абрахам (эту фамилию Спина не могла прочесть очень долго и выдала по крайней мере шесть вариантов).

Меня это немного развеселило. Вот умора! «Оскара» все-таки Сальери отхватил!

— А музыки нет? — спросил я.

Спина стала вновь лихорадочно перебирать диски. Видно, его так учил хозяин — «у нас есть все, а незаменимых дисков не бывает!». И Спина решила предложить мне замену.

— А не хотите диск Антон вот Антоновой? Вот такие песни!..

И тут произошло непоправимое... Спина обернулась и... превратилась в лицо. Довольно банальное гладкое лицо с очень жалостливыми глазами. Глядя в эти глаза — обычного земного человеческого существа, — я не смог ему отказать и купил диск Антон фон Антоновой. Вот поэтому-то я и люблю иметь дело со спинами!

Музыку Сальери я все-таки нашел. Это занятие меня даже увлекло. Найти диск в многомиллионном городе, переполненном звуками фон Антоновой и группы «Крошки»... Это почти как поиски сокровищ. Наверное, если бы Моцарт и Сальери послушали современную музыку, они бы скооперировались и травили бы всех подряд. Я тоже, признаться, об этом стал подумывать.

Дома, усевшись перед проигрывателем, я поставил диск Сальери. Слушая музыку и потягивая через соломинку какой-то алкоголь, я забывался. Меня уже не мучили ни друзья, ни враги, ни любовницы. Я не был создан ни для одного, ни для второго, ни для третьего. Почему-то именно сейчас вдруг осознал: с кем бы я ни находился, кого бы ни любил, мои мысли всегда возвращались к Алисе...

И хотя оказалось, что общих воспоминаний — не так уж и много, я постоянно вспоминал ее. К ней меня приводил порой ряд несвязанных и бессмысленных ассоциаций. А если я долго не думал о ней, то она сама приходила ко мне — во сне. Все эти сто лет, которые длились после нашего общего детства, мы с ней будто бы не расставались. А ведь кроме случайных разговоров, сжатых пальцев и робких взглядов у нас ничего никогда не было. Я даже так и не осмелился ее поцеловать...

Существовала бывшая жена, существовала бывшая любовница, у каждой — свой «неоспоримый» статус. А та девочка, которую я истинно любил, так и останется для меня никем и ничем. Она будет идти рядом и никогда не случится в моей судьбе... Но к ней я всегда буду возвращаться. Мыслями, снами, воспоминаниями.

Вот и сейчас я почему-то вспомнил, что Алиса называла меня Форрест Гамп. Когда мы заканчивали школу, этот американский фильм с Томом Хэнксом в заглавной роли был очень популярен. Именно по этой причине я его тогда и не посмотрел. Меня всегда пугало все популярное. А Алиса обожала этого самого Форреста Гампа и утверждала, что фильм — экранизация «Идиота» Достоевского. Не знаю, может быть...

Алиса говорила, что к таким людям, как я, все приходит само. Что такие, как я, — лежачие камни. Под которые не течет (или, напротив, вопреки всему — течет, не помню) вода. Что это про нас, про тех, кто — лежачие камни, — сложил русский народ русские народные сказки о дурачках, которые всех побеждают... Но она ошибалась. Я был другим. Я хотел спрятаться под кровать, как в детстве, и там, под кроватью, прожить остаток дней...

Все эти трагические, несколько высокопарные и немного пьяные мысли мучили меня, когда я проводил математические расчеты веса Сальери. Когда же закончил, то результат меня не удивил: Сальери потянул на довольно солидный результат — 154 килограмма. Видно, чтобы завидовать Моцарту, надо все-таки быть Сальери!

Впрочем, зачем я делал эти бессмысленные расчеты? Хотя, наверное, по привычке... Скоро мое изобретение станет очередным пустым шоу для идиотов, предназначенным лишь для привлечения тупоголовых рекламодателей...

Я забрался под кровать пьяный и всеми брошенный. Последняя мысль, пришедшая в голову, была совсем неуместной: Сальери не травил Моцарта... А может, их двоих не было вовсе?..

Первое, что я увидел утром, — большого страшного паука. Он висел прямо надо мной и, как казалось, был недоволен, что я занял его место под кроватью.

— Слышь, брат, — сказал я ему, — давай махнемся! Отдаю тебе свою кровать, а я буду спать здесь... По рукам?

Паук был очень страшный, со стройными длинными лапами, глядя на которые я вспомнил о Кире. Она очень гордилась своими ногами, я тоже, признаться честно, гордился ее ногами. Хотя при чем же тут этот ужасный паук с длинными и стройными

ногами, то есть лапами?.. Людям еще повезло, что пауки такие маленькие. Я вылез из-под кровати и с тоской подумал, что впереди целый день.

Так началось мое забытье. Несколько дней я почти ничего не ел и никуда не выходил. Положил под кровать подушку, одеяло, спал там вместе с пауком, который скоро привык к моему соседству.

Кстати, о соседстве.

Однажды я услышал, как по комнате кто-то ходит. Это была моя соседка, дама с демоническим именем Тамара. Я бы описал ее, как Гоголь описывал Чичикова: не старая, не молодая, не толстая, не худая. В общем, соседка, этим все сказано. Когда я на полгода закрылся в своей квартире, изобретая весы таланта, она покупала мне продукты, иногда убиралась в комнатах, за что я ей достаточно хорошо платил.

Вот и сейчас, почуввав неладное, она зашла ко мне. Мне не хотелось разговаривать, потому я обрадовался своей новой идее — жизни под кроватью. Напрасно. Как оказалось, Тамара умела искать то, что ей необходимо, так что довольно быстро нашла меня. А может, это просто человеческий инстинкт — если человек пропал, если его нет в комнате, то первым делом хочется заглянуть под кровать, даже если пропавшему стукнуло уже тридцать пять лет, и найти его под кроватью — один шанс из тысячи. На сей раз этот один шанс сработал.

Увидев меня под кроватью, Тамара сначала испугалась, но вспомнив, с кем имеет дело, быстро успокоилась и заговорила об обычных вещах. О том, что я похудел, что, может, заболел, что мне нужны витамины... Я даже почувствовал к ней определенную нежность. Человек вот так вот стоит на корточках, заглядывает под чужую кровать и говорит о витаминах. Черт возьми, человек сострадает человеку!

— У вас депрессия, — важно сказала она. — Я даже могу догадаться почему...

И она хитро улыбнулась.

— Почему? — машинально спросил я.

— Все из-за нас...

Соседка с демоническим именем вздохнула. Я даже немного опешил.

— А кто вы? — осторожно спросил я.

— Из-за нас, женщин... — конкретизировала она.

По-моему, Тамаре было приятно произносить эти слова. Хотя вряд ли кто-нибудь из-за нее когда-нибудь впадал в депрессию.

— Сначала вас бросила рыжая, потом блондинка, да? — уточнила она.

Рыжая... Блондинка... Это поставило меня в тупик. Ах да! Кира... Многоликая Кира.



©Дудякова Анна, 2011 г.

— Ну, я угадала? — самодовольно спросила Тамара.

Если женщине нечем похвастаться, она хвастается своей интуицией. Даже если ее нет и в помине.

— Угадали, — ответил я.

— Схожу за продуктами, приберусь тут у вас... Ничего, поставим вас на ноги, как миленького...

— Поставим, — эхом согласился я.

— Прописываю вам куриный бульон и телевизор...

Тамара включила мой допотопный ящик.

— Сейчас все готовятся к телеинвентаризации, — сказала Тамара. — Очень увлекательно... И чего только сейчас не изобретают... Даже какие-то весы, кото-

рые взвешивают талант, как картошку. Во как! Люди на Луну летают, а вы под кроватью залегли!

Она уверенным жестом сорвала паутину, нависшую над моим лицом. Паука там уже не было — он исчез при первом же появлении Тамары...

Я выполнял все указания и приказания человека, которому оказался не безразличен лишь по той простой причине, что я — тоже человек. В этом что-то было, по-моему, вы не находите? Что-то человеческое, ей-богу... Помочь только потому, что мы — одного биологического вида. Это, на мой взгляд, веская причина для оказания помощи.

Единственное, что не удалось Тамаре, так это вытащить меня из-под кровати. Это было мое надежное убежище, и здесь я чувствовал себя в безопасности. Наверное, она решила, что я помешался. Хотя это совсем не так, честное слово. Просто под кроватью было прохладно, сумрачно, спокойно и как-то отрешенно. Здесь я чувствовал себя отшельником. Если не верите, то сами попробуйте, и вы поймете, что место под кроватью — это необитаемый остров. Не зря же дети и собаки находят там убежище от взрослого и даже страшного мира. Дети и животные всегда знают, что делают... Вот и я сейчас повиновался смутному инстинкту.

Тамара, моя неожиданная спасительница, сварила мне куриный бульон, лучший, по ее мнению, антидепрессант, и, как собаке, поставила пиалу с супом прямо под кровать. Оттуда (в смысле из-под кровати) я процитировал:

В той башне, высокой и тесной,
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла...

— И это вы так про меня... Про меня?! Вашу спасительницу! — печально изумилась Тамара с укором.

— Это не я, а Лермонтов, — пояснил я. — А знаете, сколько весил Лермонтов? Скажу вам по секрету: 530 кило, во как!

Тамара мне не поверила. Она хорошо помнила портрет из школьного учебника: худой юноша с огромными грустными глазами.

Надо сказать, что мне было немножко страшно... Думается, что Тамара положила на меня глаз. И хотя я уже почти неделю не показывался из-под кровати, она все-таки умудрилась положить на меня глаз, вот что страшно. Нет, человек человеку — волк (или человек человеку — жена). Это, в сущности, одно и то же. Да и Тамара все чаще спрашивала меня про мою первую супругу. Она всегда говорила именно

«супруга», никогда — «жена». И можно понять почему. Слово «супруга» звучало более серьезно, слово «жена» больше подходило для фельетона. Мне почему-то даже вспомнился рассказик Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью». Только чужой жены мне здесь и не хватало! Вспомнив это, я вслух рассмеялся. На что Тамара с негодованием сказала:

— Вы совсем с ума сошли...

Я даже не стал отнекиваться. Может, она не захочет жениться на сумасшедшем? Но нет... Я слишком хорошо о ней думал! Я почти попался. Даже наверняка бы попался, если бы не одно но...

Мне очень нравится, когда так говорят: одно но. Знаете, это самое но может всю жизнь изменить. И вот это но случилось со мной.

Однажды под кроватью я услышал, как Тамара с кем-то разговаривает. Голоса становились все отчетливее, и вскоре я узнал второй — Кирина. Меня аж всего передернуло. Пришла. Моя Далила пришла. Из-под кровати я увидел две пары ног (итого — четыре ноги) — тапочки Тамары и босоножки Киры. Я хорошо помнил эти босоножки, Кира надевала их только в исключительных случаях. Значит, я оказался тоже исключительным случаем... Мне на секунду представилось, что в мою комнату зашло невиданное четвероногое животное. Передние ноги в тапочках, а задние — в босоножках.

Я прислушался. Тамара стыдила Киру. Обвиняла ее в моей не случившейся смерти, от которой я был на волосок (наверное, ее рыжий волосок). Мне вдруг стало ужасно интересно: какая Кира сейчас — белая, рыжая или черная, а может, она теперь Мальвина? Побуждаемый этим любопытством, я выглянул из-под кровати.

— Рома... — выдохнула Кира, увидев мою страшную небритую физиономию.

А я был не просто небрит, я был бородат и лохмат. Я был настоящим уродом. Черт возьми! А она — как всегда божественно красива! Волосы ее оказались (на этот раз) неестественно белыми, а глаза — черными, как у турчанки (наверное, так надо для роли). В своем полупрозрачном белом платье она вообще походила на девиц с картин Альфонса Мухи (уж и не помню, сколько он весил, но я любил его картины и его томных женщин, потому что, как всякий урод, был преувеличенно равнодушен ко всякой красоте). И вот она передо мной... Любовь моя, моя мечта, та, о которой я говорю всегда совсем не те слова, которых она заслуживает...

— Вылезай оттуда, Рома, — сказала она.

Я упрямо замотал головой. Она присела на корточки, так что мы могли видеть друг друга (только она видела меня в полумраке подкроватья). Эту романтическую сцену несколько портили пушистые



тапочки Тамары, которые я тоже видел из своего убежища. Наконец эти тапочки ушли, и у нас с Кирой состоялся душераздирающий разговор.

Она говорила простые слова: «Тасик меня заставил», «я не хотела», «я любила, прости», и все в таком духе. Я смотрел на ее бледное лицо и не мог ей не верить. Мы всегда верим, что нас любят. Даже когда это просто смешно. Наконец, она подошла к главному. Кира сидела прямо на полу, и я услужливо пригласил ее к себе под кровать. Теперь мы лежали в полумраке вдвоем, тесно прижавшись друг к другу.

— Скоро будет «Инвентаризация»... Это шоу так назвал Тасик. Все признанные люди будут публично взвешиваться... И... И я тоже хочу попробовать...

— Ты уже снялась в этом фильме? — спросил я.

— Да, но там совсем крошечная роль, ты же понимаешь, как сложно...

Я ничего не понимал. Я отказывался что-либо понимать. Мне казалось, что я снова люблю Киру, которая сошла с полотен Мухи (или Боттичелли, а может, даже Врубеля). А может, она ниоткуда не сходила. Кира, которая, в сущности, работала в том самом древнем жанре.

— Я уже взвешивалась на этих весах... И... я... я... вешу всего 40 килограммов.

Это была явная ложь. Кира весила 20, и я это помнил. Она была первым человеком после меня, кто опробовал весы. Теперь я знал, зачем она при-



шла. Ну что ж, я — ничтожный человек, который весит все 300 килограммов, люблю ничтожную девушку, которая весит всего 20.

Мы посмотрели друг на друга. Кира даже ни о чем не попросила. Но я сделаю то, о чем она не попросила...

Под кроватью было очень тесно, и я слышал ее дыхание. Кира поцеловала меня, и у меня немного онемели губы. От нее пахло мятой. Мне стало ужасно неприятно. Кира не любила все эти мятные жвачки. В общем-то, по-моему, почти все не любят жвачки, но мало кто в этом себе признается. Кира признавалась. Она не любила все мятное. Я с тоской подумал, что она нарочно купила мятную жвачку или конфету потому, что планировала целоваться со мной. Слово «планировало» меня немного задело, и я бы наверняка развивал эту неприятную тему и из-за какой-то ничтожной жвачки мог даже возненавидеть Киру, но я не успел. Кира продолжала целовать меня. Я отвечал сначала машинально, а потом тоже как-то увлекся.

Я чувствовал ее волосы, которые как всегда лезли мне в рот, в уши, в глаза. Она завоевала мое убежище, даже здесь я от нее не спрятался.

Сплетались горячие руки,
Уста прилипали к устам,
И странные, дикие звуки
Всю ночь раздавались там...

Эти стихи пришли мне на ум случайно, через примитивные ассоциации. Цитата из «Тамары» Лермонтова, навеянная моей случайной спасительницей Тамарой и сиюминутной любовью к Кире...

Кира смотрела на меня. Я знал это ее выражение лица — когда она откидывала назад прядь волос и немного щурила глаза.

— Я тебя люблю, — сказала Кира самую скучную и бессмысленную фразу на свете. К слову, я уже стал испытывать легкое раздражение, когда это слышал.

Потому я промолчал, чем вынудил Киру к еще более прозаическому вопросу, продолжавшему тему:

— А ты меня любишь?

Ну вот, нужно отвечать, никуда тут не денешься. И я стал лихорадочно прикидывать, что бы сказать: «И я тебя люблю», или «И я тоже», или «Конечно, люблю».

— Ялим, — сказал я.

Кира не поняла. Еще бы! Она никогда ничего не понимает. Алиса бы поняла! Мы с ней часто так раз-

говаривали. По-моему, так разговаривают все дети. По крайней мере, в какой-то момент это кажется чуть ли не открытием: читать слова наоборот. Таким же открытием, как поцелуй, или любовь, или еще какие-нибудь забавные вещи, от которых потом, впрочем, неизбежно устаешь. И все это кажется не более забавным, чем прочитанные наоборот слова.

— Мне иногда кажется, что ты никого и ничего не любишь... Ты очень злой! — строго сказала Кира.

И я даже растерялся. Может, это и правда. Что тут поделаешь? Когда я высчитывал грандиозный вес Достоевского, то буквально помешался на князе Мышкине. Как подросток, фанатеющий от какой-нибудь рок-группы, готов был чуть ли не плакаты князя Мышкина (если бы таковые имелись) развесить на стенах квартиры. Даже, как и полагается ярому поклоннику, пытался подражать своему кумиру. Перед зеркалом я примерял смиренное выражение лица и клялся, что не буду язвить, даже если Тасик еще раз при мне расскажет анекдот...

Но куда там! Я был жалок в этой роли. Чтобы стать князем Мышкиным, нужно, быть может, пройти долгий путь мизантропии. В «Братьях Карамазовых» я прочел то, что меня ужасно задело: «Люблю человечество, но дивлюсь на себя самого: чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц. В мечтах я нередко доходил до страстных помыслов о служении человечеству и может быть действительно пошел бы на крест за людей, если бы это вдруг как-нибудь потребовалось, а между тем я двух дней не в состоянии прожить ни с кем в одной комнате, о чем знаю из опыта...»

Возлюбить людей, но с открытыми глазами, не закрывая глаза ни на что. Неужели и сам Достоевский метался от мизантропии к филантропии? В сущности, какая разница — первое или второе. Окончание-то все равно одно — человек. Человечность. Человечество. Здесь страшнее такие, как моя Кира, ей вообще начихать на всю эту тропию...

Но разве мог я все это объяснить моей разноглазой Кире?

— Тебе ничего не нравится, так нельзя! — резонно заметила Кира.

Моя милая девочка, даже ее я не любил. Между нами только «импровизированная страсть». Не более...

В некогда модном романе Сэлинджера «Над пропастью во ржи» одного паренька, главного героя, точно так же пыталась его младшая сестренка. Она говорила ему (привожу дословно, я зачитал эту книгу до дыр): «Ничего тебе не нравится. Все школы не нравятся, все на свете тебе не нравится. Не нравится — и все! Назови хоть что-нибудь одно, что ты любишь!..»

И этот бедняга никак не мог ничего припомнить. А это и вправду вопрос не простой! Что ты любишь?

Тот парень «вспомнил только двух монахинь, которые собирают деньги в потрепанные соломенные корзинки. Особенно вспомнилась та, в стальных очках. Вспомнил еще мальчика, с которым учился в Элктон-хилле». И все, больше ничего он и не припомнил.

Хотя, ей-богу, это уже не так мало! Но разве Кира поймет? Книга Сэлинджера тогда очень сильно меня впечатлила. Я даже не стал подсчитывать его вес. Просто прочел книгу — и все. Без корыстного умысла...

Как бы я хотел сказать, что мне нравятся две монахини, которые собирают милостыню, и мальчик из Элктон-хилла. Но, увы, даже они не встретились мне на пути. Может, я и вправду злой?

Это я и сказал Кире. На что моя девочка мне ответила:

— Зато Тасик добрый.

Разве мог я что-нибудь на это возразить? Да уж, Тасик и впрямь добрый малый, любезный, с голливудской улыбкой, золото, а не парень! Почему же доброта и дело идут разными тропами? Вот тебе и тропия, вот тебе и человечество, черт его дер!

Потом мы еще долго целовались. Я решил заткнуть ей рот поцелуями. Все равно ничего умного не скажет. Но она все-таки сказала:

— Знаешь, тебя надо подстричь, ты такой ужасный.

Говоря это, она погладила рукой мои ужасные волосы. Затем выскочила из-под кровати и куда-то исчезла. Видимо, отправилась за ножницами. Мне даже любопытно стало: неужели в этой пещере она найдет ножницы? У меня всегда ножницы, расчески и ручки пропадали в бермудском треугольнике квартиры (между входной дверью, кухней и спальней), превращаясь для меня в почти мифические вещи.

Но Кира как ни в чем не бывало вернулась с ножницами и в полутьме подкроватья стала меня подстригать.

В этом чувствовалось нечто символическое, и меня это даже приятно удивило. Все-таки я ужасно сентиментален, и робкое сравнение меня — хилого, сутулого, некрасивого — с Самсоном было весьма лестно. Я любил Киру. Здесь, под кроватью. И это были пределы нашей любви.

— У тебя непослушные волосы, — сказала Кира между парикмахерским делом.

Еще бы! Меня вообще никто не слушается, даже собственные волосы.

Утром мы распрощались, как верные любовники. Она сказала, что украдет весы у Тасика и вечером принесет мне. Ей не впервой воровать.

Днем ко мне зашла Тамара и, представите себе, сунула мне вместе с чашкой бульона письмо под кровать. Я даже оторопел. Вот уж чего не ожидал от простой девушки с лермонтовским именем, так это нежного любовного письма. Я несколько раз перечел его: «Я решила написать вам, и этим все сказано. Вы, конечно, можете посмеяться надо мной. Но если вы хоть сколько-нибудь умеете сострадать, то этого не сделаете. Я долго не решалась вам все это высказать, вы никогда бы не узнали о моих чувствах, если бы я могла надеяться хотя бы на редкие свидания с вами, на разговоры, а потом могла бы думать о вас до новой случайной встречи. Но вы такой дикий! А я простая женщина, хоть и всегда рада вам помочь. Зачем вы только живете по соседству со мной? Лучше б мне вас не знать! Не знать этих любовных страданий! Со временем я бы вышла замуж и стала бы хорошей супругой. Но теперь все мои мысли только о вас. Я ваша! Мне кажется, что всю жизнь я ожидала встречи с вами. Вы моя судьба! Вы мне даже снились, я вас полюбила, еще не встретив. Мне как будто знакомы и ваши глаза, и ваш голос. Как только я встретила вас на лестнице, я сразу поняла — это он! Вы моя судьба, или мне это только кажется? Решите сами. Быть может, я ошибаюсь в вас. И меня ждет другой человек. Я полностью доверяюсь вам! Со слезами на глазах прошу вас о защите. Я совсем одинока и никто меня не понимает, я близка к помешательству, мне кажется, что я умираю... С надеждой жду вашего ответа. Может, опустите меня на землю, упрекнув в глупости?.. Заканчиваю свое письмо, даже не перечитав. Чувствую стыд и страх, но надеюсь на вашу порядочность...»

Я смутно догадывался, что где-то я уже читал это письмо... Вот только где?

Наконец до меня дошло! Это письмо все девочки заучивали в школе. И читали его перед всем классом. Ну конечно! Старый добрый Пушкин, кто же еще?

И только моя Алиса, только она отказалась учить письмо Татьяны и выучила письмо Онегина. Она уже тогда была чуточку эмансипатка, не согласная с обычными ролями.

Моя Алиса не знала, что Пушкин сказал: «Татьяна — это я!» Не знаю, почему он так сказал. Наверное, потому, что всякий писатель — немного женщина, а всякая писательница — немного мужчина. Просто потому, что и те и другие — выше полов или ниже.

«Онегина» я знал наизусть. Пушкин, как и Моцарт, был один из первых, чье творчество я изучил



досконально, понятно с какой целью. Про себя вспомнив всего «Онегина», я остановил свой выбор на одном отрывке, который лучше других подходил для ответа:

Вы ко мне писали,
Не отпирайтесь. Я прочел
Души доверчивой признанья,
Любви невинной излишня;
Мне ваша искренность мила;
Она в волненье привела
Давно умолкнувшие чувства;
Но вас хвалить я не хочу;
Я за нее вам отплачу
Признаньем также без искусства;
Примите исповедь мою:
Себя на суд вам отдаю.

Когда бы жизнь домашним кругом
Я ограничить захотел;
Когда б мне быть отцом, супругом
Приятный жребий повелел;
Когда б семейственной картиной
Пленился я хоть миг единый, —
То, верно б, кроме вас одной
Невесты не искал иной.
Скажу без блесков мадригальных:
Нашед мой прежний идеал,
Я, верно б, вас одну избрал
В подруги дней моих печальных,
Всего прекрасного в залог,
И был бы счастлив... сколько мог!

Но я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостоин я.
Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.
Я, сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас;
Начнете плакать: ваши слезы
Не тронут сердца моего,
А будут лишь бесить его.
Судите ж вы, какие розы
Нам заготовит Гименей
И, может быть, на много дней.

Что может быть на свете хуже
Семьи, где бедная жена
Грустит о недостойном муже,
И днем и вечером одна;
Где скучный муж, ей цену зная
(Судьбу, однако ж, проклиная),

Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно-ревнив!
Таков я. И того ль искали
Вы чистой, пламенной душой,
Когда с такою простотой,
С таким умом ко мне писали?
Ужели жребий вам такой
Назначен строгою судьбой?

Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей...
Я вас люблю любовью брата
И, может быть, еще нежней.
Послушайте ж меня без гнева:
Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты;
Так деревцо свои листы
Меняет с каждою весною.
Так видно небом суждено.
Полюбите вы снова: но...
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет...

И когда ко мне заглянула Тамара, я знал, что ей отвечать. Она была не слишком-то смущена. И я догадывался, что она влюблена в меня не как в меня, а, скорее, как в случайного представителя противоположного пола.

— Ну что? — с напором сказала Тамара.

Это «ну что» как-то не очень-то располагало к сокровенному разговору. Я почувствовал себя чуточку Онегиным — таким хладнокровным и скучающим типом. Правда, Тамара не слишком-то тянула на Татьяну. Хотя я отметил про себя, что Тамара «ничего себе». У нее было очень гладкое лицо. Не за что даже глазом зацепиться — нос как нос, глаза как глаза. Как будто все в ее лице было просто словами, не вызывающими ни эмоций, ни чувств. Когда слышишь слово: «нос» или «глаз». Просто слово и ничего больше. Как безликий человек на страницах учебника по биологии. Такой была и Тамара. Я даже подумал, что если бы она была уродиной, то я бы в нее влюбился...

— Вы мне писали. Не отпирайтесь. Я прочитал. Ваше признание и ваша искренность — все это очень мило. Все это взволновало меня. Ну да ни к чему все эти похвалы. Если уж так, я расскажу вам немного о себе. Если бы я хотел создать семью, стать отцом, супругом, если бы желал домашнего уюта, то, конечно, на роль жены выбрал бы только вас. И возможно, был бы счастлив. Но я не создан для этого. И я не стою вас! Говорю вам по совести,

брак для нас был бы мукой. И даже если бы я полюбил вас, то, женившись, вы бы мне наскучили. Вы бы плакали, укоряли меня, и ваши слезы бы только раздражали меня... Вот какую картину я нарисовал на много лет. Что может быть ужаснее семьи, где несчастная жена плачет о плохом муже? Все время одна. А муж всегда зол, молчалив. Я — такой, что поделаешь! Уверен, что вы не этого хотите. И не о том думал, когда мне писали. Не думаю, что вам предназначена такая судьба. Время не повернуть вспять. Я уже не изменюсь. Я люблю вас как брат, и даже чуточку больше. Не сердитесь. Вы еще влюбитесь, и не раз. Но мой вам совет, будьте сдержаннее. Не всякий, как я, поймет вас и не воспользуется вашей доверчивостью...

Тамара смотрела на меня с тоской. Я подумал, что нечто подобное она уже слышала, только, видимо, не в такой изящной форме. Мне еще оставалась добавить: останемся друзьями. Но я подумал, что это не впишется в стилистику. И потом, что значит «останемся друзьями»? Мы не можем остаться друзьями хотя бы потому, что мы ими никогда и не были. И я сказал другое:

— Останемся соседями.

— А куда нам деваться, — с тоской сказала Тамара.

И я подумал, что она, наверное, уже задумала снести стену, которая разделяла наши квартиры, и объединить не только сердца... Все женщины думают только о ремонте.

Мне стало ее немного жаль, и я решил, что просто обязан сделать ей что-нибудь приятное.

— Тамара... А... У вас была какая-нибудь мечта?

Этот вопрос застал ее врасплох. Когда динамят, то не спрашивают про мечту. Но она ответила мне совершенно искренне (в искренних ответах всегда есть что-то постыдное, правда?):

— Да... В детстве я хотела стать балериной.

Вот те на! Тамара — земная, высокая, плотная, — оказывается, в душе балерина. Это тронуло меня до слез!

— Ты будешь балериной! — я сказал это тоном волшебника Изумрудного города.

Что-то я в последнее время стал замечать за собой странную привычку все время во что-то играть. То в любовника, то во всесильного волшебника, то в обманутого Самсона, то в почти самоубийцу. Люблю дурачиться. А люди все принимают за чистую монету.

Я в который раз подумал, что людям нужны весы... Им нужно взвешивать все: талант, правду, любовь... Все, и я в том числе, не способны разобрататься во всей чепухе. Вечно все не то, да не с теми, да не так... Я хотел сказать об этом Тамаре, но подумал, что всякая откровенность — это повод. А вся-

кий повод — это поводок. В общем, меньше всего я хотел идти на поводу у Тамары.

Но как честный мужчина, у которого «что-то было» с женщиной (а для меня это именно «было», так как с другими у меня не было и этого), решил что-нибудь для нее сделать. А именно сделать ее балериной. Почему балериной? Она этого хотела, и этим все сказано, верно? Если у моей бывшей Киры будет 200 килограммов (а я ей это пообещал), почему у моей не случившейся супруги не могут быть те же 200 килограммов, чтобы она стала балериной. Да уж, теперь я понимаю, почему Кафка весил так много: абсурдность реального — реально абсурдно. И как самый настоящий болван, живущий в этом мире, я уже начинал довольно неплохо играть разные роли, а заодно и играть словами, как видите. Все понарошку, даже моя настоящая любовь!

Тамаре я сказал, что вижу в ней талант балерины (она поверила, мы ведь всегда верим в доброе и хорошее, если это о нас). И что я никогда не смогу подарить ей изумрудов, но могу подарить изумрудный город — и не сегодня-завтра она попадет на шоу, а с шоу — прямо в Большой театр! И не важно, что ей за или под тридцать, и она выше меня на голову, и шире меня в талии. Все это чушь! Я изобрел весы таланта, почему же я не могу изобрести сам талант?

— Только надо немного измениться, — сказал я. — Мы этим займемся.

«Мы» прозвучало несколько опрометчиво. И я тут же поправился:

— Вы этим займетесь.

Кира пришла ко мне, как и обещала, этим же вечером. Снова она снизошла до меня... Дева с картин Мухи. Я ей, между прочим, сказал об этом. На что она обиженно ответила: «Какая еще муха?» И после этих слов ее розовое платье уже не казалось мне платьем музы, а казалось пошловатым и дешевым, каким, в общем-то, обычно и кажется любое розовое платье.

Но, черт возьми, мне-то какое до этого дело? Кира передо мной, сжимает в ручонках мои весы. У меня даже мелькнула крамольная мысль: а что если толкнуть эту двадцатикилограммовую дурочку, забрать у нее весы и припустить со всех ног... Глупо! Тасик уже давным-давно зарегистрировал свое изобретение.

Но эта крамольная мысль меня насмешила, как смешат все крамольные мысли. Иногда, знаете ли, так приятно замыслить убийство, воровство или прелюбодеяние! Все то, за что мы должны гореть и плавиться, как предрекал Данте. Правда, Кира в свои почтенные юные годы успела реально пройтись по всем библейским статьям! Но я-то знал, что



она не сгорит там, ее слезы осушат любое пламя! Кира, как обещал Данте, попадет уж не помню в какой круг ада, где собралась уже добрая половина человечества. Кажется, там те самые Паола и Франческа, Пеллеас и Мелизанда, вечно вместе в вечном аду. Может, Данте имел в виду брак — тот самый круг, который проходят и на земле?

Кира как всегда отвлекла меня от возвышенных мыслей. Я, видимо, так задумчиво смотрел на весы, что она испугалась.

— Что? Ты ничего не можешь сделать?

Я молчал. Вообще-то приятно иногда вот так вот помолчать. Не то чтобы я мстил, но меня так и подмывало потребовать что-нибудь взамен. Но что я мог потребовать? Любви? Я же не такая скотина, чтобы требовать то, чего нет. Чего же тогда? Денег? Вот-вот... Эта мысль вдруг показалась мне забавной. Да, да, я примитивный шантажист, из тех, кого даже не жалко, когда их убивают в каждом детективе. Теперь я играл в шантажиста. Стыдливо улыбнулся и сказал:

— Мне нужны деньги...

Кира не ожидала такого поворота. По-моему, это ее даже оскорбило. Она знала, что я не признавал денежные знаки, как и дорожные, а так же знаки внимания и вообще любые другие знаки.

И потом, мое требование — самое неоспоримое доказательство того, что любовь к ней прошла. А это обидно всякой и всякому.

— Хорошо, сколько?

Фраза, четко выстроенная: «Хорошо, сколько?»

Я сказал сколько (меня, как математика, унижает то, что числа — эти совершенные и почти неземные создания — обозначают всего лишь цифры, напечатанные на купюрах). Поэтому я не скажу вам, сколько запросил, тем более что это неважно. Сколько ни скажи, через месяц это покажется мало.

Кира ушла несколько озадаченная, и, наверное, даже в ее разноцветных глазах мелькнули слезы.

«Как жаль, что прошли времена Паоло и Франчески!» — подумал я. Хотя до меня об этом подумал Блок.

Так прошел еще один день. Уснул я с чувством удовлетворения и какой-то ребячьей радости. Сегодня я поиграл в шантажиста, это была веселая игра!

Чтобы сильно не отвлекаться и не сбиться с хронологии, я тут же перейду к рассказу о Тамаре. С ней я играл в другую игру под названием «Пигмалион». Вы все поняли, конечно! Старый добрый Бернад, который Шоу! Да, за время моего «весового дела» я так хорошо изучил искусство, что сам стал каким-то искусственным. Жил как-то понарошку. И потом,

честно говоря, понарошку — оно ведь и не так хлопотно, правда?

Итак, Тамара... Моя Галатея! Моя Элиза Дулиттл! Но я решил действовать несколько по-другому. Речь, манеры — все это, по правде, неважно. Главное, сделать из нее то, что сделала из себя Кира. А уж Кира знала, что делала!

И на следующий день мы чуть ли не под ручку (именно «чуть ли», потому что до «ручки» оставалось совсем чуть-чуть) пошли в клинику. Я был заметно (а может, и незаметно) взволнован. Понятное дело, почему... Там была моя Алиса. И я снова ее увижу. Мне стало даже немного страшно — а вдруг она подумает, что я маньяк, который каждый месяц переделывает лицо новой девушке. Что ж, если она так подумает, то сможет подкинуть своему бывшему мужу неплохой сюжетец.

Но Алиса ни о чем меня не спросила. Алиса была Алисой. Молчаливой, сдержанной, высокомерной. Она была мной. А я был ею.

Дежавю... Я с детства не любил это слово. Есть в нем что-то пижонское. Дежавю... И все-таки не смог не удержаться, чтобы не произнести это слово вслух. Как тут не сказать: «Дежавю!» Прошел всего месяц, а я снова в этом кабинете, с новой девушкой, выбираю ей новый нос.

— Вот этот! — уверенно сказал я.

Алиса посмотрела на меня с чуть заметной усмешкой. И я прочитал по губам (по губам, которые даже не пошевелились): «Этот вы уже брали!»

Мы с Алисой умели читать мысль друг друга.

— Да, этот! — сказал я довольно уверенно.

Алиса кивнула и проводила Тамару туда же, куда некогда Киру.

Мы еще столкнулись с ней в коридоре, и Алиса не удержалась от едкой фразы:

— А ты ты куда подевал?

Я промолчал. Сейчас я вдруг понял, что не люблю Алису. Так же, как не люблю самого себя...

Когда я вышел из клиники, то чувствовал себя почти тем самым Ромой, которому было когда-то пятнадцать лет. А было это еще до нашей эры, наверное...

И вот снова я иду по блестящему асфальту, который похож на кита, хотя я кита никогда не видел и не увижу, наверное. Недавно прошел дождь, и я почти счастлив. Просто тем, что я — это я. А под ногами блестящий асфальт.

Снова пошел ливень, и улицы вмиг опустели. Я, тоже поддавшись чувству общей паники, забежал в парфюмерный магазин. В общем-то, сюда я и шел.

В магазине было полно женщин, что показалось мне противестественным. Духи должны покупать

мужчины. Я нахально растолкал всех локтями и, глядя в глаза продавщице, которая была для меня просто «девушка», спросил:

— Есть ли у вас духи с запахом мокрого асфальта?

Она немного растерялась. Но, видимо, ей, как и спине, говорил хозяин: «Незаменимого товара не бывает!»

Потому запах асфальта она попыталась заменить красным мандарином, клюквой, жасмином, фиалкой, геранью, мускусом, ванилью, даже древесиной. Передо мной стояли флакончики разных запахов и цветов. У меня немного кружилась голова, и страшно хотелось пить. Но я стоял на своем. Запах мокрого асфальта после дождя.

Не могу что-то не купить, глядя человеку в глаза. Человеку, который ради меня задышался от красного мандарина и ванили. Ради меня терял обоняние. И я купил что-то наугад, зная, что мне и подарить-то это некому... Я шел по улице, политой дождем, нес в руках какую-то мерзкую яркую упаковку и с тоской думал, что тяжело на свете живется человеку, которому некому подарить духи.

Тут еще я, как назло, увидел свадьбу. На меня с детства свадьбы нагоняли какое-то смутное чувство тоски. И сейчас почти с отвращением я смотрел на невесту, которая топталась на месте, видимо, чего-то ожидая. В руке у нее была длинная тонкая сигарета. Впрочем, она выглядела довольно миловидно. Крашенная блондинка с крашеным загаром. От вина она раскраснелась, и ее голубые глаза блестели, как цветные стеклышки на солнце.

Кто был женихом из толпы многочисленных типов, стоящих поодаль, я так и не понял. Но она стояла почему-то одна. Глядя на нее, я вспомнил роман Чарльза Уэбба «Выпускник». Это такой старый американский роман, в общем, довольно забавный. Там один тип врывается в церковь, хватается за невесту, влюбленную в него, которая, между прочим, уже обвенчалась с каким-то гадом, и они бегут вместе от озверевших родственников. Парень хватается за большой крест и подпирает им двери церкви, чтобы родственники не смогли пуститься за ними в погоню... Смешно, конечно, но мне вдруг ужасно захотелось чего-то такого.

Я смотрел на эту грустную и немного пьяную невесту и с тоской думал, что люди никогда не выбирают друг друга. Их всегда выбирает случай. Чаще всего несчастливый. Любовь всегда остается за бортом жизни.

Девушка была примерно одних со мной лет, и далее я сделал то, чего сам от себя, честно говоря, не ожидал. Я подошел к ней и сказал:

— Не выходи замуж, прошу тебя!

Я произнес это так проникновенно, каким-то несвойственным мне фальцетом. Она удивленно по-

смотрела на меня, и по ее взгляду я понял, что она пытается меня вспомнить.

— Я всегда тебя любил, с шестого класса, помнишь? С параллели... Все эти годы я думал о тебе и когда узнал, что у тебя свадьба, тут же примчался.

Самое смешное, что невеста смотрела на меня без удивления, будто только этого и ждала.

— Я — Саша, — тихо произнес я.

Именно тихо, тут громкость ни к чему. Знаете ли, когда говоришь «Саша», то почти всегда попадаешь в точку. У каждого в жизни был одноклассник Саша.

— А... Ты ушел в восьмом классе, — неуверенно сказала она.

— Ну, бежим! — Я протянул ей руку, и мы побежали.

Честно говоря, я сам не ожидал, что меня так понесет. Я почти верил во всю эту мелодраматическую историю, которую только что разыграл. Правда, я ожидал толпу озверевших родственников и разъяренного жениха. Но на нас никто не обратил внимания, что было даже обидно.

Мы спокойно добежали до ближайшего парка. Впрочем, и я, и она уже не так хорошо бегали и к тому же не знали — куда бежим. Невеста, тяжело дыша, села на скамейку. И мы неуклюже поцеловались. Неуклюже потому, что у нас сбилось дыхание.

— И что? — спросила наконец она.

— Ничего, — ответил я.

— Как это ничего? А кем ты работаешь?

— Я? Безработный, — честно ответил я.

— Безработный? Как же так? Твой папа был дипломатом, это все знали... Ты же потом уехал в Бельгию.

— Да. — Я зачем-то поцеловал ей руку. — Но потом я сбежал из дома, и все из-за любви к тебе.

— Ну, знаешь ли! — невеста резко отпрянула от меня. Но потом почему-то смягчилась и почти нежно сказала: — Знаешь, все это безрассудно... Я... Я думаю, надо вернуться. Пошли... Я тебя тоже приглашаю...

Мы снова взяли за руки и побежали обратно. Этим вечером я кричал «горько», рассказывал о Бельгии и вспоминал романтический танец на школьном вечере в шестом классе. Духи я подарил ей...

Засыпая дома, под кроватью, я подумал: как глупо, что я когда-то не украл Алису. Она бы точно пошла за мной. А теперь уже поздно. Она не пойдет ни за кем.

Кира позвонила мне ночью и шепотом сказала, что достала деньги. Далее звучал вопрос, который соответствовал отношениям «шантажист — жертва». Где встретимся? Я назначил свидание на од-



ной оживленной улице. Вместо «до свидания» меня оглушили гудки.

Перед встречей я забежал в больницу к Тамаре, убедился, что все прошло хорошо, нос на месте, и поторопился к Кире. Прохожие, которых я, как кегли, сбивал по пути, удивленно смотрели мне вслед. Надо сказать, что за время своего пребывания под кроватью я совсем опустил. И хотя Кира меня подстригла, вид у меня все равно был еще тот. Я и так никогда не отличался особой красотой, а тут похудел еще больше, совсем ссутулился, синяки под глазами выглядели так, как будто меня кто-то периодически метелил. Прибавьте еще к этому глаза цвета российского флага и какую-то мерзкую бородавку.

Кира вместо приветствия протянула мне конверт. Деньги в конверте — это как-то мерзко, не находите? Меня даже на секунду посетила мысль, а что если с вызовом бросить их в огонь, как у Достоевского в «Идиоте»? Но стало жалко Киру, она ведь поддастся инстинкту и все руки себе обожжет. Нет, нельзя... Нельзя так скверно поступать с девушкой, с которой «что-то было».

Мы распрощались, и я сказал, чтобы она зашла завтра.

Глядя ей вслед, я даже почувствовал какую-то циничную нежность. Вот по улице идет девушка, которую я вроде как, может быть, даже, когда-то почти любил. Ветер пытается поднять ей юбку, которую она целомудренно придерживает руками. Ну хоть что-то она сделала в жизни целомудренного... Я даже втайне порадовался за Киру. Хоть бы ветер не поднял ей юбку.

Когда Кира скрылась из виду, я зашел в ювелирный магазин, возле которого назначил встречу, и купил кольцо с бриллиантами — почти на все деньги. Не знаю, бриллианты это или нет, наверное, они, хотя по мне так обычные стеклышки. Но судя по завистливым взглядам продавщиц, все-таки не стеклышки, черт их дер.

— А вы знаете, — трагическим голосом произнес я, — дети индейцев играли с игрушками из золота... Золото было всего лишь игрушкой. Это у нас, у бледнолицых, все не как у людей...

Мой пафос не поняли, и я вышел из магазина, оскорбленный и гордый. Оскорбленный за индейских детей и гордый собственным благородством.

К приходу Киры я готовился тщательно. Даже побрился, оставив на лице несколько царапин. Надел белую рубашку, которую недавно постирала мне Тамара, купил вина, какой-то еды и, вы не поверите, поставил две свечи. Кира падка на такие штучки. Вино, свечи, полумрак, кольцо и любовь под крова-

тью. Зачем мне было все это нужно, не знаю. К тому же, если вдуматься, довольно глупо дарить девушке кольцо, купленное на деньги, которые вымогал у нее путем шантажа. Ну а если не вдумываться, то почему бы и нет. Разве есть логика в этом мире?

Я вообще последнее время перестал думать. Здоровый эгоизм, азарт постоянной игры и мнимая любовь, которую провоцируешь сам, — вот из чего состояла моя жизнь. И я был не то чтобы доволен, но я все-таки был... Хотя много раз хотел не быть вообще.

Кира пришла как всегда не вовремя. Пожаловалась на натертые ноги. Села в кресло и сняла туфли. И глядя на ее ноги, я почему-то вспомнил паука.

— Ну! — капризно сказала она. — Что мы будем делать с весами?

Далее я довольно подробно объяснял ей, что нужно подкрутить, чтобы весы показали неверный вес. Мы провозились больше двух часов, она как прилежная ученица все записывала. И, в конце концов, по-моему, все поняла.

— Я пойду, — сказала она.

— Подожди, — сказал я.

— Чего тебе?

А я и не знал — чего мне. Наконец, в голову пришла отличная фраза, придуманная каким-то типом специально для таких случаев.

— Закрой глаза...

Кира закрыла. Когда говорят — закрой глаза, то лучше их закрыть. Особенно если свечи, вино и какой-то тип.

Я взял в руки коробочку с колье, и вот тут-то случился неприятный конфуз. Коробочка никак не открывалась. У меня с детства проблемы со всякими коробочками и замками. Меня аж в краску бросило. Прошло минут пять, и Кира с раздражением спросила:

— Ну!

— Сейчас, — суетился я.

В моих руках уже был нож, и я попытался скovyрнуть этот чертов замок. Куда там! После еще двух минут ожидания я снова услышал голос Киры.

— Ты чего там делаешь?

В минуту, когда Кира повернулась ко мне, я успел спрятать коробочку за спину.

— Ты чего?

— Ничего.

Можно было, конечно, просто протянуть ей это кольцо, но я почему-то этого не сделал. Кира ушла. И я остался один. Мерзкий шантажист с неоткрытой коробочкой в руках...

Когда, наконец, замок был открыт, я, чтобы не рисковать, переложил кольцо в коробку из-под кон-

фет и выбежал из дома. Мне все-таки хотелось подарить Кире эти стекляшки. Я помнил, как она обвиняла меня в том, что я ей ничего не дарю. Вот я и подарю.

Я заскочил в автобус и сел у окна. Было уже темно, и кроме пятен фонарей не было ничего видно. Прямо напротив меня дремала какая-то старушка, возможно, бездомная или, во всяком случае, очень бедная. Рядом, положив голову ей на плечо, спал такой же старик. Я заметил, что они во сне держались за руки. Было в них что-то очень милое. Даже не знаю что. Может, даже любовь. Другой рукой старушка сжимала самодельную палку. И я представил себе, как этот старик сам делал ей эту палку, стругал и даже вырезал какие-то узоры.

Я достал колье из коробки и, подкравшись сзади, осторожно надел ей на шею. Это была ювелирная работа, я даже не разбудил женщину. Потом выскочил на следующей остановке и пошел домой пешком. Сегодня я был Робин Гудом! Пускай хоть кто-то думает, что в мире случается и что-то хорошее... «Что-то» и «кто-то» звучит сомнительно. Но только не сегодня. И только не для них.

Сегодня у меня было хорошее настроение. Что случается довольно редко. Но сегодня... Сегодня я шел по ночной улице, наступал на фонари и витрины, отражавшиеся в лужах, и мне было хорошо и спокойно. Вообще-то я люблю лужи. Есть в них что-то от детства. Когда вырастаешь, то не замечаешь луж. В детстве они почему-то виднее. Они заменяют море.

И вдруг я остановился у огромной лужи. В ней отражалась вывеска ювелирного магазина, того самого, где я почему-то почувствовал себя гордым индейцем. «Золото, украшения, драгоценности». Я наступил на лужу, и вывеска поплыла. Во второй луже отражалась вывеска того самого ресторана, где была презентация картина Беллы. Я — гордый индеец, — не боясь промочить ноги, наступил и на эту вывеску, и она расплзлась на моих глазах, превратившись в мутную воду...

Домой я пришел с промокшими ногами и тут же завалился на кровать. Да, сегодня я спал на кровати. Я абсолютно нормальный, здравомыслящий человек, почему же я должен спать под кроватью? Это ведь, в конце концов, ненормально.

Сегодня я играл в нормального человека.

Это было уже не помню какого августа. Неважно какого. Именно на этот день было назначено то шоу, вернее, шоу-испытание моего изобретения. Это ужасно весело: накануне позвонил Тасик и, сильно кашляя, пригласил меня на эту, как он выразился,

инвентаризацию. Я сказал, что приду и приведу с собой одну знакомую балерину. Распрощались мы добрыми старыми друзьями.

Все это, конечно, мерзость и лицемерие — Тасик трусил, вот и все. А выезжать на моей шее было для него делом привычным — что поделаешь, здоровый человеческий эгоизм!..

Помните у Гоголя немую сцену в «Ревизоре»? Без сомнения, помните. Немая сцена — в этом что-то есть, верно? Когда мы с Тamarой зашли в студию, случилась та самая пресловутая немая сцена. Не из-за меня, разумеется. Просто Тамара как две капли воды была похожа на Киру. У них были одинаковые носы, одинаковые волосы и одинаковые синие линзы. Ей-богу, я сделал себе мою Киру. И в эту минуту, глядя уж и не знаю на чье лицо (видимо, все же это была Кира), я вспомнил ее слова: такой, как я, нет. Еще как есть. Незаменимых нет. Вернее, незаменимые есть. Но к Кире это уж точно не относится.

Насчет немой сцены — это я, конечно, погорячился. Онемела только моя Кира. Другим было глубоко наплевать. Под ногами путались телевизионщики и какой-то мерзкий ведущий. А в студии уже толпились все эти типы — режиссер, наследник Феллини, писатель, пишущий про персики, рисовальщица петухов, футболист, в спортивный режим которого входят съемки в клипах, и прочие и прочие... Среди них затесалась и моя Кира. И Тамара. Их уже было не отличить друг от друга — и они с нескрываемым отвращением поглядывали друг на друга через мою гениальную голову.

В центре внимания все же был Тасик. Человек-легенда. Или нет — просто «легенда», без «человек». В нем уже осталось мало человеческого — это был монумент. И я вдруг как-то очень по-женски позавидовал его красоте. Низость, конечно, но что делать! Тасик был невыносимо хорош, и хотя я не большой ценитель мужской красоты, но я понял это по взгляду Тамары. Она тоже уже была другая. Она уже попала в этот равнобедренный бермудский треугольник и из домохозяйки превратилась в Психею. А Тасик... Глядя на него, я подумал, что, может быть, где-то старится его портрет, написанный Беллой...

В глазах зарябило, и на секунду я даже почувствовал, что у меня захватывает дух, будто бы я в цирке и вот-вот начнется настоящее веселье.

Неохота пересказывать речь ведущего. Он говорил о великом русском ученом Тасике, о том, что он — гордость России. И что сегодня каждая гордость России будет взвешена и весь мир узнает о тех килограммах таланта, которые носит наша земля.

Потом говорил Тасик. Этот гад ослепительно улыбался (по-моему, недавно вставил зубы и по-



этому немного шепелявил). Говорил о нужности этого изобретения, вспомнил о том, что «талант» в переводе с греческого — это «вес». И даже упомянул архангела Михаила, который взвешивает души — и по весу определяет, кого отправлять в рай, а кого в ад. Я даже, честно говоря, чуть не прослезился от его речи. Какой же я болван, лучше бы изобрел измеритель душ и всех бы скопом отправил по горячей путевке в горящий котел!

Потом заиграла музыка, и я, по правде сказать, пропустил душераздирающий момент, когда на сцену выкатили мои весы. В это время я нагнулся к своей сумке (которую предусмотрительно поставил в ногах) и через соломинку выпил немного коньяка. Мир стал сразу лучше. И даже новые зубы Тасика, новые носы Тамары и Киры показали мне вполне ничего.

По сценарию первыми должны были взвешиваться начинающие, чей талант еще под большим сомнением.

Первой на сцену выпорхнула моя Кира (как полужена изобретателя и полулюбовница уж не знаю кого). Она была очень хороша, моя девочка. Как принцесса Гиацинт с картины того же Мухи. В широком белом платье, рыжеволосая, и я еще подумал: какого черта, зачем ей талант? Я бы любил ее всю жизнь. Будь она хоть чуточку человеком. И в эту секунду я вспомнил Киру... Ту Киру, которую знал. Семнадцатилетнюю продавщицу кофе. Она была моей мечтой. И ее имя я вписал в таблицу Менделеева.

Кира проямлила что-то очень милое в микрофон, типа «я очень волнуюсь». Зажмурила глаза (как она умеет жмурить глаза! Она зажмурилась, когда я целовал ее глаза, и возле глаз собирались детские морщинки, как у новорожденных...) и встала на весы. Ведущий посмотрел на экран и присвистнул. Наступила пауза. Видимо, все шло как надо. Сохранялась интрига, а Кира томно закусывала губу с несмывающейся помадой.

— Вы не поверите! Триста килограммов! Bravo! Это будущая звезда!!!

Черт ее возьми, чертовку! Кира всегда была жадная — до денег, до мужчин, теперь и до килограммов. Триста килограммов — столько весил О. Генри. Тасик, кажется, тоже был немного смущен. Но когда раздались аплодисменты и Кира с криком «Я вас всех люблю!» убежала, и я, и Тасик вздохнули с облегчением. Прокатило!

Следующей взвешивалась Тамара (это уж я хлопотал, чтобы ее, начинающую балерину, пропустили вперед). Тамара была тоже очень хороша, но, видимо, с непривычки выглядела угловато и смущенно. Я научил ее, что нужно сделать, чтобы под-

тасовать вес, но она, видимо, так перепугалась, что ведущий ее чуть ли не силой затолкал на эти весы.

— Увы, увы... 20 килограммов... Но главное не победа, а участие!

Тамара стояла посреди сцены — такая жалкая, такая милая. Хлюпала не своим носом, и я ее почти что полюбил. Она, наступая на ноги зрителям, пробралась ко мне и села рядом.

— Прости, Рома... Я забыла, чему ты меня учил.

Она заплакала и уткнулась мне в плечо. Я провел рукой по ее волосам и подумал, что если она так и дальше собирается лежать на моем плече, то мне уже не добраться до своей заветной сумки с коньяком.

Следующим свой вес проверял Курносос (довольно уверенный в себе тип, что весьма похвально). Летящей походкой он выскочил на сцену под громогласное объявление его наград, заслуг, фильмов. На экране уже показывались кадры из его нового фильма. Там было пару сцен в туалете (я так много выпил коньяка, а перед этим вина, что упоминание туалета было для меня почти болезненным). Еще одна сцена со стариком в белых одеждах, который почему-то держал в руках отрубленную голову Киры. И еще одна сцена — крупный план глаз червя. Что-то я уже слышал об этом... По-моему, Кира очень гордилась этим кадром, как будто в роли червя была она сама.

Раздались аплодисменты. Я не хлопал. Не потому, что мне не понравилось кино, вовсе нет... Просто я не люблю хлопать. Для меня в этом есть что-то почти непристойное, даже рабское. Довольно глупо вот так вот сидеть и хлопать в ладоши, не находите? И потом, так приятно почувствовать себя одиноким среди хлопающей толпы. Одним среди всех, у кого руки мирно лежат на коленях.

Курносос как-то искрометно пошутил. На сцене всегда надо искрометно шутить. Даже я рассмеялся. Жаль, забыл, в чем суть шуток. Наверное, какая-то милая игра словами.

Потом зазвучала барабанная дробь, и Курносос встал на весы.

И вот тут-то и наступила та самая пауза, достойная пера Гоголя. Ведущий растерянно смотрел на экран весов. Курносос смущенно перебирался с ноги на ногу. Никто не решался огласить результат.

— Сколько? — выкрикнул кто-то из зала.

И ведущий почти машинально ответил:

— Десять... Десять килограммов...

Вот умора! Да он даже стройнее моей Киры. У той хоть честные двадцать. А Курносос все-таки молодец! Не потерял самообладания. Скромно улыбнулся, промычал что-то типа «ну-ну» и ушел со сцены. Надо сказать, что это «ну-ну» его сильно выручило. Вообще «ну-ну» всегда выручает. Когда человек говорит «ну-ну», то сразу кажется, что он знает больше, чем другие.

Тон вечера немного поник, и я кожей чувствовал, что вечер будет все более и более веселым.

Ведущий объявил следующую звезду: Тим Кошчев. Я внутренне напрягся, потому что к этому типу у меня были свои личные счеты. За Алису. Интересно, чем он ей понравился? Неужели гладкими страшиками?

Тим Кошчев тоже что-то сострил. Однако в общем тоне разговора уже чувствовались какое-то напряжение и страх.

Честно говоря, я, низкий, ничтожный человек, еле-еле сдержался, чтобы не крикнуть «Ура!», когда ведущий, заикаясь и краснея, объявил: «Три килограмма!» Как новорожденный! Вот тебе и персики, вот тебе и О. Генри. Я злорадствовал. Самые талантливые в этом зале пока что были Кира и Тамара. Надо сказать, что Тамара даже повеселела. И уже почти что гордилась своими 20 килограммами.

Любопытно, чем же закончится этот забавный спектакль. Последний раз за действием на сцене я наблюдал с подобным любопытством в пятом классе. По-моему, это был «Буратино». Сейчас это тоже было весело и я даже был готов переступить через свою фобию бить в ладоши — я готов был им аплодировать. Черт возьми! Если в них так мало таланта, то они, верно, гении мистификации. Так водить всех за нос и, в конце концов, самим остаться с носом. Пусть даже и с греческим.

Вы уж, верно, догадались, что моя добрая подруга, рисовальщица петухов Белла весила 17 килограммов, как-никак побольше мужа. А может, ей этих 17 килограмм и хватало, чтобы рисовать петухов, кто знает.

Но форвард всех времен и народов Величаев... Этого я никак не ожидал. Ведь невозможно обманывать в спорте! Я своими глазами видел, как он забивал по несколько голов. Его называли гением футбола, и что же? Его вес составлял 26 килограммов, ни много ни мало. А скорее все-таки мало.

С тем же печальным результатом ушли со сцены несколько звездных спортсменов, музыкантов, актеров и еще бог знает кто.

Я смотрел на них и думал: черт возьми, у них, несомненно, есть талант, просто иного свойства, мне пока что непонятного. Ей-богу, мне было искренне любопытно, как все эти типы умудрились обвести весь этот жалкий мирок вокруг указательного пальца, и никто, кроме весов, не указал на них?

Тут-то мне вспомнилась эта старая сказка, написанная еще Гете, — сказка о Фаусте и Мефистофеле. Я и сам был готов прокричать: «Где пункт приема? Куда мне снести свою душу, как пустую бутылку? Кто ее купит? Мне, признаться, она порядком осточертела». Только с тех давних пор Мефистофель,

как видно, сильно поумнел. Фаусты ему уже не нужны. Фауст рано или поздно скажет то, что и сказал: «Лишь тот, кем бой за жизнь изведен, жизнь и свободу заслужил...» Нет, его больше занимают эти... десятикилограммовые... Что они получают взамен? Денежные знаки внимания, а главное, тайну... Тайну, которую все свято хранят. Тайну, которую открыл только Андерсен в «Голом короле»...

Вот тут-то началось самое интересное. Все эти дистрофики начали требовать, чтобы взвесился сам Тасик. Кошчев вспомнил о каких-то инженерах, которые первыми гордо шествовали по ими же построенным мостам. Все дружно подхватили эту мысль. Тасик отбивался, как мог. Он пустил в ход все свое красноречие. Он говорил так долго и вдохновенно, что к концу речи у него даже сточились новые зубы и он перестал шепелявить. Вся его пламенная речь сводилась к тому, что талант изобретателя — это несколько другая область и весами этот талант не взвесить. Однако его аргументы никто не слушал, и толпа знаменитых бездарей подхватила его на руки и чуть ли не силой поставила на весы.

Я наблюдал за всей этой уморой со своего места и уже без утайки попивал коньяк. Мои девушки, Тамара и Кира, были где-то на сцене, во всей этой толкотне. Оглядевшись, я понял, что единственный, кто сидит в зале, а не топчется на этой бессмысленной сцене, — это ваш покорный слуга. Я даже захлопал в ладоши (чего не делал даже в шестом классе, на «Буратино»)..

Но, честно говоря, зря я так расслабился. Длинные руки обиженных техникой звезд дотянулись и до меня. И вот как это произошло. Оказалось, что Тасик весит каких-то жалких 10 килограммов, что привело в восторг всю толпу. Тогда Тасик выхватил у ведущего микрофон и заорал. Это был какой-то возмущенно обиженный монолог без членораздельных звуков.

Наконец, микрофон взял Курносос. Он говорил, как на митинге, вдохновенно и проникновенно, я даже засомневался в действии своей машины, настолько он был убедителен. Начал Курносос с мурдрога «ну-ну!».

— Ну-ну! Нас всех — и зрителей, и участников шоу — одурачили в очередной раз. Друзья, пора бы занять собственное мнение, хватит доверять рекламе и технике. Доверяйте собственным душам. Это же шарлатанство! Дешевые трюки. Вы только посмотрите, из всех этих уважаемых людей, знаменитых, талантливых, больше всех весит какая-то бездарная актриса, с которой я сам лично провозился в своем последнем фильме. Но даже при моем руководстве она была так нелепа, что все сцены с ней придется вырезать.



Мне повезло, что со своей галерки я не видел Киру. Бедная девочка! Она, наверное, сейчас плачет. Я не видел Киру, хотя искал ее глазами. Не видел, но услышал.

— Неправда! Я тоже вешу 20 килограммов, честно... Это все Рома!

Услышав свое имя, я начал потихоньку пробираться к выходу. Не хватало, чтобы и до меня добрались. Да куда там! Добрались ведь.

Уже почти оказавшись у двери, я услышал голос Тасика:

— Вон он... Пытается скрыться! Он якобы изобрел эти чертовы весы, а меня путем обмана подставил!

Я оглянулся и увидел, что все смотрят на меня. Снова зависла пауза. Я хотел воспользоваться этой паузой и что-то сказать. Но не нашелся. Я уже не раз говорил, что у меня паршивая реакция. Наверное, такая же паршивая, как у форварда Величаева.

— Я так и знал! — закричал Тим Кошечев (у него был такой проникновенный фальцет, что ему даже микрофон был не нужен). — Я так и знал, что у этой мерзкой истории есть свой серый кардинал.

Конечно, приятно, что меня возвели в кардиналы, хоть и в серые, но когда все эти руки подхватили меня и понесли к весам — это было уже довольно скверно.

Дрожащая от страха стрелка весов остановилась на четырехстах килограммах, и Белла, рисовальщица петухов, завопила:

— Вот, господа! Что и требовалось доказать! Самые талантливые в этом зале — ничтожная актриса и какой-то бродяга! Что ж, воистину правда!

Мне повезло, что огонь на себя взяла моя «принцесса Гиацинт», моя Кира. Она, срывая горло, доказывала, что весит как все — не больше двадцати килограммов... Пока она таким образом отвлекала всеобщее внимание, я пробрался к двери и улизнул.

Итак, друзья мои, кульминационный момент — погоня. Это, конечно, довольно весело, когда человек двадцать — самых знаменитых и популярных — устроили за мной настоящую охоту. Поймать меня хотели только для того, чтобы: а) посмотреть мне в глаза (это более романтический мотив); б) отдать меня под суд за шарлатанство (кстати, в этой стае был и один весьма популярный адвокат, который на деле, оказалось, весит 14 кило, он тут же объявил мне какую-то статью); в) побить меня (это предложил футболист Величаев).

Мне удалось скрыться. Бегал я всегда неважно. Но одно дело просто бегать, а совсем другое — уносить ноги. Уносить ноги я всегда умел. Бежать в свою квартиру я не мог. Даже если я спрячусь под

кровать, меня наверняка там найдут. И я пошел к той, с которой мы были «одной крови». К Алисе.

Я не знал, где она живет, и прибежал в клинику. Мне повезло, Алиса дежурила.

Эта была самая настоящая романтическая сцена. Распахнулась дверь, и она увидела меня — оборванного, грязного, побитого. Оборванного потому, что, когда я бежал, мне пришлось перелезть через забор, где я и разорвал рубаху; грязного потому, что, перелезая забор, я здорово грохнулся; побитого потому, что Величаев мне все-таки успел врезать.

И я увидел ее. Молчаливую, с плотно сжатыми тонкими губами, отчего у нее всегда морщился подбородок, с широкими скулами и черными блестящими глазами.

В общем, в этом моменте мне не хватало лирической музыки. Мы бы могли с Алисой даже запеть, если бы это был мюзикл. Мы могли бы петь о нашей разделенной любви... разделенной расстояниями.

Алиса ни о чем меня не спрашивала. По-моему, она все знала. Она всегда все знала. И мне снова, как в детстве, казалось, что мы с ней — один человек. Она молча сняла с меня рубаху, промыла царапины на спине, обработала синяк под глазом и уложила спать в своем кабинете. Сама легла здесь же, рядом со мной. Больше всего я оценил то, что она ни разу не сказала: «Я тебя люблю». Значит, она действительно меня любила...

Ночью я встал, подошел к столу, взял в руки фотографию, на которой красовались Алиса и Кошечев, и поджег ее (хорошо, что при моем поспешном отступлении я не потерял зажигалку). Алиса проснулась и несколько секунд смотрела на меня. Отблески огня играли у нее на лице. Алиса тихо рассмеялась и сказала:

— Рома...

И я впервые полюбил свое имя. Полюбил самого себя...

Конечно, стоило бы немного расстроиться, слушая, как какой-то мерзкий диктор по телевизору склоняет мое имя. Несколько раз показали мою фотографию (и ведь выбрали же самую худшую, мерзавцы!). Ну и, конечно, совсем плохо, что на меня подали в суд с какой-то длинной формулировкой и мне грозит чуть ли ни десять лет. За шарлатанство, за воровство идеи, за клевету и, по-моему, даже то ли за экстремизм, то ли за терроризм. Но мне было на все это наплевать. Алиса тоже была совершенно спокойна.

— Алиса... Эти весы, они ведь настоящие... Понимаешь? Я их сделал... Они не врал.

— Я знаю... Я тебя изменю, и тебя никто никогда не узнает, — спокойно сказала она. — Согласен?

— Согласен, — сказал я и поцеловал мою Алису.

Я целовал ее чуть ли не каждую секунду.

— Я тоже изменюсь, — прошептала Алиса. — Мы все с тобой изменим — и никто никогда нас не узнает...

Кстати, помимо этого из новостей я узнал, что карьера Киры была закончена. Ей так и не простили этих ста килограммов, хоть и виртуальных. А вот Тамара, с ума сойти, стала балериной, и ее взяли в Большой театр. Судьба Тасика осталась неизвестна, наверное, сгинул в гуще событий. Все остальные остались при своем. Правда, через год футболиста Величаева обвинили в каких-то махинациях и запретили играть в командах мастеров в России и за рубежом... О весах все забыли навсегда.

Мы с Алисой изменились, как она и говорила. То есть действительно совершенно изменились. Вы не поверите, это, наверное, был единственный случай в истории мировой пластической хирургии, когда два человека — мужчина и женщина — не изменили себе черты лица, а просто прибавили морщин, то есть резко изменили возраст, увеличив его лет на пятьдесят. Жаль только, что все это делалось в большой тайне и, видно, в историю медицины этот эксперимент так и не попал...

Представьте себе, что по дороге идут двое: старик и старуха, как из сказки. Лица у них исполосованы морщинами, глубокими, как складки на старом плаще. Правда, у старика борода не седая, а совершенно черная. А у старухи очень молодые черные глаза. Но это дело времени. Внешность их величественна и благородна, и они как будто гордятся друг другом. Идут и держатся за руки, как дети. Но взгляните на их руки... У них совершенно молодые руки, клянусь вам! Уж я-то знаю. Ведь это мы с Алисой. Мы решили сбежать из этого города. В деревню. У Алисы там маленький крохотный домик, который ей оставила бабушка. Домик вдали от людей. Вдали от мира. Мы в детстве иногда сбежали туда. Сбежали и сейчас...

Я счастлив. Я люблю ее. А она любит меня. Не той любовью, к которой привык я, она и все вы, наверное. Эта другая любовь. Может, она приходит в глубокой старости, а может, и вовсе после смерти. Не знаю.

Нам с Алисой повезло, мы вдруг стали старыми, мы так захотели, и будем старыми еще долгие годы.

— Представляешь, как здорово! — сказала вдруг Алиса и поцеловала мне руку. Обычно мужчины целуют женщинам руки — какие буржуйские предрассудки. А тут она вдруг резко, по-мужски, схватила мою руку и поцеловала прямо в ладонь, может, даже в ту линию, на который мы с ней встретились. — Боже, какое счастье! Люди стареют так не вовремя...

Они уже свободны от глупостей, от красоты, от жажды славы... Они уже знают настоящую любовь... Они все знают и умирают. А нам с тобой еще жить и жить... Жить счастливыми...

— Мы что-то поняли с тобой, да? — Я посмотрел Алисе в глаза.

Глаза и руки — вот что нас выдавало. А еще молодой поцелуй, которым она меня наградила. Алиса... Эта женщина была мной. А я — был ею. И наша любовь друг к другу была все равно что любовь к самому себе — немного холодная, но неизбежная...

Мы шли молча. И я вдруг вспомнил, как мы в детстве ходили на какой-то французский мюзикл. У нас вся жизнь будет мюзиклом, мы будем петь и танцевать, когда захотим. Вот так просто... На дороге, в доме, во сне, в саду, в магазине. Все время танцевать и петь.

Где-то вдалеке шел пастух с пятнистыми толстыми коровами. И мне показалось, что я слышу, как они поют. Все. Пастух, коровы, я и Алиса. Прямо как в Париже!

Сначала вступают коровы. Они поют протяжно, иногда издают характерное «му-у-у» (впрочем, если вам трудно такое представить, то не утруждайте себя...):

Глупости, безумства и позор —
Это все удел бездарных снов.
Фокусник, ловкач, дурак и вор —
Жители огромных городов.

Ну а мы спокойны и мудры,
Травку втихаря себе жуем.
Фокусники, ловкачи, воры,
Может, нам завидуют тайком.

Мы мычим спокойно и упорно,
Уважая труд, покой и кров.
Вы судьбе завидуйте не черно,
Счастьем белоснежному коров.

Затем поют птицы. Им уж сам бог велел петь. И в моем мюзикле они тоже, конечно же, поют:

Не делим добычу и славу,
Любовь пополам не делим,
Живем, как степные травы,
И дни, как на мельнице, мелем.

Бросаем на ветер песни,
Росы не жалеем друг другу,
Приносим хорошие вести
И носим их вместе по кругу.



О жизни такой только в грезах
Мечтает двуногий ближний,
Живем в одинаковых гнездах,
Дворцов нам не надо пышных.

Нам солнце отчаянно светит
И топит безжалостный лед,
Вся жизнь — это небо и ветер,
Вся жизнь — рукокрылый полет!

Потом вступает пастух. Он весло пританцовывает, иногда подпрыгивает и в воздухе несколько раз стучит ногами, как балерун. Ну, вы представляете, о чем я говорю. Пастухи — частые гости мюзиклов:

И верные роятся думы,
Вдали быстрее от дней мирских,
Печали кратки и угрюмы,
И дни, как буквари, просты.

Потом поет Алиса. Я всегда обожал смотреть, как в старых, раскрашенных в яркие цвета мюзиклах поют девушки. И у них всегда такие короткие юбки и всегда медные волосы. И поют они всегда на этом чертовом английском, который я так и не выучил, или на французском... Если бы моя Алиса запела, она была бы лучше всех этих девиц из Парижа.

Просить, прощаться, прощать,
Любить столько зим, но не лет.
Я буду тебя встречать,
Как люди встречают рассвет.

В день зимний, а может, осенний
Я буду в твоей рубашке.
И ты получишь прощение,
Как невиновный на плахе.

И жизнь будет новой и яркой,
Пойдем мы с тобой по миру,
Я буду твоим подарком
Я буду твоим сувениром.

Ты будешь моей опорой,
Как зонтик или как трость,
И мы постареем скоро,
Но только, наверное, врозь.

Потом вступаю я, а Алиса мне подпекает. Смотрю на ее лицо. Она немного грустная. И я, как в старом-старом фильме, растягиваю ей уголки губ, чтобы она

улыбнулась. Так когда-то делал бродяга Чаплин, ну вы помните, наверное, или потом вспомните, когда увидите, если еще не видели. Алиса улыбается. Я тоже улыбаюсь. Мы танцуем и начинаем петь:

Мы будем мудрыми и добрыми
И жить на свете сколько надобно,
И говорить мы будем нотами,
Смеяться будем мы сонатами.

И просто так, до неприличия,
Что счастье соткано из вечности,
Из бесконечного величия,
Из бескорыстного беспечия.

Любовь, что люди ищут, мечутся,
Такая скромная, невзрачная,
Наверно, под кроватью прячется,
Невидная, совсем прозрачная.

Не надо ждать, чего-то маяться,
Ведь слава — отраженье грубое,
В колодце темном покривляется
И сгинет, как виденье глупое.

А деньги — что трава на поле,
И есть и нет, сплошная кара,
Была бы только вольной воля,
Была бы только парной пара...

Мы с Алисой молча шли по дороге. В моей голове звучала музыка. И Алиса тоже слышала эту музыку, уверен. Я же уже сто раз говорил, что мы с ней — один человек. Так что мы с ней все-таки пришли к одиночеству, хоть и вдвоем. Вдвоем идем по дороге и даже не чувствуем друг друга... Да и как еще закончить эту историю, как не дорогой. Дорогой всегда заканчивают, когда не знают, чем закончить. А мы с Алисой не знали. Но знали только одно — что эта дорога никогда не приведет нас назад.

Я пообещал Алисе, что скоро открою новую планету (не зря же мой вес почти 400 кило!) и построю двухместную ракету (и ведь построю же, вот увидите! Хотя нет, не увидите. Мы никому об этом не скажем...). И мы улетим туда. Вдвоем. И больше никого на эту планету не пустим, пусть даже и не просят! Мы закроем ее, зашифруем, и она затеряется среди миллиона звезд. Мы будем Адамом и Евой. У нас родится Авель (один, без какого-то Каина!). И на этой планете будет все то, чего никогда не было на нашей. Будет! Вот увидите...



Марина МАМОНА



Марина Мамона родилась в городе Климовске Московской области. Окончила филологический факультет МПГУ. Стихи выходили в коллективных сборниках, столичной и региональной периодике, в том числе в «Литературной газете», журнале «Кольцо “А”», альманахе «День поэзии». После окончания вуза работала корреспондентом в газетах «Аргументы и факты» и «Труд», последние несколько лет — редактор в информационном агентстве «Интерфакс». Живет в Подмосковье.

О СТИХАХ

Для меня стихи — это не роскошь, а средство передвижения. Передвижения по радостям и грустям, городам и временам. Что уж там говорить, если поэзия не только меня, но и целые туристические потоки себе подчиняет. Тысячи людей прогуливаются «по

пушкинским местам» в Михайловском и Тригорском под Псковом, толпятся под балконом шекспировской Джульетты в Вероне, поднимаются на гору Ловчен к могиле черногорского поэта Негоша... Вот она какая — сила слова.

Марина Мамона

* * *

В моей провинциальной норке
Есть фортепиано и комод,
С утра, обнюхав все задворки,
За завтраком приходит кот,

Ему я ставлю у дивана
Большое блюдо с молоком,
Потом сажусь за фортепиано,
Потом пью кофе, а потом

Все тихо. Скрип буфетной створки.
Сопит Тургенева портрет...
Еще в моей родной каморке
Компьютер есть и Интернет!

* * *

Господи, ну пошли мне такого мужчину,
Типа Балужева в фильме про Кандагар.
Чтобы он прятал меня за свою спину,
Брал на себя талибов любых удар.



Чтобы его щека, зарастая щетиной,
Грела наш дом, отводя все сквозняки,
Пусть он для прочих даже будет скотиной
И по квартире разбрасывает носки.

* * *

У Ленки на пальце кольцо —
Наверное, вышла замуж.
И стало серьезным лицо,
И брюки надела замш.

Триумф институтской подруги
Нарушил домашний уют:
Мне тоже купили брюки,
Но замуж меня не берут.

* * *

Затисканый, сальный март
Пробрался в спальный район,
Куриный глотая бульон,
Сиж у подруги на кухне.

Уставший, охрипший бард
Поет нам про то, что он
Затравленный жизнью Вийон,
А мы с ней — про летние туфли.

Украдкою папин коньяк
Нальем за здоровье друзей,
За то, чтоб жилось веселей...
Сто поводов, лишь бы согреться.

С погодой что-то не так,
А хочется лета скорей,
И вот подгоняют коней
Два маленьких девичьих сердца.

* * *

А было время ведь такое легкое —
Читаешь в электричке, мимо станции,
Жизнь чередом, не тикая, не цокая,
Штрафные не предъявлены квитанции.

И парни все мечтают познакомиться
Со мной, и это вовсе мне не кажется,
И ты на станции какой-то вломишься,
И смело взглянется, и бойко скажется.

А двери, между прочим, закрываются,
Кто не успел, тот лучше всех устроится,
Ведь как бывает, если что ломается,
То где-то чинится и где-то строится.

Но мы, купив билетки счастливые,
Успели основательно, без паники
На ветер в лоб, на ракурсы красивые,
На поцелуи... на борту «Титаника».

* * *

Ты постиг все азы математики
И в грамматике ты не юнец.
Чтобы не было скуки и статики —
Не хватало покупки колец.

Пусть грызут себе локти знакомые,
Потому что на белом коне
Ты ворвался с вопросом: «А дома ли?»
И, конечно, женился на мне.

* * *

Я хочу в Биарриц — посидеть на краю океана.
Поседеть на его берегу, без сомнения, лучше,
Чтобы домик в цветах и в гостиной, о да, фортепиано,
И на кухне сквозь белые шторы — солнечный лучик.

Базилик в огороде, на рынке — свежайшая рыба,
Доски серферов, ветром соленным срываема шляпа,
Я бы утро свое начинала б со слова «Спасибо!»,
А не горького мужу упрека — «Какой же ты лапот!».

Я хочу в Биарриц, но туда не купить турпутевку,
Чтоб убогий отель, шведский стол и досуг под зарплату.
Аквитания — берег уловов для самых ловких
И мечтателей вроде меня. Сам себе аниматор.



* * *

Жена поэта стерпит все:
Нескромный взгляд и томный вздох.
И новый стих про то да се —
Не про нее, а значит, плох.

Она растит троих детей,
Читает тайно черновик.
Пусть не хватает ласки ей,
Зато полно в квартире книг.

* * *

Бывают такие дни в конце февраля или в начале марта,
Когда одежда кажется особенно маркой,
Куртка очень большой, тяжелыми сапоги,
Шарф душит, бретельки лифчика слишком туги.

Бывают такие дни в конце февраля или в начале марта,
Когда на могилах близких чернеет снег,
И причудливая проталин карта
Наводит на мысль: а хватит ли тут места на всех?



Андрей ИВАНОВ

Андрей Иванов — экономист по образованию, кандидат экономических наук. Первые пробы пера были связаны с публицистикой. Затем выразил жизненные впечатления и мысли в художественной форме и написал повесть «Вандемьер Композитора», опубликованную журналом «Юность» (1994).

Автор книг «Тайны египетской экспедиции Наполеона» (2004, 2005), «Двенадцать Бонапартов» (2006), «Повседневная жизнь французов при Наполеоне» (2006). Научный редактор книги «Мемориал Святой Елены, или Воспоминания об императоре Наполеоне» (в двух томах, 2010).

Член Союза писателей России (Московская городская организация) с 2004 года.

Член Международного Наполеоновского общества.

БОНАПАРТ В ЕГИПТЕ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

Царство мамелюков

Мурад-бей играл в шахматы в одной из комнат своего дворца в Гизе, расположенного неподалеку от Каира. Комната находилась на втором этаже здания дворца, из полукруглого окна открывался вид на равнину и заросли пальм.

Игра в шахматы и слушание музыки были любимыми развлечениями правителя Египта. Иногда его партнершей была любимая жена Ситти-Нафиза, но часто он обходился без партнеров.

Пятидесятилетний вождь мамелюков сидел на жестком диване, на котором лежали подушки, обитые лионским шелком, и кривой кинжал, усыпанный бриллиантами. Шахматный столик был инкрустирован малахитом, фигурки изображали воинов пустыни, башни, напоминающие каирскую цитадель, африканских слонов, арабских лошадей и восточных властителей.

На Мурад-бее были длинный бархатный халат и мягкие тапочки. Тюрбан на голове. Окладистая борода, лицо, изрытое шрамами, полученными в боях, складки морщин на лбу и напряженный взгляд человека, много испытавшего на своем веку, — таков был облик великого вождя мамелюков.

О нем говорили, что он способен одним ударом большой сабли обезглавить быка, мог проявить и жестокость, и великодушие. В бою он всегда был бесстрашен и тверд.

Мурад-бей окружил себя людьми, похожими на него, — крутого нрава, храбрыми и жестокими. Его боялись, зная, что иногда жестокость вождя граничила с безумием, и уважали. А он, в свою очередь, очень уважал духовных вождей ислама, *улемов*, прислушивался к их советам и удовлетворял их просьбы.

Египтом правили двадцать четыре бея, каждый из которых имел свой отряд мамелюков. Дружина Мурад-бея была наиболее многочисленной и насчитывала тысячу двести всадников.

Он имел несколько дворцов и в перерывах между войнами и междоусобицами любил предаваться наслаждениям. С первого взгляда Мурад-бей казался богатырем, но опытный врач мог заметить на его лице следы болезней, проистекавших от неумеренности в еде и половых связях.

Его богатство, накопленное собиранием налогов с крестьян (феллахов) и грабежом, дало ему возможность внести ощутимый вклад в общее дело страны.



Он построил Нильский речной флот, управление которым доверил своему выдвиженцу, греку по имени Никола. Для создания кораблей были привлечены турецкие мастера, и плоды их трудов стали точными копиями кораблей оттоманов.

Мурад-бей играл за белых и объявил шах черному королю. В это время в комнату вошел слуга и доложил о прибытии гонца от Мухаммеда Эль-Кораима, коменданта Александрии.

— Зови, — буркнул Мурад-бей, недовольный тем, что его тревожат.

Вошел темнокожий бородатый человек средних лет в серых одеждах. Он поклонился и молча протянул Мурад-бею письмо.

Вождь разорвал конверт, достал бумагу и прочитал: «Мой повелитель, флот, который только что прибыл, огромен. Мы не видим ни его начала, ни конца. Во имя любви к Богу и Его Пророку пошли нам воинов, чтобы защитить нас».

Мурад-бей минуту молчал, а затем спросил гонца:

— Ты сам их видел?

— Да, видел, мой повелитель. Рано утром я посмотрел на море из окна моего дома, но не увидел моря. Я мог лицезреть только небо и корабли. Они закрыли все море.

— Сколько кораблей?

— Много кораблей, мой повелитель.

— Чьи это корабли? — спросил Мурад-бей.

— Я не знаю, мой повелитель.

«Откуда он может знать? — подумал Мурад-бей. — И Кораим не знает, иначе он написал бы мне об этом».

— Иди, — сказал Мурад-бей.

— Что я могу передать коменданту? — спросил гонец.

— Скажи, что передал письмо, кому следовало.

Человек вышел из дома, получил от слуги саблю, изъятую у него перед тем, как он вошел, запрыгнул в седло и ускакал.

Мурад-бей продолжил шахматную партию. Однако через час прибыл еще один гонец с той же вестью, а через три часа еще двое, почти одновременно.

Вождь прервал игру и вышел из дома. К дворцу примыкал великолепный сад с виноградниками. Он пошел по вымощенной камнями дорожке и углубился в сад, в котором не было ни одной аллеи, размышляя о том, что узнал.

Мурад-бей участвовал во множестве боевых дел, но впервые столкнулся с таким явлением, как интвенция. В Египет прибыли чужеземцы, и их было очень много.

События последних недель всплывали в его памяти. В начале июня 1798 года он получил офици-

альное известие из Константинополя о том, что французы собираются вторгнуться в Египет. Откуда там узнали об экспедиции, которая готовилась в строжайшей тайне? Уже в марте, когда Директория, правительство Франции, одобрила идею заморского похода, новость стала известна греческим агентам турецкого посольства в Париже. Сведения передали в Константинополь, и турецкий посол получил задание потребовать объяснений от министра Талейрана. Что за флот снаряжается в порту города Тулона?

Посол получил аудиенцию у Талейрана, но ответ министра (Франция является близким союзником Оттоманской империи и никак не может иметь агрессивных намерений против страны, находящейся под прямым турецким управлением) не прояснил ситуацию.

Находился ли Египет под прямым турецким управлением? С тех пор, как мамелюки свергли власть турецкого паши, наместника Султана, и установили свою власть, Египет управлялся ими, а не Султаном. Это произошло в середине семнадцатого века. Мамелюки выгнали турок из крепостей, а их вождь принял титул шейх-аль-беледа Каира, руководителя страны.

Сто с лишним лет спустя шейх-аль-белед по имени Али-бей провозгласил полную независимость, стал чеканить свою монету и захватил Мекку. В 1773 году Али-бей умер, и вспыхнула борьба за власть, в которой двадцатитрехлетний Мурад победил всех соперников.

Он сделал блестящую карьеру. Выходец из бедной черкесской деревни, Мурад был продан в рабство в возрасте восьми лет. Торговцы доставили его в Египет, где он получил строгое военное воспитание и стал умелым наездником.

Подавляющее большинство мамелюков являлись уроженцами Кавказа. Их путь во многом был схож, но лишь самые выдающиеся становились бейями, вождями мамелюков. Достигнув половой зрелости, они получали право отпускать бороду и сами заводили рабов.

Мамелюк Мурад служил Али-бею. Часто мамелюки имели детей уже в возрасте четырнадцати лет, но Мурад не завел их. Даже после того, как взял в жены Ситти-Нафизу, вдову Али-бея.

Став правителем Египта, он принял титул эмира-эль-хаджа, то есть вождя, стоявшего во главе паломников в Мекку. При этом был достигнут компромисс и установлено настоящее разделение властей: эмира-эль-хаджа, само название титула которого указывает на духовное лидерство, признали фактическим главой Египта, а шейх-аль-беледа — руководителем страны.

Этот дуумвират сохранялся долгое время. Шейх-аль-беледом стал Ибрагим-бей, опытный, осторожный и рассудительный вождь. Он был противоположностью страстного, взрывного Мурад-бея.

Формально Египет оставался под властью турецкого Султана, который назначал наместника — каирского пашу. Ибрагим-бей был главным администратором, но силовая власть принадлежала Мурад-бею. Постоянная резиденция Ибрагим-бея находилась в Каире, и лишь несколько беев в дельте Нила и отдаленных районах страны были к нему лояльны. В то же время большинство беев Верхнего Египта были лояльны к Мураду и готовы по первому зову выступить против любого врага. Местные беи платили подати Мурад-бею и Ибрагим-бею, а те, в свою очередь, пересылали небольшую часть этих сборов в Константинополь.

Таким образом поддерживалось равновесие, на котором жила страна. Порой казалось, что оно может быть нарушено и два вождя начнут враждовать. Мурад-бей возвел богатейший дворец на западном берегу Нила, вблизи великих пирамид, на землях Ибрагим-бея, что могло быть понято по-разному.

Однако вожди вполне мирно уживались. При этом они не раз, и порой просто по капризу, изгоняли турецких пашей. Но поскольку дань, или *мири*, платилась исправно, то произвол в отношении каирских пашей сходил им с рук.

Кроме депеши из Константинополя, сообщавшей о готовившейся агрессии, Мурад-бей получал донесение от Эль-Кораима. Комендант писал, что англичане высаживались в районе Александрии, чтобы узнать о том, где французы. Уполномоченный Нельсоном капитал Харди сошел на берег и сообщил Эль-Кораиму о том, что англичане преследуют многочисленный французский флот, который плывет к египетским берегам.

Эль-Кораим невозмутимо ответил капитану Харди: «Это невозможно, чтобы французы думали прибыть в Египет. Что бы они тут делали?»

Харди попросил у Кораима разрешения пришвартоваться и пополнить запасы свежей воды и продовольствия. Комендант не разрешил. Он был непреклонен и уверен в своих силах: «Если французы придут сюда с враждебными намерениями, то наше дело прогнать их».

Возвращаясь с прогулки по саду, Мурад-бей увидел еще одного посланца Мухаммеда Эль-Кораима с покрывалом на голове, стоявшего у главного входа во дворец.

«Видимо, дело слишком серьезно, если Кораим шлет мне столько людей, — думал Мурад-бей. — Пора действовать».

— Аллах велик! — крикнул юноша-посланник.

— Аллах велик! Ну, ты тоже хочешь рассказать мне о неверных, которые пришли на нашу землю? — спросил Мурад-бей. — Они на лошадях?

— Нет, мой повелитель, они ходят на двух ногах.

— Говоришь, на двух ногах? Тогда мои люди побьют их, и я буду разрубать их головы, как арбузы, растущие в полях. Ступай!

Он увидел Ситти-Нафизу, которая приближалась к нему, идя вдоль колоннады дворца и прячась в тень здания. Стройная и грациозная Ситти-Нафиза была одета в длинное розовое платье, ее голова была покрыта голубым платком. Она имела смуглую кожу, миндалевидные глаза, строгие линии бровей и пухлые губы. Ее левую руку украшал золотой браслет с бриллиантами.

— Я хочу поговорить с тобой, Ситти-Нафиза, — сказал Мурад-бей.

Муж и жена вошли во дворец и сели друг напротив друга в комнате для гостей.

— Что случилось? — спросила Ситти-Нафиза. — Кто эти люди, которые сегодня приезжают один за другим?

— Я иду на войну, — просто сказал Мурад-бей.

— Какую войну? С кем война?

Ситти-Нафиза вскочила, собираясь подойти к мужу.

— Сядь, женщина. Это война с французами. Они вблизи Александрии. Я вспомнил — мне уже говорили об этом. Но мы ничего не сделали, чтобы не дать им высадиться. Потом и вовсе забыли. Что ж, чему быть, того не миновать. Они пришли по морю? Через море не провезешь много лошадей! Сколько судов надо для этого! А сколько у них пехоты? Пятнадцать тысяч? Да у меня всадников будет больше, чем у них пехоты! А наш всадник стоит десятерых пешех. Мы выступим завтра.

Произнеся эти слова, он также вскочил, как и жена. Мурад-бей достал письмо из кармана своего халата и с размаху бросил его на пол.

— Все! Я зову моих людей! Мы соберем двенадцать тысяч мамелюков! И пехоту! Ибрагим соберет пехоту. Подайте мне коня!

Через несколько минут переодетый слугами в роскошный костюм и сменивший тюрбан Мурад-бей уже скакал в направлении Каира в сопровождении пятнадцати мамелюков.

Он прибыл в резиденцию Ибрагим-бея, когда июльское солнце садилось за горизонт. Пока они скакали по узким улочкам, жители Каира узнавали Мурад-бея, и по городу начало распространяться известие о том, что великий вождь прибыл под самый вечер. В этом искали признаки чего-то необычного.



— Аллах велик! — приветствовал Мурад-бей хояина резиденции.

— Аллах велик! Рад видеть тебя, Мурад, нашу славу и гордость. Видимо, важное дело заставило тебя стать моим гостем в этот жаркий вечер, — ответил Ибрагим-бей.

В свои шестьдесят три года он выглядел не старше Мурад-бея, хотя не отличался телесной мощью. Ибрагим-бей вел замкнутый образ жизни и мало перемещался по стране.

Он любил рассуждать о хозяйственных делах, но почти ничего не делал для развития Египта. Произвол Мурад-бея и его подручных порой доводил местных купцов до того, что они жаловались Ибрагим-бею и паше Абу Бакру на притеснения. Обездоленные крестьяне убежали в сторону Сирии. Европейские торговцы считали невозможным платить налоги и тарифы, взимавшиеся мамелюкскими бейями.

Когда Ибрагим-бей узнавал об очередных эксцессах и притеснениях, он пытался урезонить Мурад-бея, что несколько смягчало ситуацию. Однако в целом страна влачила жалкое существование. Иностранная торговля почти прекратилась. Тысячи лет назад здесь была процветающая цивилизация, теперь Египет стал заповедником дикости. Двенадцать тысяч мамелюков обирали сельских тружеников, но сами не работали и не создавали материальных ценностей. Их занятиями были война либо удовольствия. Огромные территории вне долины Нила были отданы кочевникам-бедуинам, которые безнаказанно грабили всякого, кто осмеливался ступить на эти земли. За право свободного проезда требовали выкуп.

Мамелюки владели землей, крестьяне ее арендовали. Существование феллахов и их семей зависело от того, каков Нил в те или иные годы. Если река широко разливалась, то урожаи были хороши. В годы «плохого Нила» вода покрывала только ближайшие к реке поля. Урожай собирали в мае, а затем африканское солнце нещадно обжигало и иссушало землю. В августе Нил вновь разливался.

Мамелюки ничего не строили, не улучшали системы орошения, не создавали водохранилищ. Феллахи при беях жили хуже, чем при фараонах, ютятся в глинобитных хижинах. Традиционный оборот культур включал пшеницу, ячмень, бобы и чечевицу. Главным продуктом питания был рис, а лен шел на изготовление циновки и строительных материалов. Страна, некогда построившая пирамиды, забыла, что такое гачка.

Феллахи, гнувшие спины на полях, подняв глаза, наблюдали за тем, как мимо них проносятся каравалады мамелюков, как сверкают на солнце золото и сталь, как переливаются тюрбаны и шелковые одежды.

Подобную процессию наблюдали жители Каира в вечер встречи Мурад-бея и Ибрагим-бея. Вскоре у дворца стали собираться люди. Из уст в уста передавались обрывки фраз, услышанных слугами Ибрагим-бея.

— Дело действительно важное, — говорил Мурад-бей. — Видимо, сам Бог хочет того, чтобы неверные получили хороший урок. Те, кто посягнул на наши земли, покروют их своими телами.

— Я начинаю понимать, о чем хочет говорить со мной великий воин Мурад-бей. Не связано ли это с известиями, которые мы недавно получили? Беда пришла издалека? — тревожно спросил Ибрагим-бей.

— Беда пришла, но мы отведем ее от себя и обрушим на головы неверных, — заявил Мурад-бей.

Его собеседник заметил, что глаза вождя налились кровью. Казалось, что сейчас он начнет изрыгать пламя.

Ибрагим-бей опасался таких проявлений гнева Мурада. Он знал, что в минуты ярости вождь, случалось, отрубал головы.

Между тем, слова «беда», «голова неверных» будто просочились сквозь стены и уже стали достоянием улицы. Все большее число людей высыпало на грязные мостовые Каира. Город делился на кварталы, которые на ночь закрывались на замки. Покинувшие свой квартал могли испытать трудности с возвращением домой. Это сдерживало людей.

— Вдвоем мы ничего не решим, — продолжал Мурад-бей. — Но мы не должны терять ни одного дня. Уважаемый правитель страны, созывай диван. Приглашай пашу, улемов, приказывай всем старшим шейхам, шейхам собраться вместе. Завтра. Пошлай людей для этого.

— Я немедленно сделаю это, — ответил Ибрагим-бей. — Потомки Пророка Мухаммеда соберутся здесь, чтобы затем призвать к священной войне против неверных, которые, обуреваемые Дьяволом, не ведая, что творят, пришли осквернить нашу землю. Во имя Аллаха!

— Во имя Аллаха! — громко повторил Мурад-бей.

Собравшиеся горожане видели покидавшего резиденцию Мурад-бея и его свиту, а затем стражников и слуг Ибрагим-бея, скакавших по каким-то делам. Ни у кого не было сомнений в том, что начинается война.

На следующий день собрался диван, или государственный совет. Мурад-бей прибыл позже назначенного времени в сопровождении большого отряда мамелюков. Он ворвался в зал заседаний, бешено вращая глазами. Мурад-бей увидел каирского пашу Абу Бакра и немедленно атаковал его:



Экзотика египетского похода

— Французы могли прибыть сюда только с согласия Порты, и, будучи представителем Порты, вы должны были знать об этом. Сама судьба поможет нам в нашей борьбе против вас и против них!

Почтенный Абу Бакр вовсе не опешил от такого напора и ответил:

— Приветствую вас, многоуважаемый эмир-эль-хадж! Рад видеть вас в этом высоком собрании. Наши упования теперь только на вас и ваших непобедимых воинов. Но мне непонятна ваша враждебность к представителю Султана, ведь я узнал о прискорбных событиях позже, чем вы. Ваши обвинения несправедливы. Блистательная Порта не могла дать согласия на вторжение неверных на землю, через которую проходит паломничество в Мекку. Вы, на которого возложена высокая миссия быть охранителем паломнического пути, будьте смелым и твердым! Поднимите людей столь же храбрых, как и вы сами, приготовьтесь сражаться и дать отпор со всей возможной силой, до того как вы отдадите вашу судьбу в руки Господа.

Такие слова умили пыл Мурад-бея, и он не мог продолжать разговор в агрессивной манере. Собрание обсудило вопрос организации обороны страны.

Мурад-бей был назначен главнокомандующим всей армией мамелюков и многочисленной элитной кавалерией. Ибрагим-бей должен был повести в бой пехоту и ополченцев, ему же был придан небольшой отряд кавалерии.

Когда закончили обсуждать военные вопросы, поднялся один из шейхов и заявил:

— Душа радуется, когда мы наблюдаем трогательное единение наших вождей перед лицом общей угрозы. Но есть и другая угроза, внутренняя. Мы должны истребить христиан среди нас до того, как пойдем против неверных.

Его поддержали несколько беев и улемов, принесших в собрание уличные настроения.

Еще до начала заседания дивана толпа начала осквернять христианские церкви. Недоброжелательные люди приближались к домам жителей европейского квартала и кричали: «Неверные, будьте вы прокляты! Настал ваш последний час! Нам позволено убивать вас и грабить ваши дома!»

— Что вы такое говорите, уважаемые! — воскликнул Ибрагим-бей. — Неужели ваш разум помутился? Разве Пророк Мухаммед учил нас убивать мирных людей? Он нес меч в своих руках, но то был меч



справедливости, оружие защиты веры в истинного Бога!

Паша Абу Бакр произнес пространную речь, в которой стыдил и увещевал шейха, беев и улемов, выступивших за репрессии против христиан.

Когда он закончил, слово опять взял Ибрагим-бей. Пока паша ораторствовал, правитель страны успел подготовить указ, который тут же и зачитал: европейский квартал должен быть закрыт, его жители будут направлены в городскую цитадель для их же безопасности; при этом на европейцев возлагалась обязанность внести в казну денежную сумму, равную двадцати тысячам франков.

Паша Абу Бакр вызвал господина Бардефа, лидера французского сообщества в Каире. Когда тот прибыл, паша попросил француза объяснить поведение его правительства.

— Я ничего не знаю об этом походе! — воскликнул Бардеф. — Франция находится во многих сотнях лье от Каира. Вы отлично осведомлены, что мы вносим свой вклад в египетские дела и не хотим никакой войны.

— Верю, уважаемый, верю! — продолжал Абу Бакр. — Но невозможно поверить в другое. В то, что вы ничего не слышали о большом деле, которое, как мы знаем, давно замышлялось. Во Францию иногда плавают корабли. Наверное, вы пишете письма на родину. Нет, я не могу поверить в ваше полное неведение. Я представляю здесь Султана. Вы в некотором смысле представляете здесь Францию, хотя вы не политик. Но вы — фигура общественная, и я хочу, чтобы мы понимали друг друга. Наступают непростые времена. Война, хуже некуда! Мы все от этого можем пострадать. Но войны не длятся бесконечно, за войной всегда наступает мир. Давайте в дни войны думать о будущем мире. Разве Франция хочет войны? Тогда что она делает в Египте?

— Франция в Египте? Франция на берегах Нила? Мне ничего об этом неизвестно, — говорил Бардеф, и в его голосе присутствовали доверительные интонации. — Знаете, а ведь я слышал о необычном плане. Но это совсем другой план. План марша на Индию.

Между тем Мурад-бей собрал шесть тысяч мамелюков, пятнадцать тысяч вооруженных арабов и три тысячи бедуинов. Его войско двинулось на север, навстречу интервентам. Армия проходила через город, и безумцы кричали: «Каждый мамелюк должен срубить сотню голов!»

Власти организовали торжественное шествие с музыкой, пением и молитвами. Многие люди впали в экстаз.

Однако когда блистательная кавалерия, сопровождаемая пехотой и многочисленной обслугой, скрылась за горизонтом, большинство жителей Каира почувствовали печаль и страх. В конце дня горожане начали расходиться по домам. Чтобы поддержать еще недавно приподнятое настроение, Ибрагим-бей приказал владельцам кафе не закрывать своих заведений на протяжении всей ночи, а всем жителям зажечь огни перед их домами и магазинами.

В следующие дни улемы собирались в мечети Аль-Азхар и читали священные книги во имя победы египтян. Шейхи также собирались в мечетях, а ученики духовных школ — в своих классах.

Ибрагим-бей распорядился дать европейцам убежище во дворце своей жены, которая славилась милосердием и благотворительностью.

Подарок судьбы

Когда африканский берег вот-вот должен был появиться на горизонте, чего все ждали с огромным нетерпением, Бонапарт пустил на разведку фрегат «Юнона». Именно моряки «Юноны» первыми увидели африканские холмы, пески и пальмы.

По редкой случайности Нельсон и его моряки, охотившиеся за Бонапартом, не заметили ни «Юноны», ни следовавшего за ней французского флота.

Капитан «Юноны» должен был взять на борт племянника негодянта Шарля Магаллона. Магаллон-старший был французским консулом в Каире, в 1797 году покинул Египет и вернулся в Африку вместе с экспедицией. В его отсутствие обязанности консула исполнял племянник.

Капитан справился с заданием и доставил Магаллона-младшего на борт флагманского корабля «Ориент». Бонапарт узнал у Магаллона, что английский капитан Харди сходил на берег и искал французов.

Археолог, художник, гравер и бывший дипломат Денон присутствовал на встрече Бонапарта и французского консула, вглядываясь в черты вождя. Атмосфера встречи была напряженной. Все понимали, что англичане могут вернуться в любой момент. Ветер усиливался, военные корабли смешались с транспортным конвоем.

Более всех волновался адмирал Брюэйс. С начала плавания он понимал, насколько уязвима французская армада разношерстных судов. Встреча с Нельсоном, вероятнее всего, стала бы гибельной. Бурьенн слышал, как Брюэйс говорил о своем бессилии в данной ситуации.

Магаллон продемонстрировал отличную осведомленность о событиях последних дней. Он сооб-

шил Бонапарту о том, что капитан Харди передал секретное послание британскому представителю — с тем, чтобы тот, в свою очередь, направил его в Индию через Суэц.

Бонапарт быстро оценивал ситуацию. Во-первых, в Египте уже знали о скором прибытии французов. Значит, они готовятся к встрече, и следует ждать сопротивления. Во-вторых, он получил еще одно подтверждение того, что Нельсон где-то недалеко. В-третьих, он узнал о том, что Нельсон серьезно отнесся к разговорам о французской экспедиции в Индию. Именно поэтому туда была направлена депеша.

Нельсон написал также графу Сент-Винсенту, главнокомандующему Средиземноморским флотом: «Если они согласовали с Типпу Сахибом план иметь суда в Суэце... должен ли я был терпеливо ждать до тех пор, пока не получу определенные известия из Египта... до того, как я мог услышать о них, они могли бы быть в Индии».

Нельсон торопился и достиг Александрии тремя днями раньше Наполеона. Не встретив там французов, он ошибочно решил, что Египет не является целью их экспедиции, и уплыл на север.

Бонапарт оставался невозмутимым. Когда консул закончил доклад, Денон не мог различить никаких следов волнения на его лице. После нескольких минут тишины Бонапарт приказал начать высадку.

Место высадки — рыболовецкая деревня Марабут, расположенная в шести милях западнее Александрии.

Брюэйс с силой протестовал против этого решения:

— Генерал, в этом месте много морских рифов. Одновременная высадка большой армии невозможна, я не смогу растянуть такую массу судов вдоль береговой линии. Мы должны будем высаживаться на узком пространстве, поэтому операция займет минимум три дня. Люди, лошади, амуниция, артиллерия. Вы подумайте об артиллерии! Это технически трудновыполнимо и очень опасно. Мы не обойдемся без потерь!

— Адмирал, мы не можем терять времени. Судьба дает мне три дня; если мы не воспользуемся ее подарком, мы погибли, — ответил Бонапарт. — Начните высадку!

— Но из-за ветра и мелководья я не подойду к берегу ближе, чем на три мили, — предупредил Брюэйс, смирившийся с тем, что приказ главнокомандующего надо выполнять.

— Адмирал, я не вторгнулся и не собираюсь вторгаться в область вашей компетенции. Если ближе подойти нельзя, значит, мы проплывем это расстояние на шлюпках.

Высадка началась. Наполеон наблюдал за ней, стоя на палубе «Ориента». Он испытывал мучительное беспокойство. Вдруг на горизонте появился военный корабль. Неужели это Нельсон?

Охваченный ужасом, Бонапарт заметался по палубе, выкрикивая:

— Неужели фортуна мне изменила? Пожалуйста, смилуйся надо мной! Даруй мне еще несколько дней!

Моряки успокоили его: появившийся корабль не был авангардом англичан. Это французский фрегат «Жюстис», приплывший с Мальты!

Бонапарт и его соратники перешли с палубы «Ориента» на борт мальтийской галеры, которая переместила их ближе к берегу. Главнокомандующий наблюдал за тем, что происходило на пляже. Шлюпки достигали суши, и солдаты с трудом выбирались из них.

Ужас, испытанный Бонапартом при виде неизвестного корабля, постепенно сменился состоянием приподнятого возбуждения. Заключительный отрезок пути до берега он должен был преодолеть на баркасе.

— Держитесь за наши плечи! — воскликнул Наполеон.

Бонапарт и Бурьенн с двух сторон подхватили одноногого генерала Каффарелли дю Фальга, командира инженерного корпуса, худощавого человека с добрым, открытым лицом и длинным, чуть горбатым носом, а затем переместили его на баркас.

— Бонапарт, друг мой, не обращайтесь со мной, как со стариком, — протестовал Каффарелли. — А что касается моей ноги, то Конте просто обязан изобрести новый протез, который позволит мне лучше двигаться.

— Конечно, изобретет, я нисколько в этом не сомневаюсь! — поддержал Наполеон. — Мы здесь займемся не только науками, искусствами, но и медициной. Уверен, что со временем люди изобретут такие искусственные органы, которые в случае необходимости будут работать лучше природных. Наши конечности устают от ходьбы и бега. А искусственная нога не устает, и человек с такой ногой сможет перемещаться лучше, бегать быстрее, чем человек с двумя обычными ногами.

— Bravo, генерал, — спокойно произнес начальник артиллерии Доммартен, который уже находился на баркасе вместе с начальником генерального штаба Луи-Александром Бертье. — Послушать вас, так без конечностей вообще жить лучше. С таким настроением легко идти на войну.

— Доммартен, мы идем не на войну! — парировал Бонапарт. — Мы участвуем в научной экспедиции, именно поэтому я взял с собой лучших ученых Франции, поэтов, музыкантов, художников, изда-



телей, печатников и еще много кого. Мы создадим на Востоке Институт, который превзойдет Институт Франции, ибо таланты членов экспедиции, попавших в совершенно новую среду, получают новые импульсы и принесут плоды, коими будет восхищаться весь свет!

— Великолепно! — продолжал Доммартен. — А тогда я, простой артиллерист, что здесь делаю? Может быть, мне вернуться на корабль?

— Поздно, Доммартен, поздно! Смотрите вперед, а не назад! До берега рукой подать, — обнадеживал Бонапарт.

— Чертов ветер, — сказал Бертье мрачным голосом. — Мы-то потихоньку двигаемся, а люди тонут.

Он кивнул в сторону, где на расстоянии нескольких сот метров все увидели перевернувшуюся шлюпку и солдат, оказавшихся в воде и звавших на помощь. Крестьянские дети, многие из которых никогда не видели моря и не умели плавать, гибли в пучине. Рев волн заглушал их голоса.

— Что можно сделать? — крикнул Бонапарт, вскочив с места и вытянувшись в полный рост. Каффарелли тоже встал, опираясь на палку.

— Ничего тут не поделаешь, — горько подытожил Бертье. — Несколько минут — и конец. Кто при таком шторме успеет до них доплыть?

Бертье и Бонапарт начали одновременно грызть ногти. Остаток времени плавания до берега они провели молча.

Лодок не хватало. Гребцам некоторых шлюпок потребовалось восемь часов, чтобы достичь берега. Десятки солдат утонули.

Бонапарт, высадившийся вместе с Бертье, Каффарелли и Доммартеном, пошел вброд, чтобы наблюдать за движением многочисленных плавательных средств. Прогресс был медленным. Главнокомандующий лег на песок и проспал примерно час.

В три часа ночи 2 июля 1798 года он проснулся. Ярко светила луна. Со стороны пустыни дул теплый ветер. Бонапарт огляделся вокруг: песок, редкие камни и скудная растительность. Вдали он увидел мечеть, рядом с ней кладбище и несколько пальм.

Генералы Клебер, Бон и Мену командовали небольшими ударными группами, которые должны были захватить плацдарм на египетском берегу и немедленно двинуться дальше. При этом солдаты генерала Дезэ защищали береговую линию, обеспечивая высадку всей армии.

Клебер давно приобрел славу способнейшего и гуманного военачальника. В 1793 году он отказался участвовать в избиении пленных и заключенных, за что был смещен с должности. В бою он проявлял выдающуюся храбрость и вел свои полки в атаку с особой театральностью, даже щегольством. Ему были

присущи такие редкие для генералов качества, как сострадание и сопереживание.

Бон и Мену также отличались редкой храбростью. Бон был ранен, штурмуя вместе со своими солдатами Аркольский мост — в тот день, когда на этот мост бросился сам Бонапарт со знаменем в руках. Мену был опытным военным и политиком, которого Бонапарт недолюбливал за неопрятный внешний вид. Толстый, лысый и курносый, Мену больше походил на официанта, чем на генерала.

Что же касается Дезэ, усатого молодого человека с длинными всклокоченными волосами, то он прибыл в Египет, чтобы совершить самые великие дела.

Дезэ был из старых дворян Оверни, но сменил свою аристократическую фамилию. Он занимал видные посты в рейнской армии и был подчиненным генерала Моро.

Наполеон описал его как маленького, черного, уродливого, «всегда плохо одетого, иногда даже оборванного». И все же он любил Дезэ и возлагал на него большие надежды, поскольку подчиненный был храбрым, подвижным жаждой славы и долгом «и по природе предназначенным стать великим генералом».

В сентябре 1797 года Дезэ, командующий центром рейнской армии, специально приехал в Пассариано, чтобы навестить Бонапарта. В один из теплых итальянских вечеров Наполеон впервые открыл Дезэ свой план восточного похода.

Дезэ написал в своей книжке: «Идеи о Египте, его ресурсы. Проект об этом. Развитие. Мир с Австрией, Англией. Отбытие из Венеции 10 000 человек и 8000 поляков в Египет; захватить его, преимущества, детали. С пятью дивизиями, двумя тысячами пушек [вероятно, он имел в виду 200]. Сбор всех средств, хорошо информированных людей. Путешествия, Савари, Вольней и т. д.».

Дезэ решил связать свою карьеру с Бонапартом, хотя не испытывал никаких иллюзий в отношении его личности. Он считал, что Бонапарт «склонен к интриге в крайней степени. Он очень богат, богат настолько, насколько это возможно, поскольку черпает доходы из целой страны... Он не верит ни в честность, ни в порядочность; он говорит, что все это глупость; он заявляет, что это бесполезно и такого просто нет в этом мире».

Однако именно тогда, в Пассариано, честолюбивый и крайне амбициозный Дезэ проникся основополагающей идеей Бонапарта, которая стала обоснованием похода: чтобы разрушить Англию, надо захватить Египет. Именно с тех пор научные силы Франции начали подготовку к небывалой в истории экспедиции: великий математик Гаспар Монж, который также познакомился с Бонапартом в Италии,

стал собирать географические карты и делать записи в помощь главнокомандующему.

Мену и Клебер успешно добрались до материка со своими частями, в то время как солдаты Бона и Дезэ долго боролись с волнами. Достигнув берега, воины приводили в порядок мундиры и ружья и пытались сушить амуницию и скудные припасы.

Вокруг главнокомандующего постепенно собирались генералы и офицеры главного штаба. Многие из них были испытанными и верными Бонапарту людьми, но он вынужден был взять с собой и назначенцев Директории.

Уже проявившие себя семнадцатилетний Евгений Богарне, пасынок Наполеона, двадцатилетние Луи Бонапарт и Жан Туссен Аррижи ди Казанова, двоюродный брат Наполеона по линии матери, способный и бесстрашный поляк Юзеф Сулковский, получивший тяжелые ранения на Аркольском мосту, генерал-адъютанты Бойе и Галуа, храбрый и остроумный Жюно, юные и жаждущие славы Жюибер, Делоне, Круазье — Бонапарт искал глазами и находил их среди множества лиц. Здесь был и Мармон, к которому Наполеон относился как к сыну, хотя был старше его лишь на пять лет.

Главнокомандующий узнал от Бертье, что на берег высадились четыре тысячи солдат. У них по шестьдесят патронов, но мало воды и почти нет еды. Артиллерия и кавалерия все еще не высадились. Тем не менее Наполеон дал приказ наступать на Александрию и сам пошел пешком вместе с колоннами Мену, Клебера и Бона.

Он ступал первым, не давая людям никакой передышки. Маленькая армия должна была преодолеть расстояние в одиннадцать километров, отделявших Марабут от Александрии.

Становилось все жарче, и Бонапарт повязал голову носовым платком. Солдаты и офицеры притихли и брели по пескам в полной тишине.

— Все хорошо, Бертье, все хорошо, наконец-то мы здесь! — приговаривал Бонапарт.

Он надеялся взять Александрию без боя. Для этого он днем раньше послал письмо Мухаммеду Эль-Кораиму.

«Бей [мамелюков] обижают наших торговцев, и я пришел потребовать репараций, — писал Бонапарт коменданту. — Я буду в Александрии завтра. Вам нечего бояться. Мы, французы, — большие друзья Султана Турции, и вы должны вести себя так, будто имеете дело с его союзником. Однако если вы проявите малейшую враждебность в отношении французской армии, я буду относиться к вам, как к врагу, и вы пожалеете об этом, хотя я искренне не желаю так поступать».

Эль-Кораим не ответил на мирные предложения Бонапарта и запросил помощи Мурад-бея, которая не могла поспеть вовремя.

Комендант обратился к населению с призывом защитить город. У него были не только пехотинцы и кавалеристы, но и орудия, размещенные на крепостном валу. Пользы от них было немного, поскольку нашлась лишь одна бочка пороха.

Жители города, население которого не превышало шести тысяч человек, проявили патриотизм и солидарность. Они высыпали на улицы и провели всю ночь в сильном возбуждении.

Ранним утром комендант узнал о том, что французы создали плацдарм у Марабута. Он увлек за собой отряд из двадцати мамелюков, врезался в колонны вражеской пехоты и отрубил голову капитану стрелков.

В то же время французы подверглись дерзким атакам пятисот бедуинов — воинов племени хенади, которые ринулись в интервалы между колоннами и пытались ударить их с тыла.

В плен попали два драгуна двадцатого полка. Умиравшие от голода, жажды и усталости французы не были готовы к энергичному натиску врага, не желавшего мириться.

Получив эти известия, Бонапарт попросил уточнить, сколько было мамелюков.

— Я не знаю, что бы мы делали, если бы их было не два десятка, а пятьсот, — сказал он Бертье.

В это время торжествующий Мухаммед Эль-Кораим возил голову французского стрелка по улицам Александрии, вызывая бешеный энтузиазм.

В шесть часов утра Бонапарт достиг колонны Помпея, стоявшей на выступе к юго-западу от города, и, измученный жаждой, сел в изнеможении. Вокруг не было ни одного колодца. Адъютант Майи достал апельсины, недавно собранные в садах Мальты, и предложил Бонапарту сочный плод. Главнокомандующий разорвал апельсин и стал жадно поглощать влажную мякоть.

Колонна Помпея из красного гранита и высотой двадцать пять метров была воздвигнута в конце III века нашей эры в честь взятия города императором Диоклетианом.

— Победить или подохнуть, — сказал кавалерийский генерал Дюма, богатырь-мулат.

— Не так мрачно, мой друг, не так мрачно, — ответил Каффарелли. — Перед вами — Александрия, когда-то одна из столиц мира.

— Может быть, лекцию нам прочтете? Каффарелли, где ваши инженеры? Все еще на кораблях? Или бултыхаются в волнах? О, я сейчас упал бы в море или какой-нибудь бассейн! А где моя боевая лодка? Интересно, как они дотащат ее до берега!



Немного отдохнув, Бонапарт встал на подножие колонны. Он видел зубчатые стены Александрии и минареты. Главнокомандующий быстро разработал план штурма и дал приказы.

Защитники города прятались за древними полуразрушенными стенами и встретили французов залпами ружей, градом камней и громкими криками.

Солдаты пошли на приступ: Бон прорывался через Розеттские ворота, Мену атаковал треугольную крепость, со стен которой открывался вид на старый порт, а люди Клебера влезали на стены большой крепости.

Мену первым добился успеха. Он ворвался в город, получив как минимум семь ранений, ни одно из которых не заставило мужественного генерала устраниться от дел.

Гренадеры Клебера взбирались на стены. Их командир, который успел во время перехода высказать много нелестных слов в адрес Бонапарта, вел свою пехоту, провозглашая здравницы в честь Французской Республики. Вдруг мушкетный заряд поразил его в лоб и свалил наземь.

Бон нашел Розеттские ворота запертыми. Солдаты Мармона взломали их топорами и также ворвались в город.

Защитники отступили и заперлись во внутренней цитадели. По воспоминаниям солдата Пьера Милле из отряда Клебера, он с товарищами проходил мимо мечети, думая, что город сдался. Вдруг раздался мушкетный залп. Рядом оказался генерал, который сам едва не погиб. Красный от ярости, он приказал взломать ворота и не щадить тех, кто был внутри. Мужчины, женщины, дети гибли под штыками. Они взмолились о пощаде, и человеческие чувства оказались сильнее, чем мстительность. Резня прекратилась, и примерно треть из запертых в мечети людей была освобождена.

Наконец солдаты могли удовлетворить мучившую их жажду. Они пили воду из колодцев и кувшинов, которые находили в домах. Воины разбредались по улицам, кое-где попадая под огонь, и вынуждены были ликвидировать очаги сопротивления.

Бонапарт вошел в город около полудня и начал пробираться по узким улочкам к дому французского консула. Он обогнул угол одного из домов, и вдруг пуля, кем-то выпущенная из окна, ударила в край подошвы его левого сапога. Охранники Бонапарта вскарабкались на крышу дома, пробрались вовнутрь и нашли турка, забаррикадовавшегося в комнате с шестью ружьями. Они прикончили его на месте.

Ученых, которые плыли на разных кораблях, решено было собрать вместе и доставить в город. Фрегат «Монтенотте» принял людей на борт и высадил

их на берег на закате солнца. Затем каждый пробирался, как мог, со своим багажом в руках.

Денону пришлось несладко: «Я пересек кладбище, встречаясь с душами мертвых. Когда же я достиг жилищ, то был атакован стаями диких псов, которые набросились на меня отовсюду — из дверных проемов, улиц, с крыш. Их лай разносился от дома к дому... Чтобы избежать этих звуков и двигаться по той дороге, где бы я не потерялся, я покинул улицы и держался линии моря, однако зубчатые стены и горы валунов, спускавшиеся к морю, загораживали путь. Я прыгнул в море, чтобы освободиться от псов, и, когда стало слишком глубоко, влез на стену. Наконец, мокрый до нитки, вспотевший, донельзя усталый и напуганный, в полночь я достиг того места, где стояли часовые. Поистине, псы были шестым и наиболее ужасным библейским наказанием Египта».

Из окна дома французского консула, в котором поселился Бонапарт, открывался великолепный вид на восточную гавань и остров Фарос, где стоял древний полуразрушенный маяк.

В крепости, расположенной на острове, нашел прибежище Мухаммед Эль-Кораим вместе с немногочисленной охраной. Переговоры с ним начались ранним утром и продолжались несколько часов. Наконец Кораим понял бессмысленность сопротивления и сдался.

Когда его привели к Бонапарту, Кораим пал ниц и объявил себя рабом победителя.

Денону было позволено находиться в штабквартире Бонапарта и делать зарисовки главнокомандующего. Он видел Наполеона за работой и наблюдал встречу генерала с комендантом. Кораим производил впечатление интеллигентного человека, однако на его лице читалось притворство.

Художник заметил, что египтянин был потрясен ходом событий, но вовсе не поражен лояльностью и благородством Наполеона по отношению к нему. Он как будто бы думал о том, что его поражение могло быть следствием какого-то трюка. И лишь когда он увидел, что французы высадили тридцать тысяч солдат и артиллерию, он полностью доверился Наполеону.

Главнокомандующий посоветовался с Магаллоном-старшим и принял неожиданное для многих решение: Мухаммед Эль-Кораим был назначен начальником полиции города. Таким образом Бонапарт думал избежать возможной анархии.

Он пришел, чтобы предложить египтянам новый порядок управления и новое законодательство. Он готов был сотрудничать с каждым, кто признает его первенство, его право создавать новые учреждения — государственные, научные и культурные. Од-

нако первое соприкосновение с местными властями и местным обществом привело к конфликту — его аргументация не подействовала на Мухаммеда Эль-Кораима, тот взялся за оружие и был поддержан населением.

Бонапарт направил письмо паше Абу Бакру, номинальному турецкому руководителю в Каире: «Директория Французской Республики уже отправила несколько посланий Блистательной Порте, требуя наказать мамелюкских беев Египта, которые продолжают тревожить французских торговцев.

Блистательная Порта решила, что своевольные и алчные беи игнорируют принципы справедливости. Блистательная Порта не одобрила эти акты насилия, совершенные против французов, добрых старых союзников, и вследствие этого отказалась от защиты беев.

Французская Республика в соответствии с этим решила послать мощную армию, чтобы положить конец пиратству беев. Вы должны быть господином беев, но вы удерживаетесь ими в Каире, лишены власти и авторитета и тем более должны приветствовать мой приход. Вы, без сомнения, уже оповещены о том, что я не намерен делать что-либо против Корана или против Султана. Поэтому я приглашаю вас прийти и встретить меня, чтобы вместе мы могли наказать этих безбожных беев».

Блеф этого послания очевиден — Блистательная Порта не одобряла вторжения французов на свою территорию. Паша Абу Бакр, фактический заложник мамелюков, не мог предпринять никаких активных действий в поддержку Бонапарта, даже если бы хотел этого.

Побежденный Кораим начал усердно служить новому хозяину, наведя порядок на городских улицах. Он старался обеспечить французскую армию всем необходимым: верблюдами, лошадьми, продовольствием, гидами. Для этого он пригласил тринадцать вождей племен бедуинов на встречу с Бонапартом.

Люди, недавно убивавшие французов и захватывавшие пленных, ждали, что им скажет пришелец. Наполеон заявил:

— Я пришел, чтобы защитить ислам. Я тот человек, который лишил тысячелетнего трона Римского Папу, и вы можете быть уверены в моих дружеских чувствах. То, что нам пришлось столкнуться с вами, есть величайшая ошибка. Сейчас, когда мы можем спокойно разговаривать, мы пойдем друг друга. Я против несправедливости, и моя единственная цель — освободить вашу страну от мамелюков. Эти земли по праву принадлежат вам, и я возвращаю их вам. Я пришел сюда во главе огромной и непобедимой армии, которая одержала великое множество

побед в Европе. Я не буду навязывать вам веру европейцев. Я — сторонник и защитник религии Пророка. Жадные мамелюки разрушили торговлю, я восстановлю ее. Вы будете жить и управлять своими племенами, как управляли до меня. Я не собираюсь вмешиваться в ваши дела, но только помогать вам.

Речь Бонапарта была благосклонно воспринята вождями бедуинов, и они согласились сотрудничать с французами.

Тридцать семь французских пленных, захваченных во время утомительного марша на Александрию, были освобождены путем обмена людей на баранов и коз в соотношении 1:1. Бонапарт лично допросил бывших пленных, но те ничего не могли толком рассказать, жалуясь в самой общей форме на плохое обращение. Солдаты говорили, что бедуины насильовали мужчин и избивали женщин-пленниц.

Жертвами штурма стали пятьдесят французов, около ста были ранены. Защитники города потеряли восемьсот человек.

У подножия колонны Помпея французы выкопали ров, в котором похоронили своих погибших. Их имена были написаны наверху колонны. Оркестры играли похоронные марши, вызывая чувство тоски по родине.

— Да здравствует республика! — кричали солдаты. — Да здравствует Бонапарт!

Железо против золота

Денон делал многочисленные эскизы. Он видел колонну Помпея, памятники античной и христианской культуры. Художник заметил, что солдаты заняли бани, чтобы заняться стиркой, а главная мечеть находилась в запущенном состоянии. Он пытался оценить возраст древних построек и пришел к Розеттским воротам.

«Здесь я имел случайную встречу, поразительную по контрасту. Я увидел молодую французенку, одетую в белое. Ее кожа была розовой, как цветок. Она сидела на куче камней, политых кровью сражения. Вокруг нее валялись осколки, а мертвые тела оставались непогребенными. Она была словно ангел Воскресения. Движимый состраданием, я выразил удивление тем, что нашел ее здесь совершенно одну. Она ответила с трогательной наивностью, что ждет своего мужа, чтобы пойти с ним спать в пустыне. Она говорила так, будто просто собиралась пойти спать в новый дом. Отсюда вы можете оценить характер женщин, которым любовь дала мужество следовать за их супругами в экспедицию».

Александрия, которая издали выглядела привлекательно, оказалась грязным, полуразрушенным



селением. Численность жителей города значительно уменьшилась в результате свирепствовавших здесь эпидемий.

Большинство ученых — членов Комиссии по наукам и искусствам попали в ужасные условия. Они обратились к председателю комиссии генералу Каффарелли с просьбой о помощи, но тот был занят работами по разгрузке оборудования и организацией деятельности инженерного корпуса. Каффарелли тяжело переживал потерю бесценных научных приборов, находившихся на борту затонувшего судна «Патриот», капитан которого не справился с управлением кораблем при входе в порт.

Математика Монжа и химика Бертолле поселили в штаб-квартиру Наполеона, а изобретатель Конте и минералог Доломье были привлечены к важнейшим операциям по разгрузке научных приборов и оборудования, в том числе печатных прессов.

Наполеон придавал огромное значение типографским машинам, которые должны были печатать газеты, журналы и его прокламации на разных языках, включая арабский.

Когда Доломье узнал о том, что его коллеги живут в грязных комнатах по десятку и более человек в каждой, голодают и, в отличие от солдат, не имеют никакого обеспечения, он решил им помочь. Доломье обратился к французскому консулу с жалобой, тот передал ее Наполеону, и вскоре большинство ученых были приравнены по содержанию к рядовым солдатам. Условия их размещения также были улучшены.

Жители Александрии сдали оружие. Им было приказано носить трехцветные кокарды. В то же время шейхи, имамы и другие важные персоны могли носить оружие, но должны были привыкать к трехцветным шарфам через плечо — таким, как у французских майоров. Солдатам, стоявшим на посту у штаб-квартиры, было приказано салютовать местным сановникам, когда те приходили на встречу с Бонапартом.

Местные торговцы дали принудительный заем французской казне — Наполеон заботился о финансировании армии. У него был и другой ресурс — сокровища рыцарей, захваченные французами на острове Мальта и теперь находившиеся на борту флагманского корабля «Ориент».

Если говорить об изначальных шагах по сбору денежных средств для экспедиции, то здесь Бонапарт сполна использовал накопления «освобожденных» государств. Он направил генерала Бертье в Ватикан во главе итальянской армии, где тот ограбил Римского Папу. Генерал Жубер, герой итальянской кампании, был послан в Голландию, а генерал Брюн, также отличившийся в Италии, вторгся в Швейца-

рию и преобразовал ее в зависимую от Франции республику. Один Брюн добыл сумму, эквивалентную трем миллионам франков золотом.

Теперь нужно было двигаться дальше, и как можно быстрее. Александрия — лишь первый этап на великом пути. Следующая цель — Каир.

Нельзя терять ни минуты! В свое время Людовик Святой высадился в Египте, простоял лагерем несколько месяцев, а затем был разбит и пленен сарацинами.

Остановка на несколько дней, короткий отдых армии, организация местного управления — и снова в путь. Через дикие пустыни. Преодолевая июльскую жару, жажду, голод и усталость.

Забегали адъютанты, рассылая приказы: артиллеристам — устроить казармы, создать арсенал и хранилища пороха; инженерам — устроить казармы, создать магазины и хранилища инструментов; администрации — создать офисы для различных отделов, госпитали (один для раненых, другой для больных), тюрьмы (для гражданских, военных, военнопленных); флоту — устроить казармы, арсенал, карантинную станцию. Должны быть созданы карты города, вырыт канал, который свяжет Александрию и Нил, увековечены имена героев, погибших при взятии Александрии.

Бонапарт вникал в мельчайшие детали и отказывался делегировать полномочия. Он провел смотры войск, готовых продолжить поход.

Дивизия Дезэ не принимала участия в штурме Александрии, выполняя охранительные функции в районе Марабута. Затем она была передвинута на окраины Александрии.

3 июля, через день после взятия города, Дезэ получил приказ двинуться на Даманхур, расположенный в сорока милях к юго-востоку от Александрии. Бонапарт дал Дезэ инструкции: «Если вас атакуют, спрячьте кавалерию, показывайте врагу только пехотные части. Не используйте легкую артиллерию. Необходимо сохранить это для великого дня, когда мы должны будем сражаться с четырьмя или пятью тысячами всадников».

Осторожность была излишней, поскольку пушки и лошади все еще не были выгружены с судов. Дезэ двинулся в путь 7 июля, без артиллерии и почти без кавалерии.

За ним последовал двадцатисемилетний генерал Жан-Луи-Эбенезер Ренье, высокоинтеллигентный и бесстрашный командир, дивизия которого состояла из солдат рейнской армии. Если воины итальянской армии отлично знали Бонапарта и готовы были пойти с ним куда угодно, то рейнские части впервые оказались под его началом. От Наполеона требовались немалые усилия для того, чтобы завое-

вать сердца солдат рейнской армии. Дух этих воинов проявился в случае с Дезэ: когда правительственные комиссары приехали арестовать «бывшего аристократа», солдаты не пустили их в лагерь.

Более всех повезло генералу Дюгуа, дивизия которого двинулась на Розетту вдоль моря в сопровождении флотилии капитана Перрэ и далее должна была подниматься вверх по Нилу. Дивизии Бона и Виалья пошли через пустыню, вслед Дезэ и Ренье. Все части армии должны были соединиться в Даманхуре.

Ранение Клебера было тяжелым, но не смертельным. Бонапарт оставил его в Александрии в качестве коменданта города и провинции, с гарнизоном в восемь тысяч человек.

Итак, боевой генерал был назначен на гражданский пост, в то время как армия должна двинуться на Каир. Клебер выразил недовольство — он не хочет быть канцеляристом! В ответ Бонапарт заявил, что его решение окончательное. Клебер нужен армии, но полученная в бою рана слишком серьезна, и генерал нуждается в отдыхе для ее лечения.

Покидая Александрию, Бонапарт дал инструкции коменданту, который должен был выполнять планы главнокомандующего и во всем контролировать Эль-Кораима: «Поддерживать, насколько это возможно, хорошие отношения с арабами; проявлять величайшую предупредительность к муфтиям и главным шейхам страны... Мы должны постепенно приучить этих людей к нашему мировоззрению и образу жизни и в то же время позволить достаточную самостоятельность в отношениях между ними, в их внутренних делах; и что важнее всего, мы не должны вмешиваться в их юридическую систему, которая основана на божественном законе и полностью привязана к Корану».

Бонапарт продиктовал депешу французскому поверенному в делах в Константинополе: «Мы идем на Каир. Вы должны убедить Порту в нашей твердой решимости информировать их обо всем, что мы делаем. Посол должен быть назначен [в Константинополь], и скоро туда прибудет».

Наполеон искренне верил, что Талейран выполнит данное им обещание и прибудет в Константинополь, и наивно полагал, что турки благосклонно отнесутся к вторжению французов на их территорию.

Во второй половине дня 7 июля Бонапарт выехал из Александрии, сопровождаемый Монжем, Бертолле, консулом Магаллоном и своим штабом. Они скакали день и ночь и вскоре увидели хвосты колонн дивизий Бона и Виалья.

Когда солдаты дивизии генерала Дезэ достигли первого селения, то они забыли о званиях и броси-

лись опустошать колодцы. Однако на дне этих колодцев они смогли найти только немного грязной солоноватой воды, которую вычерпывали чашками и распределяли малыми дозами, как порции бренди.

«Это было первое вторжение наших войск в другую часть света, — говорит Денон. — Отделенные от родины морями, полными вражеских кораблей, идущие через безмолвные пустыни в тысячи раз более ужасные, они оказались в незнакомых обстоятельствах, которые, однако, не ослабили их мужества и доброго расположения духа».

На второй день пути из Александрии солдаты увидели страшную картину: женщина с лицом, покрытым кровью, несла новорожденного. Она слепо блуждала среди песков. Солдаты заинтересовались, в чем дело, и допросили арабского проводника-переводчика. Тот ответил, что женщина стала жертвой ревнивого мужа. Она не просила за себя, но умоляла спасти невинного ребенка, который и стал причиной гнева супруга.

Солдаты были глубоко тронуты. Забыв о собственных бедах, они стали предлагать женщине пайки и драгоценную воду. Тут они увидели рассерженного мужчину, который подошел к женщине и вырвал пищу и воду из ее руки.

«Стой! — закричал он. — Она обесчестила себя и очернила мое имя. Этот ребенок вызвал мой гнев, он сын преступления». Солдаты пытались урезонить его, но это не помогло: он достал кинжал и заколол женщину, затем схватил ребенка и швырнул его на землю. Отупевший от злобы, мужчина стоял неподвижно, пристально глядя на окруживших его солдат и бросая им вызов, — мол, отомстите за то, что я сделал.

Денон попросил переводчика объяснить случившееся. Тот сказал, что с точки зрения мусульманина поведение мужчины — зло. Но не потому, что он убил жену, а потому, что не позволил воле Господа исполниться до конца, ибо «если Бог не хотел, чтобы она умирала, то после сорока дней, проведенных в пустыне, несчастная женщина могла быть принята и предоставлена заботам милосердия».

Бедуины постоянно тревожили колонны французского авангарда, захватывая и убивая оставшихся, оторвавшихся от основной массы, нарочных. Возвращение французских пленных в Александрии стало единственным пунктом соглашения между ними и Бонапартом, который бедуины выполнили. Когда же они вернулись в свои племена после встречи с Наполеоном, то получили послание от великого муфтия, или фетфу. Главный каирский законодатель объявил священным долгом каждого правоверного мусульманина выступить против французов с оружием в руках.



Племена подчинились своим духовным вождям, а Наполеон потерпел новое поражение: его слова и обещания оказались слабее, чем местная солидарность. Он не получил от бедуинов ни верблюдов, ни погонщиков, ни лошадей. Его армия двигалась по враждебной территории, где неприятель мог скрываться за каждым изгибом рельефа.

Бонапарт направил генерал-адъютанта Галуа с оперативным поручением, но тот был убит при выполнении приказа главнокомандующего. Генеральный штаб понес еще одну тяжелую потерю: адъютант Делоне был взят в плен буквально в нескольких шагах от армии, при пересечении лощины. Арабы потребовали за него выкуп, но рассорились при дележе; чтобы положить конец спору, они вышибли мозги молодому человеку.

Нервы у солдат и офицеров не выдерживали, и даже преданные Наполеону люди срывались. Выдающийся кавалерийский генерал Мирер, страдавший от приступа меланхолии, не ответил на призыв приблизиться к своим и был убит в ста шагах от аванпоста.

Люди, не имевшие ни капли воды и потерявшие надежду ее найти, кончали жизнь самоубийством. Генерал-адъютант Бойе писал отцу о том, что некоторые солдаты стреляли себе в голову, не желая видеть страдания своих товарищей.

Дивизии достигли Даманхура. Наполеон в бинокль рассматривал город, окруженный пальмовым лесом. Он видел многочисленные мечети, в утреннем небе вырисовывались изящные силуэты их минаретов. На соседних холмах были расположены могилы святых.

Бонапарт провел в Даманхуре два дня. Здесь он созвал военный совет, который превратился в конфликт.

— Какого черта мы здесь делаем? — кричал Мюрат. — Кому это нужно? Может быть, это нужно Франции? Я сильно в этом сомневаюсь! Ради чего погибли Галуа и Делоне? Мы лишились Мирера, хотя никаких сражений не было! Глупо, бесполезно, неслыханно! Где враг? Где он прячется? Эта война страшнее всех войн, в которых участвовали здесь собравшиеся! Армия тает, мы уже потеряли десятки, если не сотни солдат!

Он сорвал со своей головы плетеную шляпу, которая была признана лучшей защитой от солнца, бросил ее в песок и начал с силой топтать ногами. Это было страшное и печальное зрелище — мужчина огромной физической силы, излучавший невероятную энергию, предался мелкому и пустому занятию с такой страстью, будто уничтожением шляпы можно было спастись.

Сто сорок членов генерального штаба молча наблюдали нервный выпад одного из лучших кавале-

ристов Франции. К их крайнему удивлению, Мюрату вторил Ланн, в знак солидарности бросивший шляпу в песок и также начавший ее топтать.

— Это не Испания, не Италия и даже не Вандея! — подхватил Дюма. — Это не война, а самосожжение! Мы здесь как рыбы на сковородах! Что ты нам предложишь, Бонапарт? Есть конину? Экспедиция провалилась! Людей, которые нужны для защиты республики, ты бросил...

Дюма захлебывался, пытаясь подобрать слова, и не закончил фразы. Третья шляпа была с силой брошена в песок. Тогда Бонапарт будто одним прыжком приблизился к Дюма и дал отпор своим критикам:

— То, что вы говорите, Дюма, есть подстрекательство к мятежу! Берегитесь, или я отдам вас под трибунал. Вы выше меня на голову, но если вы еще раз рискнете мне дерзить, я вас лишу этого преимущества!

Бонапарт вложил в свою угрозу столько страсти, что Дюма более не смел вымолвить ни слова. Главнокомандующий постоял несколько секунд, глядя в глаза главному кавалеристу, затем развернулся и ушел.

Он был на пределе сил, и это опасное состояние стало причиной неоправданного выпада против юного и хрупкого адъютанта Круазье. Когда группа конных арабов приблизилась к штаб-квартире, Бонапарт приказал Круазье взять гидов и прогнать «эту сволочь».

Круазье собрал пятнадцать кавалеристов и бросился на врага. Однако арабы ускакали, не понеся урона. Бонапарт обвинил Круазье в трусости. Юноша расплакался и выбежал со слезами на глазах.

— Я не переживу этого, — сказал он Бурьенну, — я пойду на смерть при первом же случае, который представится; я не могу жить обесчещенным.

Если солдаты Дезэ и Ренье отдыхали в Даманхуре около двух суток, то другие дивизии и того меньше. Двадцатитысячное войско продолжало путь. Вскоре и Дюгау, сопровождаемый флотилией капитана Перрэ, присоединился к армии.

Вести о том, что произошло на военном совете в Даманхуре, распространились среди солдат. Многие из них поддерживали оппозиционеров и обвиняли Бонапарта в своих бедах. Но были и такие, которые видели, что главнокомандующий, как простой солдат, обедает одной чечевицей, и ругали правительство, заслывшее армию на край света.

В поиске виноватых появилось новое направление: Денон делал зарисовки, другие ученые производили раскопки, наблюдали, записывали, собирали образцы растений, что привлекало внимание. Некоторые солдаты говорили, что эти «ученые ослы» надоумили Бонапарта отправиться в гибельную экспедицию.

Генерал Каффарелли слышал эти разговоры и пытался вразумить воинов:

— Разве истинный француз может такое говорить? Мы — нация, которой суждено делать великие дела и стать светочем человечества. Вслед за Грецией и Римом мы раздвигаем границы известного мира и показываем лучшие примеры. Разве вы не чувствуете римский дух Бонапарта? Он начал колоссальное предприятие, участвовать в котором я считаю великой честью. Да если бы сегодня меня сразила пуля бедуина, то все равно я не зря сюда пришел. Вы видели Александрию? Когда-то в этом городе жило полмиллиона человек, но теперь он в упадке. Мы должны оживить эту страну, дать новые импульсы торговле, наукам и искусствам. Мало кто из европейцев ступал на эти земли. А мы, отвергнувшие тьму религиозного мракобесия, влюбленные в истину и справедливость, должны быть горды осознанием нашей миссии. И когда мы думаем о том, что мы должны построить города и порты, мосты и каналы, акведуки и мельницы, разве можно принимать в расчет временные затруднения, которые мы испытываем на нашем пути? Какими мелкими они кажутся по сравнению с той целью, к которой мы идем! Да, нам трудно. Да, нам не хватает воды, мы питаемся чечевицей и сами толчем зерна, чтобы хоть как-то сохранить силы. Но неужели среди вас найдутся такие, которые скажут, что лучше бы мы сидели по домам? Чем был бы мир, если бы римские легионы не прошли его вдоль и поперек? Любимая Франция, ты еще увидишь нас! Мы вернемся со славой и расскажем согражданам о тех чудесах, которые мы обязательно здесь увидим, и о тех подвигах, которые совершим!

Солдаты внимательно слушали славного Каффарелли, ни разу его не прервав. Вдруг один из них весело произнес:

— Вам хорошо это говорить, генерал, потому что у вас одна нога во Франции!

Шутка передавалась из уст в уста, внося оживление и улучшая настроение солдат.

И Каффарелли оценил ее по достоинству, хотя нога была вовсе не во Франции — он потерял ее на Рейне.

Армия достигла Нила в районе Рахмании. Строй рассыпался, солдаты бросились в реку, забыв о чинах и обязанностях. Многие плавали в одежде, вместе с ружьями.

Люди провели в воде по несколько часов. Напившись из Нила, некоторые заболели. Были и случаи смерти от избытка воды.

Вдоль берега тянулись арбузные поля. Объемшие арбузами заболели дизентерией. Этот день окрестили Праздником святого Арбуза.

Видя, что солдаты страдают от поноса, Наполеон, проконсультировавшись с медиками, выпустил приказ: «Командиры проинструктируют своих солдат, что есть фрукты, которые они называют тыквами или арбузами, можно только в очень малых количествах, если они не приготовлены. Только после приготовления они становятся здоровыми и питательными».

Разведчики Бонапарта, которым помогали арабские гиды, доложили о том, что Мурад-бей вышел из Каира с отрядом мамелюков численностью пять тысяч человек.

Наполеон сконцентрировал армию и провел общий смотр. Застучали барабаны, и главнокомандующий появился верхом на лошади перед строем пяти дивизий в сопровождении многочисленных офицеров штаба.

Кавалькада двигалась вдоль фронта, делая остановки. Бонапарт вызывал старших офицеров каждой дивизии, обращался к ним со словами приветствия и воодушевлял воинов. Офицеры должны были передавать его слова всем солдатам.

Бонапарт уделил особое внимание бывшим солдатам армии Рейна.

— Воины, — сказал полководец, — ваши страдания скоро закончатся. — Возможно, уже завтра вы встретитесь с армией мамелюков, и ветераны рейнской армии одержат триумфальную победу над варварами! Перед нами — армии, которые мы должны победить, и пустыни, которые мы должны пересечь. Но после всего этого мы войдем в Каир, где найдем столько еды, сколько захотим!

Слова главнокомандующего вызвали общий подъем. Командиры говорили солдатам, что скоро армия пойдет в бой. Сказав лишь несколько слов, Бонапарт убедил подавляющее большинство воинов в том, что у армии есть великая цель и молодой победоносный генерал ведет ее к новому триумфу.

Наполеон общался и с небольшими группами солдат. Он повторял свою речь на все лады, импровизировал, и не всегда удачно. И не все им восторгались.

— Хорошо, генерал, — ответил один солдат, — вы собираетесь вести нас в Индию?

Бонапарт был разочарован.

— Я бы не отправился в подобное путешествие с такими солдатами, как вы, — сказал он.

Главнокомандующий получил новые данные разведки: Мурад-бей готов принять бой у Шубрахита. Бонапарт немедленно дал приказ Дезэ двигаться вдоль западного берега Нила, построив дивизию в каре (квадрат).

Дезэ попытался отрезать группе мамелюков возможный путь отступления и направил для этого не-



большой кавалерийский отряд под командованием Мюрата. Мамелюки распознали угрозу и спешили ретироваться.

Мюрат, жаждавший славы, был расстроен. Он все еще кипел после стычки с Бонапартом и рвался в бой. На его шпаге было выгравировано: «Слава и женщины». Пока он не имел в Египте ни того ни другого.

Видя, что мамелюки уходят, Мюрат галопом бросился им вслед и заставил врагов обратить на себя внимание, крича во всю глотку:

— Суки, чертовы трусы, стоять!!! Ну, кто из вас готов скрестить со мной шпаги? А? Кому из вас, сволочи, первому выпустить кишки?

Мамелюки остановились в нерешительности. Они не понимали французского языка, но догадались, в чем заключалось предложение Мюрата. Мамелюки не имели традиции устраивать поединки представителей двух враждебных сторон перед общим строем. К тому же они опасались возможной ловушки. Постояв на месте еще несколько мгновений, они игнорировали выпады Мюрата и ускакали.

Основные силы Наполеона двинулись вслед за авангардом Дезэ. Параллельно армии плыла флотилия Перрэ, состоявшая из шестидесяти судов: двадцать пять из них должны были оберегать армию от возможных нападений флотилии мамелюков, а другие тридцать пять готовы были перебросить армию на другой берег, если бы в том возникла необходимость.

Главкомандующий решил переместить учений (Монжа, Бертолле и других), своего секретаря Бурьенна, жен офицеров и других женщин, а также ослов на корабли Нильской флотилии. Туда же были направлены раненые и больные солдаты.

Француженкам запрещено было присоединяться к экспедиции, но женщины пробирались на корабли инкогнито, часто переодевшись в военную форму. Теперь они больше не прятались.

Марш вдоль Нила стал менее трудным, чем переход через пустыню, хотя войска не следовали вдоль линии реки все время.

«Как поведут себя мамелюки?» — думал Бонапарт. Готовясь к экспедиции, он читал «Путешествие по Египту и Сирии» Вольнея, где говорилось о хаотичной тактике мамелюков. Они дрались небольшими группами, причем бой представлял собой совокупность отдельных поединков. Часто исход сражения решался гибелью двух или трех всадников.

Но как они поведут себя, столкнувшись с дисциплинированным войском? Так или иначе, Бонапарт решил построить всю армию в дивизионные каре. Каждое каре — это шесть цепочек солдат в форме квадратов. Артиллерия располагалась по углам каре.

Наполеон дал людям возможность немного подремать. На рассвете 13 июля оркестры заиграли «Марсельезу», и войска заняли позиции.

«К оружию, граждане, вас батальон зовет вперед!»

Кавалерийский офицер Девернуа посмотрел в бинокль и, возможно, раньше всех увидел войско Мурад-бея: «Это было великолепно. Картина была такая: пустыня под голубыми небесами, перед нами эти прекрасные арабские кони с роскошной упряжью, фыркающие, ржущие, слегка и грациозно встающие на дыбы под их воинственными седоками, вооруженными блестящим оружием, инкрустированным золотом и бриллиантами. Они были одеты в блестящие костюмы разных цветов, некоторые носили тюрбаны, украшенные перьями цапли, другие — золотые шлемы; вооружены саблями, пиками, булавами, копьями, ружьями, топорами и кинжалами; каждый имел три дуствольных пистолета, причем два из них были привязаны веревкой к седлу, а третий засунут за ремень на левой стороне живота».

Французы были поражены, но не напуганы. Многие из них, глядя на это великолепие, стали думать о том, что хорошо бы пожить.

Мамелюки вытянулись в одну линию, которая начиналась у реки и огибала французские каре. У Мурад-бея была и пехота. Видны были группы бедуинов.

Каждый мамелюк имел обслугу. Обыкновенно он производил выстрел из пистолета, перекидывал его через плечо, и оруженосец снова заряжал пистолет.

Мурад-бей со своей охраной находился в окружении беев и их приближенных. Здесь присутствовали преданные ему лидеры, владения которых находились в районах Верхнего Египта, но были и подконтрольные Ибрагиму и вполне независимые беи, которые присоединили свои дружины к большому войску перед лицом общей угрозы. Мурад-бей обнажил саблю, острую, как бритва, и приказал готовиться к атаке:

— Как я и говорил, у них почти нет кавалерии!

Стоя на холме, он внимательно осматривал поле боя, пытаясь понять планы врага и смысл тактики, выбранной французами. Каре дивизий Дезэ, Бона, Виалья, Ренье и Дюгуга оставались неподвижными. Мурад-бей решил начать с разведки боем.

Силы противников были примерно равны. После часа напряженного ожидания французы услышали крики: мамелюки бросились в атаку, но не всей армией. Они беспорядочно носились взад-вперед в промежутках между каре, будто выискивая слабые места в защитных порядках неприятеля и одновременно пытаясь запугать французов. Затем они возвращались на исходные позиции.

Когда мамелюки оказывались в пределах досягаемости для французских стрелков, те открывали огонь, и несколько храбрецов пали наземь.

Среди этой стрельбы все вдруг услышали звуки пушечных выстрелов. Появились корабли капитана Перрэ, который повел их навстречу вражеской флотилии, кажется, не замечая укрытых на берегу батарей мамелюков.

Бонапарт с беспокойством наблюдал за этим движением, зная о том, что на судах находятся все гражданские лица. Но пока ему не оставалось ничего иного, кроме как издали следить за происходившим.

— Во имя Аллаха! — крикнул Мурад-бей. — Кавалерия, вперед! Рубите их головы!

Массы мамелюков со страшными криками ринулись в атаку. Они стреляли из пистолетов, а самые отчаянные, обнажив кривые сабли (симитары), устремлялись прямо в гущу врага. Их наездническое мастерство было превосходным, и среди них были такие, которые умудрялись в каждую руку взять по сабле, при этом зажав поводья зубами.

Французы встретили их ядрами, картечью и залпами из ружей. Напрасно мужественные всадники кружились на местности и выискивали слабые места во вражеской обороне — их натиск был отбит. Три сотни тел мамелюков лежали на песке, истекая кровью.

Мурад-бей был обескуражен. Он совещался с подчиненными, пытаясь найти правильное решение в сложившейся ситуации. Вдруг все вздрогнуло от страшного взрыва, произошедшего на реке, — там, где сошлись две флотилии.

Несколько мгновений спустя мамелюкское войско бросилось наутек, оставив врагу девять орудий, расположенных на берегу реки.

— Черт побери! — воскликнул Бонапарт. — Нам их не догнать! У меня только двести всадников, и я не буду ими рисковать!

— Генерал, мы их добьем! — громко заявил Мюрат. — Дайте мне сотню человек!

— Мюрат, я сказал «нет»! Еще ничего не решено. Да, они сбежали, но их армия почти не тронута. Главный бой впереди.

Но что за взрыв прогремел на реке?

Флотилия Перрэ угодила в засаду. Капитан, не видя своей армии, не мог определить, впереди она или сзади, обогнал он ее или нет. Дул сильный северный ветер, и Перрэ на всех парусах приближался к судам, ведомым греком Николой.

Никола имел огромное преимущество перед Перрэ — он отлично знал все особенности подводного рельефа реки. Пять судов мамелюкской флотилии были просто великолепны. Они имели тяжелые пушки, а их экипажи были составлены из опытных

греческих, египетских и нубийских моряков. Командир спрятал на берегу Нила свою артиллерию, которой отводил большую роль.

Перрэ стоял на капитанском мостике шебеки *Le Cerf* («Олень»). При нем находились Монж, Бертолле и Бурьенн. Вдруг на флагманский корабль, другие суда и галеры французов обрушился шквал огня.

Звуки выстрелов привлекли внимание жителей деревни Шубрахит, которые сбежали на помощь Николе и его морякам. Мамелюки, арабы и крестьяне бешено орали, спуская на воду плавательные средства, до этого стоявшие на берегу.

Перрэ понимал, что оказался между нескольких огней — его корабли стали мишенями корабельных орудий мамелюков, артиллерии, спрятанной в месте пересечения реки и одного из каналов, вооруженных людей, находившихся в лодках, неумолимо приближавшихся и готовых пойти на abordаж, и стоявших на берегу арабов и бедуинов.

Вскоре несколько французских судов были захвачены. Враги набросились на членов экипажей, убивали моряков, отрезали головы и демонстрировали эти страшные трофеи, поднимая их в воздух.

Река наполнилась мертвыми телами и людьми, пытавшимися спастись. Моряки «Оленя» и других судов помогали пловцам подняться на борт.

— Оружие, капитан, дайте нам оружие! — воскликнул Монж, обращаясь к Перрэ.

— Монж, я прошу вас, в укрытие! Поверьте мне, мы исполним свой долг! — отвечал Перрэ.

— Вы говорите это мне, бывшему морскому министру Французской Республики? — возмутился Монж. — Где ружья?

Перрэ уступил и приказал выдать оружие всем желающим. Наиболее мужественные из членов Комиссии по наукам и искусствам получили мушкетеры и попросили обучить их стрельбе. Вскоре ученые и инженеры производили первые в их жизни выстрелы.

Спасовал лишь Бертолле, напуганный страшными зрелищами мамелюкских зверств. Коллеги не поверили собственным глазам, когда увидели, как он набивает карманы своих одежд камнями.

— Что вы делаете, Бертолле? — крикнул Монж, лицо которого было испачкано сажей.

— Если мы попадем в плен, я не хочу, чтобы мою голову отрезали мамелюки. Лучше уж я утону, — объяснил Бертолле свое странное поведение.

— Как вы можете так говорить, мой друг, как вы можете так говорить? — возмутился Монж. — Победа близка! Скоро генерал сокрушит врагов на суше и поможет нам! Ну же, ну, смотрите!

Он стал учить великого химика обращению с мушкетом, методично объясняя и медленно пока-



зывая все манипуляции, которые нужно проводить с патроном и ружейными механизмами.

— Запомнили? Еще раз! — продолжал великий учитель, повторяя те же операции.

Бертолле постепенно успокоился и присоединился к своим товарищам, которых нужда заставила освоить военное дело.

На одном из судов французского конвоя находились несколько сотен кавалеристов без лошадей. Зато у них были сабли, которые нашли применение. Враги, пошедшие на abordаж, получили жесткий отпор.

Перрэ, раненный в левую руку, командовал операцией. В одиннадцать часов утра он сказал Буренну:

— Плохо дело. Турки нанесли нам больше ущерба, чем мы им. Наши боеприпасы заканчиваются.

Однако примерно час спустя французская корабельная артиллерия нанесла сокрушительный удар по врагу. Один из снарядов угодил прямо в арсенал, расположенный на борту турецкого флагманского корабля.

Взрыв страшной силы полностью уничтожил судно. Свидетели увидели душераздирающее зрелище — тела членов экипажа были подброшены в воздух и разлетелись в разные стороны.

Стоявшие на берегу кинулись бежать, находившиеся на воде устремились к берегу, а Никола командовал общее отступление.

Бой на реке продолжался три часа и закончился победой французов. Когда прогремел взрыв и Мурад-бей ретировался, Бонапарт поспешил к месту речной баталии. Он обнял своих друзей, выдержавших суровые и неожиданные испытания, и произвел капитана Перрэ в контр-адмиралы.

«Имею ли я право подвергать таким опасностям ученых, поэтов, художников? — думал Бонапарт. — Я обещал этим людям надежную защиту, но сегодня был скован в своих действиях. К чему все это могло привести? И к чему еще приведет?»

Он вспомнил, как подбирали кандидатов в экспедицию. Этим занимались Монж, Бертолле, Каффарелли и Антуан Арно, поэт и драматург. Большинство ученых и деятелей культуры не надо было долго уговаривать. Выступив в Институте со страстной и проникновенной речью, Бонапарт пробудил в людях неумное желание участвовать в невиданном проекте.

И вот они здесь. Многие из них наверняка разочарованы и напуганы. Бонапарт воспроизводил в памяти события марта и апреля и вспомнил, как Арно отговаривал его от заморского похода.

— Этот план может провалиться, — сказал Арно. — Мы попадем в мир, о котором знаем лишь

по книгам. Нужно остановиться, пока не поздно, и не совершать насилия над природой. Никакой ум, никакой гений, никакая энергия не заставят варваров признать наше первенство. Китайцам и арабам не нужны чужие идеи. Франция в хаосе. Армия нужна для защиты отечества. А интеллигенты, которых мы вербуем, толком еще не поняли, в чем участвуют.

К тому времени приготовления к экспедиции подходили к концу. Отменить поход было можно, но это стало бы концом карьеры Бонапарта.

Он вспомнил, как тогда же встретил членов Директории на заседании Института. Они были открыто враждебны к нему, всем видом показывая, что он творит нечто антиобщественное.

Нет, он не мог ничего отменить! Жребий был брошен, и судьба вела его через моря и пески.

Он дошел до Шубрахита, отбросил Мурад-бея и расчистил дорогу на Каир. Еще несколько дней, и он докажет всем критикам свою правоту.

Когда Мурад-бей вернулся к Каиру после неудачного дела у Шубрахита, Ибрагим-бей уже собрал значительные силы на восточном берегу Нила, в районе Булака, пригорода Каира.

Несколько орудий, около тысячи мамелюков вместе с их обслугой, многочисленная регулярная пехота, ополченцы, прошедшие военную подготовку, а также городская и деревенская беднота, вооруженная чем попало, в том числе дубинами, — таково было войско Ибрагим-бея.

Мурад-бей приказал Николе блокировать Нил в районе деревни Эмбаба, расположенной чуть ниже по течению, чем Булак. Там же он окопался на суше и расставил артиллерию вокруг Эмбабы.

Когда Бонапарт узнал о том, что силы врага разделены, он ликовав:

— Главнокомандующий мамелюков допускает крупные ошибки. Он должен был переправиться на восточный берег, тем самым вынудив и меня делать то же самое. А это непростое предприятие. Огонь с их кораблей и удары их кавалерии могли бы сильно затруднить нам задачу. Теперь же они у нас в руках!

Мурад-бей решил дать бой на западном берегу Нила. Его силы пополнились мамелюками, пешими янычарами турецкого гарнизона, арабами, каирскими ополченцами, бедуинами, а также многими знатными лицами из Каира, которые встали на защиту своей столицы. Здесь были богатые шейхи и ага¹ с их слугами, старые и молодые.

На восточном берегу собирались жители Каира, мужчины, женщины и дети, пришедшие по-

¹ Ага — военачальник янычар.

смотреть на бой против неверных. Играли флейты и тамбурины. Царила приподнятая атмосфера праздника. Некоторые горожане проводили время в неистовых молитвах за победу. Все боялись думать о том, что будет, если пришельцы войдут в город.

Силы Мурад-бея расположились в линию, примерно перпендикулярную Нилу, в районе Эмбабы. И название битвы, до начала которой оставались считанные часы, должно быть таким же — битва у Эмбабы.

Когда же 19 июля Бонапарт впервые увидел великие пирамиды, которые показались ему блестящими скалами, он уже знал, под каким именем эта битва войдет в историю. Генералы и офицеры, имевшие бинокли, подолгу разглядывали тысячелетние сооружения.

Вечером 20 июля Бонапарт сконцентрировал дивизии в районе Омм-Динара, где дал людям отдохнуть несколько часов.

В час ночи бой барабанов поднял всех на ноги, в два часа армия тронулась в путь. До Каира оставался один переход.

Когда солнце осветило лучами бескрайнюю равнину, солдаты увидели бесподобное зрелище — огромную массу мечетей и минаретов Каира. зубчатые стены Каирской цитадели, построенной во времена великого воина Саладина, доминировали над всеми остальными зданиями. Перед французами лежал огромный город — не такой, как Александрия или Даманхур.

Тысячи солдат издали дружные крики восторга — до цели было рукой подать! Эмбаба была у них слева, а пирамиды справа.

Получив короткую передышку в два часа дня, во время которой солдаты не могли избежать искушения поест арбузов, солдаты Дезэ, Ренье, Дюгуа, Виалы и Бона медленно пошли вперед. Правофланговая дивизия Дезэ выдвинулась дальше других. Видя маневры французов, Мурад-бей решил атаковать их на марше.

Жара достигла предела, в небе висели редкие облака. Бонапарт, стоявший со своим штабом в центре каре генерала Дюгуа, был уверен в победе и полон возвышенных чувств. Единственное, чего он опасался, так это излишней усталости людей, которые были на ногах уже половину суток.

— Мы начинаем битву, которая войдет в историю человечества, — заговорил он, обращаясь к своему окружению. — Вы будете драться с угнетателями Египта.

Возвысив голос и стараясь, чтобы его услышало как можно большее число людей, он воскликнул, показывая обеими руками в сторону пирамид:

— Солдаты, вы исполните свой долг! Подумайте о том, что сто поколений смотрят на вас с высоты этих памятников!

Пусть солдаты не знали, что это за памятники, но чувство сопричастности чему-то грандиозному наполнило их сердца.

Тактически Бонапарт действовал так же, как при Шубрахите. Но он хорошо понимал, что у ворот Каира враг будет действовать иначе, чем несколько дней назад.

«Только бы не смешали ряды», — думал он.

Часы показывали три, а мамелюки все еще ничего не предприняли. Между тем французы устали, поедание арбузов у многих вызвало понос. Офтальмия, болезнь глаз, также начала распространяться среди солдат.

После сказанных высоких слов многим хотелось пойти в атаку, но Бонапарт продолжал стоять на месте. Люди теряли терпение и требовали действий.

Полковник Ложье и Мюрат устремились на разведку. Они приблизились к лагерю мамелюков на расстояние пушечного выстрела и внимательно разглядывали их палатки. Во вражеском лагере наблюдалось движение, мамелюки седлали лошадей, готовясь к битве.

Мурад-бей вышел из ярко окрашенной палатки, вскочил на великолепного коня и поскакал вдоль линии воинов, приветствуя по очереди каждого бея и вселяя храбрость в сердца защитников Каира.

— Это война за наследие Египта, — сказал Мурад-бей. — Это война всех мусульман против неверных, против завоевателей, которые скоро будут изгнаны с нашей земли!

Между тем Дезэ продолжал движение, угрожая отрезать мамелюков в том случае, если бы они пошли в атаку и увлеклись ею.

— Во имя Аллаха! — крикнул Мурад-бей и бросил несколько тысяч кавалеристов против Дезэ, солдаты которого пробирались сквозь заросли пальм, пустынных трав и сухие оросительные каналы. Этими мамелюками командовал один из храбрейших беев.

Воины, формировавшие внешние ряды дивизионного каре, едва выбрались из канавы, когда увидели несущихся на них мамелюков. Отставшие солдаты еще поднимались наверх, когда первые уже открыли огонь по врагу. В ответ мамелюки начали палить из ружей и пистолетов, внося сумятицу в первые ряды французских солдат, но следующие ряды устояли.

Строго по приказу французы произвели выстрелы из мушкетов, сразив нескольких всадников и вызвав панику.

Мамелюки действовали храбро, но непоследовательно. Не добившись никакого успеха против



Дезе и видя впереди свалку, беспорядок и лошадей, оставшихся без всадников, свежие мамелюки, обнажив сабли, повернули направо и атаковали каре генерала Ренье.

Строгий швейцарец приказал открыть огонь, и многие кони лишились седоков. Мамелюки, которых не взяли пули, врезались в строй французов, скрещивая сабли со штыками бойцов, стоявших в первых рядах. Коня и люди валились на солдат, сохранявших строй. Шелковые одежды мамелюков горели. Раненые, они продолжали орудовать саблями направо и налево. Их храбрость и самопожертвование были беспредельными, но их губило полное отсутствие тактики и способности действовать коллективно.

Не нанеся особого урона Ренье, мамелюки поскакали в направлении дивизии Дюгуа, где находился Наполеон. При этом часть из них уже отступала в направлении пирамид.

Оценивая меняющуюся ситуацию и понимая, что левый фланг мамелюков разбит, Бонапарт приказал Бону, позиция которого упиралась в реку, атаковать окопавшегося в Эмбабе неприятеля. Дивизия Виалья также двинулась вперед, прикрывая фланг Бона.

Тогда Мурад-бей, у которого все еще сохранились значительные нетронутые силы, атаковал правым флангом. Свежая кавалерия бросилась вперед. Мамелюки стреляли из огнестрельного оружия и размахивали кривыми саблями над своими головами. Их страшные крики были слышны издалека, сливаясь с криками зрителей на восточном берегу.

Наступавшие французские дивизии сомкнули строй, и командиры повторили приказ Бонапарта: «Ослов и ученых в середину!» Поскольку ученых называли ослиами, то приказ был сокращен: «Ослов в середину!»

Атака мамелюков против дивизии Бона также захлебнулась. Всадники увидели, что Виаль частично заблокировал им отход, и многие из них стали искать убежище в деревне Эмбаба.

Ибрагим-бей стоял на противоположном берегу Нила вместе с мамелюками, ополченцами и огромной толпой зрителей. Видя, что французы оказались вблизи Эмбабы, он приказал произвести залпы из орудий, пытаясь помешать наступлению врага.

Стоявшие на восточном берегу постепенно осознали приближение катастрофы и разразились криками и причитаниями: «О Боже, Боже!»

— Что будем делать? — крикнул Ибрагим-бей, обращаясь к своим людям. Его голос был едва слышен среди бешеных воплей и криков.

— Туда, нам надо туда! — ответил один из эмиров, показывая на другой берег реки.

— Мы должны помочь Мурад-бею! — подхватили другие.

Только теперь египтяне начали искать плавательные средства, но нашли лишь несколько гребных шлюпок. Тем не менее солдаты сели в них и устремились на другой берег.

В это время французы отбили последние спонтанные атаки мамелюков и начали штурмовать укрепления Эмбабы. Пехота янычар и артиллеристы пытались удерживать позиции. Группы мамелюков продолжали контрвыпады, поддерживаемые огнем артиллерии с восточного берега.

Защитники Эмбабы попали в западню и оказались отрезанными от основной армии. Они бросились к реке и поплыли. Французы расстреливали их, и почти никто из пловцов не добрался до противоположного берега. Мамелюки, ополченцы, янычары бросались в воду и находили в ней смерть.

Подул сильный ветер, принесший песок пустыни. Он поднял волны, что еще более усугубило положение тех, кто оказался в воде. Песок попадал людям в лицо, и стало невозможно открыть глаза.

Зрители на восточном берегу рыдали и шлепали себя по лицу, приговаривая: «Что за дьявол погубил нас! Теперь мы пленники французов». Понимая, что надеяться больше не на что, они потоком устремились из Эмбабы в Каир.

Семь или восемь тысяч мамелюков покинули поле боя и поскакали в свои поместья в Верхнем Египте. Их полководец, сопровождаемый верными беями, на короткое время вошел в свой дворец в Гизе.

Его встретила Ситти-Нафиза. Победенный вождь сказал супруге:

— Я пошел на войну, я вернулся с войны. Я проиграл битву, но это не конец. У нас много людей. Сейчас они бежали, но я снова соберу их.

— Я поеду с тобой, — сказала Ситти-Нафиза.

— Нет, Ситти-Нафиза, ты не поедешь. Кочевая жизнь не для тебя. Ты привыкла к роскоши. И ты должна быть здесь. Ты — моя любимая жена, мои глаза и уши. Смотри, что будут делать французы. Однажды мы их изгоним отсюда. Я могу свободно перемещаться по стране, и никто меня не поймает. Я в своей стихии, а у французов скоро земля будет гореть под ногами. Но мы не победим их скоро, а потому надо быть терпеливыми. Иногда я буду приближаться к тебе, и ты подашь мне сигналы. Я научу тебя, как подавать сигналы с помощью зеркал. У тебя ведь много зеркал, Ситти-Нафиза. Прости, теперь я должен сделать распоряжения.

Мурад-бей обнял плачущую жену и вернулся к своим людям, которые ждали его в комнате для гостей. Он дал приказ сжечь флотилию Николы, свое детище, вместе с другими судами, чтобы помешать французам переправиться через реку.

Корабли пылали и взрывались. Жители Каира наблюдали страшное зрелище — огромные языки пламени и клубы дыма поднимались над водой, освещая полуразрушенные дома городских окраин.

На закате Мурад-бей покинул дом и устремился вверх по Нилу. А на другом берегу реки Ибрагим-бей галопом скакал в направлении Каира, обгоняя горожан, возвращавшихся в свои дома. Многие из них решили бежать, чтобы не стать пленниками завоевателей.

Ибрагим-бей нашел пашу Абу Бакра и увлек его за собой в направлении Синая. Тем самым он разру-

шил планы Бонапарта в отношении турецкого паши. Победитель мамелюков думал возвысить Абу Бакра и дать ему гораздо большие полномочия, чем тот имел при правлении беев.

Это помогло бы укрепить дружеские отношения с Портой, на что Бонапарт очень надеялся. Вопрос, который Наполеон постоянно себе задавал: «Талейран уже в Константинополе?»

Неизвестность тяготила его.

Продолжение следует.



Мэлор СТУРУА



Мэлор Георгиевич Стуруа родился 10 апреля 1928 года в городе Тбилиси (тогда — Тифлисе). Отец его, профессиональный революционер, придумал ему революционное имя Мэлор, которое расшифровывали как «Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская Революция».

Учился М. Стуруа в Первой средней школе, где когда-то делали первые шаги многие великие грузинские поэты во главе с Николозом Бараташвили. Одновременно он ходил в литературный кружок Тбилисского дворца пионеров, где в первой половине 40-х годов сложилась небольшая группа юных школьников и школьниц, смело именовавшая себя «Могучей кучкой». Впоследствии они оправдали это название. Почти все стали выдающимися поэтами, драматургами, критиками, кинематографистами и философами.

Школу М. Стуруа окончил в 1944 году и в том же году поступил на международный факультет МГУ, который впоследствии, отпочковавшись, стал Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО). Институт (юридический факультет) М. Стуруа окончил в 1949 году. Он получил диплом с отличием и первое место в своем выпуске, но дипломатом тем не менее не стал. Подвели анкетные данные. К тому времени его отца сняли со всех должностей по обвинению «в тоске по троцкизму» (он написал мемуары, в которых реабилитировал репрессированных кавказских коммунистов).

Не став дипломатом, М. Стуруа «переквалифицировался» в журналисты, поступив в феврале 1950 года в «Известия» литсотрудником иностранного отдела. «Тоска по троцкизму» и здесь чуть было не погубила его журналистскую карьеру, но за него поручились А. Микоян и привлеченный им... И. Сталин! Последний напомнил главному редактору «Известий» К. Губину «положение партии» о том, что дети за родителей не отвечают. Вождь был не только великим тираном, но и великим лицемером.

С тех пор и по сей день М. Стуруа работает в «Известиях». Уже 62-й год. По стажу он самый старый известинец за все время существования этой газеты. М. Стуруа был собственным корреспондентом «Известий» в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне. Его перу принадлежат более тридцати книг. Он лауреат премий имени Воровского и Алексея Толстого. Имеет ряд наград Советского союза и России.

С 1989 по 2007 год М. Стуруа работал в США главным научным сотрудником Фонда Карнеги в Вашингтоне, главным научным сотрудником политической Школы Кеннеди Гарвардского университета и профессором Института общественных наук Хэмфри в Миннеаполисе. Он единственный из российских политологов, который сделал такой «хет-трик», поработав в трех ведущих мозговых центрах США.

Все эти годы М. Стуруа являлся и является собкором «Известий» и «Московского комсомольца» в США.

Стихи М. Стуруа, представленные в этом номере «Юности», — его первые опубликованные русские стихи.

О ПОЭЗИИ

Написал этот заголовок и тут же испугался. О поэзии написано больше, чем самой поэзии. Захлебнешься. Впрочем, можно захлебнуться и той поэзией, которая только в тебе. Я находился в поэтической стихии с первого дня рождения, ибо родился в Грузии, где все поэты. А первое стихотворение написал в семилетнем возрасте. Разумеется, любовное. Посвящено было оно четырехлетней Веке с большими черными глазами, как на портретах уличных художников. В переводе на русский язык стихотворение звучало так:

Века, полюби меня!
Иначе я направлю на тебя ружье,
И никто не сможет защитить тебя
Ни спереди, ни сзади.

Нетрудно убедиться, что это четверостишие — эмбрион всей мировой поэзии, написанной и до него, и после. Все остальное — вариации на тему. По сути поэзия как раз в вариациях. Моей черноокой Веке начнет угрожать и Байрон, и строчкогон. (Угрозы первого страшнее. В них дышит подлинная поэзия.)

В период созидания Ветхого Завета огнестрельного оружия еще не было, и я не знаю, чем собирался сразиться с Богом хромой, как Байрон, Иаков. По всей вероятности — словом, которое было сначала. (Все мы, тбилисские мальчишки, писавшие стихи, прихрамывали и отпускали баки, подражая Байрону.)

В искусстве нет официальной табели о рангах, но я верю, что на первом месте стоит поэзия. Слово прочнее мрамора и полнее любого звука. В нем больше красок, чем на палитре художника. Слово никому не позволяет шутить шутки с собой. Икона модернизма американский художник Поллак брызгал на полотно кистью с красками. И у него получалось. Если даже Пушкин брызнет на бумагу пером с чернилами, у него ничего не получится.

Из всех языков мира наиболее приспособлены для поэзии русский и грузинский. Отчасти французский. Такой гибкости, такого богатого арсенала поэтических средств в других языках просто нет. В первую очередь я имею в виду рифму. Стихотворения без рифмы — как Венера без рук, как Ника Самофракийская без головы. Бродский где-то пишет, как он испугался, когда не смог подобрать рифму к какому-то слову. Он свалил это на нехватку русской речевой стихии в Америке. Но я думаю, причина была в ином. Он заболел опасной страстью стать Оденем и

Лоуренсом, которые были вершинами англоязычной поэзии XX века. Эта страсть бежать, задрать штаны, за Оденем помешала Бродскому стать подлинно великим русским поэтом. Он вместо Бога бросил вызов Одену, писавшему свободным стихом. Собственно, несвободного стиха не существует в природе. Но русская поэзия прорывается к свободе через рифму. Без рифмы она нага, но не истинна.

Еще гибче в этом отношении современный грузинский поэтический язык, созданный Галактионом Табидзе, который был для нас Пушкиным и Блоком в одном лице. Он был первым поэтом, которому я стал подражать. (Собственно ему подражали все грузины, начинавшие писать стихи.) Я доподражался до того, что стал писать стихи с пятисложными (!) рифмами. Меня так и стали называть. Даже на улицах Тбилиси. («Смотри, вот идет пятисложная рифма!») В четырнадцать лет, не напечатав ни строки, я стал «отцом» формализма в грузинской поэзии.

Мне повезло. Я начал постигать русскую поэзию, когда писал стихи на грузинском языке или вообще не писал. Таким образом, испытал влияние русских поэтов, я успел «переварить» его, когда стал писать стихи по-русски. На «переваривание» ушло ни много ни мало шестьдесят лет! Большая и лучшая часть моей русской поэзии написана после того, как мне исполнилось восемьдесят лет. Да, да, восемьдесят.

Динамика влияния выглядела так. Сначала Маяковский и Хлебников, затем Заболоцкий и Пастернак и, наконец, Мандельштам. (А самым первым моим увлечением был Блок.) К этим именам можно добавить еще раннего Тихонова. Это титаны, и против них не выстоит никакая другая шестерка поэтов европейской поэзии, включая французскую, английскую, итальянскую и т. д. Не выстоят даже «сборные» Европы и мира.

С Пастернаком меня связывали кулинарные отношения. В прямом смысле этого слова. Я ехал на Курский вокзал встречать поезд Тбилиси — Москва. У одного из проводников забирал снедь, которую посылали Пастернаку семьи грузинских поэтов-«голуборожцев», окончивших жизнь в столичных застенках. Их в свое время переводил влюбленный в Грузию Пастернак. Снедь была с грузинским акцентом: хачапури, лобио, жареные цыплята, а иногда и молочный поросенок, купаты, зелень, фрукты и, естественно, вино, как правило, в бочонке. Затем я вез эти дары благословенной Грузии в Переделкино, на дачу Пастернака. В Тбили-



си знали, что поэт бедствует, и «подкармливали» его. Никаких разговоров о поэзии я с Пастернаком не вел и тем более не читал ему свои грузинские стихи, как Вознесенский — русские. (Кстати, я ни разу не видел Андрея у Пастернака, хотя он говорил, что днюет и ночует на его даче.) Я только молча смотрел на своего идола и жадно ловил каждое его слово, к сожалению, не о поэзии, а о грузинском застолье. Поскольку денег за оказанные курьерские услуги я не брал, Пастернак иногда приглашал меня разделить с ним привезенную мной с Курского вокзала трапезу.

Когда Пастернак умер, я уже работал в «Известиях». Помню, вызывает меня главный редактор, им тогда был зять Хрущева Аджубей, и предупреждает, чтобы я не шел на похороны поэта, поскольку там будут штатские кагэбэшники с кино- и фотоаппаратами. Если бы даже я не собирался ехать в Переделкино на похороны Пастернака, то после такого предупреждения просто нельзя было не поехать.

Власть традиционно боится поэтов больше, чем художников, скульпторов или композиторов. Конечно, и тем сладко не приходится. Одних не выставляют, других не исполняют. Но арестовывали и расстрели-

вали в основном художников слова. Или сживали со света их же руками. Но, как говорил, ерничая с умыслом, Маяковский, «поэзия — пресволочнейшая штуковина: существует — и ни в зуб ногой». У Маяковского, знавшего силу слов и слов набат, «подползают поезда лизать поэзии мозолистые руки». У Пастернака поэзия волосаста, как торс у Бетховена. Тонкая лирика в действительности могуча, как братья Кличко, вместе взятые.

Геракл никак не мог одолеть Антея. Когда он припечатывал Антея к земле, мать последнего — богиня земли Гея вливала в него новые силы. Разгадав это, Геракл поднял Антея в воздух и задушил. С поэзией у него этот номер не прошел бы. Поэзия, поднятая им в воздух, набралась бы новых сил уже от богинь неба. Поэзия одинаково сильна и на земле, и на небе. Она и земная, и небесная. Поэтому вечная и непобедимая. Она человекобог или богочеловек. Ее распинают на кресте, но она в отличие от Христа не заставляет ждать тысячелетия своего второго пришествия. Поэзия является людям, когда без нее жить уже невозможно...

*Мэлор Стуруа
Миннеаполис, США
Апрель 2011 г.*

НАМ ВЕТРЫ НАВЫЛИ...

Нам ветры навывли,
Как видно, за выслугу лет —
И раны навывлет,
И дырки от бубликов вслед.

Но мы им прощали,
Считали — отечества дым.
Они ж без пощады
Гуляли по кудрям седым.
Да, мы их прощали,
Глотая отечества дым,
А он из пищали
Без промаха бил по своим.
Но мы не пищали,
Глотая отечества дым.

Мы лучше не стали,
Но если взводилась чека,
«Да здравствует Сталин!» —
Кричали в подвалах ЧК.

И дважды теряли
Мы веру за краткую жизнь —
Сначала Христову,
Затем — всем гуртом — в коммунизм.

И в век двадцать первый
Без веры на ощупь вошли.
В истерике нервы,
А мысли и страсти пошлы.

Хотели, как лучше,
А вышло раз в раз как всегда —
И тучи, и путчи,
И воздух с землей, и вода.

И баксом по Марксу,
И водкой по Богу мы бьем,
Кровавую кляксу
Бесстыдно оставив на нем...

Не сотвори ты революцию,
Не принимай за секс поллюцию,
Не принимай за жизнь иллюзию,
Январь за май
Не принимай!
А Русь по-тихому спивается
И предсказание сбывается,
Что нагадал нам Нострадамус.
И сердце кровью обливается.
Устало сердце, настрадалось.

Нам ветры навывли,
Как видно, за выслугу лет,
И раны навывлет,
И дырки от бубликов вслед.

А сами нарыли
В начале пути и в конце
И слезы на рыле,
И грезы на тонком лице.

«Все сами намыли, —
Корит нас старик Посейдон, —
И шило на мыло
Меняете вы по сей день!..»

Колесим по Руси,
Говорим шепотком.
Паруса парусин,
Как шатры шапито.



ЦЕПИ В НЕКРАСОВСКОМ ДОМЕ

Каждый раз, как приеду я в Питер,
Навещаю Некрасовский дом.
В нем России разбойничий ветер
И Гоморра ее, и Содом.

Вот над книгой расплакалась Саша,
Бурлаки вот идут бечевою,
Вот Россия — чужая и наша.
Без России здесь нет ничего.

И могуча она, и бессильна,
И богата она, и бедна,
То уродлива вдруг, то красива,
Ни покрышки не знает, ни дна.

Тень бросает по комнатам Разин,
Пугачев по паркету скользит.
Да, кровав русский бунт, безобразен,
Он помещикам смертью грозит.

Мне запомнились ломберный столик,
Полировка его и овал,
За которым поэт-трудоголик
Для России свободу ковал.

И лежат на столе без огранки,
Уходя, как оставил их бард,
«Современника» старые гранки
И колода крапленая карт.

Говорят, что Некрасов был шулер —
Денег требовал толстый журнал.
Для России, для матушки жулил,
Для нее он деньгу добывал.

Беспощадно восстания пламя,
Колесует его карусель.
Ненавидел он гнусное племя,
Что живет хорошо на Руси.

«Выдь на Волгу. Чей стон раздается...»
Он писал и глядел на Неву.
«Этот стон у нас песней зовется»
И тогда, и сейчас наяву.

А музей, как Голгофа и тернии
В перезвоне железных оков,

Что крестьяне какой-то губернии
Подарили творцу «Бурлаков».

Подарили за то, что свободу
Он печальной музой воспел,
Что принес себя в жертву народу
И, как факел, горел и сгорел.

Вижу я: принесли ему на дом,
По паркету лаптями следя...
И кошунство назвать экспонатом
Эти цепи, что бдят и следят...

У Кремля я сегодня в почете,
Мне дарует страна ордена,
Обо мне вы в газетах прочтете,
Как Россия в меня влюблена.

Пусть награды мой правнук нацепит,
Ну а я эту кучу наград
Променял бы, ликуя, на цепи,
Что в Некрасовском доме звенят.

На подарок железно бесценный
С восхищением тайным гляжу...
Но никто не подарит мне цепи,
Если сам на цепи я сию.

СПЕЦНАЗ

Манит Восток — кальян и чары,
Где следа нет «Аль-Каеды».
Лишь оперные янычары
Вас стерегут от суеты.

И как строка Омар Хаяма,
Сверкает капелька вина.
Как далека Саддама яма,
Но как близка его вина.

Дворцы горят, горят лачуги,
Опалены его усы.
А бородатые ашуги
Меняют сазы на «Узи».

И падает без вздоха наземь
Промчавшаяся на коне,
Изрешеченная спецназом
Есенинская Шаганэ.



Там пролегла глубоко рана,
Как Тигр, впадающий в Евфрат.
И смотрится сурой Корана
У древних вавилонских врат.

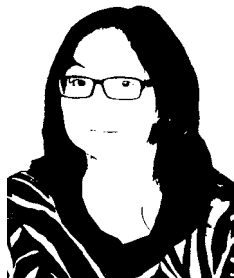
И смотрится она сурою,
Чтоб бодрствовала, не спала.
И смотрится куда суровой,
Чем сам Хамас и Хезболла.

«Калашниковых» тары-бары
Твердят: не стоит, перестань!
Уходят в горы талибаны
И из Афгана — в Пакистан.

И с ними вместе сам бен Ладен,
Закутанный в седой бурнус:
«Будь проклят мир и будь неладен.
Я не смирюсь, я вновь вернусь!»

И в бешенства лучах едины
Как «Отче наш» и намаз,
Суровые муджахедины
И пентагоновский спецназ.

Шуга НУРПЕИСОВА



Шуга Нурпеисова родилась в 1958 году в Казахстане (г. Алма-Ата). Окончила филологический факультет КазГУ. Работала редактором документальных фильмов на киностудии «Казахфильм», сотрудничала с газетами и журналами Алма-Аты и Москвы, занималась культурологической публицистикой. Приверженец взглядов основанной Рене Геноном традиционалистской школы, изучающей истоки мировых религий.

ПОВЕСТЬ

Рисунки Анны Дудяковой

Головки низкорослых алых роз в выгорающей, жухлой траве застенчивого намека на бугорок, похожи, скорее, не на садовый, а на полевой или вовсе степной цветок. Но все равно бугорок хорош: заурядная дикорастущая трава, вся насквозь прогретая позднеиюньским солнцем, видимо, источает негу лета. Все в крохотном скверике за черно-кружевной оградой перед институтом — и деревья, и кусты — растрепано под стать этим розам. Сквер вместе со зданием института успел обрести свойство давности и обветшалости — их словно бы вовсе не касалась рука человека. Их вполне можно представить и порождением фей. В спутанных грибах деревьев, в зарослях кустарников контуры учебной коробки совсем размываются, казенноучебная скука, витающая над ней, смягчается и улетучивается, и взгляд легко скользит к скульптурам, не столь давно установленным прямо в траве своеобразным и живописным обрамлением фонтана.

Скульптуры впечатляли своей необычностью. Одни сразу били в глаза: лучник (единственный, кто застыл, вернее, изготовился прыгнуть с постамента) с грацией дикой кошки, привстающий с корточек. Раскосые, настороженные глаза и вся беспокойная, динамичная поза дышат страстью и силой. Разведчик? Следопыт? Обернувшись через плечо, выходящего из травы задумчиво изучает крохотная сидящая фигурка в тюрбане. И кто поймал взгляд мальчика, уже не в силах вот так просто пройти мимо него, невольно гадая, из какой волшебной арабской сказки прибыл сей посланец и что совершенно явственно он только что вот ему сообщал.

Но магическое действие на этом еще и не думает кончаться. У этого театра свой четкий, прихотливо пульсирующий ритм. Еще плывет от резкой, внезапной атаки странных новоселов голова, но сюрпризы

все продолжают поступать. Тут, правда, черед ритмической заминки: пришла пора полюбоваться и на декорации, которые колоритной компании вздумалось с собою прихватить. Скамейкой-павлином, гостеприимно распутившим пышный хвост, — по обе стороны его так заманчиво предлагается посидеть. Скамейкой-котом: черные кованые голова, хвост и тягуче-надменно выгнутая спинка. Расширенно-застывшим глазом в упор пронизывающе смотрит кованый профиль. Но тут ритм снова заискрился, словно ожил: разворот по дорожке — и вновь учащается дыхание неподготовленного посетителя. Что за степная Венера, никого не замечая, опрокинулась в траву, загадочно отвернув в сторону лицо, черты которого любопытствующему приходится додумывать на свое усмотрение?

Юноша и девушка в национальных одеждах, чуть обернув друг к другу лица, сидят на коленях. Безупречно прямая посадка каменных торсов, скромно потупленные взоры, ровно сложенные на коленях руки. Именно в такой смиренно-торжественной статике принято изображать новобрачных на казахских свадьбах. В обеих этих фигурах ровным счетом ничего оригинального, все, напротив, вполне ожидаемо, канонично. Тут и впору, казалось бы, развеяться волшебному очарованию. Но в ситуации, что разом вдруг соткалась вокруг знакомого, привычного места, соткалась из решетки, что от немолкнущего рева мимо летящих моторов оградила атмосферу таинственной, многозначительной тишины, из изваяний, откровенно схожих с громким криком, что без фей тут явно никак не обошлось, а не слишком старательная подделка под респектабельную прозаичность — стихийный музей работ студентов местного художественно-графического факультета — лишь подогревает подозрение, что никто в этой



© Дудякова Анна, 2011 г.



компании, конечно же, не случаен и уж вовсе к обыденному касательству не имеет. А если кто-то упорно все же норовит укрыться за маской обыденности, тем больше подозрений навлекает на себя.

Нет сомнений, лучник возник здесь сам по себе, он вообще из породы одиночек. Или вот другая красавица, чьи руки навечно застыли вверху, стягивая платье, непроницаемой завесой укрывая лицо, на котором, возможно, мерцает дразнящая, насмешливая улыбка. Мальчик же (тянет отчего-то назвать его маленьким Муком), безусловно, прибыл сюда вместе с павлином. И кот, похоже, так и набивается в свиту девушки, раскинувшейся в траве этакой пантерой Багирой, томной и царственно отрешенной. Вот так совсем немного посидишь — и непостижимым образом проникаешься вдруг ощущением, что вовлечен в безмолвное, но чрезвычайно при этом интенсивное общение. Потому что уже непосредственно сквозь тебя самого проходят вибрации, тугим кольцом стянувшие пришельцев, и неподвижно застыли они лишь для самого беглого, поверхностного взгляда. Теплые блики солнца и осязаемо живая, вязко, словно мед, колышущаяся тень густого кокона листвы и травы, укутавшего миниатюрный сквер, похоже, расплавили каменную неподвижность лиц и фигур, сообщая им тончайшую и тем более одухотворенную внутреннюю жизнь.

Но есть и что-то еще помимо утешительной нормальности такого объяснения.

Пронзительная, потаенная работа, творящаяся вокруг, — нечто, исходящее разом ото всего, что заключено внутри сквера, — разбивает почти древесную скорлупу, одевшую сердца, и сквозь нарощую шерсть пробивается-таки к ним. И в токах высокого напряжения на миг сердца обретают прежнюю способность видеть, которую совсем уже зачем-то свели к затертой, приевшейся метафоре. Сквер шутит, играет иной раз с посетителем. Кому-то игры эти бьют в голову грубо и прямо, как молот. До звона в ушах, до звездочек и кругов перед глазами. До мозгов всмятку, полного обалдения. А все-таки стебно и прикольно, особенно когда после, вздохнув, делишься со своей компанией пережитыми глюками, подбивая тех, кто не хаживал пока в эту зону, пройтись, испытать острый драйв на собственной шкуре. Кому-то — интригуяще, как крутые горки и виражи для томящегося скукой и напрасным ожиданием интеллекта, который растолкали немилосердно да так и не удосужились добудить до конца. И эта еле тлеющая, наивная и трогательная искорка, силясь причаститься чему-то неведомому, но безусловно грандиозному, ярче вспыхивает на миг. Так провинциал благоговейно, чуть не на цыпочках, обходит наделавший шума заезжий экспонат, когда от из-

бытка чувств вздыхают и роняют глубокомысленные замечания, с тайным восторгом упиваются сознанием безупречного соответствия своего месту и времени, вполне уверяясь в собственном духовном комильфо. Но буквально пара дней — и уже безжалостно очевидно, что освободительный прорыв сдулся, обернулся очередным миражом. И что шанс прописаться, наконец, в Реальности безнадежно потонул в реальности совсем иного свойства. И было все это обычной незатейливой щекоткой интеллекта. Вот только зачем, Господи, за что?

Итак, как все это начиналось? На роль пионеров-первопроходцев, само собой, напросились девочки-мальчики из Жургуевки. Ей и был, собственно, отписан беспокойный (как выяснилось впоследствии) сквер. Прихватив колы и пива, в самый глухой час, когда на охоту ожидаемо выходит всё, что только желает пошалить, завернули в насиженное, знакомое место, перед тем посетив и местечко существенно поблагонадежней. Приткнув прилично ушатанную «хюндайку» поближе к решетке и на всю катушку врубив некоего отчаянного хип-хопера, оседлали павлина, коему предыдущие сидельцы уже изрядно пообщипали деревянное оперение, только что набок не свернули надежного металла клюв.

— Орик, ну ты, блин, деловой. Прикинь, да, чуть в арык не вписался. Самый крутой, что ли? Предупреждать надо, если экстремал. Больше я с тобой ни за что в машину не сажусь. Мара, эй, Мара, на руках меня домой понесешь? — С пафосом: — Обещаю поцелуи вместо бензина.

Из девицы в коротеньком шелковом топике и в брючках капри темперамент хлестал хмельной рекой. А озорные кудряшки по плечам, дерзко оголенный пупок и убийственное кокетство в дозе, заведомо превышающей все предписания хорошего вкуса, с лихвой компенсировали некоторую гундосость интонаций (впрочем, видимо, неотъемлемую черту всего сословия тинейджерок) и некоторую неустойчивость походки на игольно-тонюсенькой шпильке. Безошибочно угадывалась бывалая зажигалка на всех тусовках. И то, что владелец «хюндай», довольно улыбающийся в ответ флегматичного вида здоровяк Орик, поддавшись неукротимому зову своих девятнадцати и воздействию зелья чуть покрепче колы и пива, несколько раз в пути умудрялся превращать свою колымагу в дикого мустанга, ничуть, на самом деле, ее не печалило. Трое из четверых сопровождавших в тот вечер ее и подружку юнцов сами собой сложились в ее пышное оперенье, и она поминутно тормозила их вызывающими или томными взглядами и игривыми репликами в точном соответствии с щенячьим представлением о вамп.

Но и этого оказалось недостаточно. Заметив в непосредственной близости от себя крохотную павлинью головку, по-свойски похлопала по тощей шейке, подозрительно напомилавшей кран в умывальнике:

— Карагусик¹, привет, дорогой. Как дела? Глотнешь, может, колы?

— Да нужна ей твоя кола, ты пивком ее лучше угости.

— Не жмись, может, она экстази хочет, — взрывами молодого раскатистого гогота подхватили враз шутку, которая явно пришлась всем по душе.

— Саука, да ты че к птичке привязалась?

— Пацаны, да она же клинья к нему подбивает. — А она сегодня, между прочим, хоть с фонарным столбом крутить готова. — Ну ты даешь. Саука, Сау, ты на себя посмотри, старуха. Тебе ж почти двадцатник, а ему и года нет. За малолеток принялась? За это, между прочим, статья ломится.

— Зикич, предатель. Нет, как ты мог? Ушам своим не верю, от тебя я этого никак не ожидала. Ты кого это старухой назвал? В жизни тебя не прощу, — разошедшаяся, словно поток в половодье, Саука вскочила с места и ринулась к обидчику, беспорядочно молотя его руками, а тот, корчась от хохота и загоразиваясь ладонями и локтями от разъяренной фурии, обессилено валился на соседа. Но тут в голову бойкой Сауке пришла более удачная мысль и, подскочив к лучнику, неотрывно из своей темноты глядевшему на всю удалую компанию, чуть поднатужась, перекрыла-таки поднявшийся слаженный гвалт:

— Люди, эй! Этот танец я посвящаю вон тому мачо. Его взгляд сводит меня с ума.

— Детка, послушай, у тебя, наверное, аденоиды, не желаешь провериться? Обидно, такая красивая — и вдруг гнусавая. Ты проверься, проверься, будь умницей. А лучше возьми пару уроков дикции, — раздался тихий, тише шепота, насмешливо-холодноватый голос. Оторопевшая Саука не могла понять, то ли он прозвучал откуда-то со стороны (но тогда вопрос — откуда), то ли ей просто все это померещилось. Охотней всего она бы сейчас склонилась к мысли, что банально перепила, перешумела, вот, как следствие, мерещится всякое. Но тут она заметила, что спутники ее тоже замерли и с неприятно присмирившим внезапно видом озираются по сторонам. Тут еще и луна (и так ли уж случайно) встала как раз против статуи, и лицо лучника мгновенно и очень отчетливо выступило из сумрака в свет, словно кто-то резко, с нарочитым театральным эффектом сдернул с него покрывало. Какая-то новая пугающая глубина проступила в плоскости леп-

ных зрачках, и незрячая безучастность камня вдруг разом куда-то исчезла. Бездвижность каменных черт только явственней подчеркивала безусловную осознанность и даже торжественность, идущую из этих глаз. Там, в зрачках, словно что-то плавилось, переливалось и играло, все уверенней затягивая в неведомые глубины безвольно замерших перед изваянием кроликов. Уже по одному этому то никак не могло быть лицом человека. Ни одно человеческое лицо не могло выражать столько веков непрерывной внутренней жизни. И не могло быть настолько свободно при этом от следов унижительных страхов и скорбей, знакомых и царям. И страстей, что способны иссушить до дна любое сердце.

— Мамочки, я сейчас рехнусь... Он улыбается, — только и успела понять в этот жуткий миг Саука. С чего она так решила, она ни за что не сумела бы объяснить. Статуя все так и оставалась себе статуей, и, конечно же, лучник не мог ей улыбаться. Но она все же точно знала: он улыбается и сейчас снова заговорит, умудряясь по-прежнему не шевельнуть хоть уголком губ. И еще она знала, что сейчас точно рехнется от ужаса или завопит дурным голосом и ринется вон отсюда с седой головой.

— Успокойтесь, вас совершенно никто не собирается пугать. — Голос, который никто не посмел бы упрекнуть в расхлябанной неумелости интонаций, напротив, очень ясный и изысканно отчетливый, звучал вновь, но странным образом окаменевшие не хуже своего визави юнцы вдруг точно поняли, что ему стоит совершенно довериться. — Ораз, Зейнул-ла, ты, Сауле, и вы, Гульмира, Марат, Канат.

По мере перечисления их имен голос становился все глуше, переходя все более в область внутреннего слуха. «Телепатия — это голос, который слышишь непосредственно сердцем, а вовсе не слухом. И внутренний слух, и внутреннее виденье», — вдруг мелькнула у одуревшей Сауки мысль, совершенно непонятно как забредшая в ее голову. Да еще сложившаяся в заумно правильную конструкцию, какими она сроду не изъяснялась. Постепенно отмирая от парализовавшего было ее совсем ужаса, она уже смогла разобрать насмешку в этом голосе, обращавшемся к ним. Но насмешка была, скорее, доброжелательная, милостивая, словно кто-то наблюдал за потешными, неуклюжими щенками, попутно давая им по носам за попытку грызть туфли или в клочки рвать газеты. Этот кто-то забавлялся с ними, как с трогательными толстопузыми щенятами, и получал от всего этого явное удовольствие.

— Позвольте обратить ваше внимание: лето, южная ночь, бархатная и теплая, луна. Наконец этот сквер — не самый, уверяю вас, банальный уголок в вашем городе. Есть еще, конечно, ничуть не менее

¹ Карагусик (шугливо) — черная птичка, павлин.

интересные места, если поискать. Но и здесь тоже совсем неплохо. И разве присутствие прелестных барышень не вызывает желания читать им стихи, шептать на ухо романтические и безусловно возвышенные глупости? Что вы все им: блин да прикинь? Разве так следует обращаться с юными феями? — Насмешка звучала теперь в его голосе почти вызывающе. Зловредный лучник ничуть не собирался скрывать, что предложение его ему самому кажется глумливым. Мара тут же припомнил клип, где какая-то парочка в современных джинсах то мелькала на городских улицах, то в средневековых тряпках изображала сценку из рыцарского турнира. Он подумал, а не послать ли в ответ телепатическое возмущение. Но не решился, как не решался хоть как-то проявлять себя перед преподами, в чьих предметах он плавал. А вот вечный приколист и задира Зикич, вновь почувствовав себя непринужденно и свободно и еще зарядившись порцией смешливости от архаических идиотских оборотов, коими пичкал их хохмач на постаменте, не преминул огрызнуться:

— Ага, может, еще посоветуете параграф им из учебника прочитать? А что, давайте, я могу. Мы что, разве не на законном отдыхе? Или, может, в цирке выступаем? Сами же говорите: лето, ночь.

Девушка, что лежала до этого в траве, отвернувшись ото всех, взглянула прямо на безумного смельчака. Он увидел прекрасное, лунным светом облитое и так же холодновато, одними глазами усмехавшееся лицо.

— Ну что ж, сам и напросился. С тебя и начнем, Зейнулла. Читай, тебя с нетерпением ждут.

Дальнейшее Зикич впоследствии не мог и не хотел вспоминать, настолько болезненным насилием над его здравым смыслом и представлением о том, как следует вести себя в обществе приличному пацану, оказалось это испытание. Он развернулся к обеим девицам, рухнул перед ними на одно колено, как последний болван, и с завыванием, с театральными паузами прогнал аж три длиннейших и зануднейших стихотворения про любовь, про пылающее сердце, жестокую красавицу и прочую трескучую ахию. Тяжелей всего давалось ему впоследствии признание самому себе, что наряду со жгучим стыдом и бессильной яростью на свое гнусное, позорное положение в какой-то миг он умудрился почувствовать почти испущенный восторг, когда смысл произносимых строк каким-то чудом, словно прорвав пелену, дошел до его сознания, а роль восторженно влюбленного в кого-то дурня-рыцаря на мгновение даже перестала быть просто ролью. Когда, наконец, он почувствовал, что его унижением вполне насытились и было ему все же позволено встать с колен и прекратить этот словесный... (тут он мысленно в ис-

пуге заткнулся), он прочитал в сконфуженных, напряженных лицах своих друзей сходные нелегкие переживания.

— Ну что ж, теперь ступайте по домам. Сегодняшней развлекательной программы с вас вполне хватит.

Словно под гипнозом, заторможенные и вялые, снявшись со скамейки, студентки направились к ожидавшей их за калиткой машине. Может, это не желали заканчиваться проделки все более чудесатого вечера, но отчего-то им показалось, что их «хюндаечка» тоже участвует в этом заговоре и поджидает их с терпеливым видом многоопытной нянюшки, которая сейчас подхватит их на руки и отнесет в кровати. И это, в общем-то, весьма отраднo и замечательно в конце столь утомительного вечера. Каменные истуканы с загадочным видом пялились им в спины.

Как говорят в таких случаях, наутро весь город облетела весть... И однако же наутро изрядная доля случившегося повыветрилась из памяти сердец героев ночного происшествия. И разум, что всегда на стороне дневной логики и дневных правил игры, тоже нашептывал, что всего лучше принять версию о временном помрачении ума под действием разных вредных паров. Так не бывает... и мало ли что кому может показаться... да и вообще... Известное дело, порой легче на фиг отключить на время разум, чем признать вовсе уж невероятные вещи, сколько железных аргументов за ними бы ни стояло. Встречаясь друг с другом, они, естественно, обсуждали случившееся, гадали, что бы это могло быть, да и было ли. Но как-то все вполголоса, по-воровски, по-заговорщицки. Все они сходили и, конечно, не по разу и в самых разных компаниях, к месту своего потрясающего приключения. Да что толку, сквер за тайлся, или таинственное успело вовремя покинуть его. В общем, верх взяла благоразумная, а может, трусливая мысль (главная трусость наших дней, как известно, — неумение следовать отличному девизу из одной книжки: мечтать — так мечтать), что надо бы меньше пить, меньше бы надо колес экстази. Ну, словом, то вредные привычки сыграли с ними дурную шутку, а никаких чудес в природе, как известно, не бывает.

И, однако же, чудесное не может исчезнуть вполне даже из суперрасколдованного мира. Источник его может забиваться и заноситься сколь угодно любым сором и илом, но по невидимым капиллярам оно будет пробиваться к твердому панцирю, запечатавшему мир людей, пробивая тайные свои ходы. Безусловно, проще всего чудесному найти общий язык с человеческой особью, чем юней и, следовательно, прозрачней еще она. Взрослые — падшие, погашенные уже кем-

то ангелы, чьи шерстяные и кожистые сердца откликаются только на мясистые резоны и сигналы. Это бутоны, задушенные преждевременной зимой, едкой отравой солончака, на котором тщетно силились расцвести. Зачастую взрослый — ангел, умерщвленный долгой-долгой мукой, и особенность именно ему присущего взгляда выдает, какая из бездн засмотрелась слишком пристально и поглотила ангела, обитавшего в нем. Но и самый безнадежный взрослый разумник когда-то ведь тоже пребывал в ангельском чине. И нет среди них такого, кого бы увесистый подзатыльник хоть на миг не мог бы привести в чувство. Но сия заманчивая перспектива отчего-то мало привлекает судьбу.

Даметкен было уже за пятьдесят, она была заторможенной курицей, как водится, полуинтеллигентной и полунищей, порою сентиментальной, слегка недоверчивой не потому, что много зла встречала (не представляя для зла интересного объекта), — жизнь ни в коей мере не успела избаловать своими дарами это ничем не примечательное создание без детей, без мужа, интересной работы и даже обычной миловидности. И, однако, она удостоилась чести и милости стать второй, кому сквер захотел явить себя в истинном, скрытом от многих виде. Она была достаточно высока и крупна в кости. Нисколько, однако, от этого не выглядела ни решительней, ни уверенней в себе. Ее лошадиное, вытянутое смуглое лицо с губастым, дряблым ртом в своей абсолютной бесполости, казалось, никогда не бывало ни лицом девушки, ни женщины, но словно всегда колебалось между детством и ранним увяданием. От девочки в ней осталась внутренняя расплывчатость, неопределенность, податливость чужому мнению. От старушки — непритязательное смирение, почти полное неучастие в жизни.

Если она и была ангелом, то ангелом, увязшим в болоте, и печаль ее сердца была робкой, смутной, заглушенной под гнетущим взглядом тяжелой и вязкой воды. Но онемелая тишина иной раз способствует внезапным вспышкам пробуждения. Эта понятная тоска по некоей высшей полноте и веселью, брызжущему в майском небе из кипенно-сияющих, празднично умытых облаков, которым на земле послушно вторят цветущие деревья, накопившаяся в ней за монотонные, скучные годы, заставляла то искать курсы прибывающих с самого настоящего Востока учителей с экзотически значительным взглядом, то прибиваться к компаниям, которые выезжают на природу за космической энергетикой, то вчитываться в умные, а то и просто заумные и напыщенные книги.

Отослав посылку тете, продолжавшей жить в том самом городке, где проходило детство ее матери,

Дамеш завернула в скверик. Возвращаться домой, где неизменно ее ждали мама, кот и телевизор, она не спешила. Мельком отметила появление скульптур, которых тут прежде вроде не было, и, пока размышляла о своем, глаза ее мимоходом, рассеянно останавливались на диковинных фигурах. Это были скучноватые, привычные мысли одинокого человека с устоявшимся, ровным укладом жизни, но внезапно в них вторглась очень яркая картинка, всплывшая из далекого детства. Не далее как вчера на троллейбусе проезжала она мимо дома, что стоял на пути ее из школы. Вчерашний вечер, как и сегодняшний, был пасмурный, уютный той загадочной осенней хандрой, что, может, вовсе и не хандра, а своего рода томление. Разом представляешь себе и заветный дом, где с такой любовью ждут твоего возвращения издалека. И дорогу, в которую выступаешь с пьяняще-раздражающей тревогой и нетерпением. Самое сердце осени с заметно облетевшей листвой и день ото дня набирающим силу похолоданием; с неприметно, в ожидании своего часа скапливающимся в воздухе туманом и пронзительной далью небес, откуда тянет уже диковатой цыганской тоской, остужает кровь от бесшабашного летнего угара, словно затем лишь, чтобы вновь взбудоражить невесть откуда возникающим предчувствием о странных, если не сказать более, вылазках на край света совсем мифических персонажей. Но, наверное, тогда лучше говорить не о предчувствиях, но о воспоминаниях, ибо ни мифических персонажей, ни края света более нет. И вероятней всего, везде наткнешься на след неотвратимой, как возмездие, заботливости туроператора.

Осень — мистическая пора. Дождь, холод и туман удивительно рифмуются с духом рискованной авантюры, скитальчества и прикосновением головокружительных тайн. Дождь, холод и туман — время истинной жизни. Все прочее — хмарь.

Сейчас Даметкен пронзило непонятное, но волнующее чувство, стоило видению дома, мимо которого она столько раз проходила в школьные годы, возникнуть перед нею. Его нижний угол заканчивался полуподвалом, где располагалась тогда крошечная и тем еще более уютная булочная, вся пропахшая теплым ароматом главного лакомства тех лет: баранками, пряниками, коржами и печеньем курабье и «листики». Один вид разложенных на прилавках соковиц пробуждал тихий восторг и негу внутри. Ей вспомнилось, что в пятом вроде бы классе, в такой же пасмурный день, она зашла после уроков в магазинчик. И как пронзил ее в тот раз контраст между тем хмурым и бродяжье-диким, что осталось снаружи, и невероятно желтым, почти домашним и вместе с тем полным волшебства светом, что заливал все тесное

помещение и бледную голубизну полок и прилавка. Серые вытертые ступеньки, ведущие вниз, и шиферный голубой навес над входом давали иллюзию упрятого от ненужных глаз укромного уголка. Может, перед этим она прочла захватывающую сказку, а может, просто была романтически настроенным, мечтательным ребенком (кто скажет сейчас), но в тот день все воспринималось обостренно и необычно. Померещилось, будто из подсобки этой замечательной булочной, где вдруг захотелось подольше и без всякой видимой цели задержаться, могут вдруг выйти вполне сказочные персонажи. И окажется, что в их воле впустить приглянувшегося посетителя в свой невообразимо манящий мир. Но тогда она просто еще немного потарачилась на разложенные хлебо-булочные и, поскольку делать здесь более было нечего, все-таки развернулась и слегка разочарованно отправилась восвояси.

Естественно, той дешевой, но расположенной почти в самом центре булочной уже и в помине не было. Естественно, здесь уже сто лет как обосновался безликий офис с офисно-унылыми жалюзи на окнах и, надо полагать, не менее унылым назначением. И было совсем уж непонятно, отчего такое волнение и томление в груди всколыхнуло то незагадываемое детское воспоминание.

Даметкен даже переполошилась: да, это именно было предчувствие надвигающегося истинного приключения. А между тем и не вспомнить, было ли такое, чтобы между нею и жизнью не пролегла давящая, как непреклонное вето, масса уснувшей, неподвижной зацветшей воды, сквозь которую не проникнуть ни ветрам, ни звукам. Недоумевающе она прислушивалась к себе и даже несколько раз оглянулась по сторонам, точно ожидая поддержки и разъяснения у обступивших скамейку каменных фигур. И тут странности пошли уже непрерывной чередой и все по нарастающей. Она наткнулась на неотрывный, настойчивый взгляд мальчика в тюрбане, что сидел прямо против нее. Он смотрел не по детски гипнотизирующе, пристально, неприкрыто навязывая свою волю, словно требовал от нее чего-то. Недоумевающе-беспомощно повернув голову вправо, Даметкен увидела, что юноша и девушка, до той поры изображавшие двух нежных голубков, наконец позабыв вроде, что они — всецело поглощенная друг другом чета, тоже в упор сверлят ее взглядом, будто ждут, что она сообщит им нечто важное, чрезвычайно важное.

Она имела, впрочем, возможность тут же убедиться, что это целиком вызвано нормальным любопытством экспериментаторов, прикидывающих на глазок, достаточно ли разогрета их подопытная свинка, чтобы услышать кое-что.

— Дамеш, надеюсь, ты понимаешь теперь, что твое симпатичное детское воспоминание возникло отнюдь не случайно, но было сознательно подобрано нами в благодарность за то, что ты почтила нас своим посещением? — витиевато завел мальчик.

Странное дело, Даметкен могла бы поклясться, что ее собеседник в этот момент любезно-снисходительно улыбается ей, хотя перед нею по-прежнему была вполне уважаемая неподвижная фигура. Разве что непривычно вольно изогнулся, паршивец. Да и где вы видели скульптуру без постамента? Что касается языка, то с нею говорили ни на одном из слышанных ею наречий, но словно бы на очень древнем языке. Там степь возникала в многоголосии звуков: и топоте копыт, и свисте стрел, и свисте крыльев хищных птиц, чертивших в ожидании исхода битвы в небе. И древних преданий. И язык этот она понимала, словно с детства лишь на нем и говорила.

— Ну что, надеюсь, ты готова к дальнейшим воспоминаниям, неважно, о прошлом, о будущем или совсем даже не бывшем. Вы, современные люди, разучились думать об этом. Хотя это вечное и неизменное, единственное, стоящее внимания. Вас трогают и занимают лишь сегодняшние картинки, а ведь они не так уж и важны. Ведь ваше сегодня — это мир, уже остывающий, доживающий последние дни, и его сообщениям верить невозможно. То, что ты много лет назад пережила в своем подвальчике, и было подлинным. Тогда ты была собою, настоящей. Взрослая и погасшая звезда Даметкен — это чистейшая и очень злая, нелепая ложь. Увы, это так. Та, давняя девочка, вот она-то и была тобою. Очень жаль, но вы, современные люди, уже с самых первых минут недополучаете огня жизни... — Вот такой головоломной тирадой, в смысл которой бедная, в неурочный час забредшая в злополучный сквер свинка уже и вникнуть совсем не пыталась, разразилась парочка, кровожадно предвкушающая забаву. Эхом вслед старинному речению слышалась вполне современная, с оттенком неременной иронии речь. — Твое наивное воспоминание ни к чему определенному, разумеется, не вело. Но как бы то ни было, это было вполне живое предчувствие и порывистое стремление. И мы, надо сказать, с успехом воспользовались им, чтобы размягчить и снять бинты, туго спеленавшие твою душу. Теперь твоя душа вновь оголена и всему открыта. И знаешь, чрезвычайно интересно будет взглянуть, что за инструмент она собою представляла изначально и какую мелодию можно попытаться извлечь из нее. — Веки девушки на миг непроницаемо, словно бы навек опустились. Но тут же вновь распахнулись эти непостижимые и до дна души пробирающие глаза, где лукавство и

азарт лишь очень небрежно прикрывали неизменные от века бесстрашие и всеведение.

То, что последовало дальше, было болью, и восторгом, и ужасом одновременно. Ей мечом рассекли грудь, не спросясь, как мясники или хирурги разворотили мучительными видениями голосящее тоненько и пронзительно нутро. Нахлынувший поток ослепляющих и оглушительно звенящих видений, фантазий никак не мог принадлежать ей, настолько нестерпимо болезненным, острым и ярким были свет и чувство, окрасившие их, а ведь она привыкла к куда более приглушенным, притупленным впечатлениям. Настолько неженской была их природа, да и была ли по сути своей она вообще человеческой? И как было соотносить все это с нею, Даметкен, казалось, навсегда погребенной в коконе девочки-старушки, пусть надоевшем, но все же милостиво оберегавшем доселе от губительного дыхания жизни — убийцы и насильника?

Видела же она степь, и ночь. И случилась эта ночь, похоже, давным-давно, когда дни и ночи могли исчисляться, длиться как годы, потому что в полном огня юном мире события происходили от сговора или столкновения земли и неба и занимались, как пожар, радужным венцом своим свободно достигая свода небес. И безумная, мрачная ночь не желала допустить вторжения солнца, ибо бешеная, самозабвенная ярость и страсть, с какой рубились войска древних существ, что были намного прежде людей, а еще превосходили людей тоже намного, отнюдь не нуждались в том, чтобы эту их битву с порождениями мрака, подземными чудовищами освещало что-то помимо неистового пламени их сердец. В отличие от света солнца этот огонь умел жечь ночную нежить. И вот вся бескрайняя степь полыхала зарницами, сполохами, то и дело взмывавшими ввысь от земли. От стога чудовищ и отчаянного ржания бесчисленных коней, что на взмыленных спинах несли огнеглазых всадников, содрогались горы. И звезды срывались, чертя алмазные зигзаги своих траекторий, сыпались причудливым фейерверком на головы и плечи бойцов. А потом вдруг разом все умолкло и рассеялось... Даметкен продолжала судорожно, со всхлипом дышать и расфокусированным внутренним зрением все еще наблюдала одну себя, ту, что надорвала уже голосовые связки и только натужно сипела. Видела она и другую Даметкен, что с головой погрузилась в поразительно живой, самый живой из всего, что довелось ей увидеть на своем веку, и самый близкий образ того, что вспоминала с тех пор не иначе как битву богов. Откуда взялось про битву богов? Просто одно звучание этих слов ложилось на душу так убедительно и уверенно. Ровно так, как и было нужно.

Наконец ее дыхание выровнялось, и бедная свинка свихнувшихся испытателей могла вновь оглядеться по сторонам. Невинней зрелища было и не вообразить, чем эти проклятые статуи, как ни в чем не бывало делавшие вид, будто они всего лишь скромное украшение скверика перед учебным центром и ничего этакого перед тем не вытворяли. Но эта немисливо долгая ночь со всем тем неистовым, чем она дышала и пылала, не могла ей просто померещиться. Стоит отметить хотя бы то, что в свирепом треске и пламени вселенского пожара прежняя Даметкен определенно расплавилась и улетучилась, как воск крохотной свечки. Чтобы заново затем собраться, но до мельчайшего атома преобразившись. В каждой туго натянутой струнке ее бродила, играла, кипела отравя пережитого приключения, оставшись в ней точно солнце, растворенное в крови. И без того немалого прежде, в ней словно еще прибавилось росту. Но если прежде можно было заподозрить, что изнутри сиротливо зияющие пустоты заставляли чуть съезжаться это крупное тело, что ему не на чем было себя держать, то сейчас казалось, будто величественная, величаво отрешенная от мышины нашей суеты богиня в него вселилась. И теперь она водила этими членами, глядела из этих царственно обновленных глаз и свежей, упругой силой наполнила изнутри подвядшую было кожу. Слово не было вовсе жизни в той прежней женщине, которую нарекли именем Даметкен, и вот теперь сок жизни, которую, точно плод, она распробовала, сочится в каждом ее движении и даже вздохе, в чуть заметном трепетании ресниц. И главное, он присутствует в каждом взгляде невозмутимой тихой силой существа, глядящего на мелкую рябь ежеминутной суеты, называемой жизнью, из гармонии и вечности божественного промысла о человеке.

Меж тем молва о таинственных происшествиях в сквере росла себе и ширилась, как всегда к действительности упоительно равнодушная, дивно от нее независимая. Взять тот же хотя бы случай с Даметкен. Ведь, как день, ясно, что уже довольно скоро ей должен был тесным стать пяточок ее прежней жизни. И следы ее почти тут же и невесть где затерялись, и реальная память о ней стерлась почти до основания, и ничуть это не удивительно: если чем и была примечательна прежняя Даметкен, так лишь потрясающей своей безликостью. А вот новую Даметкен никому не под силу было переварить и осмыслить. А ведь в новом своем обличье она поражала до чрезвычайности. И то, что оставалась при этом абсолютно непонятной, лишь подогревало общее замешательство, обиду и любопытство. А что это, как не самая благодатная почва для сколь угодно фантастических пересудов и толков? Да хоть для той же

ходячей версии про вторжение НЛО в дела людей. Забрали как-то вдруг инопланетяне нормальную, тишайшую тетку, выпотрошили и вернули взамен не пойми что. Вживили в нее, должно быть, своего какого-то монстра. Для отвода глаз она, конечно, тут покрутилась еще сколько-то, но потом за ней вернулись и тут заодно уже и мать прихватили с котом в придачу.

Сквер отнюдь не промышлял конкретными, всем понятными чудесами, каких ждут от святых или проклятых мест, тяготея к сугубой интровертности с налетом даже известной интеллектуальности. Ну разве что слегка мог похулиганить, и то лишь сдаваясь нажиму поступающего извне заказа. Иногда возникала совсем забавная ситуация, точно бы при железном занавесе, когда еще народ не закормили до изнеможения любыми клипами каких угодно исполнителей. А тут в гости пожаловал серьезный органист со своей громоздкой балалайкой. Но прошел слушок, будто это «Бони М» или «АББА», а то и «Битлз» так нарочно ото всех шифруют, дабы оставить исключительно для своих, для избранных. И вот толпа снаружи, что весь вечер в слепом фанатском угаре преследовала лишний билетик, сразу все же по домам разойтись не спешит, вожделенно вглядываясь в запертые двери святилища, где, поди, уже всюю зажигает роскошная шведская или ливерпульская четверка. И в безумной экзальтации люди чуть не въявь слышат столь милые их сердцу дивные звуки. Так вот, в озорные минуты господы пришельцы могли взять да отколоть номер с щедрым исполнением особо настырной просьбы. Как если бы тот же органист-бедолага, что весь вечер, тонкой своей шкурой ощущая невыносимый жар и давление сгустившегося за пределами зала бредового вожделения, стал бы совершенно произвольно, словно под гипнозом, наяривать то, на что ему поступил мощный, с позволения сказать, социальный заказ. И вот публика, побывавшая на реальном концерте, наконец выходит и начинает чистосердечно отчитываться про органиста с его Генделем, Бахом и прочим специфическим репертуаром. Но народ уже всюю сжился с убеждением, что не только отлично знает, чему вы там, гады блатные, весь вечер внимали, но и своими ушами слышал отголоски музыки, которую зажали втихаря ото всех. Так и со сквером вышло. Попытки иной раз без утайки поделиться достоверной информацией об эстетских завихрениях странных новоселов сквера подчистую разбивались об утес несокрушимой веры, выросшей в душе простого, незамороженного человека. И что-то ведь, знаете, совпадало. Допустим, некая девица далеко за полночь и, вся замирая, ступала за жутко и таинственно притихшую ограду. Ну так ведь ей и

терять уже было особо нечего: всего за две недели до регистрации суженый заявил: мол, встретил любовь всей жизни, прости. А аудиенцию ей давала красавица, которую в дневное время заставляли поглощенной борением с собственным платьем. И явленные, наконец, свету фонарей глаза красавицы сияли колким звездным блеском, и улыбка слепила и вселяла поистине обморочный трепет.

Так или иначе, только в себя влюбленная малютка пришла уже под утро и в собственной постели. Вскорости же прозвонился ветренный обманщик и слезно вымаливал прощение.

Или тоже вот еще случай. У кого-то, хронического неудачника, всемерно задавленного жизнью и персонально шефом, уже буквально на грани вылета с работы внезапно заключился сумасшедший по красоте и выгоде контракт.

У растяпы, в попутке позабывшего все наиценнейшие документы, в том числе и документ на квартиру, на другой же день в дверях нарисовался тот самый частник, что сидел за рулем злополучного авто и с негодованием отмел даже намек насчет законного и щедрого вознаграждения. Словом, простые и хорошие и такие милые, сознанию привычные чудеса. Ну а то, что сами истуканы почитали особо важным, огласке не подлежащим, бережно оберегалось попросту тем, что кроме непосредственных участников никого, ей-богу, и не волновало. А вот заурядный ажиотаж и нашествие страждущих исцеления и того-сего, пятого-десятого гасились просто виртуозно: при первых же симптомах нездорового возбуждения у паломников возникало стойкое ощущение, что болваны, представшие их взорам, — натуральные болваны и есть. И надо быть самому невесть кем, чтобы от этих вот ждать помощи и содействия. Так что спрос на халявные чудеса, да еще посреди главного мегаполиса, всегда держался строго на уровне допустимого.

А ведь даже более или менее тонкая публика, случалось, захаживала сюда. Но этим отчего-то везло совсем по мизеру, и даже приключались и вовсе ехидные казусы.

Так, заявлялись две дамочки, истинные подвижницы, что вечно отыскивали юные дарования, подерживали их неустанно через разного рода гранты и премии. А сколько конференций и журналов зажглось на их потрясающем энтузиазме. Словом, не просто оставались преданы высокому искусству, и это в стране, напроць предавшей эту святыню. Но на зыбком сем поприще добились заслуженного авторитета и впечатляющих успехов. Казалось, кому, как не им, причитались по праву неслыханно богатые дары? Субтильное сложение младшей из дам, слегка даже болезненная хрупкость (если не сказать

про вовсе цыплячью конституцию) и воистину монашеская простота личных запросов делали ее почти совсем свободной от всего приземленного, житейского. Другая была вполне счастливой матерью и женой, но ее завидной энергии с лихвой хватало и на культурные инициативы. Ее жизнерадостная, активная натура нуждалась в бодрящем чувстве, что она всегда в эпицентре, на острие духовной жизни. Лет ей было чуть не вдвое больше, нежели подруге, но откликнулась на явление, вызвавшее столько переполоха, столько сплетен и слухов породившее и уже чуть не возведенное в ранг местного мифологического феномена, она с не меньшим энтузиазмом. Равные пропорции благородного культурологического трепета и классического зуда матроны предпенсионного возраста в отношении всякой сенсационной мистики, сулившей море восхитительных разговоров в их тесном девичьем искусствоведческом кругу, привели ее в сквер в самом воодушевленном настроении.

— Ну конечно, это вам не Даши Намдаков. И вообще, Гульзарочка, между нами, жаль, что выставка его только прошла и все впечатления так свежи. Согласись, ну о каком сравнении можно говорить? Там зубр, настоящий мэтр, а здесь какие-то ученики оперившиеся. Но знаешь, ведь в этой безыскусности тоже есть своя харизма, не так ли? Признай все-таки, на наших современных казахах, и даже на аульных, ощущается все же печать цивилизации, словно печать вырождения. Остывающая кровь, видимо, такова наша плата за вход в цивилизацию. А вот в этом парне, — пухлой рукой в бесчисленных браслетах Бану Жансеитовна указала на лучника, — ты только обрати внимание: и в лице, и в позе у него поразительная мощь, дерзость даже. Мастерством здесь, конечно, и не пахнет. Но зато ничто не мешает проникнуться ощущением магического присутствия. А ведь за этим сюда, собственно, и идут. И вообще, чем безыскусней, тем, вероятно, и открытей для общения с высшим. Вот будь здесь автором тоже Намдаков, а вдруг благоговение перед рукой мастера заслонило бы все другие ощущения? И не было бы тогда всех этих удивительных общений, да, Гульзарочка? — Бану Жансеитовна уже вполне освоилась в роли гида, и хоть данный зал вместе с его экспонатами ей были совсем незнакомы, зато сама роль была предельно изучена и отшлифована в масе подобных представлений. Несомненно, почтенная дама направлялась в сквер с самыми благими намерениями держаться на сей раз в роли безгласной, почтительной аудитории, но слишком велико было искушение. Как-то незаметно для себя самой она вновь ступила на проторенную дорожку и вновь своим вальяжным, поставленным голосом лектора

и ментора понесла привычную пургу, где поучительные и загадочные происшествия из жизни ее и ее многочисленных знакомых уверенно преобладали над не слишком настойчивыми претензиями на анализ. Гульзара воспитанно помалкивала, но подсознательно уже желала старшей подруге подавиться собственным красноречием. Хотя было ясно, что дожидаться этого в реальности вряд ли удастся, и уже сожалела, что не догадалась прийти сюда одна. Сама она в высшей степени наделена была талантом благоговеть, будучи в непростом этом деле настоящей профи. И сейчас истово впитывала в себя, насколько то позволяло присутствие словоохотливой Бану, неповторимую ауру места. Ее взгляд уже блаженно расфокусировался (она и не подозревала, что напоминает бывалую вакханку), переходя от нежнейшей влюбленной четы к завораживающему рысьему прищуру лучника. Уже она всем телом ощущала волны электричества, пропитавшего заповедное место, и с замиранием поджидала неминуемый миг, когда незримые искры сгустятся, наконец, в грозную вспышку и душа сквера, наконец, распахнется ее душе и сольется с нею. И верное предчувствие это кротко и вместе с тем торжествующе зажглось в ее маленьком бледном личике.

— Детка, весьма сожалею, только лимит прозрений и потрясений на всю текущую неделю уже полностью исчерпан. Да, увы, но вот так вот. Так что, боюсь, напрасно вы обе утруждались, забираясь в такую даль. Хотя, по правде, это с какой стороны еще глянуть. Погода сегодня славная, да и атмосферное давление выше всяких похвал. Вот увидишь, с этой самой минуты начнешь неудержимо здороветь, наливаться соками. Помяни мое слово, года не пройдет, как выскочишь прекрасным образом замуж. Так что вовсе бесполезной вашу прогулку тоже вроде не назовешь. Родишь парочку чудесных карапузов и вот тогда убедишься: ничуть это не уступит самым возвышенным интеллигентским восторгам. Служение культуре — превосходная вещь, кто бы спорил. Но ведь если учесть стопроцентную (уж ты поверь) справедливость слов насчет стынувшего в жилах желе, то много ль, на самом деле, проку от него? Не стану зря обещать, что перемены к лучшему в личном хоть капельку толка добавят твоим искусствоведческим заморочкам. Глядя на нашу милейшую Бану, проще предположить, что толку и вовсе может не быть. Все же стынувшая кровь, холодный нос, зябкие ручки — диагноз серьезный. Только какой безумец возьмется лечить всю вашу эпоху? Уж прости, но топографический кретинизм у целой эпохи, когда никто уже не берется сказать, где верх, где низ, — это вам не фунт изюму. Дети ваши едва родятся, а уже им созданы все усилия, чтобы, не дай господи, невзначай

не вспомнили, что люди они. Так всю жизнь и живут грибами, кто кайфующими, кто вкалывающими, а кто мыслящими. Спору нет, ты у нас из грибов мыслящих. Но ведь чем холодней кровь, тем и мысли ближе к земле стелются, взлететь не могут. Ты организуешь круглые столы и создаешь на них себе имя, со вкусом рассуждая о том, как трагично стынет в ваших жилах кровь. И как живописно гибнут человек, птица, папоротник. Только что реально ты сделала для того, чтобы тот же реальный человек, да хоть ты сама, дорогая, разобрался сам с собой и добился, чтобы верх стал для него действительно верхом, право правом? Вот стала бы ты спасать конкретного человека по имени Гульзара, ближе которого есть ли кто у тебя, глядишь, возможно, и святое искусство вослед потянулось. Так какого лешего было столько времени зазря надрыватьсь? И разве не счастливее и не успешнее в тысячу раз тебя Бануша? Уж, конечно, не в том секрет ее успеха, что хоть на мизинец она тебя профессионально превосходит. Зато какая замечательная у нее семья. И дом, теплый и надежный. А эти занятия культурологией — ну что ж, должно же у нее быть такое восхитительное, увлекательное хобби. Ну ничего, вот обзаведешься собственной семьей, тогда и откроешь, наконец, истинные радости всякого нормального культуролога.

Всю эту мерзко циничную, отвязно глумливую тираду словно бы между прочим, словно нехотя и продолжая непрерывно пялиться в некую даль у себя за плечом, выдал маленький Мук и невозмутимо умолк, пока бедняжка Гульзара ошалело пучила глаза, задохнувшись от наплыва чувств, которые добрыми назвать было бы крайне затруднительно. Как никогда в жизни она была близка к тому состоянию души, которое определяют звучным, как удар хлыста, словом «мегера». Она подозрительно покосилась на благодуществующую Бану. Но всецело поглощенная неистощимым множеством мистико-искусствоведческих историй, которые бесперебойно ей поставляла ее творческая деятельность, та, похоже, не слышала слов маленького паскудника. И Гульзара была вынуждена признать, что порою чья-то непробиваемость, толстокожесть всем только во благо.

— Да, а что ты все-таки думаешь по поводу этого странного выражения, будто со всякого, с кем сквер входит в контакт, он берет непременно налог натурой? С меня, наверное, если в обычном понимании натурой брать, вряд ли это хоть кому-нибудь доставило бы удовольствие. — Бану Жансеитовна лукаво улыбнулась собственной шутке. — Ну так что, Гуленька, по-твоему, это значит?

Гуленька, с которой буквально вот только что перед этим бесцеремонно содрали натурой за не са-

мое приятное в жизни общение, в ответ лишь свирепо пронзила взглядом пространство.

О каком налоге натурой гуляла по южной столице молва, так и осталось за семью печатями не для одной Бану Жансеитовны. Из всех же имевших случай в реале столкнуться с весьма каверзным обыновением неугомонных каменюк повезло лишь тем, кто подобно Даметкен пережил волнующий мистический опыт и всецело обновленным вышел из него. Не только душу, но также и плоть затрагивало преобразование, точно ставя опознавательную мету на втором, по сути, рождении. Этим счастливицам жизнь открывалась как чудо, как волшебное приключение, которому длиться без конца. Как тайна величайшая и блаженная. И поди объясни, чем они снискали подобную милость? Среди этой когорты избранных встречались разнообразнейшие экземпляры, едва ли хоть в чем-то схожие меж собой. В особом фаворе был, пожалуй, еще молодняк. Но тут все, вроде, хотя бы предельно ясно. У кого, как не у этого контингента, непревзойденно забавная, искристая реакция на провокации любого рода? И уж им-то грех жаловаться на отсутствие огня, пускай и самого пустышного, бенгальского: так же бестолково, в два счета спускается на дискотеки, на бурные прикалывания друг над другом, на приключения и страсти-однодневки. Только все равно силою естественного хода вещей жизнь и их впихивает однажды в тесный пенальчик взросления. И все, привет.

Зверь красив и свободен. Да, прост он и примитивен, но в том и спасение его. Звериные щенята и котята, призванию ничуть не изменяя, вырастают в свое время в волка либо в пуму. Людские же котята и щенята оборачиваются сплошь грибами. Слишком погряз мир в мелочном низменном, чтобы был ныне шанс на появление в нем столь совершенного и величественного создания, как человек.

Но оставим велеречивость, излишний, ненужный пафос, вернемся к повествованию о том, как на досуге изошрялись в своих опытах над детками гранитные камушки с черным юмором в груди.

Пожалуй, чрезмерной строгостью, выпадающей из общего ряда, можно назвать только историю про мальчонку, что в пух и прах проигрался в казино. Долг его был велик. И по всему не миновать ему было плачевной участи идти сдаваться на милость предкам, а фактически добровольно сдаваться на фарш. С отчаяния, в конце концов, чем черт не шутит, решил он заглянуть перед тем в заколдованную жургеневскую зону. Визит, надо полагать, оказался успешен. Ибо в результате он передумал навещать родню. Вместо того наведалься в другое казино и преотлично вернул там свои бабки. Примерно с месяц длились его покой и довольство. А потом на проспекте Достык погранец

с обеими левыми руками на казенной «газели» подрезал его бумер. Что оставалось золотому мальчику, как не выскакать в ярости из машины и трясти со всей силы дурня за грудки, обкладывая попутно матом и посулами всех кар земных? Оборотясь, с переднего сиденья за эффектной сценой с интересом наблюдала совсем новенькая и хорошенькая знакомая, на которую тоже не мешало произвести впечатление. Далее пошла, однако, натуральная чертовщина. И тот самый удачный фактор в лице новенькой, с иголки, пассии, перед которой еще всячески распускаешь перья, лишь усугубил его позор и поношение. Вдвоем с очаровательной девушкой Мирой они завалились в кабак на Медео. Как известно, ритуал этот эксклюзива не предполагает. Ну сидит себе парочка душевно, не сводя томных глаз друг с друга, и все отличие лишь в классе заведения да в выставляемом под занавес счете. И тут все шло как заведено, вполне пристойно, прекрасно... Ровно до тех пор, пока еще один уродец, официант, подходя с очередной переменной блюд, не вздумал, запнувшись о ковер, грохнуться оземь вместе с заставленным плотно подносом. Вот тут и началось.

— Брат, что с тобой? Ты не ушибся? Это все из-за меня. Ты только не психуй. Мира, что ты застыла, как столб, иди же, помогай нам. — Юнец заметался, засуетился, как ошпаренный, то кидаясь к ошумевшему подавалу, то к веером рассыпанным под ногами осколкам посуды и деталям закуски. — Слушай, друг, да плюнь ты на все это. Сейчас попросим кого-нибудь прибраться тут. Давай сядь с нами, передохни, на тебе ж лица нет. Мира, ну что ты как язык проглотила, пригласи ж его к нам.

Как вызывающе застывшая на прошлогоднем варенье корка сахара, так же нелепо и дико смотрелись все разумные рамки перешедшее участие и человеколюбие на гладком юношеском лице, вряд ли знакомом хоть с мимолетным проблеском сострадания или простой задумчивости. Все носило гротескный оттенок не то слабоумия, не то чьей-то чужой насмешливой воли. Мира, которую галантный кавалер вдруг совершенно перестал замечать, напрасно дергала его за рукав и с закипающими на глазах слезами стыда шипела умоляюще:

— Дауль, прекрати, на нас же все смотрят. Пойдем отсюда, проводи меня. Ну идем, пожалуйста.

Положение ее было ужасно: среди ночи, да без машины, с Медео не очень-то и добраться. Даулет же всецело был поглощен тем, что с размахом, с упоением, вдребезги крушил стопудово убедительный и неотразимый имидж надменного, победительного мачо, баловня фортуны, что как магнит притягивал к нему мириады Мир — мотыльков, и лез к официанту со своими фиглярскими притираниями. Все же

с помощью невольного зачинщика сего бесчинства ей удалось затолкнуть своего приятеля за руль авто.

Едва усевшись в машину, он тотчас же пришел в чувство и заодно в ужас. Вниз они спускались уже в гробовом молчании. Дауль угрюмо и безотрывно глядел на дорогу, порою судорожно морщась, точно от нестерпимой боли. Его спутница так же не раскрывала рта, подавленная недавним участием в безобразном балагане и к тому же безмолвной, но нескрываемой агрессией водителя, направленной на нее, невольную свидетельницу его конфуза.

Можно было бы махнуть рукой на бесславно рухнувший роман и быстрее постараться забыть все, как дурной сон. Но в том-то и ужас, что стыдобища на этом заканчиваться отнюдь не спешила. И в самый неподходящий момент несчастный Даулет буквально вцеплялся в какую-нибудь кикимору — старушонку у дороги, оглашая улицу навязчивым предложением помочь перейти дорогу. Выяснялось, что в услугах бабулька не нуждается, так как ждет дочку, что вот-вот должна подъехать. Но и это обстоятельство отнюдь не остужало пыл ненормального доброхота. Теперь он норовил лично подвести вполне самостоятельную пенсионерку к ее родным, напрочь игнорируя тот факт, что истерические его вопли давно привлекли нездоровое внимание ухмыляющихся прохожих, с удовольствием глазеющих на пикантную сценку, и друзей, что с изумлением пялились из окон машины.

— Дауль, и давно у тебя проблемы с крышей? Кроме шуток, давай завязывай. А то с тобой скоро появиться на людях будет уже нельзя.

— Дауль, точно, кончай строить из себя винторогое парнокопытное.

— О, глянь, вон на том углу цыганята денежки просят. Чего ты ждешь, давай беги к ним.

— Нет, это фишка, как кинется сайгаком к бабуле...

— Ну ты, блин, даешь, — веселились в машине, когда, насилиу оторвавшись от перепуганной старухи, он начинал психовать, сознавая, что еще раз выставил себя на посмешище и что единственным сомнительным утешением может служить разве только мысль, что кто-то, должно быть, существенно повысил самооценку на его публичном поношении. Он кидался в объяснения, но, как выяснялось, друзья ничего не слышали про странный сквер со скульптурами, якобы вступающими в контакт, и не желали верить в их предупреждения, что недолго придется ждать случая, когда с него будет спрошено натурой по полной программе. Да он и сам не обратил тогда внимания на фразу, что до последнего оставалась непроницаемо темной, точно квадрат Малевича в безлунную ночь. Но той каплей, что окончательно

но переполнила чашу его терпения, стал инцидент, случившийся на семинаре на глазах у сокурсников и потрясенной преподавательницы, кстати, большой почитательницы прописных истин, порядка и правил приличия. Самоуверенная и громогласная, она впервые попала в ситуацию, когда так откровенно наплевали на три кита, державшие ее мир. Касательно темы семинара можно достоверно утверждать одно: он был посвящен казахской нефтянке. Даулет был вызван третьим, и внимание Бегаим Мустахимовны было уже рассеянным и слушала она его вполуха. Но все же в какой-то миг и до нее дошло, что, отталкиваясь всякий раз от слов «наша нефтеносная родина, Казахстан», опрашиваемый студент гонит безусловную дичь и ересь.

— Как хотите, но никак в этой связи не могу не упомянуть, что странные метаморфозы постигли нашу обильную нефтью, дражайшую родину Казахстан. А ведь некогда здесь и не подозревали, что сидят на черном, как выражаются нынче, золоте. Да, эта девственная, безбрежная и как стол ровная степь была буквально создана для своего народа — всадника и странника. Звонкий, чеканный ритм его кочевий пробуждал спящие в ней собственные ритмы. И внешняя монотонность, это кажущееся однообразие степного ландшафта взрывалось, наполняясь очевидной интенсивностью духа кочевых народов. Мир оседлости неизбежно оборачивался тягой к накопительству. Вдобавок еще и грехом окостенения. Всадники, что понятно, лишены подобной возможности и соблазна, соответственно, всюду несли с собою дух возмущения, очищения и обновления, — раздались вдруг в аудитории слова, вызывающе не желавшие совпадать с заданной темой семинара.

Еще удивительней оказался произносивший их голос: по-стариковски надтреснутый, поскрипывающий, скрытым сарказмом пропитанный, этаким сладеньким ядом. Этот острохарактерный тембр внес в юношески малоосмысленную физиономию Даулета существенные поправки. Приторно едкие гримасы перекашивали поминутно его внезапно заострившиеся черты. Глаза, прищуривались, впиваясь в упор, недобро, с колючим интересом. То были далеко не глаза старика: яркие, бешено сверкавшие, абсолютно молодые глаза. Голову Даулет теперь предпочитал держать склоненной чуть вбок, задиристо выпятив подбородок. Сверстник ребят, сидевших в этой аудитории, беспечный прожигатель жизни Даулет никак не мог произносить этих витиеватых, гротескно старомодных пассажей (желчно горьких, коль судить по содержанию и, скорее, презрительно высокомерных, если вслушиваться в интонации). А вот неприятный старикашка, вероят-

но, иначе изъясняться и не мог. Даже образцовый педагогический танк со стажем, Бегаим Мустахимовна, откровенно стусевалась перед напористой энергетикой, пронизывающей этот голос и эти слова. А желторотые студентки, те и вовсе оцепенели и отнюдь не спешили выступить со своими вечными хохмочками. Пластика того, кто был поначалу вызван отвечать на самом заурядном семинаре, кардинальным образом изменилась. Сдержанно, затаенно пружинистая, она, видимо, таила властную силу и угрозу и мгновенно отбивала всякую охоту легкомысленно шутить с тем, кто вещал из безответной оболочки Даулета. Непрошенный оратор, кем бы он ни был, однозначно подавлял. Один он чувствовал себя весьма непринужденно, вольно и как ни в чем не бывало продолжал:

— Ни в коей мере не желал бы, чтобы хоть у кого-нибудь в этой аудитории вдруг сложилось неверное мнение, будто я намерен абсолютизировать роль и значение номадов. Единственно позволю себе обратить ваше внимание на то, что если у оседлых были хитроумие, паутинная сложность связей с миром (а плести их все же удобней в тишине и покое), то на стороне кочевников было благородство простоты. Простота же наделяла свободой. Было время, два эти начала казались нераздельны, их нельзя было представить отдельно друг от друга. Так ночь естественно дополняет день. Нас манит благодатное тепло и пышное цветение лета. Да, лето сверкает и щедро шлет улыбки. Но все же, кто в здравом уме возьмется отрицать особую строгую, тихую прелесть зимы, очарование укрытых снегом пустынных и просторных полей под низким, серым небом, когда лишь сухие былинки чуть подрагивают кое-где, оттеняя зачарованное оцепенение природы, всецело погрузившейся в себя? Представьте захмелевшую от жгучих ритмов, от ярких огней, от неистовых звуков плясунью, что возвращается с карнавала. Она входит в свой уединенный дом, и с порога ее окутывает задумчивое безмолвие. Она осязает живительную благодать сумерек и глубоко постигает, что вот только что разбрасывалась и растрчивала свое молодое кипение. А сейчас вновь собирается с силами и в уединении насыщает, питает свою душу. Что ж, я понимаю, в ваши годы энергия бьет ключом и сложно представить, каково это ощущать ее убывание. Еще сложнее вообразить возвышенную радость бесстрастия и отрешенности. Но не только возраст, а еще и безмерно суетный характер наших дней повинны в абсолютном вашем неведении на сей счет.

Но вернемся, однако, к славному кочевому прошлому нашей ныне нефтеносной родины, Казахстана. Мы говорим о цельности и благородстве природы номадов. Это шло от уклада, когда воином

был каждый. И еще мы говорим о том, что оседлые имели собственные, совершенно несхожие отношения с миром. Они усердно обживали и застраивали мир. И понятно, что народ по большей части поглощен был этим занятием, тогда как гораздо более неприхотливый кочевой уклад делал мужчину воином по преимуществу.

Но спросим себя, что же значило быть воином? Прежде всего, каждый ежеминутно был готов к встрече со смертью. С малолетства его душа приучалась к мысли о неизбежности этой встречи. Недаром уже и мальчик десяти лет не просто превосходно владел кинжалом. У него еще и складывались особые интимные, уважительные отношения с оружием. И оно никогда не обнажалось ради пустой забавы, знаете ли. Боюсь, нам снова нелегко будет понять друг друга. Ведь подобным почтением нынче окружены только деньги. Но если Шейлок, Гобсек, Скупой Рыцарь вполне отдавали себе отчет, что деньги, главным образом, — великая власть, то сейчас они зачастую становятся наркотиком: праздностью, изнеженностью, пресыщенностью. Не остужают голову, но отнимают рассудок. Не к трезвой цепкости ведут, но порождают чад расслабленности. Вот почему я осмеливаюсь утверждать, что вам, мои милые, меня не понять. Как не понять и тех, кому вы наследуете. Правда, наследуете лишь время и пространство. Но отнюдь не заветы и не дух. Ведь тому, кто весь свой век кочует, барахлом, что становится путями на ногах, пардон, не обрасти. В быту он аскет и в походах ищет лишь подвиги и славу. И истово верит в свою миссию — возвращать в мир, извращенный роскошью и негой, добродетель и высоту устремлений. И это вовсе не важно, верите ли вы в то, что у предшественников была такая святая миссия. Важно, что сами они абсолютно верили в нее. Еще должен заметить: сколь прискорбно то, как однобоко, как примитивно и близоруко мы привыкли судить о народе воинов, о котором некому более сказать слово правды.

Кто такой воин в нашем представлении? Тот, кто только и умеет, что скакать во весь опор, покорять, разорять, опираясь на одну грубую силу. Попробую, тем не менее, оспорить эти недалекие и несправедливые суждения. — Дребезжащий, но властный голосок возвысился тут до воистину драматических высот, взгляд же остро и словно выжидающе впился в Бегаим Мустахимовну, которая как-то незаметно, но прочно превратилась в кролика, околдованного удавом. — Итак, позвольте же вас спросить (под этим пронизывающим инквизиторским прицелом Бегаим Мустахимовна совсем смутилась), а что же в таком случае делать со столь известной фигурой, как Махамбет? Что прикажете делать с этим отважным

борцом с внешними и внутренними угнетателями и тиранами нашей родины — Казахстана? Ведь мы знаем, что он был не только отважным полководцем, но и превосходным поэтом. И все же не сомневаюсь, что вам не приходилось слышать ни единой его строчки. Так что не взыщите, дерзну, пожалуй, процитировать коротенький отрывок, истинную жемчужину в своем корявом переложении: «Тот не мужчина, кто хоть раз не ночевал под открытым небом, подстелив под голову конский потник, головою к Полярной звезде». Лаконично. И бьет наповал. Но, может, кто-то считает иначе? Наша степь некогда знавала немало примеров подобных универсальных личностей. Но все эти многочисленные таланты отнюдь не мешали воину оставаться воином. Только они жили под Полярной звездой, а еще выше Бог смотрел на них, и под этим взглядом они тянулись вверх. Сейчас же, в этих ваших скученных городах, где днем небоскребы застыт небо, а по ночам — кислотные вспышки рекламы, родиться мужчиной не слишком, пожалуй, осмотрительно. Уж лучше плесенью. Лышу себя надеждой, что все же я не безнадежный идиот, а потому прекрасно сознаю: вся былая героическая слава — пустой звук для потомков и наследников, еще одна язвительная, сладенькая ухмылочка, должно быть, от общей вздорности и вредности нрава. — Оратор явно позабыл поинтересоваться у слушателей, не злоупотребил ли он их временем и вниманием. — Но все же задумайтесь, если сумеете, — зачем вы в этом мире? Лично мне отчего-то думается, что вы — самая обычная плесень. И не о вас вовсе скорбит моя душа. Но, увы, ни самое высокопробное черное золото в мире, ни какие угодно технологии не в состоянии произвести чудо превращения обычного куска территории в чью-то священную родину, Казахстан. А вот ее судьба меня, признаюсь, сильнейшим образом заботит. Но время сейчас, замечу, для всей планеты крайне непростое. Засилье оседлых народов, которым уже никто не противостоял, сыграло-таки свою зловещую роль. После того как не стало номадов, ничто не мешало оседлым застывать в накопительстве и окостенении. И они утяжелили, осложнили всемерно и массой громоздких процедур и условностей обставили свою жизнь. В венах, по которым должна была струиться свежая кровь, несущая обновление, очищение, во множестве образовались тромбы. И простота исчезла. Не та простота, что опрощение. Другая, та, что давала простор крыльям, ввысь звала тянуться. И кровь наша стала постепенно ленивая, остывающая, усталая. Остывает сердце самой планеты.

Казалось бы, кому, как не потомкам и наследникам кочевников, думать, чем восполнить динамич-

ное начало, которое несло с собой обновление? Но простите, глядя на вас, мои дорогие... — Вновь на узких, сухих губах мелькнула сардоническая улыбка и в голосе появилась двусмысленная приятность. — ...глядя на вас, я отчего-то сомневаюсь... Впрочем, я свое дело сделал. Дальнейшее уже целиком на ваше усмотрение.

Ах, уважаемая Бегаим Мустахимовна, я всегда утверждал, что тема нефтянки сулит бесценную пищу пытливому уму и немало волнующих открытий. Вы воистину счастливица, что трудитесь в этой замечательной области, не спорьте. Надеюсь, однако, что и я своим скромным выступлением сумел хоть сколько-то потрафить вашему взыскательному вкусу и держаться на уровне заявленной темы. — Кто-то весьма удобно устроившийся в оболочке Дауля склонил в ироническом полупоклоне безвольный корпус Дауля и позволил ему, наконец, вернуться на место.

Будущие нефтяники, никак не ожидавшие, что неведомая субстанция, родина, вдруг сама заговорит с ними этим утром и что голос родины окажется именно таким гнусным козлетоном, все еще не спешили выйти из спасительного ступора. Бегаим Мустахимовна порывалась несколько раз открыть рот, однако и ей не удалось выдать из себя хотя бы слово. По всему она сегодня вела семинар в группе, где числился студент Даулет Даирбеков, формальный виновник срыва планового мероприятия. Только ведь и сам он являлся первой жертвой неувлимого пакостника-затейника. Обрушиться же на того, кто и заслуживал, по совести, жестокого разноса, у нее попросту духу не хватало. Что-то ей подсказывало, что в ее заученном репертуаре педагогических мер нет подходящих к случаю приемов. Положение спас как никогда своевременный звонок и дал ей хотя бы возможность сколь-нибудь пристойно покинуть аудиторию, где ее, вне всяких сомнений, выставили откровенной идиоткой.

Волны священного трепета, если не сказать ужаса, накатывали на Дауля со всех сторон. Сокурсники, игнорируя перемену, как прилипли к своим столам, неотрывно пялясь на него, и эти взгляды он ощущал кожей, хотя всецело погрузился, казалось, в изучение чьего-то автографа на крышке стола. В одно мгновение он перестал быть своим парнем, понятным и близким. Теперь он превратился в отверженного, изгоя, ибо внушал ужас и недоумение. Шокированный разум отказывался осмыслить эту чудовищную, нелепую ситуацию.

Из осведомленных источников, зашифрованных, словно тайные агенты, стало известно, что скоро Дауль вновь посетил сыгравший с ним столь некрасивую шутку сквер и расторг свое опрометчи-

вое соглашение. Он вновь стал собою, но и чертов проигрыш, с которого все и началось, вновь гирей повис на нем. На сей раз он дошел, наконец, до родителей, выдержал суровую головомойку, но взамен выторговал себе разрешение экстерном закончить этот год. А еще он, видимо, и резко повзрослел, стал словно бы суше, жестче. Временами могло показаться, что обосновавшаяся в нем на некий миг сущность оставила неизгладимый отпечаток на взбалмошном, не признававшем никаких авторитетов и правил мальчишке. Что-то неувлимо категоричное, стариновское осталось в нем, проглядывая в его поступках и словах. Дауль замкнулся и отдалился от прежних друзей, с головой уйдя в специально для этой цели выдуманный бизнес — мелочевку. Мелочевка не мелочевка, но времени и внимания он поглощал изрядно и еще большую дистанцию проложил между прежним и новым Даулетом.

Но назвать типичным этот случай никак невозможно. Как правило, когда касалось молодняка, хирургические меры не были в ходу, и все ограничивалось самым развеселым, хотя и крутейшим, сказать по правде, розыгрышем. И тот же студент-потеряшка со счастливо возвращенными документами отделился, по существу, легким испугом. Зашел на чей-то днюхе бездумный треп про неформалов, готов и эмиков всевозможных. Безусловно, треп шел уже под основательным градусом. Поводом был слух, что Нурлика, парня, который по своим каким-то мотивам в тот вечер отсутствовал, девица сманивает в эмотусовку. Ну что такое эмо? Мальчишки-девочки с обязательной слезинкой, трогательно сбегающей по щеке, избравшие жизнь в розовом цвете. Про Максата же, для своих просто Макси Родригеса (вот так почему-то, и поди пойми), совершенно определенно известно: у парня железно мужская позиция по всем пунктам. И только вызывающе волнистая для правильного пацана шевелюра основательно портила ему кровь. А прибавьте к этому хорошенькие глазки, открытое располагающее лицо — по всему выходило, что не избежать ему мерзко умильного обращения «ангелочек». Только ведь в двадцать лет каждый добавочный месяц и каждый лишний грамм брутальной суровости на вес золота у ангелочков мужского рода. И Макси ожесточенно доказывал всему свету свою матерость, упрямо сбывая ненавистные кудряшки и с успехом добываясь дивного сходства с зэком. Несмотря на все эти завихрения, он был добродушный, славный малый и ничего не имел против смешных, на его взгляд, неформалов. В тот вечер роковую роль сыграла вторая выдающаяся слабость Максата — к лучшему и прелестному полу. Дама его сердца была плотно прикована жесткой простудой к постели. И в компанию Макси

отправлялся один. И, разумеется, ни за что зорким своим глазом не мог обойти вполне подходящую красотку, которая тоже принялась плотно его охмурять, атаковать настойчиво взглядами и улыбками, старательно пробивая брешь в броне его решимости хранить верность хворающей дома персональной Баян-сулу и Кыз-Жибек. Невыносимый для столь увлекающейся натуры конфликт между суровым чувством долга и новым щекочущим чувством усиленно подогревался к тому же коварной особой, которая намеренно разразилась панегириком в адрес не стоящих внимания чудиков. Иначе он вполне мог обойтись небрежно-снисходительным: да ладно, олени, че вообще на них заморачиваться. А тут его понесло. И мощно занесло. Не то чтобы он вовсе отказывал оленям в праве на существование. Тем не менее, все запомнили, как Макс Родригес стучал себя в грудь кулаком и призывал всех, кто ему друг, утопить его, предварительно запихав в мешок, если когда-нибудь он опустится до бабского макияжа этих эмо и готопсихов. Ну а далее вечер вступил в нормальное русло: закрутилась отвязная дискотека, а там и проводы красотки домой. На что Макс подпился с превеликой охотой.

Утром он как обычно вошел в аудиторию и поймал на себе нехорошо оживившиеся вмиг взгляды сокурсников.

— Ну че, Макси, куда топиться двинем? Мешочек уже приготовил?

— Макс, ты вчера забыл уточнить, в чем тебя топить желательно — в ванне, в бассейне или, может, на природе?

— Не, в натуре, круто ты вырядился...

— Макс, учти, я твой друг, я сам тебя поволоку топиться.

Недоумеая, но еще достаточно невозмутимо, он украдкой оглядел себя. И тут кровь прилила к щекам яркого поборника мужского стиля жизни: совершенно точно на нем было нацеплено что-то позорно розовое. Затем возник жгучий позыв коснуться затылка. Еще утром под пальцами захрустела бы жесткая короткая щетинка, почти незаметная глазу. Но сейчас пальцы зацепились и поползли вниз по упругому завитку приличной длины. Все тот же настырный внутренний голос посоветовал дернуть себя за правое ухо. О ужас, его усеивали мелкие кристаллики, подозрительно напоминавшие на ощупь стразы. Пулей он вынесся к длинному мутному зеркалу, что стояло в глубине вестибюля. Уже понятно было, что ничего хорошего ждать от предстоящего зрелища не стоит, но все же Макс по-настоящему содрогнулся, когда из поцарапанной, тусклой амальгамы на него уставился натуральный шут гороховый. Угольно черные глаза и губы гота, уродский розовый джемпер эмо и в при-

дачу убедительно плаксивая гримаса на лице. Гримаза эта стала многократно выразительней. И с задуманным ревом бессилия он топнул ногой.

Жуть и тупиковость чудовищная. Ввиду близящейся сессии и борьбы за грант и думать было невозможно пересидеть эту заразу взаперти. Каждое утро М. Родригес покидал квартиру в почти ханжески добродетельном обличье гладко выбритого и до скрипа умытого зэка, одетого с лаконизмом, какой сделал бы честь и Ким Чен Иру. В стенах же родного заведения неизменно возникал любитель экстрим-раскраса, всякий раз на новый попугайский лад, да к тому же кудрявый, как вьюнок. Вскоре на «сотках» у его группы уже скопилось изрядная коллекция крутейших фоток, запечатлевших во всем бесстыдстве эту замечательную красоту. И если бы милейшего Максата так бы не ценили и не уважали и если бы не понимали, что не стоит искать неприятностей и зарываться чересчур, доставая его подколами, туго бы пришлось свежеспеченному неформалу поневоле. Две недели продолжалось это издевательство. А потом разразился уже форменный фейерверк с его живейшим, разумеется, во всем том участием, и все внезапно закончилось, как оборвалось. В тот день он стоял перед аудиторией и всю отчитывался по столь поэтическому предмету, как бухучет. Безукоризненная память (Макси с лету схватывал материал на лекции и никогда не утруждался за вузовскими стенами) давно сделала этот процесс рутинной легкотней, так что препод почти не слушал своего записного отличника. Студентам и подавно ни к чему было напрягаться. Но миг скандала неотвратимо приближался, и внезапно размеренный бубнеж Максата прервался. (Со своей взбесившейся ерундой на голове волей-неволей ему пришлось мириться, свою боевую раскраску он с порога кидался смывать в туалете, а запасной свитер пришлось таскать с собой, совсем как в младших классах таскали в школу сменную обувь его родители.)

Макси схватился за горло, точно что-то его душило изнутри, и натужно побагровел. Все оторопело вытарасились, еще не сообразив, то ли кидаться за водой, то ли бить парня со всей мочи по спине или же просто орать во все горло «пожар». Умело воспользовавшись всеобщим замешательством, Макси ловко переменял пластинку. Сказанное им резко расходилось с темой семинара, но и тут, как и в случае с Даулем, слушатели отчего-то потеряли способность сопротивляться.

— Вы извините, я сейчас хочу поговорить о любви. Нет, правда, а вот если задуматься: что мы все привыкли понимать под любовью? У всех пацанов в восемнадцать голова забита мыслями о девчонках. Но я все же не о том... Знаете, все-таки, на самом деле, настоящей любви не так уж и много. Ведь то, что Серик встретил

Макпал, и она классная девчонка, и на любовной почве у Серика совсем крыша съехала... Значит ли это, что завтра на ее месте не окажется Айгуль, а послезавтра, допустим, Зарина, ну и тэдэ и тэпэ. Но вот на горизонте нарисовалась Айгерим, и теперь уже точно ясно, что это единственная и неповторимая. И Серик, одурелый от любви, женится. Потом он устраивается в банк, она — в дизайнерскую контору. И завертелась карусель размеренной семейной жизни: собственная квартира, по вечерам телевизор, к ним гости на выходные, они с молодой женой тоже в гости, ну и прочая лепота. А потом происходит вдруг открытие, что вовсе не колесо это тихого семейного счастья на самом деле, а... вот как бы сказать... что-то вроде мельничных жерновов... Понимаете? Все из себя такие неумолимые и тяжелые жернова. И любовь Серика, про которую он считал, что она как твердый, несокрушимый алмаз, ничем его не возьмешь и такой жарко полыхающий к тому же... Ой, простите, я, наверно, говорю, как последний придурок, да? (Макси, видимо, смутился, а в смущении он становился чрезвычайно симпатичным, искренним.) Вы не смейтесь только, что-то я волнуюсь сейчас. — Макс Родригес просто напрашивался: он нес сущую околесицу, да еще на лекции, к тому же еще и извинялся.

Но все молча, как под гипнозом, продолжали слушать вконец распоясавшегося юнца.

— Да, алмаз... ни фи́га, как выясняется, не алмаз это был вовсе, раз все равно оказался измолот в мельчайшую невесомую труху привычки... и безразличия. — При всех достоинствах парнишки уж краснобаем-то он никогда не был, слегка страдал даже косноязычием. Но тут у него стали вырывать такие перлы, такие лихо закрученные обороты, которые ему и подслушать-то было решительно негде. Читать же он предпочитал больше в популярном нынче жанре СМС. — И куда-то делся тот дивный, бессмысленный и все же невозможно волнующий блеск в глазах его некогда юной возлюбленной. И вместо всего этого Серик встречает твердый, как доска, взгляд практически незнакомой ему тетки, что вряд ли даже подозревала когда-то про смешные романтические восторги. Почти такое же открытие делает Айгерим, но, в общем, обоим уже глубоко по барабану. Им и представить трудно сейчас, из-за чего стоял когда-то такой сыр-бор вокруг всего этого явно преувеличенного вздора. И все же «сильна, как смерть, любовь, и стрелы ее — стрелы огненные». И еще: «Любовь не знает убыли и тлена».

Опять же вопрос, откуда наш пострел мог познаться с «Песней песней» или сонетами Шекспира? Только сквер, усердно продолжавший взимать налоги со всех своих данников, был и не на такие фокусы горазд.

— Но только поймите одну вещь: то, о чем здесь сказано, перешагивает границы нормы. А что же такое норма? Короче, это любовь Серика и Айгерим. Та самая любовь, которая случается у большинства. Но бывает еще одержимость, когда себя уже не помнишь. Когда тебя толкает на сумасшествие, невероятные поступки. Фильм когда-то был такой, «Легенда о Сурамской крепости». Там одна крепость все время рушилась, ну а гадалка и говорит: так и так, мол, надо, чтобы прекрасный юноша замуровал себя в крепость. И камикадзе такой, что интересно, находится. И так сияет еще, будто ему награду вручать будут, а не... Короче, я что хочу сказать: это настоящее иступление, как если весь погружаешься в молитву и тебя плющит от экстаза натуральным образом. Ну еще у поэта так бывает, когда вдохновение вдруг накатит... Мне, знаете, в голову сравнение сейчас одно пришло. Представьте дурнушку... Обернувшись, она с блаженной истомой, с нежной улыбкой смотрит вслед возлюбленному, который ни разу ее даже не заметил. А все равно, в глазах у нее мягкое и влажное свечение и видно, что ей наплевать сейчас на трусливую память о вечной своей отверженности. В ее глазах и улыбке сияет чудо победной, торжествующей любви. И сейчас она затмит любую красавицу... Я что-то уже совсем погнал, да? Но вы не смейтесь. Дайте я все доскажу, потом можете ржать себе, сколько угодно. Я не знаю, что со мной... Меня просто распирает.

«Что-то распирает». Циркачи из известного сквера и не такому безусому мальцу заморочат голову, что же тут не понять.

— Ну, в общем, это, типа, уже не ее лицо. Или, может, наоборот: в этот миг наружу проступает ее истинный лик. То лик самой любви, слетевшей с небес. Я сейчас скажу одну вещь, для меня совершенно очевидную, как дважды два. Далеко не каждое сердце создано для любви. Спорить со мной, наверное, никто не будет, да? И любовь такую выдержать тоже ведь не каждый может. Надеюсь, никто не в обиде? Ведь мы с вами ищем такой любви, которая близко, рядом, с которой легко и удобно. Это нормальная любовь, в основе которой — нормальное, естественное стремление к теплу, уюту, безопасности. Тогда как небесная любовь — бесприютная скиталица в этом мире, и она не имеет надежды обрести в нем свое гнездо. Ведь чем измеряется всякая нормальная жизнь? Мерой покоя и безопасности. И любовь, которая остается в разумных границах, — одно из условий такой приятной жизни. Но только все в нашем мире подвержено времени и тлену. Такой же тип, ушибленный чрезмерной любовью, ищет чего-то большего. Даже и не любви он вовсе ищет. Для него любовь — только предлог, повод. И чувство к

конкретной девушке — что-то вроде крючка, чтобы зацепить его — заразить тоской по каким-то иным, недоступным пределам. И лицо конкретной девицы — точно маска, надетая на что-то другое... Я даже не знаю, как правильно это обозначить, и надеюсь целиком на вашу пронизательность. Эта маска девицы, дорогой его сердцу, манит и увлекает его за собой в бездну, что отделяет наш мир от того, другого мира. И потому эта бездна есть смерть. Сердца героев, вошедших в легенду, и сердца безрассудно, бессмертно влюбленных, — они одной породы. А мы с вами принадлежим к другой. И ничего тут не поделаешь. Но нам с вами вовсе и не нужно их счастья. Разве не так? Вот была такая влюбленная пара, Лейли и Меджнун. Имя Меджнун переводится «одержимый, безумный», потерявший, одним словом, норму и рассудок. Парень практически признал, что его счастье — исключительно из другой оперы, по другую сторону бытия. И неважно, как звали ту реальную, земную девушку, на которой он сдвинулся: Лаура, Беатриче, Лейли или Низам¹.

Все равно сквозь ее пленительную, ангельскую внешность Меджнун угадывает, прозревает то, что должно бы испугать любого, в ком есть хоть капля соображения. По сути, у такого крезанутого и у воина невеста одна. Смерть. Но смерть — это просто другое название вечности. Любовь Серика и Айгерим рано или поздно пожрет неумолимый убийца — время, выдувающее жар из их сердец. Но не властно время над теми, кто на другом берегу, за гранью бытия, увидел такую красоту, что в сравнении с этим райские кущи показались бы, наверное, беспощадно ободранными трущобами. И совершив свой прыжок в бездну, они на самом деле совершили переход в вечность. Туда, где и обитает любовь, которая не знает убыли и тлена.

Зачем я вообще завел эту волюнку? Наверное, и самому заурядному из нас иной раз становится не по себе. И тогда начинаешь копать себя, изводить разными странными мыслями. К примеру, вот не случится ли так, что однажды я переживу все те драгоценные порывы, что и делают меня человеком? И не останется ли от меня одна пустая, бестолковая оболочка, которая по инерции притворяется живой?

Макс едва ли мог отдавать себе отчет, как забавны в устах неоперившегося птенца эти размышления человека средних лет, к тому же в такой заковыристой подаче.

— И может, те драгоценные минуты, про которые я самонадеянно полагал, что притянул, вызвал их к жизни собственной волей, были всего лишь об-

лаками, что проходят над моим городом, моим домом? И точно так же они прошли сквозь меня, меня совсем не заметив. И знаете еще что? В этом признаваться, даже самому себе, не слишком приятно, но на самом дне души, без слов, я молюсь, наверное, вот о чем: да минует меня такая любовь.

Тут Макса точно током дернуло. Его и в самом деле передернуло слегка, и, наконец, он осмысленно распахнул глаза, до того сомнамбулически устремленные в одну точку.

Итак, он взглянул перед собой и увидел испуганные, жалостливые глаза девчонки с первой парты и, застонав в бешенстве, бросился вон.

Ночью, когда даже случайный соглядатай не мог ничего прознать, обитатели сквера, расположившись вокруг пятачка, освещенного фонарем, задумчиво изучали крохотную фигурку Макси Родригеса.

Настоящий Макси спал крепким сном у себя в доме. А его уменьшенный двойник сидел на скамейке-коте. Двойное освещение луны и фонарей делало его идеальным объектом для столь пристального внимания. Должно быть, желая подбодрить притихший, замерший в ожидании живой экспонат, чьего согласия никто не спрашивал, кот обернулся настоящим пушистым зверем и, изогнувшись, старался потереться об него щекой. Эта теплая мягкая поддержка, конечно, немного укрепляла его. И все-таки Макс нервничал: не каждый день тебя, как букашку, придирчиво разглядывают со всех сторон существа, для которых ты, в самом деле, не более чем интересное насекомое.

— Как же с ним все-таки поступить? Он так любит жить и радоваться. И это ему превосходно удается. Он такой милый, трогательный. Пусть живет себе, как хочет. Зачем его втягивать в разные проблемы, неприятности, а они обязательно будут, если сделать из него все же влюбленного. — Это говорила красавица, что обычно лежала в траве, сейчас же сидела, рассеянно покусывая травинку. Перед нею вдруг из воздуха возникло нечто похожее на макет. Чуть позже Макси догадался, что это макет устройства человеческой жизни, и красавица, разговаривая сама с собой, словно водила невидимой указкой, тыча в его разные сегменты.

— Вот здесь бизнес... Нет, здесь все так заставлено, безостановочно вращается, просто некуда приткнуться... Не только бессмертная, но и обычная любовь здесь почти не помещается, все время норовит выскочить из своих пазов... Так, вот здесь у нас покупка более просторной квартиры, потом начинается возня с приобретением машины... потом еще машина, отпуска идут... прочая канитель семейного бюджета. Здесь все тоже почище, чем у белки в колесе, да...

¹ Низам — девушка, в которую в юности был влюблен величайший шейх ислама Ибн Араби.

Молодой новобрачный, с большим интересом следящий за этими манипуляциями, оторвал взгляд от макета и перевел его на Максата, чувствовалось, весьма озадаченный проблемой, которую тот невольно поставил перед ними. Тут в беседу вступила его подруга, и было видно, что она также смущена и немного расстроена.

— Потом еще друзья, знакомые, чуть позже сослуживцы пойдут. Ну, кому он будет нужен с такой любовью. А надо сразу честно признать, что это почти болезни, такая напасть. Придется рвать все нити: он сразу станет всем чужой, да и ему больше уже не будет с ними так славно, комфортно. А он так привязан к своим друзьям. Он ведь столько удовольствия получает от общения, бедненький.

— Ну почему все же бедненький? Разве любовь совсем никакой радости не приносит? Разве она не награда сама по себе? — Лучник сверху смотрел на всю компанию, с превеликим комфортом полулежа на ветке огромного дерева и подперев рукой голову. Несмотря на столь сибаритскую позу, он тоже был явно весь в сомнениях. Затруднение же состояло в том, что Макс нравился всем, и они усиленно гадали, как бы не навредить ему невзначай. Маленький Мук похлопал шею павлина, на котором восседал, и раздумчиво протянул:

— Но этой замечательной любви вашей нет сегодня попросту нигде места. Все эти чрезвычайно важные, обязательные вещи — бизнес, семейный воз, телевизор, гости, без чего человек как голый, — и так с немалым трудом помещаются в куцую и тесную жизнь, которая сложилась на сегодня. Вот смотрите, и так все вращается и тикает, как одержимое. Ведь надо соответствовать, не забывайте об этом. Надо, чтоб все было как у людей. И ни минутки при этом тишины и покоя. Просто не продохнуть.

— Да, вот раньше жизнь больше подходила для нашего варианта с любовью. Все-таки всю работу делали вручную, не спеша, потому не могли окатиться под грудой разных вещей, которые просто не успеваешь менять, еще не сносив толком. И всюду ходили пешком или ездили на лошадях. А сейчас сплошь летают самолетами... Все время уходит на эти безумные перелеты. А любовь, как-никак, времени требует. Тут уже выбирать надо: или любить, или успевать с грехом пополам жить, как нынче полагается. — В общий хор голосов тяжело задумавшихся изваяний вплела свою партию другая престелница. Сейчас она избавилась, наконец, от своего наряда и сидела плавно-величественная, как струя меда, стекавшая из горлышка кувшина. — И еще люди раньше молились, не забывайте об этом. И это было главное для них. Время тогда совсем прочь отступало. Они прикасались в молитве к вечности, и

это как-то в них оставалось. У них появлялось чувство, что они богоподобны, — самое подходящее состояние, чтобы выносить груз любви. А куда сейчас деваться с любовью, которая делает тебя богоподобным? Только бежать на край света. Любовь — другое название особого состояния души. Бессмертная любовь — вечное горение, а гореть сегодня просто уже неприлично. Современность ведь, посмотрите, не дала ни одного Меджнуна. Нет, он превратится в изгой. Жалко бедненького, — подытожила она. И это стало тем самым решающим аргументом в их меланхолическом споре.

— Пусть живет и радуется, как привык, отпустим его с миром. — После того, как вердикт был вынесен, Маленький Мук сошел с павлина, и тот бережно принял Макса на свою спину и взмыл вверх, к луне, держа курс на дом Максата, похоже, тоже чрезвычайно смущенного итогом этой беседы. Нет, он и правда был доволен, что остается в привычном, любимом кругу, где непременно встретит когда-нибудь хорошую девчонку, свою судьбу. И все же грустно было сознавать, что великая любовь, которая сегодня на считанные мгновения и его обожгла-таки самым краем, теперь уходит из его жизни навсегда.

— Нет, реально, мы там классно провели время. Культурная программа была на уровне, так насыщено: на уик-энд обязательно вывозили куда-нибудь, экскурсии, тусовки там разные. Да, могу похвалиться: я там гольф, между прочим, освоил. Круто. У меня под конец был один из лучших результатов в группе. И еще мне понравилось, какие у них отношения между студентами и преподами, без этой нашей занудности. Нормально, так демократично. Знаешь, там предпочитают жить в пригородах. Прикинь, у каждого препода свой дом, дворик с традиционным английским газоном, обязательно ухоженный цветник. Во дворе барбекюшница стоит, мы шашлыки там жарили. Хорошо так посидели, вполне по-простому, о том о сем душевно поговорили. Кстати, я за это время неплохо английский подтянул. Языковой барьер вначале напрягал, конечно, но потом ничего, привык. Жалко, тебя не было. Ты бы там самая красивая была, всех бы забила, нет, вполне серьезно. Там девчонок красивых почему-то катастрофически не хватает. И еще они не следят за собой почему-то, у них это совсем не принято. Я все думал: вот бы они на тебя посмотрели, какая ты у меня.

Двое молодых людей примерно двадцати трех лет, увлеченно переговариваясь, входили в сквер. Габит буквально на днях прилетел из Англии со стажировки, его невеста в это время еще была в командировке и вернулась только вчера. Решено было заглянуть в сквер, раз уж все равно гуляют. Айжан

уже работала в солидной международной организации, а еще посещала автодело и обращать внимание на всякие глупые слухи ей было недосуг. Но этот слух был слишком будоражающим и пряным, он уже перешел в разряд культурных новостей. Уже из приличия хотя бы стоило наведаться, глянуть одним глазком. Хотя, скорей всего, окажется, что это очередной всплеск всеобщего помешательства на мистике. Она была высокая и худенькая, с прямой на диво, даже с чуть надменной осанкой. Этакая чопорность и безупречность в духе Мэри Поппинс: прекрасно знает себе цену и всегда лучше всех разбирается во всем и очень любит одернуть, ставить на место, если представится малейший повод. Она накрепко впитала главный слоган эпохи: ведь я этого достойна — и собиралась строить свою жизнь в точном соответствии с ним. Ее возмущали люди, не желавшие или не умевшие отвечать заветному эталону. Еще ее возмущало, если кто без малейших усилий, просто благодаря крутым родителям, имел все то, чего она была достойна, но однако же еще не имела. Эффектная внешность, весьма выпуклый комплекс отличницы, невероятно упорной и дисциплинированной, в придачу самый блестящий английский на курсе (иняз в анамнезе), гарантированно обеспечили ее вполне развитой стервозностью. Судить обо всем Айжан привыкла категорично и безапелляционно. В своих честолюбивых притязаниях она могла рассчитывать только на себя, и это рано лишило ее юношеского легкомыслия. Ее мальчик был ей под стать: так же высок, красив, строен, нацелен на карьере со всем вытекающим уровнем и образом жизни. Различие между ними единственно состояло в том, что женской стервозностью в их паре наделена была только Айжан. Но и в нем был снобизм того, кто еще ни разу до сих пор не успел оступиться и оттого все четко наперед знает и всегда прав. Они еще не догадывались о том, что жизнь шутя опрокидывает самые верные расчеты и планы. И сейчас Айжан предстояло в этом убедиться. Из двоих она была чуть более колоритным персонажем, вот ей и пришлось за двоих отдуваться. Она с интересом слушала жениха, но попутно умудрялась перебирать в уме те незначительные (по-женски это совсем не так) происшествия на работе, которые чем-то ее зацепили.

«Какая сумочка была у Валентины... Гуччи, уж я-то разбираюсь... долларов семьсот-восемьсот, не меньше. Камилка на той неделе заявила в шикарном костюмчике, такой цвет интересный, холодный, фуксия, просто отпад. — Опять соблазнительно припомнился благородный тусклый отлив шелка цвета фуксии. — Мне такой цвет, между прочим, больше бы подошел, да и фигура у меня намного лучше.

Кама чересчур себя распустила... ну нет бы сесть на диету. На фитнес бы записалась, в конце концов. Не понимаю, имея такие возможности, я бы ни за что не допустила... ну мне-то и не надо прилагать усилий, я и так стройненькая и излишеств в еде не позволяю... да и не хочется вовсе. — Далее ее мысли перешли к более насущному. — Интересно, Абубакир Нурмуханович поручил систему английского профобразования Юре... Он что, его двигает на завсектором? Как бы Юрка меня не обошел... времени всего ничего осталось, год какой-то, а он по любому поводу из кожи лезет, чтобы его заметили. Все демонстрирует, какой эрудит. Суется, куда не просят... Да, жаль, меня вот никто в Англию отправить что-то не спешит. — С приятным чувством собственности: — Габик у меня умничка, это хорошо, что он убедился там, в Англии, что я лучше всех... Что он там пару раз намекал, будто я должна угождать его бабушке? Ну вот, почему ни у него, ни у меня нет отдельной квартиры? Угождай теперь чьей-то бабке... Ну, это мы еще посмотрим. На мне не очень-то поездишь. Ничего, родители у него вполне еще крепкие, нестарые, справлялись же они как-то без меня. Вот поженемся, я постепенно приберу его к рукам. А может, вообще удастся уговорить их разменять квартиру... Комнат у них хватает, целых четыре. В конце концов, у нас будет своя семья и жить мы должны своими интересами. А что?»

На этом месте Айжан точно поперхнулась. Стальной хваткой вгрызлась в сердце нестерпимая тоска, она даже глаза на миг прикрыла от резкой боли. Что-то совсем абсурдное, из ряда вон вышло с нею. Она была еще слишком молода, и жизнь ее текла слишком гладко, беспечально, чтобы быть на коротке с такими настроениями. Да и любимый девиз «Ведь я этого достойна» никак не вязался с ущербностью любого рода. Всего такого Айжан инстинктивно сторонилась, обходила брезгливо, как обходила бы глубокую лужу или свалку. Еще лучше, спешила осудить, как признак явной глупости или распушенности. Но сейчас это происходило с нею самой, и вслед за тоской на нее обрушилась чрезвычайно живая и четкая картинка. Обычно видения расплывчаты, как сон, а тут ее буквально впихнуло, втиснуло в шкуру вжавшегося в угол большого, мягкого дивана мальчугана лет семи-восьми. Напротив него тархтел включенный телевизор, на ковре валялись разбросанные игрушки и яркие книжки почти из одних картинок. В дальнем углу огромного, неуютного зала стояло пианино. Нет сомнений — это была комната для игр. Впрочем, ей вовсе не нужно было ничего предполагать. Она и безо всего совершенно точно знала, что мальчик был детдомовцем, внезапно застигнутым пронзи-

тельным ощущением, как безмерен, пуст и холоден мир, куда зашвырнула его чья-то враждебная воля. Все в Айжан всколыхнулось и напряглось. Она со всей силы упиралась, сопротивлялась непрошеному, грубому вторжению, явно перепутавшему адресата. Пустая затея. Теперь она совсем близко видела лицо мальчика: расширенные, неподвижные глаза, невидяще уставившиеся в пол, выражение покорной безнадёжности, когда остается просто принять все как есть. Когтистая, ледяная рука то сжимала сердце, то скручивала жгутом область под ложечкой, то стекала по рукам, царапая, болезненно дергая все жилы. Внезапно все куда-то отступило, исчезло. Передыхки хватило ровно настолько, чтобы убедиться, что ее парень ничуть не догадывается, что не все с нею ладно, и уже обсуждает любимую тему: как отлично они заживут через год, когда он, наконец, устроится на работу и возьмет кредит на машину. Нет, конечно, пока не на серебристую «акуру», но все-таки машину, которая откроет перед ними совсем другие возможности.

Новое видение подоспело и резнуло как ножом по сердцу. Вечный соперник Юра, пряча за видом воплощенного бесстрастия затаенное торжество, выслушивает от шефа на планерке весть, что должность заведующего ему переходит. Яркость и интенсивность мелькнувшей картинке была ошеломляюще болезненной и даже заставила девушку, как щит, выставить привычное возмущение в надежде клином выбить клин. Но проверенный прием не сработал. Даже стало хуже: страшная догадка вдруг посетила: уж не ступила ли она невзначай на скользкую дорожку тех, от кого отвернулась фортуна? Но эту пугающую мысль ей не дали додумать, подсунув очередную страшилку. Ее Габик, ее нежный, влюбленный мальчик, которого она собиралась исподволь прибрать к рукам, с сухим и раздраженным видом сидел против нее за обеденным столом. Этому Габиту, по всему, было уже за тридцать, и он уже чуть обрюзг и успел обзавестись животиком. За прошедшие годы он отнюдь не нажил снисходительной, властной уверенности победителя. Зато, похоже, приобрел скверную манеру затевать склоки по мелким, бытовым причинам. Вот и сейчас он принялся распекать ее за пережаренное мясо, и уже в его голосе звучали почти визгливые бабские нотки. Наконец он резко поднялся и вышел из-за стола, наделав изрядно грохота. Айжан со стороны видела свое лицо: жесткий, застывший взгляд, горько и плотно сжавшиеся губы. Лицо человека, похоже, не впервые сталкивающегося с подобной сценой. Это видение тоже сгнуло, оставив недвусмысленное знание: их сияющие юношеские иллюзии разбились, как водится, о банальные подводные камни житей-

ского. И оказывается, никогда они с Габиком не принадлежали к блистательной породе счастливиц, что, как заговоренные, невредимо, неуязвимо шагают от одной покоренной вершины к другой. Им суждено было затеряться, захлебнуться в потоке все прибывающих год за годом соискателей на далеко не резиновое место под солнцем.

Наконец она очнулась, вспомнила, что находится не где-нибудь, а в том самом сквере, про который говорят не иначе как с почтительным суеверным придыханием, повествуя о его жутковатых порою забавах.

Айжан с подозрением уставилась на зловещие изваяния. Однако те застыли себе как ни в чем не бывало, словно напрочь ее игнорируя. Но Айжан готова была поклясться, что исподтишка они оценивающе и пристально разглядывают ее. От этих неподвижных и безмолвных фигур ощутимо исходила насмешка. С внезапно обострившейся интуицией она разгадала, что успела произвести невыгодное впечатление, хоть и не было у нее привычки ломать голову над чьим-либо мнением на сей счет, твердо веруя, что всем очевидно, что она — Мисс Совершенство. Неважно, завидуют ей или восхищаются. Она сознавала, что ее резкость и апломб частенько задевают окружающих, но усматривала в том еще одно подтверждение своего превосходства и успешности. Но эти смотрели на нее сверху вниз, явно чем-то забавляясь. Ее сердце услышало непроизнесенный приговор, безмерно ее уязвивший, — самоуверенная дура с претензиями, старательная девочка, но далеко не уникальна. И слишком преувеличивает свои возможности. О пользе сострадания, нежности и скромности даже не подозревает. Но стерв и карьеристок, особенно по юности, пруд пруди, так что характер посимпатичней совсем бы не помешал. Семейная жизнь хотя бы могла сложиться более гладко.

Словно в подтверждение вскользь брошенного безжалостного диагноза ей привиделась семейная сценка, от которой перехватило дух, как ни кратко было видение: невестка, очаровательная юная стерва, только более улыбчивая, такая вся бархатная кошечка, говорит ее сыну: давай не пойдем к твоим на Новый год. Ну что с того, что обещали, забежим утром, поздравим. Ты же знаешь, твоя мать меня не выносит. У нас, как-никак, своя семья. Можем же мы иногда просто вдвоем побыть? И по глазам сына Айжан ясно читает, что он внутренне согласен с женой. Конечно, он еще заставит себя поупрашивать для приличия, но ему и самому не улыбается лишний раз встречаться с чересчур властной матерью и он найдет предлог отвернуться от запланированных посиделок в родительском кругу. Айжан почувство-

вала, как горят ее щеки, словно эти двое только что небрежно отхлестали ее по лицу.

— Да что это такое, чего им от меня надо?

Она уже не могла собрать волю в кулак и укрыться за спасительным возмущением. Суеверный ужас перед гнусными притворами, глядевшимися так невинно и безобидно, почти парализовал ее. Но все же до сих пор в их манипуляциях еще проглядывала хоть какая-то логика: как-никак все эти эпизоды напрямую касались ее, Айжан, и ее интересов. Может, таким образом они хотели ее предостеречь, что-то подсказать. Но то, что следом вывалили на ее голову, вообще ни в какие рамки не влезало. Вдруг пошли вереницей образы решительно ей незнакомых людей, плачущих, страдающих, оскорбленных, преданных. Одинок перебогавших тяжелую минуту. Всякий раз Айжан должна была вживаться к тому же в состояние этих совершенно ей не нужных и неприятных неудачников, которым бы стоило быть чуточку порасторопней, понастырней и поумней. А они позволили себе распускаться, быть мягкотелыми и слабыми. Жизнь переезжает многих. Но она-то здесь при чем? Из нее что, мать Терезу сделать хотят? Тоже идиотку нашли. Каждому собственных проблем хватает. Ей тоже никто путь розами не усыпал... Но сквер не слушал ее возражений, и она по-прежнему продолжала видеть то женщину, сияющую вникнуть в записку, оставленную в прихожей мужем, сообщавшим, что уходит к другой. То посеревшее лицо мужчины, услышавшего весть, что он попал под сокращение. То чувствовала, как на миг почти останавливается сердце мужчины с парализованной женой и двумя школьниками на руках, обнаружившим, что его «жигули» среди бела дня угнаны со двора. Ужас старухи, случайно узнавшей, что единственный внук-студент, оказывается, наркоман... Она почти потеряла счет этим банальным житейским драмам. Они все мелькали одна за другой, но каждый раз Айжан тем не менее успевала ощутить болезненный укол в самое сердце и холод, растекавшийся по телу этих прирожденных жертв. Никак ей не удавалось половчее посторониться и пропустить очередной удар, несший с собой эмоции, которые она считала вредными и разрушительными.

А Габик между тем совершенно не проявлял беспокойства или нетерпения. Впопыхах успевая на него встревоженно коситься, Айжан замечала, что его личное время текло в нормальном режиме и от темы машины-еще-не-«акуры» он только что перешел к планам на ближайшую субботу. Он нежно ей улыбался и спрашивал ее мнения. И она улыбалась ему машинально и кивала, как болванчик, только бы он ничего необычного не заметил... Но, у-уф, ее мучения вроде бы прекратились... Наступил бла-

женный покой, тишина. А затем чудесное тепло и нега растеклись по всему телу. Когда же вновь пошли видения, то они рисовали версию такой ее судьбы, о которой она, как особа весьма практичная, здравомыслящая, отнюдь не восторженная дурочка, едва ли умеющая впустую мечтать, никогда не помышляла даже. Ее собственное «я этого достойна» вмещало вполне обозримый, весьма реалистичный триумф.

Эта же версия была просто напичкана атрибутами не просто глянцевого, но скорее даже киношно-роскошной жизни в откровенно голливудском исполнении. И там она представляла владелицей не здешней виллы, а может, и замка. В этих упоительных грезах наяву Габика, пусть даже сверхуспешного Габика, с нею рядом не оказывалось. Зато был другой мужчина, чрезвычайно привычный к смокингу, загорелый испано-латинос, ослепительно, магнетически улыбочивый, умеющий одним пристальным и мужественным взглядом вгонять в дрожь и трепет.

И там, конечно же, были и утренний чай на террасе, и вышколенный, молчаливый дворецкий с великосветскими манерами. И белый, мельчайший песок экзотического пляжа в шуме вечернего прибоя, и он, тихонько нашептывающий ей что-то в самое ухо. И как заключительный аккорд — некий пышный прием, на котором их великолепная пара в перекрестье восторженных и осуждающе-завистливых взоров под неумолчное гудение змеиных шепотков. Но эта нескрываемая благоговейная зависть — только еще одна краска в радужном переливе шлейфа ее воистину королевского туалета, необходимое дополнение королевского по величественности выезда. Окружающее слилось в неразличимый пестрый фон, доносящий до ее нервов лишь блаженство этого всеобщего восхищения и преклонения. Но главным было все же не это, но только пристальный, замороженно и жарко полыхавший ей навстречу взгляд лучшего из мужчин.

Но сквер вовсе не думал отказываться от своих злокозненных намерений, какими бы они ни были. Он словно затем лишь поднял ее на эту недостижимую, безумную высоту, чтобы убийственной обрушить ее потом на землю, втоптывая в грязь эту воплощенную мечту об идеальной женщине, всего мыслимого успеха добившейся благодаря своим исключительным достоинствам. Она не изводила себя понапрасну долгими рассуждениями, так ли это, просто с детской наивной и эгоистической верой приняла новую мысль, что да, это так. Почему бы и нет? Но с нею поступили бесчеловечно, подло и низко. Головокружительный образ этого отточенного, отшлифованного совершенства, видения нездешнего мира красоты зачем-то вдруг словно заляпали

черной жирной сажей. Заляпали и безнадежно погубили то, чему она была готова поклоняться беззаветно со всем неофитским жаром, со всем пылом преданной истинной любви. Растоптали и опошлили с неслышанным цинизмом и жестокостью. Ведь не простые картинки показывал ей сквер, раз они самую действительность затмевали силой и яркостью вызываемых переживаний. Айжан, конечно, сердечно была обделена, да еще склонность к шаблонам усугубляла ее природную прискорбную особенность. Но сейчас голова ее кружилась, как во хмелю. От знойного латинского мачо, короля по жизни, исходило несомненное обожание. И его сердечный жар передался и ей, и она была преисполнена благодарности, ведь с ним она стала, наконец, полноценной королевой. И в этом-то волшебном, экстатическом состоянии подстерег ее неприятный сюрприз. Что-то совсем слегка сдвинулось, изменилось совсем чуть-чуть в его лице. Но этого рокового чуть-чуть хватило, чтобы улыбка только что согревающих, неотступно устремленных на нее глаз стала внезапно недоброй, иронической. И Виктор-Эммануил (такое царственное имя носил ее герой) уже исподтишка изучал ее как прелюбопытный образчик непроходимой человеческой ограниченности, душевной черствости. Как занятный пример вздорной стервозности, мелочности. И тут Айжан его глазами открыла, что не такая уж она и выдающаяся красавица к тому же. Мурашки пробежали вновь от затылка по всему ее позвоночнику. Но теперь уже не от волнующего мужского внимания. Ей стало невыносимо страшно, паника, готовая вот-вот прорваться наружу, обьяла ее. Тщетно попыталась Айжан вернуть еще совсем недавнюю уверенность, от которой было так тепло и хорошо. Лишь убедилась, что пустота внутри, похоже, обосновалась прочно. В растерянности она не понимала, что же делать. Она пыталась совладать со своим взглядом, против воли становившимся жалким, чуть не заискивающим, но добилась лишь того, что мышцы лица совсем свело и тело одеревенело. А Виктор-Эммануил продолжал свои садистские кошки-мышки и всю кривлялся, расплываясь в очаровательных улыбках. Он заглядывал настойчиво ей в глаза, проникновенно шептал комплименты. Он грубо, откровенно переигрывал, и его совсем не заботило, что его могут разоблачить.

Правда, открывшаяся ей в глазах и в сердце Виктора-Эммануила, ужасала, но ей не позволяли ни на миг отвернуться от мерзкого зрелища. В ускоренном режиме, почти в одно мгновение Айжан отсканировала то, что давно, оказывается, собирал на нее гнусный предатель, зачем-то изображавший пылко влюбленного. Она вновь увидела всю задетую ее высокомерием прислугу в их дворце и во

всех ресторанах, которые они вдвоем посетили, во всех магазинах. Она чужими ушами слышала свой вечно недовольный голос, она впервые со стороны оценила свою манеру цедить слова, когда обращалась к нижестоящим. И как старательно прятала натянутость в общении с высокопоставленными особами. Узнала и свой скучный, пустой взгляд, когда родственник или подруга начинали вдруг делиться с ней радостью или бедой. И довольно смешную напыщенность, появившуюся, оказывается, неизвестно с каких пор, с какой повествовала о собственных успехах. И многое-многое другое... Она как под увеличительным стеклом видела себя в издевательски учтивом и необычайно зорком взгляде его глаз и потрясенно обнаружила, что, и превратясь в леди, даму из общества, не перестала быть вздорной, тщеславной куклой, которая все никак не перестанет суетиться и прыгать выше собственной головы.

Ее грандиозный триумф был мыльным пузырем, и вот он лопнул. Облезлой, растресканной позолотой обернулся сияющий ореол, который только что слепил глаза. И она все продолжала смотреть против своей воли на скособоченного, бедного уродца, которым обернулся ее мир, где еще совсем недавно ей было так уютно и так славно. Даже в этой малости милосердия — на миг отвести глаза — ей было отказано. На прощание какая-то сила вздернула ее голову и заставила до рези в глазах вглядеться в свое развенчанное божество — ей отныне не принадлежащего мужчине. Не было, оказывается, никакого киношного красавца с вычурным, странным именем Виктор-Эммануил. Айжан узнала двоих молодогов из гадкого сквера, теперь уже вполне приветливо и словно даже чуть сочувственно улыбавшихся ей.

Когда она пробудилась от своих диких грез, жених все так же увлеченно продолжал что-то говорить. И он очень удивился, когда, нервно перебив его на полуслове и сумбурно, невнятно пробормотав про внезапную головную боль, девушка сбежала от него домой.

Едва дождавшись заветной минуты, когда дверь ее спальни захлопнется за ней, Айжан рухнула на постель и поглубже зарылась лицом в подушку. Ни мыслей, ни чувств и ничего вообще в ней уже не оставалось, и только это и было ее спасением. И за это, пожалуй, стоило поблагодарить проявившего напоследок долгожданное милосердие неведомо кого.

Этот пожилой мужчина любителем праздных прогулок не был, он вообще в последние годы превратился в домоседа, предпочитающего всему на свете газеты и телевизор. Но он изрядно прошелся по жару, и сулящий прохладу укромный скверик показался ему сейчас заманчивым. Это был крупный

и сильный, еще импозантный мужчина, у него было значительное лицо с чуть выпяченным властным подбородком. Хотя скрывался за всем этим внушительным фасадом слегка попивающий брюзга и домашний тиран. И то, что он был неплохим математиком, ровным счетом ничего не меняло. Время науки, а значит, его время, вышло, и с неосознанным удовольствием он подмечал приметы того, что эта отвергшая его новая жизнь — сама весьма порченый, сомнительный продукт. Привыкший к поклонению женщин, к ощущению избранности, какую давала причастность к науке, он не замечал, что напоминает примадонну, которая презирает и побаивается молодых прытких конкурентов, но, однако, потихоньку свыкается с мыслью, что ее уделом станут домашние тапочки, всклоченная, растрепанная голова да скромные радости битв на коммунальной кухне. Но сегодня Нариман был в приподнятом настроении, он возвращался с собеседования в одном частном вузе, где ему обещали работу. Он выбил из пачки сигарету и с наслаждением затянулся. «Нет, что за китч. Напихали уродцев, совсем никто уже ни за что не отвечает», — лениво разглядывая новых обитателей сквера, думал он. Тень насмешливой улыбки почудилась ему в глазах сидящего прямо в траве крохотного мальчугана в тюрбане. «Я, кажется, становлюсь не в меру впечатлительным, что за ерунда...» — но он не успел додумать, поскольку сквер снова принялся за свое. Грудь Наримана взорвало волной скорби, жалости и любви.

— Ах, бедный мой брат... Ертай, что же, ну что же с тобой произошло... Зачем же так чудовищно все сложилось... Дурак я, дурак, ну почему не спас. Ничего теперь не воротить, не исправить. Брат, ах, что же я натворил? — Он бормотал бессвязно, он был захвачен врасплох чувством, которое налетело так неожиданно, без каких-либо внятных резонансов. Он морщился и кривился и все мотал головой, будто хотел отпугнуть мошкарку, и покачивался из стороны в сторону, едва ли ведая, что с ним происходит. Вот ведь очень даже занимательный, любопытный штрих: никакого брата Ертая и в помине у него не было. Только ничего это обстоятельство сейчас почему-то не значило. В глубоком исступлении, в каком он сейчас находится, когда разом, безжалостно оголили вдруг его сердце, невыносимая тоска и жалость по давно ушедшему другу юных дней; любовь, какой он не испытывал ни к одной из своих женщин и ни к одному из детей, прошла его сердце с сокрушающей яростью, точно в первые дни творения, когда только зародилась любовь на земле, не успев еще стать чем-то приятным и необременительным. А ведь он забыл этого давным-давно ушедшего юношу.

Ертай не был ни на кого похож — он нес в себе надежду и праздник. И ни один из встреченных им на своем веку даже и гораздо более умных, образованных и умело подчиняющих обстоятельства своей воле людей не олицетворял всем своим существом такую любовь и упоение праздником жизни. И кто еще мог бы отыскать этот праздник на дне самой унылой, безнадежной лужи! Он был талантлив, и это ощущалось сразу и бесспорно. Но главным и ценным было другое — свет и тепло, шедшие от всех разом его свойств и талантов. Ертаю невозможно было поделить на составные элементы, что, как масло и чугун, непримиримо выкипают, не желая признавать друг друга, как происходит это с большинством собратьев по разуму. Оба выросли в провинциальном городке, где благодушное оцепенение перерастает порой в сдавленный ужас чувства, что безглазая, немая стена высится прямо перед твоими глазами. И лица, убаюканные этой колыбельной размеренностью, словно бы сливались с окружающим ландшафтом. А в Ертае кипели непонятная сила и восторг и никак не давали ему покоя и передышки. Однажды они вдвоем отправились на речку и наловили полное ведро окуньков. Нариману вдруг явственно и взволновано припомнились мельчайшие детали их далекой беззаботной вылазки. Он снова видел крепкую загорелую спину друга и длинные бороздки, которые чертили по ней струйки пота. И бесшабашное озаренное выражение, вспыхнувшее внезапно в его лице. «Пошли, ну идем же, давай, давай», — не слушая его расспросов, твердил Ертай. Не в силах устоять против нетерпеливого, властного напора, непонимающий и заинтригованный Нариман быстро подхватился и пошел за приятелем. На центральной улице, где располагались местный базар, пара магазинов и контор, Ертай принялся заворачивать по три-четыре рыбешки в газетные листы и, подходя к прохожим все с той же настойчивой, не принимающей возражений интонацией стал буквально впихивать им в руки эти свертки.

— Берите, берите, да берите же.

Прохожие испуганно шарахались от него, но Ертай не оставлял им свободы маневра, и неспешно бредущий по своей надобности люд вдруг обнаруживал, что ненормальный парень успел уже уйти вперед, а кулек с трепыхающейся рыбой остался в их руках. Этот загадочный напор и азарт вмиг захватили Наримана, тогда совсем еще юного, открытого всякой радости и проказе, и он тоже кинулся заворачивать в газету и совать в незнакомые руки их скользкий веселый летний улов. Он снова въявь видел тот удивительный, ни на что не похожий свет, каким горели глаза друга. Казалось, Ертай не за-

мечал всей этой поднятой им вокруг кутерьмы, не видел и его, Наримана, но упоенно подчинился звукам, бог весь откуда доносящимся только ему одному, и видел, должно быть, перед собой картины иной реальности, что значила для него неизмеримо больше, чем весь плотно обступивший и назойливо тычущий в свою омерзительную бедность мир. Позже они оба стали студентами столичных вузов, и для Ертая началась его самая счастливая пора. Всегда прекрасно и неповторимо студенчество, но у большинства это счастье все же скорее биохимической природы и многим обьязано еще и тому, что жизнь пока не познакомила их со своим коротким поводом. Ертай же наконец дорвался до праздника, для которого он, собственно, и был создан. Он сделался запойным посетителем городских библиотек, и если книга попадала ему в руки, то нипочем уже было его не оторвать, не растолкать. Войдя в настоящий транс (транс было единственное состояние, с каким он встречал любое из чудес жизни), он глотал страницы, издавая порой сдавленное, невнятное восклицание, рубя ладонью воздух, а потом обрушивал на друзей бурю своих впечатлений, разворачивая требовательно собеседника к себе за плечи, если тот казался недостаточно внимателен, потому что чудо жадно просилось из него, искало выхода. Потому что чудо в столь юном возрасте еще невозможно вынести в одиночку. В первый раз попав на балет (а это было «Лебединое озеро»), по возвращении он растолкал мирно спящих товарищей по общежитию и под общий хохот и шуточки своих гораздо менее восторженных соседей принялся изображать танцующих лебедей, большой и громоздкий, очень смуглый, похожий скорее на медведя среднего веса, но всей душой слившийся в этот миг с невиданной воздушностью и изяществом зачарованных злым кудесником принцесс. Это был живой и каждую минуту kloкочущий вулкан, водопад, и он не знал, куда деть всю ту не вмещавшуюся в него любовь и упоение роскошью жизни, которую другие, нормальные люди соглашались принимать только дозированно и оттого так распорядились этой жизнью, что ничему неумному, чрезмерному в ней не находится отныне места. Это был самый щедрый и расточительный на участие из друзей и просто мимоходом встреченных по дороге спутников, но, разумеется, судьба такого несурзадного переростка в мире существ куда более скромного калибра ни за что не могла сложиться удобно, легко и пристойно. Ну никак не мог этот порывистый и безрассудно рвущийся навстречу самому сердцу урагана, который он угадывал за маской благопристойности и банальности, надетой жизнью, — ну не мог он взять да уцелеть. Ибо он не склонялся благоразумно, а наивно и простодушно

сам подставлялся, напрашивался: «Ну вот он я, заметь же меня, выйди скорее». Так вдруг открылось почему-то Нариману, оглушенному, сбитому с толку избравшими его своей очередной мишенью каменными сидельцами. Мысли и чувства его сейчас были в хаосе, смятении, душа, лишившаяся покрова, была охвачена лихорадкой. И прозрение приходило к нему вместе с нестерпимой болью, раскаянием и нежностью, точно бы он перестал быть земным существом. Точно предстал уже пред неким высшим судом, где придирчиво изучают и на безошибочных весах взвешивают движение мельчащих пылинок.

— Прости, прости меня, как же я виноват, ах как виноват. Я упустил тебя из виду, позволил тебе пропасть, а ведь ты был лучшее и яркое, что я встречал за всю жизнь... — Никакой такой сумасшедше-преувеличенной не была их юношеская привязанность. И братьями они друг друга никогда не считали. У Наримана была своя собственная, достаточно насыщенная и замечательная юность. В ней было сколько угодно приятелей и увлечений помимо Ертая. И если Ертай все же занимал среди них особое положение, то лишь в силу их землячества и детских воспоминаний. Так что Нариману не дано было понять суть этой странной жестокой игры, что затеял с ним не к добру пробудившийся, развоевавшийся сквер.

— Что же остается делать, если иначе до вас не достучаться. Но город ваш слишком все-таки хорош, чтобы не оставить вам шанса наконец воспользоваться всеми возможностями и преимуществами великой милости родиться людьми. Это ведь в вашем человеческом мире было сказано: «Чтоб добрым быть, я должен быть жесток». А потом, разве сам ты не находишь, что прелесть ведь до чего отличная игра?

Им, должно быть, и в самом деле было чрезвычайно забавно и весело, потому что не сумели высидеть до конца в тени, не утерпели, высунулись на мгновение, и слова их оттого дошли до Наримана. В его воспаленном и спутанном сознании они прозвучали точно его же собственный внутренний голос. Но еще одна дополнительная странность ровно ничего не могла добавить к нескончаемой череде странностей, которыми он был сейчас всецело поглощен. Сейчас в его памяти вставали их редкие встречи уже после того, как студенчество закончилось и отличник Нариман зацепился в одном из столичных НИИ, а Ертай, учившийся всегда неровно, вернулся домой, в свою область. Прошло где-то лет семь, когда Нариман в очередной раз наведался в родные края и как обычно зашел в гости к другу. Расхожая романтика поры их юности, когда так манила профессия геолога, не обошла стороной и Ертая, и ничего неожиданно

данного не было в том, что свою довольно неустроенную, походно-полевую жизнь он считал великой удачей. К тому же очень скоро он женился. Любовь такой пылкой, восторженной натуры, естественно, не могла быть меньшей одержимостью, чем все другие ее проявления. И, было время, счастье его казалось нерушимым и полным. Но сидя сейчас за столом, Нариман замечал придавленные тщательно скрываемой горечью плечи друга и взгляд, то и дело подергивавшийся индевелой коркой безучастности, будто наливавшийся тяжестью собственных дум. Но потом он спохватывался и, с усилием разжигая в себе воодушевление, продолжал свой рассказ о том, что берет уроки у одного замечательного домбриста, и тут же принимался демонстрировать, как великолепно звучат кюи Даулеткерей и Курмангазы, которых он доньше толком-то вовсе, оказывается, и не слышал. Куда-то очень далеко уходил в этот миг его взгляд, словно он пытался уйти вслед за мелодией в сияющие пределы, где царит одна гармония и куда не пробраться невзгодам. В тот год несчастья целым роем налетели на Ертая, накинудись прямо-таки с голодной остревенением, точно кому-то во что бы то ни стало понадобилось стереть яркую, доверчивую улыбку с этих темных крупных губ, обведенных четкой каемкой. Старого начальника перевели, а с новым как-то с ходу начались трения, и бесхитростный, как ребенок, прямой Ертай упорно и горячо спорил с ним на глазах у всего коллектива. Все же он сумел уяснить в какой-то момент, что житья ему на насиженном месте все равно больше не будет, и списался даже с другом, сердечно зазывавшим его к себе на Камчатку. Но тут отцу вздумалось, не дожидаясь сына, починить крышу. Работа была пустячная, а отец еще был крепок и полон сил, но он оступись и упал, да еще спиной ударился о край колодца, поставленного в огороде. Теперь он лежал бездвижно, а сестра ждала второго ребенка, и Ертаю пришлось отказаться от отчаянно необходимого ему предложения. Он продолжал ходить на службу и молча, уткнув в пол глаза, выслушивал сладострастные начальственные разносы, пытался искать разные случайные подработки и безнадежно тосковал по маленькому сынишке, которого почти не видел... Через год Нариман обнаружил, что друг превратился в типичного тусклого обывателя с периферии, который не слишком старательно делает вид, будто слушает столичные новости и слухи. Нариман чувствовал неловкость, а заодно досаду на себя, что затеял этот никчемный, неуместный визит. Очевидно было, что старая дружеская связь истлела окончательно и только непонятная инерция предрассудка, будто видеться с друзьями детства всегда здорово и необходимо, поставила их обоих в тягост-

ное положение, когда говорить совершенно не о чем, а уйти поскорее вроде тоже неудобно. Нариман уже прилично зарабатывал к этому времени и заставил Ертая принять деньги. Тот было восторженно, уставился Нариману в лицо с каким-то непонятным выражением, потом перевел взгляд на зажатые в руки бумажки и снова потух и довольно равнодушно поблагодарил. Еще через два года пришла весть, что Ертая не стало. Известие это Нариман встретил без грусти и без удивления. Умер тот, кто, в сущности, уже давно перестал быть живым. Да и некуда было втиснуть печаль о заурядном провинциальном неудачнике. Жизнь Наримана была заполнена до отказа: любимая работа, любимые женщины, коллеги и друзья и другое прочее в изрядном количестве.

С сознанием Наримана между тем творилось что-то совсем из ряда вон, оно словно бы перестало ему принадлежать. Оно превратилось в этакий белый экран, и кто-то проецировал на него ужасик, вычитанный однажды в книжке, валявшейся у сына на кровати. Он обратил тогда внимание на аляповатое слабоумие «жуткого» рисунка, украшавшего обложку, и с внезапным раздражением пожелал узнать, чему же отдают предпочтение нынешние сопляки, и осилил два или три рассказа, которые поначалу вроде даже привлекли замысловатой непривычной пряностью, но тут же, однако, и утомили. Один рассказ даже зацепил слегка, так он раздражал нагнетанием бессмысленного мрака. Отвратительная история нет-нет да всплывала самопроизвольно откуда-то из закоулков подсознания. Но ведь сколько житейского мусора и без того скапливается в мозгах. Вот и это было сродни назойливому жужжанию дешевого попового мотивчика, от которого иной раз не можешь избавиться весь день. Он и сейчас понимал, что история о зловещем фотоаппарате, чей щелчок отправил младшего брата героя в нескончаемое путешествие через убийственную, абсолютную пустоту — натуральный бред, так сказать, на потребу. Мальчик попал в измерение, где время тянулось совершенно иначе, и когда вернулся, выглядел изможденным, дряхлым стариком, а в глазах его навечно застыла пустыня, растянувшаяся на целую жизнь.

Но сейчас этим доверчивым, открытым и радостным несмышленьшим, отправленным напрямик в разверстую бездонную пасть «Ничто» на воображаемом экране, предстал друг его детства Ертай, и та от нечего делать прочитанная дурацкая история обрела вдруг ужасающий смысл откровения. Сам же он и был тем старшим, но тоже ничего не ведающим о хитро расставленных капканах жизни братом, который все не мог взять в толк, куда же делся внезапно верный друг его веселых игр. Но, допустим, и знал бы, что с того? Что бы это изменило? Разве мог он

отвратить западню, нетерпеливо и алчно нацелившуюся на мальчика, что играл и пел, оказывается, на самом краю пропасти?

Ледяные иглы пронзали, нещадно кололи его тело; ледяные руки рвали его нутро. На него в упор, не открываясь, глядело изнуренное, иссеченное морщинами пергаментное лицо, невообразимым, диким образом продолжавшее оставаться лицом ребенка, его горячо любимого братишки. На этом пепельно-сером лице, досконально запечатлевшем всю карту ада оставленности, безжизненной пустоты, по-прежнему торчали хорошо знакомые, оттопыренные и по-детски прозрачные уши. И хрящик короткого, вздернутого носа был все тем же податливо-мягким. Он так любил мять его пальцем, наивно полагая это уникальной, необычной особенностью своего брата, и эти выцветшие, взрослой мукой наполненные глаза были тем не менее совсем по-детски испуганно вытаращены с готовностью вот-вот уже заплакать. Но Нариман с его новой, невероятной обострившейся интуицией угадывал за всем этим еще более глубокое, атавистическое чувство. Оно подсказывало, что плакать ни в коем случае нельзя. Плакать — это привлекать к себе внимание, а надо затаиться, стать невидимкой, ибо затянувшее этот угрюмый, мертвый мир белесое марево на самом деле разумно и активно и оно впивается в мальчика взглядом василиска и в хищном поцелуе припадает к некой точке на его шее, выцеживая медленно и верно все то, что некогда делало его человеком.

Это была, на самом деле, специально для него так живописно и жестоко рассказанная история его друга Ертая, который пересек невозможно долгую пустыню отчаяния, скорби и одиночества. И пустыня эта выпила его некогда самозабвенно влюбленное, восхищенное чудесами божьего мира сердце. И его пустотелой оболочке незачем стало дольше задерживаться здесь. Вслед за затерянным в неохватном океане не-жизни и не-смерти ребенком Нариман прошел лишь малую часть его скорбного маршрута. Но кто-то устроивший себе сегодня за его счет неплохую забаву вздернул его на дыбу истерической сверхчувствительности, а она оказалась слишком проницаема для таких чувств, как раскаяние и неизбывная вина, сколько бы ум его ни сопротивлялся, доказывая себе, что вины его здесь нет, а есть просто жизнь. Та, что никогда нас с вами не спрашивает. За время этой объявленной ему неизвестно за что войны Нариман растерял присущую ему до того солидность и невозмутимость. Он задыхался и даже конвульсивно подергивался и, сорвав с шеи галстук, комкая, машинально утирал им лицо и мокрые глаза, но он ничего не замечал: перед его глазами все

время вращалась черно-багряная воронка, из которой доносились протяжные низкие и глухие голоса, перемежаемые злобно-мстительными возгласами, словно то был голос эринии и гарпии-совести. Да, можно было бы задаться вопросом, зачем, за каким-таким обычному профессору, худо-бедно пристойно прожившему свой век, деля его потихоньку между наукой, женщинами и прочими вполне нормальными радостями, — а если и задавшемуся риторическим вопросом о смысле, то исключительно из интеллигентского снобизма, вскользь, — зачем же именно ему в лоб вlepили сегодня нелепый по сути вопрос? Можно бы. Да только на него было ответчено загодя, вполголоса, и скучно.

— Все равно более подходящего среди вас не подобрать. Выбор уж больно, знаете, скудный.

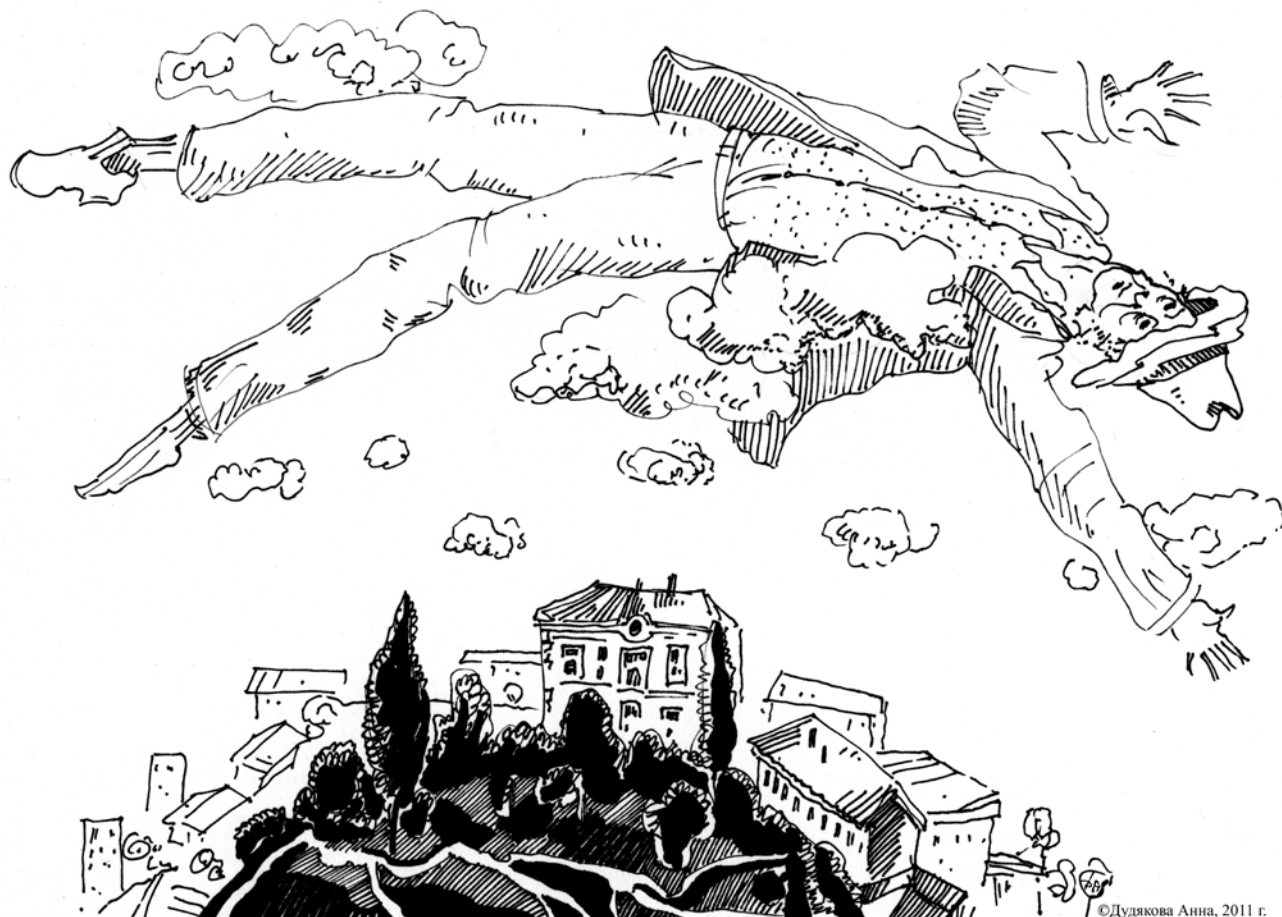
Но этой продуманной, небрежной насмешки Нариман уже не услышал. Одна из впившихся ему сердце игл оказалась роковой, особенно пронзительной, раскаленной, как бревно толстой. Она разворотила что-то там в его груди и в образовавшуюся брешь легко и непринужденно вытащила безвольно подчинившуюся душу.

— Ах... Как прекрасно... — восхитилась эта освобожденная душа, купаясь в безграничной умиротворенности и оглядываясь из поглотившего ее сияния на оставленную внизу жизнь, такую игрушечную, несерьезную; на крошечных людей с их крошечными заботами. Они двигались, как заводные куклы, и смотреть на эту механическую, сдавленную, словно кем-то заданную суету было, право слово, ни к чему.

Вначале душа просто созерцала белоснежные, просвеченные солнцем громады невозмутимо проплывающих в вышней синеве облаков, с той же невозмутимой медлительной грацией меняющих свои очертания, под конец совсем исчезая, растворяясь в голубом небесном шелке. Затем надолго замерла на самом краю обрыва, с которого неистово, отвесно срывался в бездну водопад, взволнованная зрелищем не знающей удержу мощи. Но жемчужно-льдистая взвесь, повисшая над этим неистовым бурлением, совсем не желала признавать столь очевидного грохочущего и грозного натиска и ярости. Матовый жемчужный полог веял вышним холлом и покоем, он был сродни покою отстраненно, царственно вззирающих на кипящую далеко внизу суету белоснежных гигантов. Легкая тень в закатный час ложилась на самочинно произрастающую городскую траву. Каждая неприметная былинка и каждый то ли цветок, то ли сорняк представал очарованной соглядатайке не как особая хрупкая драгоценность и тайна. Какая-то еще, не сразу доступная и явная во всем этом и за всем этим была красота и магия. Она легко прикасалась невидимы-

ми тонкими пальцами, и от этого сразу спадал покров обыденности, являя давно забытый лик мира. Что за тихие глаза людей, следящие не за изменчивой и обманчивой пестротой. За чем-то таким, чего глазами не углядеть. И нужны были эти глаза, лишь чтобы излить вонне негу и ласку, сдержан-

ную и затаенную ласку. Свидетельствовать, что все узнано и все обретено и настали, наконец, мир и полнота. А потом эта новорожденная душа нашла и слилась неудержимо и, как фейерверк, ярко с той, по ком безмерно тосковала. И наступила вечность, и кончилась история.



©Дудякова Анна, 2011 г.



Георгий ПРЯХИН,

директор издательства

«Художественная литература»,

академик Академии российской словесности

Шуга

Не сразу стал я читать эту вещь. То придвигал ее к себе, то вновь отодвигал на дальний конец стола. Какая-то опаска, легко оправдываемая вечной нехваткой времени, сдерживала меня. Да, в общем-то, вполне понятно: мой старший друг, прекрасный писатель, живой — слава богу, живой — классик Абдижамил Нурпеисов попросил прочитать литературный экзерсис его старшей дочери. Сыновья писателей, даже очень больших, редко выхаживаются в настоящих писателей. А уж дочери, наверное, и того реже. А если учесть, что у моего старшего друга, при всей совершенно неазиатской, скорее русской и даже прарусской прозрачности, *пряности* глаз, взгляд проникает в тебя до самого дна, то... Мне трудно было представить, как придется выкручиваться, если вещь эта, названная с детской безыскусностью «Повесть», — это не жанр, а действительно название, наподобие шукшинского «Раскаса», — мне не покажется. Но на подмосковной даче, когда вылезает наконец-то из недельной нервозности, у любого москвича расслабляются даже инстинкты, в том числе и инстинкт самосохранения.

Страничка попала под руку, сама просунулась, благо что на ней не было ни имени автора, ни этого сакраментального обозначения. За нею по-кошачьи скользнула другая, третья... И, в общем-то, в какой-то момент я и позабыл, что передо мною дочка писателя и даже какого писателя.

Да, она Нурпеисова по крови. Но не по стилю. Не по строю мыслей и даже не по строению образа. Ассоциативная, полная подспудных литературных и не только литературных иносказаний, рафинированно-интеллектуальная проза. Если и есть в ней, в этой прозе, что-то женское, так это почти болезненная обостренность чувств. Когда осязаешь не кожей, а — содранной кожей.

У этой «Повести» нет ориентальной родословной, в ней, скорее, чувствуется западная, прустовская традиция, нить. Начитанность автора даже замедляет его перо, как замедляет полет пчелы избыточное разнообразие цветущего луга. Искусшен-

ность мысли, мне кажется, в данном случае, вопреки общепринятому, влечет за собой искусственность слова. Наберитесь любопытства: вы будете читать — если въедете всерьез — доктора философии, сменившего стиль общения с окружающим — да нет, скорее, со своим внутренним — миром.

Старшая дочь... Ставшая почти в одночасье единственной: мой друг Абдижамил Каримович, «Абеке», как его по-сыновьи зовут в Казахстане, и его супруга Ажар (знаменитый химик, доктор химических наук) совсем недавно, с короткими промежутками времени, потеряли двух младших дочерей.

Одна из них — художница, после которой в семье остались юный Карим и ясные-ясные, в духе отцовских глаз, картины на стенах.

Представляете, какая ноша лежит на сердце у старшей? Может, это она, ноша горькая, и сублимировалась в «Повесть», которая тоже печальна, как и все настоящие повести на свете?

Химия слова — она тоже бывает целительной, хотя при этом практически всегда — горчит.

«Кровь и пот» — так называется культовая, переведенная на многие языки мира фундаментальная книга Абдижамила Нурпеисова, за которую он в свое время получил Государственную премию СССР, и над новой, канонической, как он выражается, редакцией которой работает до сих пор.

У дочери — другой канон. Другая, не классическая, хотя тоже исполненная внутренней, подспудной страсти, партитура. Но плата и в этом случае — нешуточная.

Отец пишет по-казахски. Дочь пишет по-русски. Как минимум две культуры питают ее слог и мысль — тем легче, родственнее отзывается на них душа.

Шуга — зовут эту женщину. Я не знаю, что значит это старинное слово по-казахски. Но хорошо помню, что означает оно по-русски. «Шуга» — это когда по реке идет первое крошево льда. Наберитесь любопытства: возможно, в сегодняшней литературе рождается новое имя. Фамилия известная, а вот имя — совершенно новое.



Борис ЛУКИН



Борис Лукин — поэт, переводчик, литературный критик — родился в 1964 году в Нижнем Новгороде (ранее г. Горький). Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (семинар поэзии Е. М. Винокурова). Еще студентом создал семью и стал отцом троих детей (сейчас — шестеро). Работал в Бюро пропаганды художественной литературы СП СССР, был преподавателем русского языка и литературы в одной из московских школ, редактором московских районных газет, несколько лет — заместителем главного редактора газеты «Российский писатель» Союза писателей России.

Борис Лукин — автор книг стихов «Понятие о прямом пути» «Междуречье. Венок сонетов», «Долгота времени», «Воздаяние. Три поэмы» и многочисленных публикаций в российской и зарубежной периодике.

ИЗ САХАЛИНСКОГО ЦИКЛА

*В голове и на бумаге нет ничего, кроме Сахалина.
Умопомешательство. Mania Sachalinosa.*

А. Чехов

* * *

...Я тыщу верст один проехал
сквозь остров весь,
как поселенец-неумеха
с тепла — к зиме;
от южных сопok большевичьих —
(могуч конвой!) —
до рыбарей наивных вечных
времен сколот...
до поселений древних нивхов
среди болот...
до братьев трех
и стойких дивчин
Татарских вод.

...То брюхо, то хребет дорога
скребла с хвоста,
снегов созревшую молоку
гнала звезда.
«Там с неба камбала свисает,



травя зверье» —
мне это древнее сказанье
дарил Восток,
чтобы шептал,
припоминая,
как жизнь свою:
— Сахалиноза (чью-то) манию
мне здесь привьют.

* * *

Дороженька из Ноглик в Оху —
не первый сорт.
Смиренье, что копил по крохам,
порастрясет.

По лево-право марь за марью,
горелки, лес;
и вся вахтовочка кемарит —
один замес.

Я им завидую...
А в небе
парят над-вдоль
залива Ныйского творенья:
богат восток
хлопчато-тканой пеленою
и бирюзой;
и все летит само собою
под наш возок,
в котором на узлах и сумках
уснул народ:
кто видит сон,
кто ладит думку —
про «жизнь идет».

МЕДВЕЖЬЯ РЕКА

Вода ушла под плавники,
под камни,
трущиеся брюшья,
под плодоносные пески,
став вязкой жидкостью горючей.
Так нагревается река
от прущей друг по другу рыбы.
Так яхты мира ждут регат,
и паруса от нервов — дыбом.

Шипенье пенящихся тел,
влеченье к таинству горбылью...
Начало, жаль, я проглядел..
но не медведи... те — здесь были.
Они врывались поперек,
движение жизни — не помеха,
трепало их, как стебелек,
и выдох рыб бежал по меху.

Вгрызались,
жадничать не смев,
в оранжевую
вечность,
в тягу
к рождению,
в звездную купель
вторгаясь,
в чешуи изнанку.
И понял я — у них в горбах
бьет плавниками, трется молодь.
Не слышит этого рыбак,
не видит,
жизни новой полон.

А берег цвел от медвежат,
и каждым камушком дрожал.

Сахалинский залив

...Двух нивхов — зрителей моря, сетей
и рыбы, входящей в окружье хмельное, —
я долго смотрел... и тогда по воде
мой разум ушел, как медведь, на зимовье.

Что толку в ту даль по полжизни глядеть,
коль даже без женщины столько не выжить?
А может, они, пробежав по воде,
смекают, что в говоре рыбьем им слышно.

Куда мне понять... Они тысячи лет
вбирали в себя эту тайну земную.
Хоть сладостно вьюги поют по зиме,
но вжисть не понять эту рыбу немую.

Сахалин, сентябрь 2010 г. — Москва, июнь 2011 г.

Дмитрий БОБЫШЕВ



Продолжение.
Начало в № 7–12 за 2009 г.,
№ 1–12 за 2010 г., № 1–6 за 2011 г.

УВИЖУ САМ

ЧЕЛОВЕКОТЕКСТ, КНИГА 3

Рыцарь изрезанного образа

Это было в самом начале моей урбанской оседлости. Вернувшись домой, я обнаружил под дверью толстенный почтовый пакет. Он был так же тяжел, как и толст, и я не без напряжения внес его в дом. Вскрыл ножом упаковку и немедленно превратился в счастливого обладателя двухтомного альбома, содержащего фотографии, заметки и, главным образом, цветные репродукции работ Михаила Шемякина. Качество печати было изумительным, формат огромным, бумага великолепной, и ценность двухтомника стремительно подскочила, когда на авантитуле я увидел такую надпись: *«Уникальному и блистательному Поэту нашей эпохи — Дмитрию Бобышеву с почтением от почитателя Его Дара — Миши Шемякина. 1986. NY».*

Подпись была с такими же невероятно шикарными росчерками, что и реверансы эпитетов, расточаемых художником в мою честь. Такая пышность меня даже смутила, но с первых перелистанных страниц я нашел ей объяснение в театральном артистизме жеста, в княжеской широте, увидев фотографию всадника в черкеске с газырями. Это был отец-кавалерист, герой двух войн, Гражданской и Отечественной, с иконостасом орденов за свои героизма-злодейства, когда он совершал лихие набег по тылам неприятеля, вырезая полевые госпитали. Мать — танцовщица и актриса, умыкнувшая чуть ли не прямо со сцены бравым кавалеристом, впоследствии — комендантом Кенигсберга. У их сына Михаила сложилась своя карнавальная круговерть в судьбе, выносившая его то в места скорбей, то к

звездам: художественное училище, дурдом, монастырь, Эрмитаж, ранняя известность, головокружительная эмиграция, слава... По эксцентричности стиля в жизни и живописи он стал одним из соревнователей Сальвадора Дали, следуя за гениальным безумцем по пятам.

Все же умел он смиряться — как, например, перед московским иератом Шварцманом, уйдя к нему в ученики и, как показало дальнейшее, в непослушники, по каковому поводу Михаил Матвеевич ревниво ворчал.

О первой встрече с Шемякиным в Ленинграде я рассказал в более ранних главах этого повествования — встреча была краткой, а память о впечатлениях — яркой и долгой. То же могу сказать и о второй встрече на мегавыставке «Галерея галерей» в огромном зале на Манхэттене в первые месяцы моего нью-йоркского, тоже карнавального, существования. Должно быть, это был музей Гугенхайма, потому что запомнился высоченный холл на все этажи, поделенные на выгородки для отдельных галерей, которых в сумме было не десять и не двадцать, а за сотню, и каждая пестрила на свой лад. На первых этажах восприятие, защищая себя от яркости, тупело поневоле, глаз «замыливался»...

И вдруг я оказался в выгородке галерейщика Нахамкина, который специализировался на советских нонконформистах. Там висели Целков, Рабин, стояли на подставках ажурные черепа А. Нея, а в середине сидел на стуле живой Шемякин. Радостно было, что он сам меня признал, мы тепло поздоровались, поговорили и... все!

И вот теперь — этот могучий подарок, который, судя по исправлениям на картонной упаковке, переадресовывали трижды, прежде чем доставить в мои руки. Я поблагодарил щедрого мастера по телефону, и он пригласил меня при случае посетить его пентхаус в нью-йоркском Сохо. Этот район нижнего Манхэттена еще недавно считался не очень хорошим, но к тому времени стал улучшаться: пошивочные мастерские стали исчезать, и, пока цены не поднялись, недвижимое южнее *Houston-street* (по нью-йоркски Юстен) бурно раскупалась под художественные ателье и галереи.

Здание, как и вся улица, было мрачно-безлюдно и запущенно, но лифт действовал. Я вознесся на самый верх, выйдя из раздвижных дверей прямо в огромную студию, и у меня разбежались глаза от обилия разнородных, часто экзотических предметов, которые стояли, висели или громоздились повсюду. Прямо на полу, например, находилась собачья будка, а в ней лежал, высунув разбойничью морду с пятном на манер синяка под глазом, дряхлый и уже не опасный бультерьер-ветеран по кличке Урка, переживший своего брата-бандита, как пояснил хозяин.

Он помог мне освоиться в пестроте этого протянутого вширь и вглубь помещения, давая пояснения, как экскурсовод:

— Это вот — египетская мумия. Я решил их коллекционировать.

Он приподнял из ящика некий предмет, ссохшийся, легкий, напоминающий по силуэту человеческое тело, с торчащими из сморщенного коричневого личика зубами.

— Настоящий засушенный мертвец! А почему не в пеленах? Они, кажется, своих фараонов пеленали...

— Ну, этот — не фараон, а какой-нибудь простой бедуин. Наверное, сбился с пути во время бури, его и засыпало... А песок — он консервирует!

В ларе находились еще какие-то подобные экспонаты, но с меня хватило и этого.

— А я люблю мумии, они — вечные. Вот и в моих натюрмортах кусок хлеба, огрызок яблока — все мумифицировано...

Это я видел в них и раньше, когда рассматривал альбомы с Ольгой, но тут впервые получил объяснение от самого автора. Станным образом он сочетал элегантное и безобразное... Но линии были безупречны, а краски, как умно подметила Ольга, соответствовали хроматической гамме, заданной высокой модой сезона. Впрочем, яркость была искусно пригашена легкой сеткой «старинности», нанесенной на поверхность его литографий и живописных работ.

На большом мольберте в самом центре ателье стояла неоконченная картина — женская фигура,

искаженно проступающая из совсем иных, землисто-трупных тонов. Художник пожаловался на галерейщиков:

— Не дают работать так, как мне интересно. Требуют то, что лучше продается. Хотят, чтобы я повторял те же приемы...

В ту пору его начала интересовать скульптура. На стенах висело несколько барельефных отливок его натюрмортов. Бронза сообщала знакомым сюжетам особое благородство. «Вот где вечность, — подумалось мне. — Не в сушеных же трупах!» Будь я галерейщик, я б только это и требовал от художника. Но Шемякину уже хотелось монументальных форм. С гордостью показал он на бронзовый фрагмент — нос, прикрепленный к стене на видном месте.

— Это — подлинный Майоль. Дина мне подарила в хорошую минуту.

Имелась в виду Дина Верни, натурщица и наследница великого Аристиды Майоля, одна из парижских фей с метлой, на которой она и вывезла Михаила в Париж. Я услышал подробности от поэта Олега Охупкина, который был близок к «Шемяке». Мысль об эмиграции тогда страшила, отталкивала меня, и я написал стихи со слов Олега:

...и, зрелище вполне лака-баракино
(Лака-Барака — домовый художеств),
на Вест летящим видели Шемякина,
на кисточке верхом, ну и худой же!

Охупкин, между хоровым училищем и реставраторской ремеслухой, учился еще в Средней художественной школе при Академии, откуда, вероятно, и шло их знакомство. Он рассказал мне также о нечистой силе, водившейся в здании Деламота. Юные мазилки, в особенности перед экзаменами, дразнили домового, выкрикивая его имя во вьюшку в стене, куда привратник, по преданию, вставлял трубу от самовара. Откроют крышку, крикнут: «Лака-Барака!» и бегут опрометью.

«Ну и худой же!» — это я воспроизвел буквально слова Олега, ходившего провожать «Шемяку» в аэропорт в 1971-м. При нашей встрече в Сохо он выглядел сильным, уверенным в себя мужчиной в высоких сапогах и камуфляже. Его лицо молодого идола пугало теперь устрашающими шрамами — симметрично на обеих щеках. Такие же шрамы и так же симметрично красовались ниже локтей из-под закатанных рукавов. Это не было подобием дуэльных рубцов буршей — глубокие порезы явно были нанесены той же рукой мастера, что выводила элегантные линии его рисунков!



Я не сразу решился, но все-таки спросил: «Откуда шрамы?» Он пропустил вопрос мимо ушей, но потом заметил невзначай:

— Я ведь сумасшедший!

И тут же с восхищением заговорил «как петербуржец с петербуржцем» о Петре Первом. Мы с ним оба родились в иных местах, но именно Петербург, а не Ленинград нас действительно единил. Да, блокада, голод и смерть были ленинградскими, и в силу этого страдальческий ореол переносился на имя Ленина, большевику №1 никак не принадлежащий. Нет, для нас это был не город с советским названием, а город Петра, причем для меня-то в первую очередь — святого апостола, ставшего камнем, а для художника, вероятно, — город страшного, сумасшедшего, но и карнавального императора.

И тут Шемякин меня поразил, заявив:

— Я собираюсь поставить памятник Петру в Санкт-Петербурге!

— Где, где? — спросил я, подумав, что слышу бред.

— В Летнем саду, как раз перед его дворцом.

— Как это возможно?

— Я изучал... Когда я работал такелажником в Эрмитаже, я много бывал в петровских залах. Оставался вечерами, рисовал...

— Да, помню, там же — таинственная «восковая персона»! Ее то прятали, то выставляли.

— Да, и не только. Там — его гипсовая маска, которую он велел снять при жизни. Там столько всего, но держится в небрежении! Я сделал копию с маски и вывез ее сюда. Я нашел в мусоре это вот полотно в жутком виде. Восстановил его, отреставрировал, и оказалось — прижизненный портрет Петра!

Этот разговор имел важное для меня продолжение, и я к нему еще вернусь. Но сейчас на время прервусь, чтобы перенестись в будущее, которое казалось мне тогда невероятным бредом.

В нем уже все свершилось. Памятник воздвигнут, и я пишу о нем статью, которую отдам в философский сборник «Метафизика Петербурга». Чтобы не пропала она в ворохах перестроечной литературы, стоит ее привести здесь хотя бы в сокращенном виде.

Медный сидень

Многое рухнуло в империи в тот симметричный по написанию 1991 год: прежде всего, она сама — начиная с отваливающихся окраин и кончая пустым дуплом сердцевины. Развал может продолжаться, но дольше всего, наверное, продержатся имперская мифология и в особенности ностальгия по ней, потому что въелось силопоклонничество не только в низы нашего характера, но и в высокие образцы

духовности и культуры. Особенно это чувствуется на берегах Невы, в средоточии символических сил бывшей империи, в ее бывшей столице.

Там произошли два обнадеживающих события. Одно из них — возвращение городу «прекрасно-страшного», как звала его Зинаида Гиппиус, имени Санкт-Петербург. А мы-то десятилетиями, стыдясь навязанного силком прозвища, старались заменить его то фамильярным «Питер», то высокопарным «Петрополь». Ведь даже предреволюционное переименование в «Петроград» с его славянщиной было ошибочным. Оно оказалось предпочтением земного, пусть и царского, покровительства — покровительству небесному, свято-апостольскому. Такая словесная безвкусица и создала прецедент: если можно звать город именем одного властителя, можно называть и именем другого. По-своему заклала Петроград поэтесса-ведунья Гиппиус:

...Ты утонешь в тине черной,
Проклятый город, Божий враг!
И червь болотный, червь упорный
Изъест твой каменный костяк!

(А я в «Русских терцинах» хотел его засыпать океанским песком на толщу в километр, чтоб законсервировать до лучшего будущего! — Д. Б.) Теперь заклятия сняты, город расколдован. Множество диких уток остались зимовать в прудах и каналах. Люди вдруг запели на улицах, в садах заиграли свирели и флейты, на площадях загарцевали ряженные всадники и зареяла в воздухе вместе с трехцветными флагами какая-то надежда: нет, не быть сему месту пусту!

Другое символическое событие произошло еще раньше, в конце июня: новая статуя Петра Великого была воздвигнута в самой сердцевине города, в той умозрительной точке, куда, видимо, ставилась ножка циркуля его первостроителя, против стен Петропавловского собора в крепости. Если не считать многочисленных бюстов, это будет третьим полномасштабным памятником императору в его столице, причем памятником необыкновенным. В отличие от фальконетовского тяжело-звонко скачущего медного всадника или мерно цокающего растреллиевского кесаря этот сиднем сидит даже не на троне, а в обычном прямом кресле.

Более того, безо всяких монархических причиндалов вроде скипетра и державы, и не только без короны, но и без парика, устало стянув его с маленькой лысой головы, сидит этот верховный истукан России с выражением брезгливости, изнеможения и властной ненависти на темном лице...

Если растреллиевский кесарь являл образ победителя в зените незыблемой славы, а фальконе-

тов — революционного самодержца, исполненного вулканической энергии, то третьего мы видим в его поражении. Это уже не столько император, сколько старый голландский Питер Баас, корабельный прораб России в тот воображаемый момент, когда его верфь сгорела по нерадению, корыстолюбию и лености подчиненных, а то и еще хуже: подожжена, чтобы скрыть хищения, да и концы в воду...

На цоколе сидящей фигуры видна необычная надпись: «Основателю Великого Града Российского императору Петру Первому от итальянского скульптора Карло Растрелли и от русского художника Михаила Шемякина. 1991 год. Отлита в Америке». Здесь необыкновенно само утверждение о сотрудничестве двух отстоящих по времени почти на три столетия авторов: итальянско-русского придворного ваятеля Петра Великого и нашего современника, русско-франко-американского художника, но оно документально оправдано.

Исследователь и историк искусств Всеволод Петров в книге «Конная статуя Петра работы Карло Растрелли» приводит хроникальную запись: «Растрелли до 1719 года был у дела модели персоны его императорского величества, сидящей на великом коне». И далее он сообщает: «Стремясь передать точное портретное сходство, Растрелли в 1719 году снял с Петра гипсовую маску».

Вскоре после смерти Петра в 1725 году Растрелли создает уникальную, странную и страшную фигуру, сидящую в креслах, так называемую восковую персону. Для придания точного сходства с умершим скульптор использует все ту же маску, одевает фигуру в подлинную одежду Петра и снабжает ее двигателем устройством.

Вот эти-то растреллиевские выдумки — сидящая «персона» да маска с живого Петра — и являются его вкладом в соавторство с Михаилом Шемякиным. Художник использовал в своем замысле и то и другое, но, конечно, внес в бронзовую фигуру свое пропорциональное видение и свою психологическую, даже можно сказать, историософскую трактовку человека и императора Петра Великого.

Трудно без обмеров судить о сидящей фигуре, но на глаз похоже, что она создана в натуральной двух-с-чем-то-метровый рост. Однако голова его — вероятно, и так небольшая при колоссальной длине туловища и не столь уж широких плечах, — кажется уменьшенной, голой из-за отсутствия парика. Ладони его массивны, и кажется, что сидит он крепко, но к голени ноги утончаются, в особенности по контрасту с большими ступнями, обутом в длинные, с обрубленными носами башмаки. Такие пропорции придают, во-первых, монументальность этому сравнительно небольшому памятнику, сидя-



Медный сидень

щему на низком цоколе, а во-вторых, особую шемякинскую гротескность, характерную для его живописи и графики.

Особенно выразительны руки, лежащие, как у восковой персоны, на подлокотниках кресла. Однако спруты пальцев почти шевелятся, как бы продолжая разминать теплый воск России и пытаясь извлечь из ее бесполезной мягкости что-то путное. В этих кистях, пожалуй, больше всего выразился Шемякин — их изящно-зловещую вычурность можно назвать автопортретом художника, — настолько они присущи его индивидуальной манере. А вот трактовка головы и лица, как мне кажется, имеет еще одного, литературного «соавтора» — великолепно, полузабытого ныне прозаика Юрия Тынянова с его замечательной повестью «Восковая персона», опубликованной в 1932 году. Язык повести, ее стиль, воспроизводящий петровскую эпоху, и психологическое проникновение в своих героев — агонизирующего Петра и его ваятеля Растрелли — удивительно созвучны бронзовому языку шемякинских линий



и форм. Более того, когда глядишь на монумент и одновременно вспоминаешь эту повесть, и то и другое превращается во взаимную иллюстрацию.

Вот о голове и костюме: «...Голова была стриженная, солдатская, бритый лоб. Камзол... давно строен, сроки прошли, и обветшал».

Вот о конечностях: «Рукам его снилась ноша. Он эту ношу таскал с одного беспокойного места в другое, а ноги уставали, становились все тоньше и стали под конец совсем тонкие».

И вот сидит он на стуле перед Комендантским домиком, уже умирающий, но все еще грозный император, глядит прямо перед собой на возвышающийся собор Петра и Павла, где лежат его кости, мокнет под дождем и сохнет, темнея лицом под солнцем. Обдуривает его сиверком от шведов и мокряком с болот, а то и третьим из местных ветров — чухонским поперечнем. И думает он совсем по-тыняновски: «Каналы недоделаны, бечевник невский разорен, неисполнение приказа. И неужели так, посреди трудов недоконченных, приходится теперь взаправду умирать?»

Подходят к нему иностранцы, которых он всегда любил, подходит и местный люд — подданные, которых он держал строго, которых не жаловал за то, что увивают, не радеют и норовят стащить из казны. И еще — между собой перешептываются о нем: «Бороды бреет... Срамота! Кот с усами, антихрист!»

Эти, теперешние, тоже недовольны, говорят: «Совсем непохож. Голова лысая и ноги тощие. Какой же это император?» И хочется их спросить: «А вы что, были у него в гостях и сами видели? Ну и как — те кесари в тогах и венцах оказались более похожи?» Дело, думается, в том, что толпе импонирует герой, властелин, победитель, она отворачивается от побежденных. Ведь был же отвержен, оставлен на задворки гениальный андреевский Гоголь. Таков инстинкт случайного скопища, а воркотня специалистов имеет совсем иные причины...

В канун 1986 года я побывал у Шемякина в его нью-йоркской мастерской на Вустер-стрит в Сохо. Много лет зная и ценя его живописные и графические работы, я был поражен, увидев целый ряд больших бронзовых рельефов редкой красоты — натюрмортов и голов, частично повторяющих в металле мотивы его живописи. Но были и новые темы. Когда я спросил о его планах, он ответил, что собирается отлить памятник Петру Великому и установить его в нашем Санкт-Петербурге. Это изумило меня, и прежде всего в ремесленном отношении: ведь от рельефа до объемного монумента существует значительная дистанция, и чтобы одолеть ее, нужны либо месяцы работы и развития, либо невероятный творческий прыжок. Кроме того, в политическом отношении Петербургом в те времена и не пахло, а

перестройка той поры вызывала лишь смесь надежды и скепсиса...

Я не уверен, движется ли История по спирали или избирает другие траектории, но знаю по опыту, что некоторые свои дуги она замыкает в круги. Одним из таких трехвековых кругов, соединивших начало и конец Великой Империи, и является соавторство Карло Растрелли, ваявшего отца-основателя города и державы в самом начале, и нашего земляка Михаила Шемякина, вылепившего образ, замыкающий этот круг.

Им стал пугающий, хотя и не очень страшный бронзовый сидень, медно брызжащий и ненавидяще глядящий на все новое, как и положено ветерану, императору на пенсии:

Ах, своей столицей новой
Недоволен государь.

Только не «новой», как у Ахматовой, а уже состарившейся, обветшавшей, запущенной, но все еще поблескивающей кое-где позолотой.

Эта отставная, как и ее создатель, столица вполне уже созрела, чтобы стать пышным имперским надгробием конца эпохи. Но — кто знает? Может быть, ей суждено еще стать мегаполисом следующего, неведомого нам тысячелетия.

Бестиарий

Предновогодние разговоры с Шемякиным в Сохо оказались для меня важнее, чем я их тогда воспринимал. Но и за первое знакомство стоило бы поблагодарить Сашу Тархова, который многого ожидал, приведя меня к экстравагантному мастеру. Нет, сами-то разговоры были для меня не просты: эксцентричность увиденного, странность обстановки и внешности художника не вызвали полного доверия к его словам, да и тон беседы часто менялся — от предложений дружбы до высоких деклараций, от обращений на ты до внезапных переходов на вы, стоило лишь мне последовать его интонации... Как эта игра называется — не знаю.

Но главное состоялось. Шемякин предложил мне сделать совместную книгу — причем он без обиняков объявил, что берет на себя издательскую сторону дела и, конечно, иллюстрации, а я — тексты. Видя мои колебания, он добавил:

— Не обязательно писать новые. Соберите, что у вас уже есть про Петербург, и будет достаточно!

А не дать ли ему воскресить «Русские терцины», насмерть зарезанные Розановой? Вот было бы здо-

рово! Там ведь есть и Петербург, и Запад-Восток, и Зарубежье — веки, которые прошел он сам. Но стилистически это не в его духе. А шанс единственен, и художник может передумать. Нужно то, что его заденет, от чего отказаться он просто не сможет. И я сказал:

— Предложение с благодарностью принимаю. Но чувствую и обязанность! Уже напечатанные стихи для совместного дела, мне кажется, не подходят. Я берусь сочинить совсем новый текст, специально и только для вас. Согласитесь ли вы подождать примерно полгода, ну может быть, несколько дольше?

Его согласие мы скрепили рукопожатием.

Шемякина единила со мной еще одна, весьма мучительная тема для обоих: смерть Виньковецкого; он так же, как я, болезненно воспринял его добровольный уход. Вместе с двухтомным альбомом он прислал цветную репродукцию своей картины «Памяти Якова Виньковецкого», и там, по бокам от страшной центральной фигуры, как бы рожающей свою же, не менее страшную смерть, были вписаны какие-то знакомые тексты. Я узнал отрывок из стихотворения «Яшина веревочка».

Все это объясняло шемякинское письмо, написанное от руки тонким пером и размашистым почерком. Привожу его сокращенно.

12 октября 1986. NY.

Дорогой Дмитрий!

Всегда в восхищении от Вашей поэзии. Был потрясен Вашим стихотворным надгробием Якову Виньковецкому... Решил сделать ему свое посвящение в графике. Надеюсь, Вы не будете на меня в обиде, увидев, что я включил часть Вашего посвящения бедному Якову в свой лист «Памяти Я. Виньковецкого».

Также и кусочек стихотворения И. Бродского (которое смыкается по смыслу с нашими думами о судьбе художника). И. Бродский — поэт, которого я наряду с Вами считаю на сегодняшний день (И во Веки Веков!) истинным столпом Русской Поэзии...

Посылаю Вам свои книги.

Всегда Ваш — Миша Шемякин.

Я ему вскоре ответил компьютерным письмом (я тогда осваивал наш с Ольгой Apple Macintosh), выбрав для этого шрифт «Санкт-Петербург».

4 ноября 1986 года.

Дорогой Миша!

Благодарю за щедрость и за Ваше расположение ко мне.

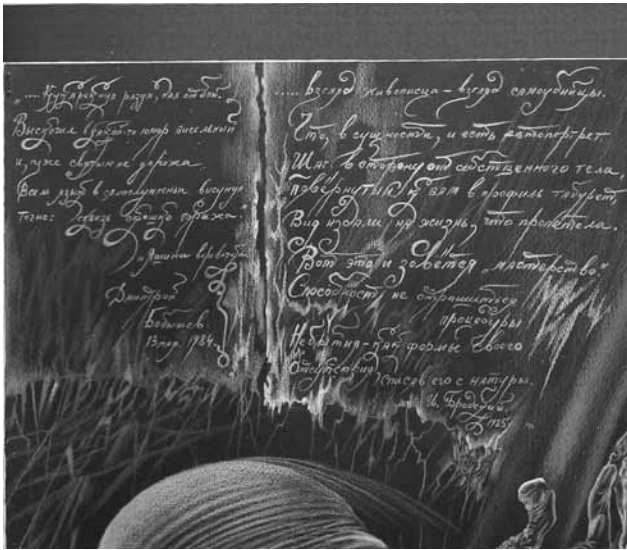


Фотография картины, посвященной памяти Виньковецкого, будет у меня находиться на стене рядом с его подарком. Интересно заметить, что и Ваша, и его работа сделаны в тех же тонах. Тот страшный духовный за-фук, изображенный Вами, трагедия без катарсиса (а его и быть не может), испытывается и мной, когда я думаю о Яше.

Семь лет назад я гостил у него в Техасе. Помню, Яков показывал мне океанский аквариум. Глядя на экзотических рыб, он неожиданно и очень точно заметил: «Чистый Шемякин». Действительно, там плавали Ваши «метафизические головы»!

Теперь я разглядываю роскошный дар, присланный Вами: невероятно монументальный свод работ, которого хватило бы на несколько творческих жизней. Здесь встречаются те вещи, которые меня впервые впечатлили в Ленинграде на выставке в Консерватории, и более поздние, увиденные во время единственного посещения Вашей мастерской, и совсем позднейшие: разные манеры при элегантности единого почерка.

С радостью я обнаружил в монографии портрет М. М. Шварцмана, которого очень ценю, и несколько репродукций его работ. И — Ваш привет его горнему миру от нашего падшего.



Тексты Бобышева и Бродского на картине Шемякина

Спасибо.

С дружеским приветом, искренним расположением и благодарностью,
Дмитрий Бобышев.

Я тогда обрамил шемякинскую аллегорию, изображающую бедного самоубийцу с текстами «столпов», но на стене долго держать не смог — уж больно страшна...

То, что стало частью моей жизни (и по сей час висит над камином), — это его красочный подарок к наступающему году, который он мне вручил при расставании, — литография с изображением двух голов: всадника в треуголке и его коня. Но еще роскошнее была дарственная надпись — не решаюсь даже воспроизвести ее здесь из-за слишком пышных эпитетов.

А теперь задачу я взял себе не из легких. Что ж, это был уже чисто американский вызов: какой сюжет мог бы вобрать всю эту, во многом мрачную, пестроту личности художника, его окружения и его работ? Как вопрошал словесный волшебник Михаил Кузмин:

Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку?..

А здесь вместо булки — мумии, шрамы, носы... Но и — европейское качество стиля, эlegantность! А в содержании, в сюжетах — мистика, маняще-отталкивающая загадочность... И первое слово нашлось — искушение. Искушение — кого? — святого Антония, конечно, — и, конечно же, босховского, в первую очередь... Искушение — чем? — не эротическими

же соблазнами (хотя ими тоже), но страхом, жаром массивной плоти и, наоборот, ее исчезающей иллюзорностью, безумием абсурда и — равным образом — логическим умствованием, сюрмом, ужасом от черного колодца в самом себе — то есть всем, что отвлекает святого от его молитвенного подвига.

Явилось и второе слово — бестиарий, галерея фантастических зверей, полумифических чудовищ, которые овладевали мозгом не только нильского аскета, но и умами его современников. А что, если соединить обе средневековые легенды в одно? Это и будет тот текст, от которого Шемякину не отвернуться, который и будет он сам!

Где же искать все эти прелестные легенды, о которых я имею лишь лоскутные, хотя и яркие клочки сведений? Конечно, в нашей прославленной библиотеке, которую я иногда и поругиваю... По серо-раморным полированным ступеням наверх, мимо четырех панно с аллегорическими девами, картами обеих Америк, звездного неба и Арктики, мимо сменяемых листов Одибон (орнитологического) общества — какая там птичка сегодня выставлена? — и в славянское отделение библиотеки... Вот где я оценил, наконец, сделанное Ральфом Фишером!

Едва я объяснил библиографу Хелен Салливан, что мне нужно (она понимает по-русски, но говорим мы по-английски), как она тут же осчастливила меня известием:

— Мы только что получили альбом «Средневековый бестиарий», он сейчас оформляется. Это прекрасное издание с цветными репродукциями. А подлинная рукопись находится в Публичной библиотеке в Ленинграде. Если нужно для работы, я пойду и приостановлю оформление. Держите у себя, сколько нужно!

Она ушла за книгой, а я засиял от такого удачного оборота дел. Ко мне тут же подседа с разговорами библиотечарша Джуди. У нее открытый взгляд, гладкая кожа, прямая осанка, есть своя, хоть и не совсем женственная, интересность. Я даже подумал: а не поухаживать ли мне за ней? Нет, с такими, наверное, лучше дружить... Она тоже занимается славистикой, но ее специализация — болгарские музыкальные инструменты. Пожалуй, и дружбы у нас не получится, уж очень мы разнонаправлены...

Тем временем Хелен принесла мне книгу, и я улетел, словно степной краснохвостый орлан (*Buteo harlani*) из альбома Одибон, держа драгоценную добычу в когтях. Я держал ее дома несколько месяцев, пока не закончил задуманную поэму «Звери св. Антония», но в библиотеку заглядывал постоянно.

Все это время с Джуди происходили странные трансформации. Она коротко остриглась, стала еще более походить на мальчика. Гладкое лицо покры-

лось красными буграми. Пока они сходили, черты огрубели, походка омужичилась, и, наконец, зайдя в уборную, я встретил ее там, застегивающую ширинку.

— Хай, Джуди! — пролепетал я в недоумении. — Почему вы здесь?

— Меня теперь зовут Джо, — ответило это существо и покинуло уборную.

Я подумал: оно стало мужчиной, чтобы отныне покорять женщин... Должно быть, исполнилась меч-

та старшеклассницы, обойденной вниманием парней. Но история оказалась гораздо сложнее! Апофеоз ее наступил тогда, когда Джо женился церковным браком на... такой же трансвеститке, ставшей, как и он, «мужчиной»! Или они оба вышли друг за дружку замуж?

Вот кому было бы прямое место в моем бес-тиарии.

Продолжение следует.



Вячеслав САМОШКИН



Вячеслав Самошкин родился в 1945 году в Пензенской области. Окончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова. Автор сборника стихов «В сторону (от) СМОГа» (2008) и поэтических переводов из румынской поэзии. Перевел с румынского роман Ливиу Ребряну «Чуляндра», изданный в Кишиневе. Печатал подборки стихов в «Литературной России», журналах «Литературная Молдавия. Кодры» и «Китеж-град», альманахах. Член Союза писателей Москвы. В студенческие годы принимал участие в объединении СМОГ.

В сентябре 2008 года участвовал в международном литературном фестивале им. Волошина в Коктебеле и в международном фестивале «Поэтические ночи в Куртя де Арджеш» (Румыния), где был в числе трех номинантов на главную премию.

Журналист-международник. Работал завбюро РИА «Новости» в Бухаресте, а затем собкором «Известий», «Независимой газеты», «Московских новостей» в Румынии. Сейчас собкор газеты «Время новостей» там же. Лауреат премии журнала «Огонек» за 1982 год.

ПЯТОЕ СОСТОЯНИЕ МАТЕРИИ

Поэзия — один из вернейших способов постижения истины. Открывая новые элементарные частицы или «темную» материю, физики делают новые шаги к познанию Вселенной. Точно так же поэт каждым своим стихотворением — если это настоящая поэзия — тоже делает шаг вперед в постижении мира, его тайны тайн.

Чудо это совершается в слове. Поэзия — особо организованная материя слова, речи, особая ее энергетика. Если плазма — четвертое состояние материи, то поэзия — пятое. Но сила тока и напряжение в метаплазме слова — это конечный результат. Сначала рождается поэтическая идея, смутная и неясная. Но по мере обростания ее словами происходит прояснение поэтической идеи. И тут слово, стихия речи проявляют свою необъяснимую активность. Они берут тебя в объятия и доводят до искомого тайника. Прав Владимир Набоков, когда говорит, что стихотворение, которое ты пишешь, уже где-то существует во Вселенной — его надо только отыскать...

В эти моменты вдохновения тебе помогает интуиция, она, как металлоискатель, помогает нащупывать нужное слово. И вот тогда возникает волшебное силовое поле, которое все расставляет по местам. Если что-то не клеится, не срабатывает, значит, ты отклонился от курса...

Поэтическая идея рождается из пережитого и передуманного. Зерна ее раскиданы по всей твоей жизни. Когда-то я понял, что в принципе каждое мгновение твоей жизни достойно внимания тебя как поэта. Надо только получше присмотреться. Красота и гармония природы, особенно русской, с ее драматическими контрастами — неисчерпаемый источник поэтического вдохновения. Но уродства жизни, если идти методом от противного, тоже могут быть темой стихотворения. В этом случае красота и идеал незримо присутствуют как антипод. В качестве иллюстрации я бы привел свое стихотворение «В начале жизни лагерь помню я...», где порыв к свободе читается в подтексте.

Что касается стиля и поэтики, то я бы подчеркнул важность конкретного, осязаемого образа. Он проводник. И к смыслу стихотворения, и к сердцу читателя. Арсений Тарковский сказал, что, по большому счету, вся русская поэзия XX века акмеистична...

В этом смысле не приемлю поэзию герметическую, непонятную для читателя. И здесь, если говорить об акмеистах, мне гораздо ближе и дороже Николай Гумилев, чем Иннокентий Анненский, которого Анна Ахматова считала провозвестником акмеизма...

Вячеслав Самошкин

XX ВЕК

В римском «XX» истории груз,
два креста Святого Андрея:
на одном распята Расея,
на другом — Советский Союз.

* * *

В начале жизни лагерь помню я
за проволокой ржавой и колючей.
С той стороны, где лес, среди репья,
ручей из зоны вытекал вонючий.
С пригорка, мутный, он, спустясь, впадал
в славянскую речушку наших предков,
а ниже был залив, его овал
скелет конвойной вышки отражал —
там, ребятня, купались мы нередко.
И не подозревали мы о том,
что под молчанье мельничного вала
зловещая субстанция тайком
тела наши, мальчишек, омывала.
Как будто говорила: «Вы — мои
и никуда вам от меня не деться!»
Коварно растеклись ее струи
во все концы отечества и детства.
Дух несвободы крепко я впитал,
залез под кожу мне он не на шутку!
А я с народом вместе вырастал
и сбрасывал с души репейник жуткий.
Но помню зной, и заключенных труд,
и стройку возле нашего барака.
И грозный автоматчик тут как тут,
и с высунутым языком собака...

Дорога в Болдино**1.**

Ладные в ряд не дома — терема.
Только приводит в смущенье
в цех превращенная ткацкий — эх-ма! —
церковь Богоявления.

Стала шоссейною и пролегла,
где ей удобней, дорога.
Эта ж осталась, какой и была —
каторжный путь, до острога.



Светел булыжник, от времени сед —
знает истории встряски!
Но для него не остыл еще след
в Болдино мчащей коляски.

2.

Ухо к земле приложу я — не сон,
не наважденье ли это?
Там, в глубине позабытых времен,
бьется ли сердце поэта?

Там, где сжигает свои корабли
осень без всякой печали,
бьется любовью оно к Натали —
ярче красы не встречали!

Ах, поскорей бы устроить дела,
к Таше стрелой воротиться!
Переписать свою жизнь добела,
как манускрипта страницу.

3.

Только задумал старик-карантин
и — ему палки в колеса!..
Что тут поделаешь? Выход один.
Письма. Сомненья. Вопросы.

Пробовал раз по-мальчишески он
сквозь загражденья пробиться.
Где там! Со всех обложили сторон —
зверь не проскочит, ни птица.

Словно бы участь его угадав,
славы небесной царица
крепко держала его за рукав
и не пускала в столицу.

Был суверен, а не углядел
поданного ему знака:
эта звезда, совершенства предел,
не твоего зодиака!

КРАСА ДЕРЕВЬЕВ НЕ СЛУЧАЙНА

Владимиру Алейникову

Замысловатого дизайна,
где стили разные сошлись,
краса деревьев не случайна:
деревья к солнцу рвутся ввысь.

Они стоят к нему наклонно —
с дороги это видно мне —
и всматриваются влюбленно
в пресветлый образ в вышине.

У них на все свое мерило,
и клясться вам почти готов:
для них по-прежнему Ярило
есть самый главный из богов.

Всем существом своим, корнями
они привязаны к земле
и к солнцу, что стоит над нами, —
редчайшей красоты звезде.

И впитывает все живое
космическую красоту —
и эти любящие двое,
и клен, теряющий листву.

Он накопил ее довольно —
запаса хватит до весны,
чтоб почкой выстрелить прикольно
в мир первозданной новизны!

Где мой славный корабль?..

В городском предутреннем хоре
тополя подают свои голоса,
и в серебряном их разговоре
чудится то ли memento mori,
то ли взлетная полоса.

И срываются с места деревья и люди,
потрясается быт до самых основ.
И взрезают моря корабельные груди —
Беллинсгаузен, Лазарев, Беринг, Дежнев,



Крузенштерн и Лисянский, Гагарин и Армстронг!..
Нет дерзанию предела — на том и стоим.
Покорили мы часть мирового пространства —
остальное потомкам оставим своим?

Или будем дерзать до победного часа,
жизнь по утренней ранней строить звезде?
Где мой славный корабль журавлиного класса,
где мой циркуль и лот, астрябия где?..

КАПЕЛЛА

Жизнь и не туда и не сюда.
Но в груди опять что-то запело:
есть на свете славная звезда
под забавным именем — Капелла.

Вот она восходит в вышине,
расточая щедро дар любовный.
Сам не знаю, чем он дорог мне,
чистый блеск ее желто-лимонный.

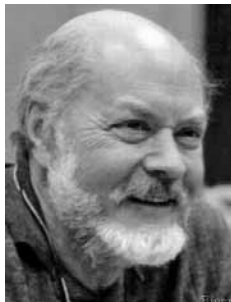
Знают капитаны кораблей
свет ее, пронзающий туманы,
и когда заводят речь о ней,
в кубрике смолкают горлопаны.

В загубелой есть морской душе
место для заветного желанья —
то ль о рае с милой в шалаше,
то ль — когда окончится скитанье?

И как путеводная звезда,
чтоб в груди всегда надежда пела,
ласкова и царственно горда,
пламенем в ночи горит Капелла.

И земного столько дышит в ней,
в этой красоте необычайной —
желтый одуванчик среди полей?
Или лепесток у розы чайной?

Или золотых твоих волос
чудо, переплавленное в слиток?..
Чтоб читать о том, что не сбылось,
Млечного Пути развернут свиток.



ОЛЕША ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

Похоже, что так.

— Кто я? — испытующе спрашивает сам себя. Сам себе отвечает: — Никто! — И добавляет для шибких умников: — Функция во времени.

Время ему досталось убийственное. За одну рискованную строчку могли выставить из литературы, а то и к стенке поставить. А он упрямо твердил откуда-то из рядов южнорусской школы: «Ни дня без строчки!»

В мученики не попал. До эпохи громкого реабилитанса не дожил. Умер тихо, своей смертью. Дерзкая его «Зависть», добавившая когда-то аналитического яду в самоуверенный кодекс победоносного большевизма, — осталась в памяти строкой о страшном пении в туалете.

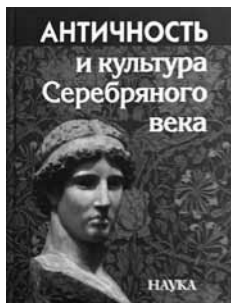
В каждой долетавшей оттуда песне ощущалась прочность фюзеляжа. Но это был фюзеляж бабочки. Мускулы пружинились в каждой песне. Но это были песни ветра. Три толстяка в роли героев оказались оттерты в жанр детских сказочек, на авансцене гулял меж мускулистых теней вольный неуловимый ветер.

Кажется, теперь ветер крепнет. Издана «Книга прощания». Собраны дневники. Жизнь прокомментирована для нынешних юных читателей, которые, надеюсь, не пропустили на страницах «Юности» артистичный очерк Ирины Озёрной о ее любимом писателе.

В музее Ермоловой на фоне гримерной великой актрисы четверо выпускников-вгиковцев под руководством Ксении Кузнецовой разыгрывают спектакль «Как я провел детство», осторожно, полшепотом цитирую Юрия Олешу. Иногда шепот взвывается до крика: видать, не просто решить сегодня, кто ты, когда вокруг умники никак не решат, какая у нас история: героическая или преступная.

— А если родители не встретились бы, от кого бы я, вот такой, родился?

— Кто я? — молчаливым эхом отвечает маленький, домашний зрительный зал. И ищет ответа у автора «Зависти».



Античность и культура Серебряного века: к 85-летию А. А. Тахо-Годи / отв. ред., сост. Е. А. Тахо-Годи; Научн. совет РАН «История мировой культуры»; Культ.-просвет. об-во «Лосевские беседы»; Б-ка истории рус. философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева». — М.: Наука, 2010. — 544 с.

В ГРЕЦИИ ВСЁ ЕСТЬ

В 2010 году в издательстве «Наука» вышел большой труд, посвященный сплетению античной и русской культур, который является итогом Международной научной конференции «XII Лосевские чтения «Античность и русская культура Серебряного века»», приуроченной к восьмидесятипятилетию ученицы и наследницы известного русского философа и филолога А. Ф. Лосева Азы Алибековны Тахо-Годи. Сборник включает в себя статьи русских и зарубежных исследователей-филологов, философов и культурологов, заинтересованных в важной проблеме взаимосвязи таких исторически далеких друг от друга, но в то же время необыкновенно близких по мироощущению, взгляду на искусство и литературное творчество античной и русской культур.

Композиция сборника, созданная доктором филологических наук Еленой Тахо-Годи, открывает широкий диапазон научной мысли по разным вопросам преемственности культурой Серебряного века богатого античного наследия. Авторы затрагивают такие вопросы, как использование античных размеров стихосложения поэтами начала XX столетия, мотивы творчества античных мастеров трагедии Эсхила и Софокла, преломление античных сюжетов и символов в поэтическом, критическом и переводном творчестве русских символистов и, наконец, влияние воззрений античных философов на русскую философскую мысль, важную роль в которой играет А. Ф. Лосев.

Известная поговорка «В Греции всё есть» обретает здесь новый смысл: корни творчества В. Брюсова, Вяч. Иванова, И. Анненского, Д. Мережковского, М. Волошина, А. Белого, О. Мандельштама и других ярких, самобытных поэтов и мыслителей Серебряного века русской литературы в своей глубинной сущности произрастают из античного мира с его принципом миметического изображения, развивают и углубляют этот принцип до символического ми-

ровосприятия. Исследователи со всех концов земли (Россия, Украина, Польша, Германия, Италия, США, Израиль и т. д.) проделали одну большую работу, в которой сконцентрированы разные аспекты одной обширной проблемы. Особый интерес работы в том, что в ней представлены как и общетеоретические вопросы, так и подробный, глубокий анализ стихотворений поэтов Серебряного века с точки зрения античной традиции. Интересна статья Е. В. Ивановой, в которой по-новому дано толкование знаменитого однострочного стихотворения В. Брюсова «О, закрой свои бледные ноги», которому поэт и многие критики давали самые разнообразные интерпретации. Автор статьи объясняет создание этой загадочной строки тем, что В. Брюсов, готовясь к латинским экзаменам в Московском университете, начал переводить какое-то стихотворение, перевел первую строку и далее оставил свободное место до конца страницы (о чем свидетельствуют записные книжки Брюсова). У Брюсова встречаются несколько подобных строчек из его незаконченных античных переводов, но именно эта строка произвела необъяснимое впечатление на автора и публику. Д. М. Магомедова в своей работе анализирует проблему источников и мотив «пчел Персефоны» в стихотворении Мандельштама «Возьми на радость из моих ладоней...», оригинально сопоставляя его с пьесой Ф. Сологуба «Дар мудрых пчел». Неожиданно предстает перед читателем статья В. М. Толмачева о глубинной сути стихотворения О. Мандельштама «Бессонница», разбор которого предполагает, что оно было посвящено губительной силе любви к Марине Цветаевой.

Настоящий сборник будет полезен не только специалистам в области русской литературы и философии, но и неискушенному читателю, интересующемуся эпохой начала XX века.



Ильф И., Петров Е. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска; 1001 день, или Новая Шахерезада. — М.: ЛомоносовЪ, 2010. — 184 с.

ЧУДАКИ ИЗ КОЛОКОЛАМСКА

С первого номера новообразованного журнала «Чудак» на его страницах появился некий автор — Ф. Толстоевский. Писал он много и продуктивно, словно Лев Толстой, а магическое воздействие на читателей имел, как Федор Достоевский, правда, в несколько другой ипостаси — ироническо-гротескной.

Что это за автор такой и разве могло в Советской России появиться издание с таким провокационным названием — «Чудак» (а сатира в нем — вдумайтесь, 1928 год! — не обходила даже Маркса и Энгельса с их многочисленными толкователями)? Журнал с остро выраженной, настоящей сатирой, в отличие от идеологически послушного «Крокодила», не мог просуществовать долго — в 1930 году он был благополучно слит со своим более «приспособившимся» товарищем. А начиналось все радужно. Михаил Кольцов, главный редактор «бодро выходящего на дорогу чудака», был преисполнен желания создать нечто новое, отличающееся «более высоким литературным уровнем (по сравнению с «Крокодилем». — В. К.), более смелой критикой хозяйственных руководителей». И поначалу был поддержан живущим на соррентовских харчах и нисколько не подозревающим о будущем трагическом величии Горьким-Пешковым: «Чудак есть человекоподобное существо, кое способно творить чудеса, невзирая на сопротивление действительности, всегда — подобно молоку — стремящийся скиснуть...»

Тогда-то и пригрелся на плечах «Чудака» двуликий и двуединый Ф. Толстоевский — обезгромженный псевдоним Ильи Ильфа и Евгения Петрова. В самом деле, скромники-юмористы считали, что подписывать сравнительно небольшие фельетоны двух циклов — «Необыкновенные истории из жизни Колоколамска» и «1001 день, или Новая Шахерезада» двумя фамилиями — громоздко и некрасиво. Впрочем, причина тут, думается, несколько

иная. Выпустившие «Двенадцать стульев» и купавшиеся в волнах критики, любви и осуждения авторы не считали опусы Ф. Толстоевского достойными имен Ильфа и Петрова (до 1989 года циклы не переиздавались, а в прижизненных собраниях сочинений публиковались разве что отдельные фрагменты работ «чудаковского» периода). Конечно, жители Колоколамска — доктор Гром, Никита Псов (когда во времена Хрущева цикл частично переиздали, имя Никита было суеверно заменено на Никола), мосье Подлинник, товарищ Фанатюк и Шахерезада Федоровна — не обладают харизмой Остапа Бендера, Кисы Воробьянинова, отца Федора и компании. Однако то тут, то там, и в Колоколамске, и в офисном мире Шахерезады встречаются «пасхальные яйца», отправляющие нас то к одному, то к другому великому произведению сатириков (имеются в виду «Двенадцать стульев» и «Золотой Теленок»). Они могут быть на уровне ассоциации — явленные через контору по заготовке когтей и хвостов, или впрямую — через образ Васисуалия Лоханкина, гордого жителя чудаковатого Колоколамска. Конечно, той сочности, которой образ Васисуалия достиг в романах непосредственно Ильфа и Петрова, в колоколамской новелле нет, но это оправдано жанром: не то новеллы, не то фельетоны, создаваемые для сатирического еженедельника, не предусматривают романной глубины и прорисовки. Тем более что в это же время Ильфа и Петрова больше занимает «Золотой теленок».

Александра Ильинична Ильф, автор предисловия к переизданию «Необыкновенных историй...» и «1001 дня...», снабженного репринтами полос «Чудака» с первой публикацией, приводит цитаты из дневника Ильи Ильфа, датированные весной 1929 года. В них появляется немало записей, посвященных грядущему роману, следовательно, мысли соавторов больше заняты уже новым произведением. Отдельные идеи и даже

образы они обкатывают в «1001 дне...». Так, скажем, подпольный миллионер Корейко, чьи денежки оказались в широком кармане Бендера, имел в новеллах о Шахерезаде своего предшественника — Елисея Портищева («Двойная жизнь Портищева»). Оба — люди с двойным дном, и даже детали совпадают: «оборотни» завтракали сырой репкой и предпочитали откусывать кипятку вместо чаю.

Аналогий и пересечений — масса. А что можно сказать об интересе для читателя? Он — несомненен. Из новелл и фельетонов, словно из фрагментов мозаики, складываются герои и персонажи, вырисовывается (пусть и отрывочно) Колоколамск, который не имеет «ничего общего с Волоколамском» и «находится как раз между РСФСР и УССР», гротескно изображается офисная жизнь конца 20-х годов... Планка, которую для себя подняли Ильф и Петров, поистине высока. Несмотря на «якобы неудачность», и «Необыкновенные истории...», и «1001 день...» читаются легко и с интересом. А гротеск превращает «перегибы и язвы общества» в некое подобие шутки. Правда, это такая шутка, послевкусие которой сохраняется в течение долгого времени. Есть, к примеру, среди историй о Колоколамске новелла «Васисуалий Лоханкин», рассказывающая о недалеких горожанах, которые так испугались нового Потопа, что готовы были последние портки отдать, лишь бы попасть в новый Ковчег. «Ной Архипович (капитан ковчега. — В. К.) брал за все: за вход, за багаж,

за право взять в плавание пару чистых и нечистых животных и за место на корме, где, по уверениям капитана, должно было меньше качать». От чего могло «качать» читателей, так это от смеха: и от подписи, вызывающей непреднамеренную улыбку, — «Ф. Толстоевский», и от содержания, задорного, фантазмагоричного, увлекательного... То, что Ильф и Петров не считали *своей* удачей, стало истинным успехом для Ф. Толстоевского, а мы с вами, уважаемые читатели, получили помимо увлекательных историй очередной запоминающийся и необычный литературный анекдот.

* * *

Считается, что если рецензия начинается с оценки внешних качеств издания, полиграфии, иллюстративного ряда и прочего — о содержании и сказать нечего. Книга И. Ильфа и Е. Петрова, снабженная репринтами журнальных полос, в этом смысле счастливое исключение — издательство «ЛомоносовЪ» не только предложило нам превосходное содержание, но и выпустило такую книгу, которую приятно взять в руки. Хотя если вы взяли в руки книгу Ильфа и Петрова, сможете ли вы ее отложить, не дочитав до конца?

Владимир Коркунов



Имя и судьба

Абу-Суфьян... Сперва я подумал, что это псевдоним. Уж очень красиво, с оттенком суфийской древности, звучит. Мы выпустили его трехтомник, в котором поэзия — прямо в духе имени — оказалась поразительно нерасторжимою, слитною с философией. Но пока шла работа над ним, пока почти в течение полугода выходили книги, с автором я, директор издательства, так и не познакомился: во времени мы с ним не совпадали. Но вот уже как-то после завершения проекта скорым шагом входит ко мне в кабинет невысокий, седой, но еще крепко сколоченный человек и, с ходу протягивая твердую мужскую ладонь, представляется:

— Абу-Суфьян...

И я наконец-то соображаю: нет, не псевдоним.

Имя. Собственное.

Мы с ним быстро сошлись. И не только потому, что мне по душе его философские эззерсисы, облеченные — как это и повелось еще с древних, — в поэтические формы и формулы. Вернее — прошедшие поэтическую огранку, придающую им не только определенный блеск, шарм, но и, как это бывает только у мастеров, дополнительную остроту и даже доходчивость.

Не только поэтому. С первых же минут разговора выяснилось, что мы оба — интернатские. Детдомовские. Причем наши детские дома, в которых мы воспитывались, находились на расстоянии каких-нибудь двухсот километров друг от друга, что по российским меркам — почти на соседних улицах. Я — в Буденновском, Абу-Суфьян — в Кизлярском.

И оба города — знаковые.

О Буденновске и говорить нечего: здешнюю трагедию 1995 года с захватом заложников до сих пор помнят в мире. По слухам, Басаев, главарь захвата, учился в том же детском доме, что и я, только несколькими годами позже. В общем, Буденновск, что до Советов назывался Святым Крестом, а еще раньше, в Средние века, — Маджаром (между прочим, Мамай со своей многонациональной ордой шел на Москву именно отсюда — дошел, правда, только до Куликова поля), — последний более или менее значительный «русский» город на границе с Большим Кавказом.

Кизляр же, знаменитая столица дагестанских коньяков, — по существу первый старинный и значительный город Большого Кавказа.

Мы оба с ним — с окраины даже не одной, а сразу двух, если брать в исторической ретроспективе, великих империй (помните Бродского? — «если суждено родиться в империи...»). И оба детдомовцы. Еще и поэтому так дорожим едва ли не единственным, что успели дать нам наши незабвенные родители: именами.

Ну, у него так, повторюсь, прямо с древних суфийских высот — имя мыслителя и поэта, изначально к этому призванию и обязывающее.

Я люблю свои родные места и за их природную диффузию: горы и степь, вода и камень, ну и дальше, как и положено по классике, — лед и пламень...

И я люблю людей, кто вопреки едва ли не всему сущему соединяет и в себе, и в своем творчестве эти неумолимо разъезжающиеся континенты, расположенные на одной, г р а н и т н о й подошве.

Соединяют, казалось бы, несоединимое.

За последний год мы по-настоящему, по-мужски сдружились с этим человеком, мыслителем и поэтом, который и в самом деле в наше роковое время стоит — и крепко стоит — сразу на двух границах.

Это угадывается и в его горском и все-таки в еще большей, обворожительной степени — интернатско-детдомовском характере. Это — почитайте — присутствует, бьется и в его творчестве, где сходятся, исповедуются и проповедаются ценности как традиционно исламские, так и традиционно христианские.

Да они, по существу, одни: что может быть ценнее вдунутой, как в стеклянный, увы, очень уж стеклянный сосуд, ввергнутой или в д о х н у т о й (уста в уста?) в нас ж и з н и...

Он, конечно, как это и бывает почти с каждым творческим человеком, пытался избежать предначертанного (вдохнутого?) именем призвания. Стал спервоначалу строителем. И не просто строителем, а выдающимся специалистом в области прикладной математики и строительной механики, сейсмоустойчивости зданий, сооружений и других строительных конструкций. Что невероятно важно в жизни вообще, а в жизни на Кавказе (говорю это и как человек, оказавшийся в Спитаке уже наутро после страшного землетрясения 1988 года и проведенный в тех местах и в те несчастные дни две долгие недели) — вдвойне.

Кстати, именно после тоже достаточно извест-



ного дагестанского землетрясения, в начале шестидесятых, и появилась в нашем интернате большая группа горских ребят: интернат русского Предкавказья по-соседски приютил и их, лишившихся крова, а нередко и родительского попечения.

Стал доктором наук, профессором. Строительные, пусть и командирские, мостки сменил на преподавательскую университетскую кафедру в Махачкале.

Дальше — больше. Заинтересовался и даже вплотную занялся теорией происхождения и развития человека и человеческого интеллекта: у него есть даже фундаментальный труд на эту еще более фундаментальную тему.

И вдруг — прорвало. Заговорил стихами и притчами.

От судьбы, что во многом — хоть и опять же по слухам — и определяется именем, не уйдешь.

С удовольствием представляю читателю образец творчества моего друга Абу-Суфьяна. В меру отпущенного Богом и Аллахом (хорошо бы одновременно!) таланта он пытается не только мыслью, но и адекватным ей словом упрочить наше нравственное сосуществование на вечно мятежной границе двух миров одной и, прямо скажем, не очень многочисленной человеческой семьи.

Георгий Пряхин

АБУ-СУФЬЯН



К о б ы л и ц а

*Смысл жизни в продлении рода,
И в этом — бессмертье природы.
Постулат биологии*

Дорога дальняя пылится:
Бежит по тропке кобылица,
За ней плетется жеребенок.
Под солнцем жарким путь их долог.

На водопой их жажда гонит,
Сама земля от зноя стонет,
Горит, как пламень, воздух в небе —
Жесток безводья жалкий жребий.

Иссохли реки и озера
В округе и в пределах взора.
И где водицы им напиться,
Не знает нынче кобылица.

В глаза и уши лезет пыль им.
Но лошадь языком кобыльим
Подбадривает жеребенка,
Как мама своего ребенка:

«Еще чуть-чуть... за той вон степью,
Где тянутся вершины цепью,
Под дубом ручеек струится.
Там сможешь ты воды напиться».

Изнеможенные лошадки,
Вкус влаги предвкушая сладкий,
Бегут и бодро, и устало.
До дуба уж осталось мало.

Вот, наконец, и дуб могучий.
Но где же, где ж ручей певучий?
От ручейка под жарким солнцем,
Зияет лишь сухое донце.

И кобылица тут слезится
И просит малыша напиться:
«Попробуй слез моих соленых,
Они прохладней вод студеных».

Спешит, идет к ней жеребенок,
Как к маме жаждущий ребенок,
И нежно, нежно лижет слезы,
Прозрачные, как утром росы.

В отчаянии кобылица
Не хочет уж с судьбой мириться.
Их мучит жажда еще пуще,
Не видно туч под вечной кушей.

В глаза и уши лезет пыль им.
Но лошадь языком кобыльим
Подбадривает жеребенка,
Как мама своего ребенка:

«Я знаю, вон за той горою
Родник таится под скалою;
Идем туда, пока не вечер.
Скала отсель не так далече».

Тропинка узкая пылится:
Бежит устало кобылица,
За ней плетется жеребенок.
Под солнцем жарким путь их долог.



Изнеможенные лошадки,
Вкус влаги предвкушая сладкий,
Бегут, шагают уж устало,
До родника осталось мало.

Ведет тропинка их по склону.
Конек от мамы отдаленно
Идет, кричит: «Мне трудно быстро
Шагать по тропке каменистой».

«Еще чуть-чуть, еще немного,
И одолеешь ты дорогу.
Быстрее, быстрее, мой Свет зарницы», –
Так отвечает кобылица.

Уже пред ними, боком лежа,
Скала чернеет мхом подножным.
Да вот беда: родник прохладный
Испит жарою беспощадной.

Но места нет пустым обидам.
Лошадка тут своим копытом
Бороздку роет глубже, ниже...
Но там, внизу, одна лишь жижа.

Увидев жижу, жеребенок
Попить не медлит, как ребенок.
Успев глотнуть песок проклятый,
Он ржет пискливо от досады.

Совсем устала кобылица.
Она, не смея с ног свалиться,
Подбадривает жеребенка,
Как мама своего ребенка:

«Держись, малыш, не падай духом.
Назло чертям и страшным духам
Найдем живительный источник.
Он где-то там, я знаю точно.

В пещере, что за той горою
(Отсюда час ходьбы, не скрою),
Река подземная таится.
Водой там можно насладиться».

* * *

Тропинка горная пылится:
Бежит упорно кобылица,
За ней плетется жеребенок.
Под солнцем жарким путь их долог.

Вокруг безлесные массивы,
На редкость сказочно красивы.
Но раскаленная природа
Ненастья жаждет уж полгода.

Изнеможенные лошадки,
Вкус влаги предвкушая сладкий,
Спешат, бегут, плетутся вяло.
Осталось до пещеры мало.

Как пасть неведомого зверя,
Уже виднеется пещера.
Природы чудное творенье
Прохладным дышит дуновеньем.

В пещеру входит кобылица.
И внутрь проходит метров тридцать,
Боясь, как мама, за ребенка,
Зовет потом уж жеребенка.

Кругом причудливые своды,
Сосульки, глыбищи, породы,
Подземных лабиринтов сети,
Каких уж нет на целом свете.

Но где желанная водица?
Совсем ослабла кобылица.
Уж, спотыкаясь не однажды,
Она качается от жажды,

Стоит, проводит взор горящий
По дну большой иссохшей чаши.
Заметив зеркало водицы,
Она спешит туда — напиться.

Вода блестит, как три глазочка.
Но сей воды — на три глоточка.
Лошадка, уж расставив ноги
И сделав выдох неглубокий,

Глотнуть воды хотела было,
Но тут опомнилась кобыла:
Ведь хочет пить и жеребенок —



Ее единственный ребенок.

И, чтоб не стать в роду бесследной,
Глоточек первый и последний
Она потомку уступает
И муки жажды забывает.

А жеребенок?.. Жеребенок,
Лошадки худенькой ребенок,
На ножках, «на жердях», как цапля,
Всю воду выпил сам до капли.

«Ах, мама, — молвит несмышлениш, —
Я сделал три глотка всего лишь,
А уж воды здесь не осталось,
Тебе ни капли не досталось».

В ответ кобыла молвит еле:
«Я пить не так уж и хотела...
Напился ты — и слава богу!
Теперь пора нам в путь-дорогу».

А между тем у кобылицы
От жажды в голове мутится.
Дрожит, качается бедняжка
И наземь падает: ей тяжко.

Тут жеребенок ржет пискливо
И плачет жалобно, тоскливо:
«Ах, мама, мама, что с тобою?
Что будет без тебя со мною?»

«Мой маленький, мой Свет зарницы, —
С любовью молвит кобылица, —
Живешь под сенью небосвода,
Ты — не без племени и рода.

Табун наш — вольный и великий,
Неприрученный и не дикий.
А твой отец там — конь ретивый,
Высокий, белый, златогривый.

Ты был и мал, и худ, и болен —
Вожак был этим недоволен,
И я от табуна отстала,
Ждала, пока тебе получше стало.

Ну, остальное — сам ты знаешь.

Теперь, надеюсь, понимаешь,
Что ты не просто — жеребенок,
А златогривого потомок!

Вот почему ты блещешь гривой —
Как твой отец. И ты — красивый.
Шагать мне дальше нету мочи,
А ты спеши, пока нет ночи.

Не бойся. Ты большой отныне.
Пойдешь на запад по долине.
Там наш табун нас ждет у речки,
Гуляя вольно без уздечки».

Тут кобылице плохо стало:
Дышать совсем уж перестала.
Над нею долго жеребенок
Стоял и плакал, как ребенок.

Дорога дальняя пылится:
Бежит по ней не кобылица —
Осиротелый жеребенок.
И путь его под солнцем долог.
Очень долог.

07.10.1993



*В редакцию журнала «Юность»
от Тимофеева Романа Тимофеевича*

Уважаемая редакция!

Посылаю вам свои стихотворения с предложением использовать их в журнале. Обращаюсь к вам впервые и надеюсь на доброе внимание.

Мне 86 лет, ветеран войны и труда, инвалид второй группы.

Родом я из Бугурусланского района Оренбургской области.

После восьмого класса работал токарем на заводе. Войну прошел рядовым и сержантом на Воронежском и 1-м Украинском фронтах, четыре раза был ранен, последний раз под Берлином. В ноябре 1944 года на фронте мне было присвоено звание «младший лейтенант», и я оставался в кадрах Вооруженных сил до апреля 1956 года, майор в отставке.

В 1970 году окончил заочно Куйбышевский пединститут, много лет работал учителем математики в школе и программистом в проектно-институте.

Состоял в городском литобъединении, участвовал в коллективных изданиях, являюсь автором шести сборников стихов. В 2001 году был принят в Союз писателей России. Постоянно живу в Самаре.

СОЛНЕЧНЫЙ ПАРУС

Достоверно:
в межзвездном пространстве
под парусом можно ходить,
все планеты
космической трассой,
как квартиры друзей, посетить!
И всего-то недолго —
парус,
солнечный парус раскрыть.
Пльви,
напевай под гитару,
навещай внеземные миры.
Ну-ка, парус, мое вдохновенье,
раздувайся
под натиском чувств.
Я сегодня
в одно мгновенье
к Андромеде гостить залечу!
Все живое —
живым прекрасно,

озаренья души — не пусты.
Одольем кончаются сказки,
с небылиц начинались мечты.
Лону звездному
нету предела,
здесь ракета — и та тихоход.
Пронесется мой вымысел смелый,
дивным парусом
небо качнет.
Есть заветное в дерзости этой
от воспетых народом начал.
Мой прапрадед
На край бела света
на Коньке-Горбунке долетал...
Вот мои развихренные мысли
снова солнечный ветер понес.
Чистый в помыслах,
я без корысти
выхожу на космический плес.
Но куда б звездолетные стати
волшебством скоростей не снесли,
На любой из планет и галактик
я останусь
сыном Земли!

г. Самара

Елена ХАНТЕР

Продолжение. Начало в № 6 за 2011 г.

БЕЗ ПОШЛОСТИ? или 14-8

КИНОПОВЕСТЬ

Свидание

Опять стук в дверь.

— Лену вызывает вниз какой-то Леша.

Молниеносно одевшись в очень короткое ворсолановое платье и удлинив ресниц размах, я медленно выхожу в общаговский вестибюль и вижу Лешу.

Как странно, что только сейчас, спустя тридцать пять лет, я поняла, что он двойник Игоря Верника, или, вернее, Верник его двойник. Такая же обаятельная улыбка. Харизма. Интеллигентность... Наверное, многие имеют двойников в жизни. Кто-то там наверху дублирует нас, найдя

удачную форму, и разбрасывает свои шедевры в пространстве и времени.

— Привет.

— Привет.

(В одинаковых позах, положив ногу на ногу, на диване сидят Ткачиха, Повариха и Бабариха, делая вид, что читают журналы.)



Мы выходим из общежития и идем на почтительном расстоянии. Молодежь высыпала на улицу. Из окон звучат «Песняры», мои любимые, «Косил Ясь конюшину». Леша сразу сообщает мне, что его мама учительница.

— Моя мама тоже учительница.
— Моя мама учительница русско-го и литературы.
— Моя мама тоже учительница русского и литературы.
— Но сейчас она работает в детском саду — зрение падает, но по-прежнему много читает. В библиотеке набирает авоську до восьми книг, мы с ней вместе ходим.
— Моя мама работает в ШарЭмэ.
— Что это?
— Школа рабочей молодежи. Вечерняя школа.
— А папа на заводе инженер...
Главный.

(На меня это не производит никакого впечатления.)

— А мой папа физик в институте.
— Лирик?
— Нет, философ. Хочет перевернуть мир, хотя уж он-то точно знает, что нет точки опоры. Мечтает всю жизнь поехать в Америку. Он маме сказал, когда они поженились: «Я напишу книгу, и на эти деньги мы съездим в США». Дома у нас журналы «Америка» с 61-го года.

— Ничего, что я курю?
— Мари сказала Кюри: курри! Я привыкла. Папаша по две пачки ежедневно выкуривает. Хотя у нас в каждом углу пепельницы, он сбрасывает пепел куда угодно, даже в океанскую раковину, ему завкафедрой с Кубы привез. Кто-то хочет послушать, как океан шумит, а из раковины, не кухонной, сыплется пепел.

— Да-а... Мечтатель. Я мечтаю с Джеком Лондоном. Отец принес собрание сочинений.

— Мой любимый! У нас есть еще «Библиотека приключений». Но самая моя любимая книжка — «Лже-Нерон». У нас почти весь Фейхтвангер.

— Я читал. Класс!
— Особенно мне нравится место, где Акта видит Лже-Нерона в первую минуту. Она понимает, что Нерон погиб, но благодаря горшечнику почувствовала, что Нерон жив, перед ней. Хоть одну минуту самообмана!

— Ага. Помню. Маленькая Иалта, Варрон, Требон... Там Фейхтвангер вроде показывает приход Гитлера к власти.

— А я и не поняла это.
— А моя любимая книжка — «Триумфальная арка». Ты читала Ремарка?

— Нет.
— И еще мне нравится публицистика...

Так мы идем, болтая о чепухе, о Шекспире, о Таллине, где я была два года назад, как будто и не было тех скромных поцелуев-прикосновений накануне. Даже руками не касаемся.

— Лен, смотри, Солнышко с Людой идут.

— Вроде они. А почему Солнышко «Солнышко»?
— Первого сентября на втором курсе Юра пришел на занятия весь в веснушках. Ну, девчонки и говорят — наше Солнышко. А я Пыжик. Как-то завелся насчет пыжиковых шапок. Так и прилипло — Пыжик, Пыжик. Коврижко назвал.

Кружим по местному Булонскому лесу (или Елисейским полям). Проходим мимо дерева, ему лет сто пятьдесят. Могучий ствол (ну, баобаб!) пророс через решетку сада. Впечатление, будто тело великана-богатыря проколото насквозь пиками. Обходим знаменитые брянские деревянные сказочные скульптуры лесовиков. Их штук тридцать. Вроде детская площадка для игр, но ничего поэтического они у нас не вызывают, скорее испуг за детишек или омерзение.

Я:
— Не хотелось бы мне, чтоб мои дети здесь играли.

Леша:
— Хорошее место для распития пива с воблой для местных абори-

генов. А взглянешь на скульптуру — уже как будто захмелеешь... Здесь есть Десна. Можно сходить позагорать в выходные.

Я:
— Можно.

А сама и не представляю, как это я пойду на лесистый берег речки с парнями, да еще раздеваться. Что делать?!

Он провожает меня до дверей общаги. Мы церемонно раскланиваемся.

— До свидания.
— До свидания.

Стратегия

Света уже лежит в продавленной постели, как в гамаке. Кровать до такой степени растянулась, что мою подругу можно и не заметить, если б ее вовсе не девичий храп. Я сажусь рядом и подхрапываю ей в тон. Она открывает глаза.

— Ну что, моя сероглазая храпунья? Куряне приглашают нас на пляж в воскресенье.

Света:
— Да, мне Вольдемарушка говорил. Нас посмотреть. Не выйдет!

— Мы оврагами, огородами — и схоронимся где-нибудь за бугорком. Пусть ищут. Скажем обтекаемо — утром у трех сосен, на берегу. Найдете! И без эксцессов!

Пляж

В воскресенье вышли за час до назначенного времени. Десна была недалеко от нашего общежития. На Свете великолепный импортный сплошной купальник — вертикальные зеленые и красноватые полосы, а на спине большой овальный вырез-дыра. Писк! Я даже здесь, в США, таких не видела. Проходим мимо играющих в волейбол незнакомых парней. Ребята замерли, присвистнули:

— Сексуально привлекательные!

Эти слова еще не были тогда сильными в ходу. Мы зарделись и прошли мимо искать место, где бы можно было получше замаскироваться.

Нашли укромную небольшую полянку, слегка окруженную кустиками и ивами. Река оттуда неплохо просматривалась. Десна оказалась в этом месте очень маленькая, метров пятьдесят шириной. Я ее переплывала туда и обратно. Теперь могу сказать — я переплывала Десну. Ну не Волга, конечно. Сели поиграть в бридж. Проигравший должен кричать три раза: «Я Бриджа!» Затем начали раскладывать пасьянс на желание «сбудется — не сбудется». Теплый ветерок то и дело уносил в траву карты, не давая сбываться нашим самым скромным мечтам. Ближе к полудню, когда захотелось что-нибудь поесть, мы прикупили местных пирожков со свеклой и мороженое в бумажных стаканчиках, которое слизывали с деревянных палочек.

Грелкина все время лежала на солнце, уткнув голову в тенечек, и когда она встала в своем белом сарафане, ее ноги были не красные — лиловые!

Я:

— Ты теперь у нас мадам Лилоногова!

Люда:

— Да не Лилоногова, а Кривоногова! У нас в Одессе есть такая песенка (поет):

А я не знал, что ты такая дура,
И у тебя позорная фигура.
Пень корявый — вот твоя фигура!
И даже злые кошки, увидев твои ножки,
Смеются над тобо-о-о-й!

Я:

— Не кошки злые, а ножки злые. У меня тоже злые ножки.

Раечка:

— Курских не видать?

Света:

— Да у общежития все еще нас дожидаются! И без э... э... эк... экстазов!
(Мы смеемся.)

Возвращаемся домой. У самого входа на пляж натыкаемся на группу хмурых курян.

Мы:

— Мы вас искали по всему пляжу!

Ребята:

— А мы вас ждали у общежития два часа.

Мы:

— Ну, не судьба!

Куряне:

— Вы что, нас стесняетесь?

Мы:

— С чего бы это? Мы любим самое утреннее Сол-ныш-ко-о-о!

Дима:

— Есть только два способа управлять женщиной. Но никто их не знает.

Кино

В местном ДК — американский фильм «Золото Маккены». Мальчики купили билеты на последний ряд, конечно. Сидим: Вольдемар — Света — Коврижко — Леша — я — Солнышко — Люда — Альтман — Раечка — Валера, он же Изжога, — Лида — Николая — Сайда — Павлик. Нас четырнадцать.

Перед сеансом Изжога меня спрашивает подковыристым тоном:

— Лена, а тебе нравятся американские фильмы?

Тогда нас комсомол учил, что все американское — пошлое, и на лекциях по эстетике в политехе профессор Финк гневно обличал гнилое западное искусство.

Я:

— Да, не все. На индийские вообще не хожу с девятого класса.

Тут кино пошло-закрутилось. Грегори Пек, Омар Шериф, Хешка — индийская девушка, Дикий Запад, ковбой, Гранд-Каньон. Дух захватывает от величавости природы. Спейшеснесс — космос! Хешка атакует Грегори Пека, она подныривает под него в изумрудной речке, а он все увертывается и увертывается от роскошной индианки. Показали обнаженку. Сзади. В зале засвистели, затопали ногами. Дикий Восток!

Света:

— Потомки царской России.

Рая:

— Белогвардейский алимент. Или родимые пятна капитализма.

Леша спокойно созерцает кино, я тоже. Левую руку Гречкиной держит Солнышко, правую, перебирая пальцы, жмет Сергей Альтман.

Дима (после фильма):

— Хороша Хешка! Я б не уплыл!

Юра:

— Тебе б Валентина показала! А ну, к ноге, Дима!

Я:

— Посмотреть бы Гранд-Каньон вживую! А то все путешествия по телепуперу глазами Шнейдерова-Банникова-Сенкевича. «Мы с Туром... Мы с Туром...»

Люда (мне, надеясь получить отрицательный ответ):

— Ну, получила наслаждение? (Т. е. твои руки держал Леша?)

Я (назло ей):

— Да, получила!

Люда (разочарованно вздохнула, и уже в сторону ребят, другим, замороженным тоном):

— Я про кино спрашиваю, получила наслаждение?

Я:

— Да, да, да!

(Мне стыдно, что курские прочитали наши мысли.)

Альтман (Диме):

— Ты хочешь пива?

Дима:

— Спрашиваешь...

Альтман (Изжоге):

— Хочешь пива?

Изжога:

— Глупый вопрос.

Альтман (Солнышку):

— Пивнем пивка?

Солнышко:

— Ой, хорошо б! Где вот достать?

Альтман (всем):

— Ну, сработала американская реклама! Я чувствую, что америкашки здесь припарили двадцать пятым кадром жажду к пиву. Нам назло.

Дима:

— Я не «копенгаген» в этом вопросе. Но после нашей телепрограммы «Планы партии — планы народа» меня тянет только на «Солнцедар».



Значит, есть какая-то сермяжная правда в этом 25-м ...17-м ... 37-м ... 41-м...

Таллин

Мы с Лешей нарезаем круги по Брянскому парку. Присели на скамейку. Леша положил руку вдоль скамейки сзади моих плеч.

Леша:

— Всю ночь после кино мне снились прерии, каньоны, Хешка в озере... но с твоим лицом.

Я:

— Наверное, у меня прическа индейской девушки.

Леша:

— Ну да... вроде... похоже...

Я:

— Представляешь, в Таллине есть Кадриоргский парк, переходящий в лес. Там все ухожено, белки прыгают, лебеди плавают....

Леша:

— Такой парк есть в Кузнецке.

Я:

— Я люблю Таллин. Готика и романтика. В соборах витражи, действующие органы. Там есть собор XII века с захоронением Крузенштерна и церковь, где ты встаешь на плиту...

Леша (подхватывает):

— ...и с тебя снимаются все грехи.

Я:

— Ага, ты знаешь. Есть на крыше одного старинного дома бюст важного господина в парике и с моноклем в руке. По преданию, он любил подглядывать из окна за одной молоденькой барышней в доме напротив. А когда она отказала ему в замужестве, он завещал установить свой бюст там. Вечный укор ей. Кстати, рядом здание КГБ. Такая реклама на крыше.

(Лешина рука со скамейки тихонько опускается на мое плечо. Я не отдергиваю.)

Леша:

— К нам там плохо относятся.

Я:

— Я не заметила. Мы всегда ходили с эстонцами. Два брата моей подруги. Мы у них останавливались.

Леша (настороженно):

— Ровесники?

Я:

— Старше на два-три года.

Леша:

— Понятно... Давайте в ресторан как-нибудь сходим.

Я:

— О'кей. Кутить так кутить! Три корки хлеба с чаем, без сахара!

Ресторан

Пошли всей дружной компанией в местный суперпрестижный ресторан «Журавли». Название какое-то сказочное. Думаю, подтекст из сказки «Журавль и лисица». Как журавль долго клевал кашу из кувшина лисицы и не наелся.

Накануне скинулись по три рубля. Заказали салатов, чанахи, красное вино: может, «Южанка», может, «Южные ночи». Некоторые в ресторане впервые. Путаемся с вилками и ножами.

Дима:

— Штирлиц сидел в берлинском ресторане. В правой руке он держал вилку, в левой — нож. Штирлиц знал, что нож надо держать в правой руке, но ему захотелось одну минуту почувствовать себя в России.

Юра:

— Гуляй, Вася, жуй опилки!

Альтман (Юре):

— Кушай, кушай! К празднику за колом.

Вольдемар:

— Запоганить бы чашечку кофе!

Лида:

— Блюда-то — шиш да понюхай.

Люда:

— Вкусить нечего.

Ко мне подходит официантка.

— У вас есть паспорт?

Я (удивленно):

— С собой нет.

— Так вам исполнилось восемнадцать?

— Я уже заканчиваю институт (показываю студенческий билет).

— Извините.

Я (Леше):

— Непонятно. Это комплимент или обвинение в инфантилизме, недоразвитости?

Леша:

— У тебя очень наивный взгляд. И это симпатично.

Люда наклоняется ко мне и, чтоб Леша слышал, говорит многозначительно:

— Ты помнишь, нам назначено свидание в Куйбышеве?

— Какое свидание?

— Ну, один пилотик приглашал...

— Да, кто? Не помню.

— Ну, в сквере сидели перед отъездом, у песочницы.

— А-а-а (со смехом), милый мальчик.

Лешино лицо покрывается какими-то странными бурными пятнами и слегка отекает. Он становится похожим на ужаленного пчелами.

Леша (стесняясь):

— Это у меня на нервной почве. В десятом классе зашиб позвоночник. И изредка со мной такое происходит. Нечасто.

Звучит ресторанный песня «На Мясоедовской».

Дима (Валере):

— Хорошо б шампанского заказать для дам. У меня есть еще четыре рубля. Я чувствую себя *Рокфэйлером*.

Валера (щелкая пальцами, изображая *мусье*):

— Гарсон, вина!

Лида сидит рядом и гладит его по щекам, шее. Ему это очень неприятно. Он отдергивает ее руки, пытается показать, что это не его барышня. «Любовь прошла, любовь прошла, по ней звучат колокола».

Танцуем медленные танцы. Нас стали приглашать брянские кавалеры, конечно, в первую очередь Люду. Мы отказываемся. Гречкина идет танцевать с Солнышко. Тучи сгущаются — нельзя отказывать местным авторитетам! На горизонте драка.

Дима (Юре):

— Чем хуже, тем дальше. *Экзекуцию* надо сварганить. Назвался гусем — так спасай Рим!

Сайда:

— Давайте быстро уйдем. Как-то неуютно на нас смотрят мальчиши-плохиши за соседним столиком.

Мы недружно ретируемся. На улице нас догоняют Солнышко и Альтман. У Юрика галстук на плече, под глазом припухло. Альтман трогает челость.

Альтман (Юре):

— Как ты приятно отправил товарища в нокаут левым хуком! Тайсон бы обзавидовался. Сейчас там, в гальюне, на полу лежит, отдыхает...

Юра:

— Какое нахальство! Наши девчонки для нас, не для брянских волков! А ты как чувствуешь себя?

Альтман:

— Чувствую себя, но плохо. В морально-физическом-финансовом отношении. Не полететь бы за журавлями после этого ресторана.

Леша (мне):

— Мы прихватили бутылку водки с банкетного стола.

Я (ошарашенно):

— Не стыдно?

Леша:

— Ну... для куража...

Я:

— Штирлиц один сидел в кабинете Мюллера. Он подошел к шелковым шторам и высморкнулся в них. Штирлиц знал, что надо пользоваться носовым платком. Но ему хоть минуту захотелось побыть в России.

Молочный суп

Распаковываю посылку от мамы, вынимаю кофту, как просила, полотенце (ох, страшный дефицит того времени), знаменитые куйбышевские конфеты «АссортиР» и записку почерком брата — «Без маленького не приезжай», и только-то. Подсунул в последнюю минуту. Зная мой пуританский нрав, он пытался себя развеселить. Или меня? За всю жизнь это, наверное, его единственная незлая шутка.

Прибежала Раиска-Переписка из кухни:

— Сварила молочный суп с лапшой. Пока бегала за тряпкой, кто-то отлил. Осталось лишь на дне.

Люда:

— Есть, конечно, хочется. Но и на диете полезно посидеть. А я вот не нашла выстиранный лифчик в прачечной на веревке. В Одессе покупала, на толчке, импортный, за десять рублей.

Я:

— Может, кто с шапочкой перепутал? Здесь местные очень головастые, рахитом переболевшие.

Люда:

— У тебя, Ленорка, весь ум в рост пошел.

Я:

— Зато на косметике экономлю.

Люда:

— Я вообще не понимаю, что в тебе мой Ломтик нашел. (Делано пристально меня рассматривает.) Может быть, только волосы?

Я:

— Волосы от деда-венгра. Гашпара. Его в плен в 14-м взяли. Не зря Франца-Фердинанда подбили — что-то и мне в этой жизни перепало.

Люда:

— Пузогрызкина, у тебя спросишь, сколько времени, а ты начинаешь рассказывать, как действуют часы. (Обращаясь к Раечке.) А как твой Альтманок?

Рая:

— Загадка. Все говорит про какого-то любимого племянника, двухлетнего. Скучает по нему. У меня подозрение, что он женат, по сыну тоскует.

Люда:

— Зачем женатые сюда приехали на практику? От жен сбежали проводить ревизию своих чувств?

Рая (Люде):

— Ребята думают, что ты «забита» кем-то, никому не отдаешь предпочтение.

Я (подаю голос):

— Забита-забита досками и заколочена гвоздями по самое «не хочу».

Люда:

— Что они подразумевают под «предпочтением»? Обжиманцы?

Да, и самого красивого и умного увели (кивает в мою сторону).

Рая:

— Серый говорит: «Я знал, что Лешка нервный, но здесь с ним это очень часто происходит. Лена его, что ли, доводит?»

Я:

— Да. Довожу... до общезития. А то вдруг кто обидит по дороге... или угонит.

Сайда и другие

Сайда как-то сдружилась с Николаем, Никола по-нашему. (Грешкина сказала, что он на пана *Гымаляйского* похож... Ну, похож.) Вместе — не разлей вода. И обедают, и ужинают, и на волейбол, и на мотогонки, и в заводскую библиотеку, и на реку. Она засветилась. Да, она всегда улыбочивая, компанейская, своя в доску, как она любила говорить. Написали вместе с ним отличный отчет по практике, достали кучу нужной информации для предстоящих курсовых. Правда, комендантша общезития резко плохо стала к нам относиться. Потом она не вытерпела и выпалила:

— Опозорились куйбышевские девчонки, ночуют в мужском общезитии.

Мы глаза вылупили — кто? Светка на разведку к Сайде, потом приходит и с облегчением говорит:

— Просто Сайда зашла в номер пана Коли поздним вечером за своей кофтой. И вот началось обсуждение нашей нравственности!

Только у Лиды ее бурный роман с Изжогой быстро свернулся, и она переключилась на нашего Юру-Засушенного-Геракла из Куйбышева, который самым последним приехал на практику в Брянск и не смог сразу нас найти. И она нашла его.

Раечке никак не удавалось раскритиковаться перед Альтманом. Он все поглядывал в сторону Грелкиной. Как-то Альтмандо серьезно прикинулся Сайде, что Люда запала ему глубоко в сердце. О, на нее



все поглядывали! Даже Коврижко перед отъездом подарил ей перочинный ножик на память о себе: «Бери и вспоминай». Самым настойчивым и долготерпеливым был обаяшка Солнышко. Он красиво ухаживал и говорил, что робеет с ней. Меня он по колену как-то погладил, Сайде тоже что-то нашептал, робкий наш.

Еще был Павлик-Паша-Пашутик, скро-о-о-м-ный такой. Не найдя объект страсти среди куйбышевских синичек, блудный сын повернулся к курской девочке из своей группы, Соне, кажется, и пропал из нашего поля зрения.

Встречи

Вечером гуляем с Лешиком по парку, освещенному луной и кое-где фонарями. Мы идем на расстоянии.

Леша:

— Мы с тобой не итальянцы.

Я:

— Почему?

Леша:

— Потому что мы ходим, как школьники.

Я (как будто не понимая):

— А как ходят итальянцы?

Леша на секунду приближает меня за талию.

Я (отстраняясь):

— Будем советскими студентами.

Мы кружим, кружим по парку. Пошли к самому темному месту, куда вообще не проникает свет.

Леша:

— Можно, я тебя поцелую?

Я:

— Можно.

Короткий поцелуй в щечку. Я тут же отстраняюсь, сама не знаю почему. Паникеж в двадцать один год!

В парке мы то и дело натякаемся на парочки по интересам: Света в накинутом мужском пиджаке с Вольдемаром, Раечка — Серый, Сайда — Николая. Мы останавливаемся у автомата с газировкой, ищем у себя монетки. Из темноты выныривают Солнышко и Люда.

Люда:

— Вы почему такие грустные?

Леша:

— А я люблю грустить.

Люда:

— Это как? «Сел. Щас буду грустить. И мне хорошо».

Леша:

— Необязательно садиться.

(Люда пытается его разговорить, заинтересовать собой.)

Люда:

— По-моему, мы где-то раньше встречались, *мусьен?*

Леша (подыгрывает ей):

— Да, у Ришелье, на Дерибасовской.

Люда:

— Помню-помню. На вас был зеленый *пиджакер* и желтые брюки.

Леша:

— А на вас черные чулки в сеточку, в руках граммофон и готвальня...

Мне это не нравится. И я добавляю:

— ...рейсфедером для бровей. А я в это время проплывала из Аркадии мимо волнореза и топила всех акул горячим утюгом.

Мы выпиваем газировки. Люда делает еще одну попытку привлечь Лешино внимание:

— Ну, все-таки. Ты был в Одессе? Я одесситка.

Леша (отбрыкивается):

— Конечно, был. «Одесса-мама, ты меня раздела...»

Люда:

— Не раздела, а *рэздела*.

Леша:

— *Руздела*.

Люда:

— Нет, губы не так надо складывать. Она приближается к нему и показывает свой великолепный рот:

— Рэ, рэ, рэ...

Уже и Солнышко заволновался:

— Людок, тебе не холодно? Накинь мой пиджак.

Люда:

— Тебе просто хочется показать свои мощные плечи.

Солнышко:

— Да, прохладно. Пора уж расходиться.

Чаепития

После вечерних или, скорее, ночных прогулок мы обыкновенно попивали чаек с подушечками и без, обсуждали новости. Конечно, ребята тоже нас обсуждали и делились впечатлениями. Иногда это проскальзывало. Так, Коврижко проговорился Сайде, что он знал о моем падении в лужу. Идя как-то ночью с Лешей, я сослепу приняла маленькую ямку, заполненную грязной водой, за тень и смело шагнула туда, зачерпнув холодной жижи в туфлю.

— Я бы мог тебя на руках перенести, если б знал, что ты не видишь, — утешительно произнес Леша, видя мою озабоченность по поводу некомфортности и неинтеллигентности внешне-го вида — моя туфля почавкивала.

Вообще, Дима относился ко мне настороженно. Почему? Загадка для меня. Разок он мне прямо сказал:

— Ленка, ты злая.

Я:

— С чего бы это?

Дима (упрямо):

— Ты злая.

Вот такое объяснение. Не больно-то приятно. Но уж что заслужила, то заслужила...

Мы тоже делали разбор полетов, ничего не скрывая друг от друга.

Света:

— У Вольдемара старший брат в Подольске, под Москвой. Он делает ему туда распределение.

Я:

— Леше не нравится Курск — церквей много, бабок набожных с котомками. Очарован Сибирью, Томском. Я бы в Таллин поехала или в Питер.

Люда:

— Нас там не ждут.

Света:

— А где нас ждут? В Москве?

Еще Вольдемар сказал, что мечтает о женитьбе. А я говорю — зачем торопиться, стирать мужские носки? А он — я сам себе всегда стираю.

Люда:

— Будешь как миленькая стирать. Я хороший *психоанализатор*,

людей вижу насквозь, как *лазарь*. Сначала шелковый, а потом — «жена, да убоись мужа!». (Стучит кулаком по столу.) За тапочками не набегаешься. Яким Кондратыч!

Рая (мне):

— А помнишь, мы в Булонском лесу гуляли? У Апчхи-сарайского фонтана к двум девчонкам в цилиндрах подкатили два парня. Это были Коврижко и Леша-Пыжик.

Я:

— Странно, не узнала.

Света (мне):

— А я видела, еще до вечеринки с курскими, твой Лешик с какой-то девицей в обнимку разгуливал. А не хотел идти с тобой знакомиться. Вот ведь как получилось!

Люда (мне):

— Ну и о чем вы беседуете с мусье-ном де Лехой?

Я:

— Ой, он так много знает! И Флобера, и Золя, и Евтушенко, и Вознесенского, и «Мастера и Маргариту» читал. А у меня какой-то ступор — да-нет, да-нет. Я даже фамилию его не знаю. Интересно, а спросить неудобно.

Рая:

— Я слышала, какая-то... музыкальная фамилия... Вот вспомнить бы...

Света:

— Не Горохов ли? Неплохо б звучало — Элеонора Горохова. Не так, конечно, эффектно, как Элеонорка Музогрызкина, но аристократичность присутствует...

Люда (мечтательно):

— А я бы смогла с Лехой поддержать беседу. Мне бы с ним сразиться в полемике!

Рая:

— Сайда говорит, что в сентябре ожидается шесть свадеб.

Я:

— Скорее, похороны.

И как в воду глядела. Прокассан-дрила я свое будущее!

Любовь

И чем больше я влюблялась в Лешу, тем глубже уходила в себя. Непривычно мне было получать доброе, искреннее мужское внимание. Я владела только пикировкой в общении с братом.

Леша чувствовал мое зажатие и пытался меня растормошить, смешил, задавал простецкие вопросы — ну расскажи, как ты занимаешься фехтованием, что стоит у тебя на письменном столе, опиши дизайн кафе в Таллине. Что я могла ему позволить — это взять мою ладошку. Когда он сделал это в первый раз, я удивилась — у нас почти одинакового размера ладони.

Я:

— У меня большая ладонь.

Леша:

— У меня маленькая ладонь.

Я:

— Нет, это у меня большая ладонь.

Леша:

— Нет, это у меня маленькая ладонь.

Мне хотелось подвести его в то место, где он спросил разрешения поцеловать меня, и испытать опять этот приятный холодок страха, почувствовать себя чеховской героиней «Шуточки»... Мы прошли это место как ни в чем не бывало. Шуточка?

Леша:

— Смотри, сегодня волшебная Луна. А Марс видишь?

Я:

— Ага. Вижу. Вон Аэлита выглядит своего инженера Лося. Где ты, Сын Неба?

Леша:

— А он уже на другой планете.

Я:

— Интересно, он долго о ней помнил?

Леша (серьезно):

— Очень долго. Как обычно.

Я:

— А женщины помнят всю жизнь свою любовь. Ведь Аэлита сейчас на пенсии, ей где-то около семидесяти лет. Не Эдита Пьеха.

Леша:

— Ну, дождется высадки американцев на Марсе.

Я:

— А я быстро к людям привыкаю и быстро отвыкаю.

Зачем я это сказала? Хотелось казаться такой независимой себе и всем. Жизнь показала, я далеко не такая.

Леша:

— А я люблю писать письма... и получать... Угадай, кто мой самый близкий друг?

Я:

— Коврижко?

Леша:

— Ошибаешься, Паша. Только ему я могу доверить самое сокровенное. И он всегда меня понимает. Мудрый человек.

Я:

— Ну, не подумала б. А Дима?

Леша:

— Он компанейский. Балагур.

Я:

— Позер?

Леша:

— Есть немного...

Я:

— Так и бывает. Самое настоящее в тени. Зачем золоту светиться? А помогут в трудную минуту не ораторы, а скромные павлики.

Леша:

— А у тебя есть подруги?

Я:

— Хочется верить. Говорят, настоящего друга ты приобретаешь до двадцати лет. Ему все прощаешь, и он тебе все прощает. Как родители, семья...

Так мы бродили, никого не замечая. Один раз дошли до общежития, где у дверей на лавочках сидела вся наша компания. Света издала увидела нас:

— Вот идут наших два журавушка.

(Мы же были самая высокая пара среди всех. Еще она называла меня Пухлявкой. Только совсем недавно я поняла, что это была издевка.) Мы прошли, в упор никого не видя, и раскланялись у дверей. Народ безмолвствовал...

**Окно**

Вечер. Кухня женского общежития на пятом этаже. Из распахнутого окна Ткачиха, Повариха и Бабариха наблюдают за кучкующейся внизу молодежью.

Ткачиха:

— Глянь, опять курские пижоняты с куйбышевскими. Как мухи в сметане повязали в них. Девчонки обыкновенные. Может, одеты чуть лучше нас. *Кенареечные* дерьмодавы на платформе где-то надыбали!

Повариха:

— Ну не скажи... Там есть одна сивая штучка. Вон она, в центре стоит, руками машет. Ко-ро-лев-на! Я ее приперла к стенке — колись, как ты так *иффектно* глаза красишь. Она, *горит, кажный* раз концом вилки придавливаю ресницы и опять наращиваю тушью. Но у меня все равно не получилось так.

Бабариха:

— Да, слабы на передок. Вот и весь секрет повышенного внимания.

Повариха:

— Кто бы сомневался!

Ткачиха:

— А мы их из кастрюльки сейчас окропим водичкой...

Бабариха:

— Лучше бы кипятком ошпарить! (Выплескивают воду вниз и прячутся внутри кухни. Снизу девичий смех, визг.)

Вольдемар:

— Кому мы там мешаем?

Альтман:

— И разверзлись небеса...

Коля:

— Мы все равно не уйдем.

Дима:

— Меня преследуют умные мысли...

Юра:

— ...но ты юркий!

Альтман (Диме):

— Караван лает, собака идет?

Дима:

— Анонимные фантазии доброжелателей повергают меня в благородное смущение, говорил Авель своему брату. (Вверх.) Бодливой корове не должно поступать по-свински, писа-

лось в придворном этикете пастухов времен Людовика XVI.

Леша:

— Теперь мы все Брянском крещенные. Кто забудет эту практику, тот будет...

Вольдемар:

— ...повидлом!

Леша:

— Нет! Тот будет жить, как робот в скафандре!

Солнышко с невидящими глазами начинает двигаться, как робот. Он подходит рывками к девушкам, тепло дотрагиваясь до каждой, со словами «простите, извините, простите, извините...».

Люда:

— Вот так вот просто можно и забыть!

Ткачиха, Повариха, Бабариха осторожно наблюдают из-за шторок.

Бабариха:

— Я же говорила, крутым кипятком надо было обдать...

(В окно влетает шмель и жалит Бабариху в нос.)

Бабариха:

— Ай! Как погань, как мухобель — так ко мне присандаливается!

Билеты

Дневная смена. Я в кладовке стою у раздаточного окна. Затишье. Никто не идет за инструментом. Вытаскиваю из кармана халата записку от Люды (она в ночной смене), подписанную мадам Чезизадовой, и улыбаюсь, читая ее. В окно просовывается Леша в цивильном пиджаке. Его лицо излучает доброту.

Леша:

— Привет. Я уже со смены. На трейлере работал. Мастер пораньше отпустил. Как сегодня, встретимся?

Я (не смею взглянуть ему прямо в глаза. Просто так. Впала в коматозное состояние, счастье парализовало меня):

— Да...

Он уже переоделся после работы. Уходит. Я смотрю ему в след. Мало кто из наших студентов носит такие модные замшевые туфли.

Моя напарница, рабочая Тая, говорит:

— Он нравится тут одной фрезеровщице.

— Мне он тоже нравится.

— «Поджигатель» все здесь крутится, тебя высматривает.

— Бомбу припас для объяснения? Я народольцев с детства не уважаю... Твоей фрезеровщицы не Перовская фамилия?

— Нет, Кудряйкина. А почему ты спрашиваешь?

— Да так, просто. Нахлынуло что-то...

Вечером приходит Света.

— Леша с Коврижкой уехали на выходные в Курск.

Я:

— Даже не попрощался.

Света:

— Так дождь же был.

Я (пою):

— Если дождь пойдет, ждать ты будешь, значит, любишь ты, значит, любишь. (Свете.) Пошли обратные билеты через Таллин покупать. Мечтали ведь. Возьмем на 14 июля.

Люда:

— А я через Москву поеду 16-го.

Я:

— Что это, ты остаешься одна, без нас?

Люда:

— Да... так... побуду... Куда торопиться? В свою общагу?

Мне понятно. Будет одна очаровывать Лешу без меня. Мне грустно. Что ей в жизни не хватает? Солнышка?

Лешин приезд

Леша встречает меня у заводской проходной как ни в чем не бывало.

— Домой съездил, деньгами пополнился.

— Покормили?

— А то! Пельменей поел, борща. Зашел к одной знакомой. У нее конфликт с родителями. Отцы и дети. Старо. Ну, как у всех. Грустная...

Я про себя думаю: «Зачем это он мне говорит? С какой стати? Что это за знакомая? Проверял свои чувства?»

Я:

— А мы со Светой билеты взяли: Брянск — Вильнюс — Рига — Таллин — Москва — Куйбышев. Уезжаем 14-го.

Леша (сник):

— Вот и расставание...

Я:

— Я уже сувениров наготовила.

Леша:

— Мне подарить?

Я пожала плечами:

— Наверное...

И кто меня такой сделал — гордой, обидчивой, недотрогой? Да кто-кто — властный папа, старший брат и русская литература. Может, просто врожденное слабоумие...

А неврученный сувенир — крохотных глобус с гравировкой «Аэли-та. Июль 74» — так и стоит до сих пор у меня в книжном шкафу.

Прощание

Первыми домой уезжали мы со Светой. Через Прибалтику. Все пришли провожать нас. Одинаково накрашенные и причесанные под Люду, на крыльцо общежития вышли поглазеть грустные Ткачиха, Повариха и Бабариха. Последняя с сизым носом пряталась за спины подруг.

Коврижко:

— Мусьеном можешь ты не быть, девчонок проводить обязан.

Леша нес мой чемодан. На вокзале присели сфотографироваться. Леша долго ловил мой взгляд объективом, а я отворачивалась. Почему? Не знаю. Наверное, стеснялась. Сайда говорила ему что-то успокоительное. Светка сняла невидимую пушинку с Володиной рубашки. Он взял ее за руку и посмотрел почему-то через ее плечо на всех. Раечка сосредоточенно лустерила семечки из газетного кулчка. Изжога не сводил взгляда с часов — побыстрей бы пришел поезд, и он мог улизнуть на футбол, никогда больше не пересекаясь с Лидой, которая ради него и пришла сюда. На скамейке с прикрытыми глазами развалился пан Гималайский. Было видно, что он балдеет

от своих видений. Вокруг Людмилы франтовато суетился Солнышко. Гречкина же, при параде, без очков, спокойно созерцала картину расставания.

Альтман:

— Давайте ваши адреса и телефоны.

На его правой руке обручальное кольцо. Мы диктуем, сами не спрашиваем — неприлично ведь. Подходим к вагону.

Леша (мне):

— Желаю тебе и в будущем ранить своей рапирой мужские сердца.

Мне кажется, что на нас все смотрят. Ой, сейчас все поймут, что я влюблена в Лешу по самые пятки. Надо сделать невозможное, безразличное лицо.

Я:

— Пока. Всего-всего.

Леша:

— Пока. Всего.

Сели в вагон. Через час мне стало тоскливо, Светке тоже. Из Вильнюса дали в общежитие смелую телеграмму «Скучаем. Ждем. Целуем». Наверное, не дошла.

В Прибалтике на улицах мне постоянно стало казаться, что я вижу Пыжика. Сказала Свете — у нее висают фантомы Вольдемара. Конечно, в Таллине ни к кому не зашли — не было необходимости. Грустные, но с сердцем, переполненным любовью, мы прибыли домой и каждый день лазали в почтовый ящик за письмом. Ничего.

Позже прикатила Гречкина, она поведала, что, когда мы сели в вагон, у Лешы в глазах стояли слезы. Он отворачивался ото всех, потом попросил сфотографировать его у какого-то дерева, типа бабаба в решетке, взял гитару и с надрывом запел «Ах, зачем нас бабы балуют...».

Люда:

— Лен, что ты наделала?

Я:

— Что-что? Не знаю что. Ездил в Курск к кому-то... подруга там... вроде...

Люда:

— Да, у всех у них есть запасные аэродромы. Хороший мальчик... был...

Да. Все последнее время перед Люсиным отъездом Солнышко не отлучался от нее ни на минуту. А может, и сама что-то поняла...

Лайне

Август 74-го. Моя лучшая подруга детства Лайне, эстонка, по телефону назначила мне свидание на площади Революции. Она пианистка, старше меня на четыре года, успешно замужем. Курирует и патронирует меня, в общем, относится ко мне, как старшая сестра. Лайне всегда в прекрасном настроении, ее задор и юмор фонтанирует шампанским в любых ситуациях. Кстати, мы с ней одного роста и знакомы с трех лет, наши отцы работали в одном институте и неплохо дружили. Когда мне было шесть лет, а ей, соответственно, десять, она мне по секрету сообщила:

— Наши папы против Хрущева, но ты об этом никому не говори.

— Не буду, — пообещала я.

Лайне уже сидит на скамейке, покусывая травинку. Я немножко припоздала.

Лайне:

— Привет! Какая ты стильная у нас после Прибалтики! Что это ты в городской сумке принесла? Тротил?

Я:

— Привет! Ты тоже как всегда на высоте. По пути решила забросить учебники в институтскую библиотеку. А ты на подрыв намекаешь? (Я киваю на памятник Ленину, который стоит в центре уютной старинной самарской площади.) Пора б фактуру сменить. Саня, Вова... Кто следующий?

— Какой Саня? Какой Вова?

— Александр Второй стоял до 17-го года на этом красивом постаменте. Ильич еще продержится — место престижное, с видом на Волгу. Моя подружка носит ему цветы на 22 апреля.



— Кто это, такая дремуче идейная?
— Люси Гречникова из нашей группы. Серьезно обижается, когда я над ней подшучиваю с вождем. Говорит, он наш освободитель.

— «Кто был никем, тот встанет всем!» Да брось ты это село! Слушай. Я была в Москве у маминой приятельницы-профессорши. Она ищет для своего сына, дипломата, невесту. Москвички сейчас поголовно все курящие, пьющие и гулящие. Я ей рассказала о тебе. Они хотят приехать познакомиться с тобой в Куйбышев.

— Ты с ума сошла! Мне никто не нужен! У меня любовь!

— Любовь можно отодвинуть. Такой шанс! И парень красивый!

— Но я влюблена в другого!

— Ну, не знаю... Дипломата тоже можно полюбить...

— Конечно, его полюбят! Я думаю, у него все получится в жизни. Найдет хорошую девчонку!

— Эх, Пугачева! Темнота ты со своей русской литературой и подружками-большевичками! Будешь куковать в шалаше с инженеришкой на сто десять рэ с вечными постирушками и «авоськать» по молочным кухням. Мир бы посмотрела. Не из трамвая!

— Я б стирала, написал бы только...

Мои книги вываливаются из лежащей сумки со скамейки на асфальт. «Научный коммунизм» сверху придавливает техническую литературу.

Сентябрь

Никто никому не написал. Только Сайда получила какое-то смурное письмо от Николя. «Рад был встретить тебя... Ты хорошая... Удачи тебе в жизни...»

Я несколько раз ошибалась, думая, что Леша сидит перед моим домом на лавочке, ждет меня. Гадала на ромашке: придет — не *приедут*. Не приехали, не позвонили. Ну, мы и не договаривались. Девчонки не спросили адресов у мальчишек. Гордость? Дурость? Детство? Всего понемногу. У Светки тоже были ви-

дения: Вольдемар приехал. Гречкина на распутье, частенько раскидывала карты на Солнышко, генеральский Ломтик как-то за горизонтом оказался. Ждали-ждали писем, собрались в общаге у Люды писать коллективное письмо курянам. Классное письмецо получилось, с юмором, на одесском жаргоне — ведь всю практику тренировались. Грелкина приклеила мою удачную фотографию в купальнике. Вскоре получаем веселый коллективный ответ из Курска на адрес общежития и все наши вокзальные фотографии. Да, помним, хорошо время провели вместе. Всего-всего. И ничего, никаких обещаний, перспектив. Правда, потом, попозже, в феврале 75-го, Гречушкина говорила, что Солнышко прислал ей письмо из Брянска. Он опять там на преддипломной практике, ностальгирует. Но Мила та еще фантазерка из Крыжополя. Хотя может быть, может быть...

Ну, «до свиданья, лето, до свиданья. На тебя напрасно я надеялась...»

Ноябрь

Первого октября умер мой отец. Внезапно. От инфаркта. Днем еще читал лекции в институте, а ночью сильнейший приступ. Хотя мы все знали, что у него больное сердце (до шести таблеток нитроглицерина глотал ежедневно, «моя взрывчатка», как он говорил), но к этому никогда не подготовишься. Тоска. И ничего от Леши...

Мой руководитель курсового, все тот же Филин, ошандарашил меня, сказав, что материала я недостаточно привезла из Брянска, практику не засчитает. Пришлось компоновать, слизывать из учебников. Пронесло. Хотя ради такой практики можно было и на второй год остаться.

Опять писем нет. Я покупаю билет на самолет в Курск. Туда и обратно. На два дня с дорогой. Ну, не женился же он за это время!

До Курска лететь десять часов на кукурузнике с посадками. Самолет из-за непогоды где-то застрял на

двадцать часов. Лешкиного адреса нет, только Николашин от Сайды, Света достала. Все в тайне. Маме сказала, что еду к Раечке в Отрядный курсовой делать. Она вроде поверила.

Долетела, приземлилась, нашла Колю дома. Что Леша? Давай к нему зайдем.

Коля:

— Может, не стоит... У него через неделю, 30 ноября, свадьба.

Я:

— Да... конечно... А кто она?

Коля:

— Из педа, с иностранного факультета.

Я:

— Красивая девочка?

Коля:

— Да... красивая...

Он проводил меня до такси в аэропорт.

Коля:

— Я звонил Сайде каждый день три недели. Никто не отвечал. Мне ее так не хватало. Я взял билет на самолет, дошел до трапа и повернулся назад. Все... Прошло... А Леша отклеил твою фотографию от письма и забрал себе...

Тайсон

Сиюю дома, ожидая психологическую помощь — Светку. Звоню в дверь. Открываю. Немой вопрос в Светкиных глазах — мать дома? Киваю — да. Торчащая бутылка токайского вина из ее короткой сумки перекочевывает в ближайший женский сапог в прихожей.

Мы в отдельной комнате брата. (Я-то в проходной всю жизнь).

— Ну, как слеталось, Пузачкина?

— Получила по зубам, фейсом обтейбл — свадьба через неделю.

— Вот это да-а-а-а! Яким Кондратьич! И кто же счастливица?

— Студентка из педа, из-под иностранного.

— Форсировала события перед распределением...

— Может быть... Больно. Горько. Печально. Бесперспективно.

— Да ладно, какие наши годы! Виделась?

— Нет, только с Колей Гималайским. Он и сообщил.

— Может, стоило было повидаться-объясниться?

— Позориться? «Умерла так умерла». Да я и не борец, ты знаешь...

— Жалко, что про Вольдемара ничего не узнала. Может, тоже женился.

Моя собачка, японский хин, скребется в комнату. Я открываю дверь.

Я:

— Пожалуйста, мистер Тайсон. «Агрессивный, бестия, чисто фараон!» Тайсон, голос! (Собака лает.)

— Тайсон, лапу! (Собака исполняет.)

Командую: сидеть, лежать, ползти, кувырок. (Исполняется все.)

Света:

— Тайсон, уравнение Ван-дер-Ваальса!

Я:

— Рановато, Агундяпкина. Таблицу Брадиса штудлируем пока.

Собака хватает с кофейного столика кусочек сыра и прячется под стул.

Я:

— Пробелы в воспитании. (К собаке.) Почему без вилки?

В прихожей одевается мама. Из своего сапога достает бутылку токайского.

Мама (мягко):

— Де-е-е-евочки, ну зачем прятать? Вы же пятикурсницы, взрослые уже...

Я:

— Ты замужем уже была два года в этом возрасте... А нас не берут... (Свете.) Брат меня называет Неберман.

Мама уходит. Мы разливаем вино из Светкиного НЗ в таллинские коричневые фужеры.

Я:

— За тех, кто живет миражами, за нас!

Света:

— За одиноких, но гордых! То есть нет, за гордых, потому что одиноких!

Я:

— Какие «гордые»! Коле сказала, что проездом, пролетом.

Смышляевка-Барселона, через Курск. Пыжику бальзам на сердце мое турне.

Света:

— Курск понравился?

Я:

— Вроде посимпатичней Брянска. Была-то всего четыре часа. Ну не Одесса, конечно.

Света:

— Грелкиной будем рассказывать?

Я:

— Да как-нибудь под настроение. Она вся в Ломтике сейчас. Забылась. Волосы опять в розовый цвет перекрасила — а-ля *Помтадура*.

Тайсон поднимает лапу над Светиной сумкой.

Я (угрожающе):

— Тай! С-с-с-собака такая! Обиделся — выпить не налили. Он у меня ватку с огуречным лосьоном для протирания лица ворует. Нью-хач. А потом наскакивает на всех девушек, хочет близости.

Света:

— Мужчинка все-таки.

Что с сумкой-то делать?

Я:

— Можно отослать Вольдемару как предсвадебный подарок от бывшей почитательницы его таланта. Пробник куйбышевских духов «Не может быть!». Пооригинальней, чем водочный набор «Ленин в Разливе».

Я провожаю Мухоморкину до двери. Тайсон на моих руках. Мое деревянное лицо окунается в его шерстку. Тайсон лизнул меня в нос.

Я (собаке):

— Ты меня не предашь?

И опять получаю от него поцелуй в нос.

Калуга

Приехав в очередную командировку от НИИ в Калугу, я отыскала Гречникову. Она распределилась туда после института поближе к Москве, к Ломтику. Вызвала ее телеграммой в гостиницу, к себе она не пригласила. Мы встретились в тесном фойе. Администратор долго не хотела пропускать ко мне запоздалую гостью, полиция нравов

пресекала появление вечером такой эффектной блондинки в длинном черном кожаном пальто, черных брюках и черных перчатках. Нам было уже под тридцать пять. Люська по-прежнему сияла холодным светом и с достоинством несла свою красоту в мир. Машиностроение не вдохновляло ее на трудовые подвиги еще и в политехе, поэтому она постаралась сразу же переквалифицироваться в секретарши в какую-то контору. Разведена, сыну восемь лет. Вышла замуж просто так, а спать с мужем не смогла себя заставить. В конце концов он сказал: «Я тебя так долго добивался, забросил свою диссертацию. Я люблю тебя, но я мужчина. Я ухожу».

— Знаешь, Лена, я двенадцать лет не могу забыть Ломтика, он до сих пор мне снится. Хотела, чтоб все было по-честному — секс после свадьбы. А он уперся, обиделся, бросил меня. Звоню ему в Москву. А там женский голос всегда отвечает: вы ошиблись номером. Жена, наверное. А ты как?

— Да, уставший романтик, одна порхаю. Неровно все у меня. Эстонцы мои все еще в девушках. Влюбилась в мужа подруги, он на два года младше меня. И тоже переступить через себя не могу. Ему нравлюсь, от жены ушел. Комплекую, что молодой. Зачем просто, когда можно все усложнить? Ты же знаешь меня.

— Ну как же так? Два года — это тьфу! Ты выглядишь на двадцать один по-прежнему. Такие, как ты, сейчас в моде. Дождалась своего времени. За мной-то сейчас ухаживает мусьен на восемь лет младше. Это еще заставляет задуматься. (Помедлив, осторожно.) А Лешу... помнишь? (Киваю.) Хороший был мальчик. Жаль, что все мы разметнулись со своей любовью. Любовь — это труд или дар?

— Не знаю. Дарованный труд.

— А как остальные?

— Раечка в Саратове, умыкнул туда ее шкипер с речфлотовского «Титаника». Лида сразу заарканила



какого-то невинного и разродилась через четыре месяца после свадьбы. Он все бегал по врачам, узнавал, его это дитя или нет.

— А твой брат?

— Ему в этой жизни досталось все, мне — все остальное. Доцент и жена доцент, она лекции по аэродинамике на английском читает. После смерти отца сразу женился на первой самарской красавице, к нам привел. Жили дружно. Я в бриллиантах, живу в проходной комнате, получаю больше их с шальными премиями в НИИ, езжу по заграни-

цам, в отличие от них, отвожу его дочерей в садик, а он меня приживалкой обзывает... Люд, у Шекспира есть в «Гамлете» слова: «Когда ваш ум не искушен и юн, застенчивость ваш лучший опекун». Что скажешь?

— Не работает Шекспир на нас.

Все принадлежит нахальным или, по-современному, энергичным. Скромность — это не самый короткий путь к успеху. Не больно-то все в жизни получается у гордых девчонок.

Эх, Людка-Людка! Не помогла ты мне там, в Брянске. Не рассказала

Леше, какая я удивительно интересная, умная, эффектная. Видела же ты мою зажатость. Я все ждала, что кто-то объяснится ему за меня. Наив. Так и прошагала жирафом через всю жизнь, несколько раз побывав в аду. Ну, и я тебе с Ломтиком не помогла. 1:1.

Больше про Люду никто ничего не слышал. Наверное, уже бабушкой стала...

Продолжение следует.

США — Россия

Александр РУЛЕВ

*Здравствуйте, уважаемые! Мне
59 лет, я пенсионер. Проживаю в Томской области, в селе
Иштап. Печатался в районке. Но районку закрыли...*

ЗАЧЕМ МЫ ВЕРИТЬ ПЕРЕСТАЛИ

Поля, поля, родные нивы,
До боли милые места.
Березки жмутся сиротливо,
А даль прозрачна и чиста.
И я пришел к твоим просторам,
Уставший верить и не знать
Конца дороги, по которой
Уже устали мы шагать.
Пришел спросить тебя, отчизна,
Хмельной от запахов хлебов,
Зачем весь смысл прожитой жизни
Вдруг превратился в кучу слов?
Зачем сплотила нас когда-то
И плоть твоя, и кровь отцов,
Чтоб вышел ныне брат на брата
С ножом, ружьем и автоматом,
От злобы исказив лицо?
Зачем мы верить перестали
И души наши камнем стали,
И судьбы как веретено.
И, утонув в противоречьях,
Мы мечемся, как в клетке зверь.

Куда идти? К чему навстречу?
В какую нам стучаться дверь?
И жжет меня обида, гложет
За нашу сложную судьбу.
Но лишь от этого дороже
Мне стали ивы на лугу.
И я принес тебе, родная,
И боль души, и сердца стон.
О Русь! О мать моя вторая!
Прими от сердца мой поклон!

Томская область

Александр БЫВШЕВ

*Живу в Орловской области, в поселке Кромы, работаю преподавателем
иностранного языка. Автор двух книг. Мне 38 лет.*

* * *

Солнце плавало в купели,
Тек ручей, капли пели,
Птиц заливи́стая трель,
Как волшебная свирель,
На округу всю звенела.
Кошка бок на солнце грела,
Дети бегали гурьбой,
Шла старушка за водой.
Древний дед глядел куда-то
Грустно и подслеповато.
Даль. Небес голубизна...
Сорок первый год. Весна.

Орловская область



Виктор АФОНИЧЕВ



Родился в Искитиме Новосибирской области. Окончил Новосибирский электротехнический институт. Два года служил в армии офицером. Теперь работаю на заводе. Писать начал в 2007 году, миниатюры печатали в «Нескучной газете», «Флирте», «Магистралах» (Украина), «Московской среде». Повесть «Кэш» — первый опыт написания крупной вещи.

КЭШ

ПОВЕСТЬ

1.

События данного повествования вымышленные, герои и страна, в которой они проживают, — плод больной фантазии пишущего. Потому что не может существовать такого государства в мире — это нелепо, это могло родиться только в воспаленном мозгу. Так как, по определению, государство призвано защищать права своих граждан, а придуманная страна вместо конкретной помощи своему народу предлагает одни советы: как распознать недобросовестного продавца, неквалифицированного врача, милиционера-бандита, чиновника-взяточника.

Тем более совсем абсурдными выглядят претензии правителей: «Почему ты, народ, не сообщил этому милиционеру о том чиновнике и не свел вместе того врача с тем продавцом?» Сии действия, как они предполагают, могли разрешиться следующим чудесным образом: «Может, тогда на одного плохого доктора после их встречи стало бы меньше. А государственный служащий, увидев такого блюстителя порядка, испугается и начнет работать по совести». Предъявленное обвинение от лукавого. Все вышеперечисленные персонажи друг с другом давно зна-

комы и, надо заметить, уживаются между собой неплохо. Даже больше — у них симбиоз.

Требования к жителям страны:

— Иметь неброский внешний вид.

— Грамотность не вообще, а именно политическая, очень похожая на безответную любовь. Объект воздыхания — власть.

— Умение пользоваться огнетушителем, делать искусственное дыхание рот в рот и накладывать шину на место перелома у пострадавшего.

— При встрече с милицией не лепетать несуразности: «Представьтесь, пожалуйста... Какое вы имеете право?!» И тому подобное. Не огорчайте блюстителей порядка! Помните: они на работе! Наберитесь мужества да честно признайтесь: «Дорогие наши защитники, деньги, находящиеся у меня в кошельке, я нашел. Заберите их, пожалуйста. Не обессудьте. Пусть вас не обидит данная сумма».

— Тем, кто ничего не находил, рекомендуется иметь при себе документ, удостоверяющий личность, справку с места жительства и с места работы, валидол, бинт, йод, огнетушитель, каску на голове, спасательный жилет на теле. Если этого всего нет, то нужно уметь

изготовить необходимое плавсредство и защиту на голову из подручных материалов. Ибо самый ходовой лозунг в государстве — «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». И тогда — чувство радости, что ты не ухудшил среднестатистические показатели по стране, попытаться дожить до пятидесяти восьми лет. После шестидесяти ощущение счастья пропадает, так как к этому времени начинаешь путаться у всех под ногами и обременять бюджет страны. Только очень смелые доживают до восьмидесяти. Каждый девяностолетний засвечен на телевидении. В то, что кому-то сто лет и он еще живой, никто не верит, и это воспринимается как ошибка отдела записей актов гражданского состояния.

Жители этой страны во время зарубежной поездки любят бывать на кладбищах, удивляясь ухоженности местных погостов и с неверием несколько раз пересчитывая: «Сколько же прожил лежащий под надгробной плитой?» Государство Германия для них вообще один сплошной вопрос: «Мы же их в срок пятом?! А они?!» И молчание, когда узнают, что пособие по безра-

ботице в проигравшей войну стране больше, чем способен заработать внук победителя, стоя каждый день по восемь часов около станка.

Получается, придуманная страна — не государство, а полный эрзац. В этой стране предлагается к употреблению колбаса без мяса, пиво без солода, сливочное масло без молока, кетчуп без помидоров, в таблетках один мел. Кто что производит, тот сам этим не пользуется. Самолетостроители при перемещении в пространстве предпочитают поезд. Если врач заболел, то у него такая безысходность в глазах... Хотя сейчас на исповедь.

Зато оптимизмом отличаются доморощенные химики, они все как один нацелены найти философский камень. А пока, до своего главного события в жизни, на кухнях и в лабораториях энергично перемешивают всякую гадость, синтезируют что-то, стараясь получить цимус. И, надо заметить (кроме воздействия на организм), сходство по цвету, запаху, вкусу со временем все возрастает.

И вообще в данной стране химик не профессия — это состояние души. Так как химичат все, и этот процесс происходит по наитию, при игнорировании писанных и неписанных законов.

Без дела не сидят и кладбищенские работники. Им все подвозят и подвозят, а они закапывают, закапывают и закапывают.

Любой здравомыслящий человек скажет, что в этом случае ничего не связывает людей между собой. Такая общность индивидуумов просуществовует не более одного дня и развалится. А описываемый временной промежуток значительно больше. Получается сказка.

Поэтому, используя опыт предков, возьмем грязь. Древние целые города из нее строили. Обялаем всех и соединим людей друг с другом. А тем, к кому она не пристаёт, навяжем чувство вины за себя и за всех нас. Усугубим, приняв правила и законы, противоречащие друг

другу, и будем регулярно их менять. Вчера за это расстреливали, а сегодня — иди в Кремль, получай орден. Кто не знает, куда идти? Поясняем. Это там, где центральное кладбище, сразу за забором. И вот уже из сказки сделали быль. Тем самым исполнив пропетую ранее в песне мечту своих соплеменников. Стонем — значит, поем. Умом понять ничего нельзя, остается только верить. На вопрос: «Что делать с теми, кто не обялапался и не взял вину на себя?» — отвечаем: «А для чего у нас есть кладбищенские работники?»

Из приведенных выше фактов следует: все, что будет написано ниже, — чистой воды фантазмагория. Поэтому мой совет: не тратьте время, не крутите глобус, нет страны на карте этой. А встречающаяся схожесть в географических названиях и совпадения с историческими событиями — всего лишь случайность.

В такое удивительное государство по праву автора и определяю, почти как приговору к пожизненному заключению, наших героев. И сам для передачи реализма ощущений за компанию с оптимизмом хлебану счастья оказаться в этом месте с названием «Россия» и в это описываемое время.

Один из героев — ректор оборонного завода Жижин Виктор Алексеевич. Он до такой степени основательно, как обороняющийся солдат, окопался на своем рабочем месте, что пророс и пустил корни во всех местных структурах. С прокурором — охота и рыбалка, с местной главой администрации, а до этого с первым секретарем горкома партии — баня и шашлыки. Шло время, на должностях менялись люди, политические пристрастия в государстве, но совместные увлечения с прокурором и первым лицом района оставались неизбылемы. В общем, жизнь как у всех людей данного круга в этой стране.

В девяностые годы к вышепеченным забавам добави-

лись элементы эротизма. В сауне — оздоровительный массаж пальчиками и другими частями девичьего тела. Официантки на пикнике с накрашенными мордашками и томным взглядом из-под наклеенных кукольных ресниц. Они так похожи внешне и внутренне, просто сестры-близнецы. Сестры, надо заметить, попадают такие проказницы, всего небольшое вознаграждение — и их кордебалет с лихвой переплюнет даже самые далеко идущие фантазии наших шалунишек.

Нельзя категорично утверждать, что при коммунистах всего этого не было, но и с выводами, что было, тоже не будем торопиться. Свидетельства по этому вопросу путанные и, в основном, в пересказе от третьих лиц. Теперь все в режиме онлайн. Не увидел в прямом эфире — тогда вечером смотри в новостях или читай в завтрашней газете. Сначала думали — подстава, позже оказалась — пиар-акция. Новые времена! Нанотехнологии! Рейтинги! Это там — одна жена, любовница за секречена, как субмарина на дежурстве у вражеского берега, чисто выбрит и улыбчив. У нас — изрядно выпивши и угрюмый, но еще стоящий на ногах, что уже вызывает трогательную влюбленность у окружающих: «Ух ты, родной!» Обильный мат с переливом через уши, с растегнутым гульфиком и, в довершение, с большой вероятностью, в губной помаде, причем в неожиданных местах. Где? С кем? Что? И сколько? Отбило напрочь.

Надо заметить, Виктор Алексеевич, хотя являлся человеком системы, не был ярким представителем советской интеллигенции. Он при развитом социализме получил прозвище «буржуй» за то, что без лишних слов и суеты умел организовывать работу и добиться результата. После назначения на пост директора для сотрудников своего предприятия за короткое время решил квартирный вопрос. Как бы и хорошо, но когда еще в стране ютятся в ком-



мунальных квартирах и общежитиях с плотностью один человек на один квадратный метр, такой шик непонятен. Или тут не так, или там?! Плюсуем подсобное хозяйство, обеспечивающее работников предприятия овощами, мясом и молочными продуктами; дом культуры, профилакторий, пионерский лагерь, спорткомплекс. Выглядело это все как-то не по-нашему. И совсем вызывающе, с возможностью одновременной помывки мужчин и женщин в один день, причем в разных помещениях, смотрелся построенный банно-прачечный комбинат под названием «Дельфин». Если еще добавить существование двух больших бассейнов для купания после парной для всех посетителей бани без исключения, а не только для членов партии и активистов профсоюзного движения... Получается, вроде как бы по директиве приблизительно на коммунизм похоже, но почему-то ассоциации у народа связаны с капитализмом.

Созданные блага — верхушка айсберга. А что под водой? А под водой — долгий и мучительный процесс собирания резолюций. Сколько людей пришлось ублажить! Доказать целесообразность, проекты утвердить, фонды выбить. Тут одного красноречия с трибуны мало. Необходимо субтильное общение в соответствующем антураже. Для создания антуража построили запруду на протекавшей мимо речке и в образовавшемся водохранилище развели рыбу. На берегу нового водоема воздвигли строения культурного характера — Дом рыбака и охотника, баню, беседки, лодочную станцию. Для удобства купания часть берега засыпали песком. Все командировочные из столицы непременно были гостями этого облагороженного уголка природы.

Правда, вышеперечисленный антураж числился как испытательный полигон. Да, и банно-прачечный комплекс был на бумаге «лабораторией по доводке специзделий

при повышенной влажности». База отдыха по документам проходила как запасной командный пункт. Подсобное хозяйство — дополнительная промышленная площадка на случай военных действий. Поэтому банщики по штатному расписанию числились лаборантами-испытателями, доярки — стрелками ВОХР, а полеводческая бригада — связистами.

При втором шествии капитализма по качкарам и топям нашей Родины Виктор Алексеевич за несговорчивость по разрушению созданной ранее инфраструктуры получил новое погоняло — «красный директор». Надо отметить, вопреки обстоятельствам много чего удалось сохранить ему в это лихое и смутное время.

Возникают вопросы: «Откуда берутся такие люди? Как? И где?» А вышел Витя Жижин из народа. Родился он где-то в Средней полосе России, в небольшом городке. Время было переходное — от диктатуры пролетариата к социализму. Детство прошло на этом историческом стыке. Вчера еще в стране была диктатура, а сегодня уже наступил социализм. Об этом тут же написали все советские газеты и объявил диктор по радио. Народ понял: «Ну, наконец, дождалось — социализм». Отец, мать — рабочие; братья, сестры — обычная семья. Место проживания — две комнаты в бараке с общим коридором, уборная на улице. Конфеты заменяла морковь, которую сами и выращивали на пустыре за домом. Незатейливые детские игры — «чиж простой», «чиж морской», футбол тряпичным мячом. Первая выкуренная папироска между дровяниками, одна на несколько соседских мальчишек, а точнее, подобранный окурочек — бычок. Она останется первой и последней. Больше для него никогда не будет аргументом: «Это делают все. Поэтому и ты должен поступать так же». Когда он проявил слабость в ту минуту, поддавшись на уговоры, ощутив себя управляемым кем-то, что-то перевернулось в детском моз-

гу, сознание воспротивилось плыть по течению. И настолько сильно, что в дальнейшем у него будет кредо: «Поступать так, как выгодно тебе самому, при этом не крысятничая, подчиняя свои поступки намеченной цели».

Окончил Витя семь классов, потом ремесленное училище, затем пошел работать на завод. Благодаря природным задаткам и серьезному отношению к делу на трудовом поприще преуспевал. Поступил заочно учиться в техникум — назначили мастером. Дальше институт — начальник цеха. К тридцати годам поставили главным технологом завода. Тут уже был замечен людьми сверху, то есть из Москвы. И решили эти товарищи: «Пора Вите Жижину заняться более серьезным делом». Так он получил назначение в Сибирь в провинциальный городок Захолустьев директором Московского пимокатного завода.

Валенки на этом предприятии катали около десятка работниц, полностью обеспечивая потребность местных жителей в зимней обуви, а при использовании в комплекте с калошами — и в летней то же. Они назывались изделием № 242. Были еще изделия № 240, 243, 245 и много других номеров. Они не были обувью, но пинка, с очень большой вероятностью смертельного исхода, с помощью их можно было дать. Вот эту продукцию и производили другие три тысячи тружеников предприятия. Завод только что построили, и требовалось выйти на проектную мощность. Поэтому директора-строителя менял директор-производственник. Обычная ротация кадров советских времен. Почему завод называется московским, а находится в Сибири, в каком-то Захолустьеве? Это принятая на тот момент в стране система конспирации. То есть чтобы никто не догадался о секретности объекта.

2.

Жижин ночным рейсом летел к месту новой работы, а в это время в Соединенных Штатах Америки в штаб-квартире ЦРУ Бобби Энглтон, начальник русского отдела, докладывал директору Центрального разведывательного управления Уильяму Колби:

— Господин директор, нашим отделом проведена большая работа по изучению объекта под кодовым названием «Мокасины», находящегося в городе Захолустье. С помощью пяти бутылок коньяка «Арагат», семи бутылок водки «Русской», плитки шоколада «Мишка на Севере» и одного плавленого сырка «Дружба» агенту, «Троянскому коню», удалось внедриться на объект.

— И кто такой гурман, водку с коньяком мешает и одновременно закусывает плавленым сырком с шоколадом? — скривившись, прервал Колби речь своего подчиненного.

— Коньяк и шоколад пошли на приобретение советского диплома о высшем образовании, водка и сырок... — Энглтон, открыв папку и достав оттуда листок, выговаривая каждое слово, прочитал: — «Прописка в коллектив, так нужно, так заведено, товарищ».

— Непонятно, — покачал головой Колби. — А где учился у нас агент?

— Гарвард.

— И с каких пор Гарвардский университет не ценится?

— Господин Колби, это же Союз!

— Ах да, — опомнился директор ЦРУ.

— «Троянский конь» на второй день работы был на грани провала. В отведенном месте для курения ему задали вопрос... — Открыв папку, Энглтон извлек опять тот же листок: — «Что, после вчерашнего голова болит?». «Троянский конь» дал утвердительный ответ, тогда ему посоветовали принять два литра рассола. Наш агент спросил: «Зачем?» Ему задали встречный вопрос: «Ты что, с Америки свалился?» После этого пришлось ему действовать по

плану — «Тикай, Иуда, пока не стало худо».

— Что за рифмоплетство?

— Это новейшая методика подготовки агентов, основанная на научной абстракции при возможной обструкции, для лучшей усвояемости и понимания ситуации, с учетом местного колорита и моделирования действий противника.

После сказанного Энглтон направила взгляд в потолок, а Колби — в себя. Минутная пауза.

— Преследование было? — прервал молчание директор ЦРУ.

— Самое интересное, что ему на работе в табеле ставят букву «К», то есть командировку, и начисляют заработную плату.

— Откуда у вас такая информация?

— После ретирования «Коня» нам срочно пришлось внедрять агента замещения «Фаину». Но не на завод, как планировалось ранее, а на базар. Предварительно заgrimировавшись под старуху, она устроилась туда, благодаря бутылке «Русской» и плавленому сырку «Дружба», торговать семечками. На базаре «Фаина» узнала, что «Троянский конь» числится в командировке. Всех новых сотрудников с высшим образованием (такая в Союзе применяется практика) после первых дней работы отправляют на стройку или в колхоз. Учет плохой. Вот и считают его временно убывшим. Сейчас выясняем, куда у него была разнарядка: колхоз или стройка, — пояснил Энглтон.

— Какой смысл наиболее образованных людей посылать на менее квалифицированную работу?

— Меньше затрат.

— Не понимаю!

— Советский Союз, господин директор.

— Интересно... Это не может быть ловушкой?

— Маловероятно.

— Что думаете предпринять?

— Считаю, надо вернуть агента обратно. Подозрение про Америку не стоит воспринимать серьезно.

Так как в Советском Союзе чаще всего говорят не думая, а то, что думают, не говорят. Адаптируется «Троянский конь» и будет работать нормально.

— Понятно. Что конкретно по объекту?

— Как мы и предполагали, выпуск валенок не является основной продукцией. Это только ширма.

— А валенки они хотя бы выпускают или как там у них — кажутся? Я знаю: у русских на заборе написано одно, а за забором — свалка, — очередной раз прервал Колби доклад Энглтона, что говорило о его раздраженности.

Колби всегда нервничал, когда речь заходила о Советском Союзе. А в ЦРУ о Советском Союзе в основном и говорили. Будь это Восточная Европа, Ближний Восток, Азия и даже страны НАТО — везде мерещился призрак «руки Москвы». В то время в работе на СССР подозревали всех, вплоть до самого директора Центрального разведывательного управления. Вскоре Колби отправили в отставку, расценив его нервозность как боязнь провала. Правда, ничего не доказали. Но еще раньше он успел уволить Энглтона, так как у него нашлись славянские корни. Чем не «крот»? Кто из них был кто? Неизвестно. А пока все на своих местах.

И Бобби держит речь:

— Проанализировав информацию от «Фаины», пришли к выводу, что при данной численности персонала и площади производственных помещений объем выпуска должен составлять порядка двухсот тысяч пар в месяц. Такой потребности в валенках и такого количества сырья в данном регионе нет.

— А в соседних?

— Там имеются аналогичные производства, которые полностью удовлетворяют местный спрос.

— Понятно. В Союзе не хватает некоторых видов обуви. При умелой рекламной кампании валенки могут быть товаром-субститутом?



— Господин директор, в СССР в районах, где зимой выпадает снег, валенки и так носят девяносто восемь процентов населения. Пусть будет хоть какая реклама, качественного скачка продаж не предвидится. О конкуренции тоже речь идти не может, так как в стране единая ценовая политика и один собственник, то есть государство. Да, и рекламы, надо заметить, коммерческой у них нет. Только можно встретить плакаты наподобие наших комиксов: «Храните деньги в сберегательной кассе» и «Летайте самолетами Аэрофлота».

— Все не могу привыкнуть к особенностям социализма, — вздохнул Колби с тяжестью школьника, занятого решением сложной математической задачи. — Тогда для чего им вообще реклама, если одна авиакомпания на всю страну и один банк для населения?

— По сберкассе все просто — скрывая социальная реклама, народ обманывают, призывая к мнимому накопительству. В Союзе образ богатого человека — а богатым хочется быть, как показывает практика, и коммунисту, и капиталисту, — ассоциируется с количеством сберкнижек, даже суммы на них не имеют столь большого значения. Такое сложившееся мнение — это плоды пропаганды. Излюбленный прием Советов — демонстрация в художественном или в документальном кинематографе богатств «расхитителей социалистической собственности» крупным планом: пару ювелирных украшений, веером сберкнижки и такое сладкое слово за кадром для зрителя — «на предьявителя». Это откладывается в мозгу. Поэтому люди несут деньги в сберкассу, считая, что они стали богаче на вложенную сумму. На самом деле они профинансировали государство. Так как этими деньгами правительство снова рассчитается с народом.

— А если человек захочет снять свои сбережения? — попытался понять суть процесса Колби.

— Кто-то, наоборот, в это время деньги принесет положить на счет. Главное — поддерживать постоянную динамику поступления финансов, — объяснил Энглтон.

— А если будет отрицательный баланс? В один момент большинство вкладчиков захотят вернуть свои деньги обратно. Тогда что?

— Денежная реформа.

— Люди будут против!

— Так она будет проведена по просьбе народа, под предлогом борьбы с нетрудовыми доходами.

— Да, — вздохнул директор ЦРУ.

— А по Аэрофлоту, — продолжил свою речь Энглтон, — так это обычная наглядная агитация, сказка о сладкой жизни в стране Советов, мол, бери билет на самолет — и к пальмам. Фон рекламы соответствующий: нарисованный летящий самолет, стюардесса с голыми коленками (сразу выше юбка — цензура, понимаете) и где-то сбоку пара пальм. Сколько видел данных плакатов, самолет узнаваем, коленки как-то еще попадают, выглядят правдоподобно, но вот пальмы похожи на растущий в России папоротник. В беспроblemный полет на самолете в Союзе верит житель какой-нибудь затерянной в лесах Дрыгаловки. И то потому, что никогда этого не делал. Кто пользовался услугами Аэрофлота, тот знает, что билет можно купить только за пятнадцать суток, заняв очередь с вечера, отстояв целый день. Если появится потребность улететь немедленно, то скорей всего это останется только несбывшимся желанием. Правда, надо заметить, партия и правительство проявляют заботу о своих гражданах. Если вы летите на похороны близкого родственника и у вас есть телеграмма, заверенная врачом, подтверждающая смерть, то билет предоставят. Также места бронируют и держат до самой посадки для работников горкома, обкома партии и служащих КГБ.

— Кроме пропаганды у этой рекламы есть какое-нибудь прикладное

предназначение? — уже совсем запутавшись, спросил директор ЦРУ.

— Данными плакатами закрывают мусорные свалки, фасады домов с отвалившейся штукатуркой и тому подобное.

— Теперь я понимаю, почему в русском отделе у каждого сотрудника есть личный психолог и самое большое количество анонимных алкоголиков во всем ЦРУ.

— Еще надо заметить — самая неблагодарная служба в нашем ведомстве, — очередной раз напросился на возможное в перспективе поощрение Энглтон.

— Бобби, руководство ценит ваш труд и ваших сотрудников. Но время сложное, нельзя никому доверять. «Крот» есть даже в Центральном разведывательном управлении, а может, даже не один, не говоря уже о других организациях и о спецслужбах союзников.

— Господин директор, почему мы их не нейтрализуем? И что, все так безнадежно?

— Сейчас выясняем, откуда идет утечка информации. Скоро, я думаю, вычислим «крота» у нас. На счет безнадежности план следующий: платить русским за каждое сказанное слово «демократия», «реформы», «рынок». Тогда у них будет сплошной базар, где мы купим все и всех.

— Так мало надо? Всего три слова?

— Мир же со времен Робеспьера до сих пор расхлебывает «свободу, равенство и братство»... Это на перспективу. А пока вернемся к нашим делам. Какой вывод по объекту?

— Получив информацию от «Фаины» — перечень профессий на заводе, кто приезжает в командировку, куда сами ездят работники предприятия, откуда поступают комплектующие, график работы и примерное описание производства — и проанализировав все это, пришли к выводу: в городе Захолустьеве построен завод по изготовлению сверхточного оружия большой дальности; валенки действительно делают, то есть катают, но малыми партиями, и данное

производство является прикрытием. Считаю, необходимо усилить работы по данному объекту с подключением дополнительных сил и средств. Вот план мероприятий.

Бобби Энглтон очередной раз открыл свою папку и извлек оттуда несколько скрепленных листков, которые положил на стол директору ЦРУ.

3.

«Я в Захолустье долго не задержусь, вот пару лет — и в Первопрестольную», — думал Жижин, начиная работать на новом месте. Годы шли, одно десятилетие, второе. Перевода в столицу так и не последовало. Сверху никто не заметил, а может, и замечали, но было не до Виктора Алексеевича. Сначала чехарда с генеральными секретарями, мор постиг их. Все бы ничего, но за этим последовали перемены. Уходили одни «судьборешальщики», приходили другие. Каждый раз Жижину приходилось налаживать новые связи. Все мимо. Потом, будь она неладна, — перестройка. «Ускорение» подхватило и закружило страну. Каждый день новые директивы, пересмотр ценностей. Вчера об этом нельзя было говорить, а сегодня всех обязали. Кого-то в словесном поносе прорвало, кого-то, наоборот, в ступор заклонило. Жижин, чувствуя, что надо бурлить активностью, в свете последних решений партии и правительства все силы бросил на борьбу с местным пьянством — результат нулевой, многие друзья потеряны. Внутри ощущение, что предал. Кого конкретно — непонятно, но ощущение отчетливое.

Вот на таком фоне жизнь плавно подкатилась к пенсии. И ушел бы наш герой на заслуженный отдых, но с наступлением рыночных отношений открылись перспективы накопления капитала. Должность позволяла, занимаемое место — не в секторе вероятной стрельбы киллеров. Накапливай, дорогой!

Все сейчас так делают. Капитализм на дворе! Родной завод стал федеральным государственным унитарным предприятием, кратко ФГУП. Де-юре — Виктор Алексеевич представитель государства, де-факто — полный хозяин, пока не снимут с должности.

У Жижина, как у бегуна на длинные дистанции, открылось второе дыхание. План уже никто не спускал сверху. Делай что хочешь. Но радость отсутствовала. Оказалось, делать особо нечего. Что требовалось Родине вчера, сегодня совершенно было не нужно. Из-за неопределенности во всем и дикого воровства везде многие предприятия сгинули в пучине зарождающего капитализма. Цифры по этому вопросу засекречены до сих пор, что является результатом проявления трогательной заботы о народонаселении в стране — так как организм у большинства индивидуумов в России при оглашении данных может не выдержать.

Не дать дуба от шоковой терапии и не утонуть в океане рыночных отношений Жижину помог случай. Будучи в Москве в очередной командировке, попал на раздачу центральными властями полномочий во время рекламной акции по поводу процветающей демократии в стране под лозунгом «Бери столько, сколько сможешь взять». Не поверив в реальность происходящего, озвучил такую же безумную просьбу: «Разрешите, пожалуйста, торговать своей продукцией, то есть ракетами, напрямую, без участия государства». Получил добро. Ущипнул себя, понял, что не спит. Позже обратился через знакомых к хорошему психиатру, прошел обследование, получил заключение — «полностью здоровых людей не бывает, директором работать можно».

Жижин семь лет напрямую торговал оружием, выучив при этом слова «здравствуйте», «наша цена», «хорошо» и «до свидания» на сорока пяти языках мира. Противоположная

сторона усвоила тактико-технические данные ракет на русском языке: «Как шандарахнет — и всем амба».

Понимая, что ничего абсолютно вечного не бывает, и даже бардака, пробил еще одну тематику. Навел мосты с нефтяниками и газовиками на предмет изготовления для них оборудования. Рассудив, что эти отрасли востребованы в любом случае (механизмы изнашиваются), запчасти будут нужны непременно. Клондайк! И про свой интерес не забыл. Весь сбыт продукции, кроме госзаказа, направил через общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом “Аполлон”». Учредителями данного ООО были родная дочь Перепелкина (фамилия по мужу) Ольга Викторовна и однофамилица Жижина Анна Митрофановна, являющаяся чудесным образом еще и женой. Имущественные паи учредителей — в соответствии со списком, приведенным выше: письменный стол — одной стороны, стул с калькулятором — другой. Тут уже конкретный Клондайк! Логистика, как ни крути, при правильном подходе — сильная наука, приносящая материальное и следом моральное удовлетворение тому, кто имеет возможность пользоваться ее законами. Получается — все на мази, пучком, в ажуре, о'кей! То есть живи и радуйся.

И радовался помаленьку Виктор Алексеевич размерности и сытости жизни. Размеренно, не спеша, в летний субботний вечер он вместе с внуком парился на даче в бане. Банька рубленая семь на восемь метров, парилка, мойка, предбанник, бассейн-лягушатник, так чтобы только охладиться после парной.

Внук Антон — пятнадцатилетний мальчик, любимец деда, неплохо учился в школе, занимался бальными танцами, кроме этого посещал еще семь факультативов. Жижин видел в нем себя в молодости — такой же сообразительный и целеустремленный. Все свои несбывшиеся мечты он воплощал во внуке. «Ан-



тон своего добьется», — грела деда мысль. И, наверное, он был прав.

Компанию им составлял зять Витек. Витек да Витек, так и приклеилось. Домашние по-другому и не называли. Окрестила его так Анна Митрофановна, следом подхватила Ольга. Только у Виктора Алексеевича он долго оставался Виктором, но и тот со временем поддался общему влиянию.

Распаренная троица сидела в предбаннике, утоляя жажду домашним квасом. Прохладный кисло-сладкий напиток способствовал восстановлению организма после банных процедур. Первым одеваться стал Витек. Какая одежда летом? Трусы, брюки, сандалии и рубашка.

— Антон, ты с дедом на даче останешься или домой поедешь? — спросил Перепелкин.

— С дедом.

— Хорошо.

Предсказуемый вопрос и такой же предсказуемый ответ.

Поправив перед зеркалом расческой волосы и продув ее, Витек вышел из бани. По пути забрал стоящее в тени пятилитровое ведро клубники и направился к автомобилю. Провинция далеко от столицы, но зато в провинции все близко: дом, работа, дача, место отдыха. Дорога до дома заняла минут пятнадцать. Можно и быстрее, но Перепелкин ездил не спеша, объезжая каждый ухаб и выбоину на дорожном полотне. Аккуратность и размеренность во всем.

Ольга, погрузившись в свои мысли, на кухне в это время пила чай.

— Привет, моя радость! — произнес Витек, зайдя в квартиру.

— Прекрати, — с раздражением ответила она.

— Почему?

— Не надо этого.

— Я вот ягоду привез, — промямлил Перепелкин, пытаясь перевести разговор в другое русло.

— Привез — так бери и обрабатывай, — отрезала Ольга.

— Давай я вымою клубнику. А ты сваришь варенье, — предложил компромиссный вариант Витек.

— Пошел ты... — выругалась Ольга и направилась в зал.

— Зачем ты так? — жалобно произнес Перепелкин, семена следом.

— Отвали, — непреклонна была хозяйка.

— Я же не для себя стараюсь. У нас есть ребенок... Зима... Витамины, — пытался аргументировать Витек.

— Сейчас все в магазине можно купить, — высказала свои доводы Ольга.

— Но это — не то. Домашнее варенье вкуснее, — настаивал Перепелкин.

— Ты что стараешься?

— Ради ребенка, ради тебя.

— А он твой?!

— Как?! Что это значит?! — уже голосом не ягненка, взяв Ольгу за плечи и пару раз встряхнув, спросил Перепелкин.

— А-а-а! — широко открыв рот, негромко закричала она. Ей не было больно, так, чтобы отвязался, защитный рефлекс от дальнейших разбирательств.

— Дура! — сказал Витек и пошел на кухню.

Тут до него дошел весь смысл сказанных слов. Озноб, легкое головокружение, ощущение безвозвратной потери — все закончилось, время остановилось, непонимание происходящего. Сколько-то пробыв в прострации и придя в себя, Перепелкин стал мыть ягоду, пытаясь успокоиться. Дав клубнике обсохнуть на дуршлагае, он аккуратно упаковал ее в полиэтиленовые пакетики и сложил в морозильную камеру.

По большому счету, все это не стало для него неожиданностью. Отношения натянутыми были всегда. В разное время отличались они только степенью напряженности. Ругались часто. Если кратко — совместная жизнь не удалась совсем. Да и трудно назвать ее совместной, каждый сам по себе. Единственным объединяющим фактором был сын.

Но теперь... Что не его ребенок... Сомнения закрадывались давно. Эти мысли каждый раз Перепелкин от-

гонял от себя, как назойливую муху. Сейчас он услышал подтверждение своим догадкам.

В это время Ольга, сидя на диване в зале, оправдывала себя: «Сам виноват. Тюха-матюха. Не мужик, а размазня. Ни одного мужского поступка. Все приходится самой решать».

Остаться в одной квартире с Ольгой в этот вечер было невыносимо. Перепелкин, взяв ключи от машины, вышел на улицу. Смеркалось, где-то в вышине зарождалась молодая луна. Решение было принято — ехать на дачу. Именно на свою дачу. Этот участок никто из членов семьи кроме него не посещал. Строительный вагончик, купленный по случаю, вместо домика. Небольшая рубленая банька — собственные усилия одного летнего сезона. Забор из подручных материалов. Все по-простому. Тут он выращивал картофель, обеспечивая семью на зиму, кое-какую зелень, ловил рыбу в рядом протекавшей реке. Варил уху. Одним словом — отдыхал, как умел.

4.

«Тойота-Камри» с рулевым Перепелкиным кралась по проселочной дороге в сторону садового общества «Березка». В свет фар попал человек, идущий в том же направлении. Поравнявшись с ним, Витек остановился. Он во избежание возможных происшествий никогда не имел привычки подбирать попутчиков. А тут притормозил.

— Земляк, на дачу путь держим? — окликнул он прохожего.

— Туда, родной. На последний автобус опоздал, потом электричка не пришла. И вроде, как оказалось, и не должна была. Теперь приходится пешком.

Голос путника показался знакомым. Где-то он его уже слышал...

— Садитесь, подвезу, — предложил Перепелкин и открыл дверь машины. Мужчина шагнул на встречу и,

попав в свет от салона автомобиля, был узнан.

— Тимофей Петрович! Это вы? — воскликнул Витек.

— Я. А ты кто? Что-то признать не могу.

— Витя Перепелкин. Мы вместе на заводе в конструкторском отделе работали.

— Витя, ты, что ли?!

— Я, Петрович, я.

— Давно тебя не видел. Спасибо, родной, что остановился. Зрение подвело, неправильно время посмотрел. Из-за этого опоздал на дачный автобус. Потом решил на электричке добираться, но, видно я отстал от жизни, теперь они после семи вечера не ходят. С сыном свой век доживаю. Не захотел домой возвращаться, чтобы не дискредитировать его, неудобно перед снохой. Подумает: «Ума уже нет у деда».

Петрович снял с плеч рюкзак, уселся на переднее сиденье и в ноги притулил свою поклажу.

— Да, теперь электропоезд — явление редкое. Рельсы есть, но по ним никто не ездит, — произнес Витек.

— Мне, старому дураку, надо было догадаться, что электричек вечером не бывает. Да не идти на станцию, а сразу на дачу направляться. Уже был урок. В то лето в областной центр по делам ездил. Расписание не узнавал. Утром по старой памяти к поезду пришел. Без накладок получилось. Билет купил. Прежде одна касса была, теперь две. О нас заботятся. В электричку сел, все хорошо, только вот народу очень много, в тамбуре всю дорогу стоял. В городе свои дела быстро к обеду решил — и на вокзал. Думал, обратно уже без мучений сидя поеду. В это время раньше электричка была. Четко помню, даже не одна. На информационное табло глядь — нету. Ближайшая только в пять вечера. И сам график движения электропоездов какой-то куцый стал, всего несколько строчек. Прежде, чтобы ознакомиться с расписанием, надо было сначала голову в небо за-

дирать и медленно глазами спускаться до земли. Теперь зрение фокусируется все на одном уровне. Что делать? В зал ожидания просто так не зайдешь. Или покажи билет на поезд дальнего следования, или купи входной билет. Лавочек вокруг вокзала никто не поставил, так что нигде не посидишь, не отдохнешь. Получается, или плати гроши, или стой на привокзальной площади в почетном карауле около памятника Ленину. Вроде бы и не хотелось, но приноуждают ведь. Пришлось покупать входной билет. Потом есть захотел. Хотя позавтракал плотно. Так бы, по-хорошему, через полтора часа дома был. И вопрос такой не стоял. В буфете купил полсайки, внутри дырка, а там сосиска и сверху полито какой-то ядовитой жидкостью.

— Хот-дог называется, — перебил Перепелкин.

— Да, именно его. Не будешь же насухую. Еще чай попить взял. Я бы в ларьке у себя около дома за такие деньги пачку целую купил.

— С коньячком, поди, чай был? — отпустил остроту Витек.

— Какой коньяк! Пыль с краснодарских дорог. Кстат, платил за него дважды.

— Это как?

— Он спровоцировал мой поход в туалет. С некоторых пор бесплатные заведения данного рода в общественных местах мне не попадают.

— А-а-а...

— Дальше еще интересней. Ты видел старые фильмы, где показывают, как во время революции пытаются сесть в поезд? Именно пытаются. Как дальше герои оказываются в вагоне, в кино отображено размыто и до прошлого лета мне было непонятно.

— Видел.

— Вот так и я в пять вечера сажусь в электричку. Молодежи, может быть... — прервался Петрович в своем повествовании, щелкая пальцами, подбирая поприличней выра-

жение. — ...слово такое у них есть, «в кайф» товарища в открытое окно закинуть, чтобы он места на всех занял. Но мне, как самой слабой особи из присутствующих, место досталось только в тамбуре. И то повезло, что попал в середину толпы и потоком занесло в вагон.

— То есть вы приняли участие в исторической инсценировке.

— Если бы. Я всего лишь принял участие в жизни страны.

— И как ощущения?

— Декаданс и моветон.

— То есть переизбыток чувств.

— Безусловно. С переполнением через край.

— Сейчас у всех главная задача — получение прибыли. Поэтому много электричек с малой загрузкой из расписания убрали, — свое мнение высказал Перепелкин.

— Витя, все это чушь собачья. Есть железная дорога, на ее содержание нужны деньги. Еще, оказывается, средства под эту марку почему-то необходимы на финансирование по всей стране профессиональных спортивных клубов под названием «Локомотив», а также ведомственных домов отдыха и санаториев. Я бы понял, если бы этим занималась компания, которая в жесткой конкурентной борьбе зарабатывает свои деньги, а никак не естественная монополия, коей является железная дорога. Где есть рыночные отношения, так не шикуют. Например, завод «Жигули» все свои одноименные спортивные команды сплавил. Теперь с надеждой и нетерпением ждет поправку в конституцию страны, чтобы покупку его продукции, как службу в армии, приравнили к почетному долгу. А тут, получается, десять поездов пройдет — с десяти соберут необходимую сумму, двадцать — с двадцати. Эти затраты являются постоянными. Заметь, поезда сейчас ходят очень редко. Значит, финансовая нагрузка на одну перевозимую единицу большая. Еще есть пере-



менные затраты, то есть расходы, связанные с движением конкретного поезда. Сколько он энергии израсходовал, амортизация оборудования, заработная плата машиниста, проводника и тому подобное. К постоянной и переменной составляющей плюсуем планируемую прибыль, которая никак не связана с успешностью работы, она просто механически прибавляется к затратам. После чего получаем цену перевозки. Казалось, получили. Пригородное сообщение и еще ряд услуг под благими лозунгами отданы в частные руки. Поэтому цена увеличивается на объем потребностей руководителей железной дороги и их родственников. Кто самые успешные предприниматели у нас в стране? — задал вопрос Тимофей Петрович.

— Бывшие комсомольские вожаки, — ответил Перепелкин.

— Это отдельная тема. Кроме них?

— Не знаю.

— Жены и дети чиновников. Чем крупнее чиновник, тем успешнее его окружение. Ей восемнадцать лет, а она уже — его жена и гений бизнеса. В искушенность в таком возрасте еще могу поверить. Поэтому для того чтобы электрички, при общей рентабельности железной дороги, ходили достаточно часто и при этом каждый пассажир сидел в удобном кресле, необходимо снизить личные запросы руководителей, не содержать структуры, не связанные с прямой деятельностью ведомства, убрать прилипал и увеличить объем перевозок.

После чего Тимофей Петрович замолчал. Молчал недолго:

— Виктор, ты — молодец. Не стал тестю подчиняться, на птицефабрику ушел работать. Хотя он у тебя мужик неплохой.

Опять замолчал, погрузившись в раздумья.

— И поколение Виктора Алексеевича постепенно отходит от дел, — печально произнес он. Потом вступенулся и задал вопрос: — За-

работная плата хорошая у механика на птицефабрике?

— Счастье все равно не купить, а на жизнь хватает, — обреченно произнес Перепелкин.

— Как жена? Как сын? — поинтересовался Петрович.

— Нормально, — после некоторой паузы ответил Перепелкин.

Так с разговорами они доехали до места.

— Витя, вижу, тяжесть у тебя на душе, пойдем зайдем ко мне. Поговорим. Пойдем, родной, — похлопав по плечу своего бывшего подчиненного, предложил Тимофей Петрович.

Когда Перепелкин после окончания института по распределению приехал в Захолустьев на пимокатный завод, его определили в бюро Тимофея Петровича Звягинцева. Звягинцев в то время казался ему древним историческим персонажем, который за свою жизнь успел поработать в «шарашках», в «почтовых ящиках», видел самого Берия и, по слухам, даже имел с ним беседу. Тимофей Петрович не любил распространяться о своей прошлой жизни. И это еще больше придавало его фигуре таинственности.

«Наш великий конструктор ракет Королев не умер тогда... Похоронили другого, на него очень похожего человека. Настоящему Королеву сделали пластическую операцию, дали новый паспорт, жену и вот теперь он — Звягинцев Тимофей Петрович», — такого содержания байка в то время ходила по Захолустьеву. Скептики указывали на разницу в возрасте между ними. Но противоположная сторона была это тем, что в закрытой секретной лаборатории его после этого омолодили. Вот так, не по воле хозяина, имя Звягинцева обросло легендами. Надо заметить, не без оснований. Конструктором он являлся от бога. И было в то время Тимофею Петровичу чуть за пятьдесят. Годы *сквозноули* молнией. «Почему я его считал тогда стариком? Ведь мне сейчас сорок пять и я — моло-

дой. И в пятьдесят буду молодым», — размышлял Перепелкин, пробираясь по дачным закоулкам.

Участок Звягинцева находился на соседней улице от владений Виктора. Небольшой кирпичный домик, сарайчики, веранда, баня, забетонированные дорожки, связывающие строения между собой. Все было просто, аккуратно, чисто.

— Столько лет дачи рядом, а ведь до сих пор не встречались здесь, — произнес Виктор.

— Не судьба... Есть хочешь? — спросил Петрович, заходя в домик.

Тут только Перепелкин понял, что он сегодня не ужинал. Не дожидаясь ответа, хозяин стал собирать на стол. Пожарил яйца с помидорами, заварил чай из листьев смородины, достал черный хлеб, печенье, земляничное варенье — приготовленная на скорую руку, обычная еда летом на даче. За ужином Виктор разговорился и кратко поведал о своих бедах. Звягинцев, не перебивая, внимательно слушал, только иногда кивал головой, повторяя: «Да, да...»

После окончания трапезы Тимофей Петрович достал откуда-то г-образные спицы, зажал их в кулаках, что-то прошептал, спицы сошлись вместе.

— Понимаешь, она тебя приворожила. Теперь это уже ей и не надо, но ничего не исчезает бесследно. Приворот остался, — пояснил он.

— Как? — спросил Виктор.

— Вот, допустим, возьмем человека. Что влияет на его характер, поступки, образ мыслей? — Не получив ответа, Звягинцев дальше продолжил свои рассуждения: — Во-первых, гены. То есть какие были родители, предки. Первый кирпич в фундамент формирования личности заложен. Также происходит и с неодушевленными предметами. Они с самого начала, благодаря своему составу, форме, цвету, наделены определенными свойствами. Одни оберегают от чего-то, другие способствуют чему-либо и так далее. Во-вторых, на человека оказывает

влияние окружающая среда. Или ты на Севере живешь, или у тепло-го моря, или в большом городе, или в забытой всеми деревушке. Все эти факторы по-разному формируют характер, мировоззрение. Такое же влияние друг на друга оказывают и предметы, обмениваясь между собой энергией. У камня, лежащего у дороги, одна аура, у камня в горах — совершенно другая. В-третьих, человека воспитывают индивидуально. Пример родителей, влияние учителей, книги, окружающая обстановка. Таким же образом можно формировать свойства предметов: нашептыванием, взглядом, определенными движениями. Вещь, сказанное слово, взгляд, жест, любой человек, даже ничего не делая, несут в себе энергию в виде колебаний, которые содержат закодированную информацию. Энергия слова, предмета воздействует на человека — и наоборот, хотим того или нет, мы оказываем влияние на окружающую обстановку. Допустим, произнес ты проклятие в чей-то адрес и при этом сделал все «правильно». Твои слова избирательно отправятся по назначению, как невидимая разрушающая сила, и оговоренный человек получит негатив. А у другого будет «защита», и эта посланная отрицательная энергия, отразившись, вернется обратно. Так что надо нести в себе только положительные эмоции, даже скрытый гнев недопустим. Это и оттолкнет плохое, и бумерангом не явится к тебе обратно. Есть люди, которые умеют управлять такими процессами и специально этим занимаются. Они лечат, посылают порчу, привораживают и даже предсказывают будущее. Знания такого рода передаются от человека к человеку. Учитель обычно перед своей смертью выбирает преемника, в котором он увидел дар. То есть ученик должен обладать «сильной кровью». В Захолустьеве были, есть, я думаю, и в дальнейшем будут такие люди. Так что Ольга впол-

не могла обратиться к любому из них, — дал объяснение Звягинцев.

— Как все это могло произойти? — спросил Перепелкин, а сам мыслями пытался уже вернуться в прошлое.

— Способов много. Самый распространенный — в питье или в еду добавляют приворотное зелье. Надо просто знать свойства предметов. Вот мясо гуся первоначально по своим особенностям способствует влюбчивости. Поел ты гусятины — и женщина, сидящая рядом за столом, кажется самой близкой и родной. Поэтому в старину наказывали: «Идешь к девке — не ешь там гуся!» Трюк с гусем, если, конечно, до этого специально не было произнесено заклинание, — безобидный прием. Сравнимый с тем, как если бы барышню принарядили, сделали макияж — и она предстала перед кавалером в более выгодном свете. Тут нет кодирования клиента, в этом случае не залезли ему вовнутрь и не поставили шоры: «Вот она и только одна она!» Эту цель могут выполнить более сильные приворотные средства вкупе с магическими словами, приводящие к зомбированию человека. Для современного обывателя будет более понятно, если сопоставить этот процесс с вирусом, который проник в компьютер и там выполняет задачу по кодировке одного человека на зависимость от другого. В мозгу будет постоянно всплывать образ этой дамы, как на мониторе — выскакивать картинка навязчивой рекламы. Такое чувство любовью назвать нельзя. Тут, скорее всего, подходит определение «одержимость» в значении «безумство, бесноватость». Так же, как вирус самостоятельно не исчезает из компьютера, так и приворот не уйдет сам по себе. В обоих случаях это приводит к преждевременной поломке. В компьютере летит программное обеспечение, человек рано или поздно заболевает или жизнь заканчивает самоубийством. Необходимо удалить вредоносную программу, то есть снять приворот.

Перепелкин вспомнил, как первый раз оказался в гостях у Жижиных и что этому предшествовало. А этому предшествовал вызов накануне 7 Ноября в комитет комсомола. Сей факт его немало удивил. «Взносы я плачу регулярно, точнее, их просто вычитают из заработной платы. И если не вычли, то тут я не виноват, все вопросы к бухгалтерии. Плакат или флаг нести на демонстрации? Это Петрович распределяет. Речь от лица комсомола двинуть? Тут мероприятие ответственное, кого попало не назначат. Исключено. Не будут рисковать, споткнусь, подведу. Таланта у меня нет сказать так, чтобы слово за собой позвало. Если только решили меня на октябрятах попробовать. Какой смысл? Краснобаев обкатанных и так хватает. Приводов в милицию не было, медицинский вытрезвитель не посещал. Где еще мог опозорить родной комсомол?» — в таких раздумьях он добрел до комитета комсомола. Постучал.

— Да, войдите, — раздался голос из-за двери.

— Здравствуйте! — зайдя в кабинет, произнес Перепелкин.

— Здравствуй, здравствуй! — получил в ответ.

— Моя фамилия Перепелкин. Вы меня вызывали? — робким голосом спросил Виктор.

— Вызывают по повестке в милицию, а мы тебя пригласили, — наигранно грубо, стараясь быть рубахой-парнем, произнесла Анна Субботина — секретарь заводского комитета комсомола. В кабинете вместе с ней находилась еще рыжеволосая девушка. Она в это время оценивающе разглядывала Виктора. Перепелкин где-то ее уже видел, но сейчас не мог вспомнить где.

— Конечно, — согласился он.

— Я тебя поздравляю! Тебе выпала большая честь оформить стенгазету к такому великому, большому празднику, как победа Великой Октябрьской социалистической революции.



У Перепелкина появилось желание крикнуть «ура!». Но воздержался.

— Извините, что разочарую. Но вас кто-то неправильно информировал. Я рисовать не умею, у меня по рисованию в школе тройка была, — посчитал Виктор нужным сей факт из своей биографии огласить в данный момент.

— А рисовать ничего и не надо. Все уже нарисовано. Необходимо только сделать надписи чертежным красивым почерком, — получил в ответ.

— Я... это...

— Конструктором работаешь? — перебив Перепелкина, очень строго спросила Субботина.

— Да.

— Значит, писать как надо обязан. Поступаешь в распоряжение Ольги Жижиной, она все тебе расскажет.

И повернувшись к рыжеволосой девушке, жестом указала на нее.

На следующий день Виктор получил освобождение от основного места работы и, уединившись с Ольгой, подписывал стенгазету. Она в это время хлопотала вокруг него, подавала карандаши, перья, поила чаем с домашними пирожками.

— Кушайте пирожки, сама стряпала. Еще умею печь торт «Наполеон», шарлотку. А какие я вкусные голубцы готовлю! Вам обязательно надо попробовать, — без умолку щебетала Ольга.

— Хорошо, — произнес через какое-то время Перепелкин. Хорошо то ли, что она умеет готовить, то ли что надо попробовать. Сейчас он уже не помнил смысл сказанного. Но слово вылетело. Как на железнодорожных стрелках, жизненный поезд Перепелкина уже побежал по другим путям.

— На праздники приглашаю в гости. Стесняться не надо. Родителей не будет дома, они уедут, — выпалила Ольга.

На праздничный ужин был гусь, отварной язык, шпроты, сервелат и что-то выпить за Великую Октябрьскую социалистическую революцию. «Наполеон», шарлотку,

голубцов в тот вечер он не видел и не пробовал. Язык и шпроты Виктор ел второй раз в жизни, сервелат впервые. Про выпивку сейчас он не мог вспомнить. Так как принесенное им вино было отставлено в сторону. А помнил, что ему было хорошо: какая чудесная девушка Оля! В общепитие Перепелкин пришел только утром. Потом, как честный человек... Марш Мендельсона, обмен кольцами и... быт.

— Что делать? — задал вопрос Перепелкин Звягинцеву.

— Витя, я могу все разделать.

— А Антон?

— Ты хочешь знать правду?

— Да.

— У тебя есть с собой его фотография?

— Есть.

— Пойдем со мной.

Они спустились по лестнице в подвал, где у Тимофея Петровича оказался оборудован кабинет. Компьютер, принтер, сканер, осциллограф, кинокамера, книги, какие-то еще приборы...

— Помнишь, парторг Пузин от имени и по поручению партии ставил нам задачу разработать специальное устройство, с помощью которого можно было бы давать заключение о годности изделий, которые нельзя проверить, не разобрав их? Как он говорил тогда, трясая указательным пальцем: «Вы знаете, сколько напрасно уходит народных денег на натурные испытания продукции?! Изготовили десять ракет, две отстреливаем на полигоне. Что они, лишние?! Или когда в партию человека принимаем, вопросы задаем. Все вроде правильно кандидат отвечает. А вдруг он приспособленец? Замаскировавшийся враг? Как в душу заглянуть? А мы его вот этим прибором сфотографировали — и все ясно, что у него там внутри». Тогда директор в командировке был, а его заместитель по производству с приступом аппендицита в больницу попал. Пузин и фетивалил несколько дней. На наши возражения, что

такой прибор создать невозможно, он все законы физики отменил. «Эти законы придумали не коммунисты. Поэтому у меня нет оснований доверять им», — был его ответ. Что с него взять? Яркий адепт большевизма, — напомнил Тимофей Петрович о событиях давно ушедших дней.

— Помню, — подтвердил Перепелкин.

— Я вот создал такой прибор, — как-то обреченно произнес Звягинцев.

— Это же невозможно!

— С точки зрения современной физики — да. Я не могу до конца объяснить природу происходящих при этом процессов, но прибор работает. Для проверки точности показаний я взял фотографии живых и умерших людей, машина просканировала снимки и сделала анализ. Стопроцентное попадание в яблочко, аппарат не ошибся ни разу. С годами я усовершенствовал и доработал свое изобретение. Теперь можно определять годность исследуемого объекта, когда он создан, его потенциал и многое другое. Так что давай фотографию Антона, будем пробовать.

После сканирования изображения на экране монитора минут десять светилась заставка: «Анализ». Затем появилась надпись: «Начало создания объекта — 26 сентября 1990 года».

— Да! Вот тебе и недоношенный ребенок! — произнес Перепелкин, и, помолчав несколько секунд, спросил: — Теперь что делать?

— Я сниму приворот. А дальше поступай как знаешь, — ответил Звягинцев.

— Хорошо, — согласился Виктор.

Они вернулись обратно на кухню. Тимофей Петрович посадил Перепелкина на табурет, руки попросил положить на колени ладонями кверху. А сам стал своими руками водить над головой Виктора, при этом что-то бубня себе под нос. Все эти действия продолжались не более пяти минут.

— Как себя чувствуешь? — спросил Звягинцев по окончании процедуры.

— Все нормально, — ответил

Виктор.

— Голова не кружится? — уточнил Петрович.

— Нет.

— Еще два сеанса, я окончательно сниму зависимость — и у тебя будет все хорошо. А пока поживи на даче или можешь у меня, не встречайся только с Ольгой, — голосом уставшего человека произнес Тимофей Петрович.

— Я у себя.

— Вот и хорошо. После окончания всего поймешь, что тебе надо.

5.

Все эти дни Перепелкин жил на даче. Днем — на работе, а вечером — сюда. Никто его не искал, и это его не удивляло и не огорчало. Даже больше — он испытывал наслаждение от свободы: были разорваны путы, невидимые веревочки, о которых он раньше не подозревал, а вот их ликвидировали — и стало неожиданно легко. Эти ощущения пришли постепенно после нескольких общений с Тимофеем Петровичем. И сразу выстроились планы на дальнейшую жизнь, и уже не казалось все так катастрофично. Только где-то внутри скребли кошки и мучила совесть.

Антон! Он же его воспитал, вложил частицу себя. Ну и пусть, что он генетически не его ребенок! А сколько было радости, когда он делал первые шаги и сказал первый раз «папа»! Сколько было переживаний и бессонных ночей, когда он болел?! Совместное выполнение домашних уроков, походы в лес, на рыбалку. Не предательство ли со стороны Перепелкина задуманный побег? А его разве не обманули? Но это Ольга! При чем тут Антон?

Терзаемый сомнениями, Виктор пошел к Звягинцеву. Облокотившись на забор и ища глазами своего наставника, крикнул:

— Тимофей Петрович!

— Я здесь, — из-за кустов малины показался хозяин. — Заходи. Чаю поьем, поговорим, — сразу поняв, какие причины привели к нему Перепелкина, пригласил зайти его в гости.

Расположившись вдвоем на веранде, Тимофей Петрович разлил по чашкам чай и поставил на стол две вазочки с малиновым вареньем и печеньем.

— Переживаешь? — первым начал разговор Звягинцев.

— Есть сомнения, — подтвердил Виктор.

— Насчет Антона? — уточнил Тимофей Петрович.

— Да.

— Хотя это не богоугодное дело, но Бог простит. Давай я карты раскину. Посмотрим, что тебя ждет, — махнув рукой по воздуху и заодно на догмы, предложил Петрович и из загорелого достал выдающуюся колоду. Перетасовав ее, попросил Перепелкина сдвинуть карты. После чего стал раскладывать их на столе. Потом, потратив еще какое-то время на изучение полученного пасьянса, произнес: — Не беспокойся. Как задумал, так и поступай. У тебя с ним будет встреча, только позже, и не одна. Зла у него на сердце нет, — помолчав, еще добавил: — А больше тебе и знать ничего не надо, и я могу ошибаться.

— Петрович, а вы в Бога верите? — спросил Виктор.

— В молодости не верил, даже с родной бабушкой спорил. Она: «Бог есть!» А я ей: «Ты его видела?» Мне тогда казалось, что это неоспоримый довод. Потом, позже, когда бабушки уже не стало, я в длительной командировке был. Полевые условия, тяжкий труд, сроки выполнения задания поджимают, а у меня страшные боли в области живота, которые продолжались не один день. Скрутило, думал — все. Из средств медицины в той экспедиции были в наличии йод у охотника, спирт у начальника объекта. Болезнь расценивалась не меньше как предательство Родины.

Бабушка во сне на помощь пришла: «Тимоша, ты отпросись у начальства да сходи вечером за лесок, что за оврагом. Там поле льняное, наше-луши семян да по щепотке жуй. Полегчает». Все так и сделал. Спасибо бабушке, вскоре дела на поправку пошли. Дальше или она мне помогла, или с рождения сверху был дан дар, а проявился только в то время, стал я события предугадывать. Перед сном на каком-нибудь вопросе сосредоточиться, во сне — подсказка, по работе — готовое решение. Потом и днем стало получаться. Сидишь, думаешь, а откуда-то сверху — поток информации. Это меня неоднократно и от смерти спасало, и польза Родине была. Ты же знаешь, Витя, сколько у меня изобретений, патентов, а сколько еще не зарегистрировано! Получается, как бы и не моя эта заслуга.

С годами стал задумываться. Почему так происходит? Как все устроено вокруг? Что всем движет? Жизнь — замысел или случайность? Ответ не нашел ни у материалистов, ни у богословов разных конфессий. Первые не способны доказать стихийный характер сотворения и эволюции Вселенной из-за отсутствия фактов. Вторые не могут подтвердить обратное, так как не знают цели, ради которой божественный Разум создал Мир. Поэтому при размышлении над этими вопросами я мог оперировать только косвенными доказательствами.

Как я рассуждал. Если оглянуться вокруг себя, что мы видим? Хаос или продуманное до мелочей гармонично организованное пространство? Ответ очевиден. Но нам могут возразить, что раньше и был хаос, который ввиду случайных совпадений превратился в стройный порядок. Пойдем дальше и рассмотрим вероятность свершения такого события. Водород, углерод, кислород, азот — четыре элемента, четыре столпа, на которых зиждется органическая жизнь. Без них она просто невозможна. Вероятность случайной



комбинации этих составляющих, необходимых для возникновения жизни, практически равна нулю. Она одинакова, как если бы взять и разложить в поле комплектующие на космический корабль и ждать сильного урагана, при котором все перемешается — и детали соединятся в единое целое. Ты веришь в возможность осуществления технологии такой сборки?

— Нет, — покачал головой Виктор.

Чай в чашках, наполовину выпитый, уже остыл. Перепелкин внимательно слушал Звягинцева, как когда-то, будучи конструктором, пытаясь понять сказанное. «Старик-то продолжает сохранять ясность ума несмотря на возраст», — подумал он.

— Вот именно. Далее, в нашей атмосфере сохраняется стабильное содержание кислорода — двадцать один процент. Если будет меньше четырнадцати процентов, мы не сможем зажечь огонь. Если, наоборот, превысит двадцать пять процентов, даже мокрое дерево и мох будут воспламеняться. Расчеты ученых показали, что количество кислорода должно увеличиваться на один процент каждые двенадцать тысяч лет. Но этого не происходит. Можно такой же пример привести по солености морей и океанов. Она, в принципе, не должна отличаться от солености Мертвого моря. Однако этого тоже не наблюдаем. Как все объяснить?

— Действует программа с заложенными ограничивающими параметрами, — высказал свое мнение Перепелкин.

— Да, выглядит так, что кто-то запрограммировал выполнение этих условий, чтобы жизнь на Земле не погибла. Наш мир существует по когда-то написанной программе. Вопрос: «Кто программист?» И, надо заметить, — искусный программист. Все создано целенаправленно, включая и самого человека. Ведь общепринятая теория естественного отбора, по большому счету, не работает. Новые виды появились как угодно,

но только не в результате постепенного накопления мелких изменений, происходящих вследствие приспособления организмов к окружающей среде. Почему мы сейчас ничего подобного не видим? Процесс эволюции, то есть создания новых видов, закончился примерно сорок миллионов лет назад, остальное все — мутация. Получается, что Высший разум есть. Он же и «написал» программу, то есть определил, по каким законам существует все Мироздание.

— Тимофей Петрович, а почему у каждой веры свой Бог?

— Бог один, имена разные. Кто его называет Высшим разумом, кто — Демиургом, кто — Аллахом, кто — Дао, кто — Иисусом. Если не вдаваться в тонкости, то все религии очень схожи. Различия в том, как если бы одного и того же человека нам описывали разные люди и каждый из рассказчиков изложил свое восприятие увиденного. Пример неодинаковости ощущений: иудеи уверены в избранности своего народа, которому дано единственно правильное откровение, христиане и мусульмане считают наоборот, что Иисус и Магомед соответственно дополнили учение пророков от Моисея и наиболее правильно его трактовали. При множестве различий сердцевина остается сходная. Все религии признают «родство» Всевышнего и человека — «создан по образу и подобию». Кроме Бога везде есть сатана, он же Люцифер, шайтан, демон, чернобог. В любой вере присутствуют первочеловек, молитвы, свод определенных правил. Различия не так существенны, чем кажутся. Сами постулаты для исполнения у разных религий переключаются: любовь к Богу, любовь к людям, почтение к родителям, воздержание во всем. Новый Завет говорит, что «Бог есть любовь», санскритские сутры признают Бога «источником всех знаний и всякой любви», даосизм отмечает, что «Дао — существо нежное», а Коран утверждает: «Аллах милостив,

милосерден». Это подразумевает, что в истоках бытия находится Божественная любовь. «Неустанно развивайте в себе бодхичитту», — призывает буддизм. То есть надо совершенствовать сострадание ко всем живым существам. «Сие заповедую вам, да любите друг друга», — учил Иисус Христос. Коран вторит: «Всевышний есть Любовь, Любящий и Возлюбленный». Заповеди Нового Завета «не убий» и «не укради» соответствуют в буддизме традициям ахимсы — непричинение вреда всем живым существам ни в мыслях, ни в словах, ни в действиях, и астея — отсутствие стремления к обладанию чужими вещами. Примеров схожести можно привести множество.

— Если так все просто и очевидно, почему много людей не верит в Бога? Почему даже верующие творят беззаконие? И почему Всевышний не внушил людям веру в него? Он же Всемогущий, — не дождавшись ответа, Перепелкин продолжил дальше: — Я даже знаю, что вы скажите. Мол, во всем виноват дьявол. Бог создал людей свободными, поэтому активно не вмешивается в их жизнь. А силы тьмы разными способами привносят зло в наш быт. Тогда из этого можно сделать вывод, что Бог отдал Землю во власть Люцифера. Так получается? — свои суждения озвучил Перепелкин.

— Хорошие вопросы. Чтобы на них попытаться ответить, я тебе задам встречный вопрос. А ты сам веришь в Бога? — спросил Звягинцев.

— Стараюсь верить. Но постоянно свербит мысль: может, я заблуждаюсь? Может, его нет? — поведал о своих душевных терзаниях Перепелкин.

— Вот ты и начал отвечать на свои вопросы. Тебе всю сознательную жизнь внушали, что Бога нет. Но не убили твою веру в него. Хотя ты сомневаешься и твоя вера в него не крепка. Но она есть. Потому что мы все ждем чудо. Пусть это будет Всевышний. Пусть это будут

догмы, озвученные самопровозглашенными апостолами, такими, как внук двух раввинов и родной брат террориста. Пусть это будут инопланетяне. Человек рождается запрограммированным на веру в волшебство. В детстве с упоением слушаем сказки, научившись читать, читаем их сами. Повзрослев, переключаемся на фантастику, девушки читают любовные романы, относящиеся тоже к тому же жанру фантазий. Любимое искусство — цирк. Всех фокусников страны знаем поименно. С надеждой, что именно нам повезет, покупаем лотерейные билеты и по этой же причине просаживаем деньги в казино. Вот тебе ответ на один из твоих вопросов. Без веры человечество просто бы не выжило. Недаром у христиан на первом месте из перечня семи смертных грехов стоит уныние, а у мусульман под той же цифрой — куфр, то есть неверие. Если отвечать дальше на твои вопросы, то надо хотя бы поверхностно разобраться: как зародилась жизнь? Принцип построения всего мироздания? Зачем все это надо? Современные человеческие знания не позволяют с уверенностью ответить на все эти вопросы. При размышлении над ними приходится чередовать богословское представление о мире с научными фактами. Из религиозной литературы, которая в основном опирается на информацию пророков, имевших контакт «с небом», узнаем, что в этом мире все временно — все имеет свое начало и свой конец. Только Бог — вне времени и пространства. Он сотворил весь мир из ничего, одним своим словом. Из ничего было создано что-то материальное. Какая-то первая частица. Также вначале не было времени! Как только было запущено время, произошел «большой взрыв». Оно, как поток прорвавшейся воды, движется по горному серпантину, захватывая с собой все больше и больше камней и грязи. Вот камни и грязь — это пространство, чем дальше вниз его толкает время, тем его больше

становится. Это перекликается с научной гипотезой о расширяющейся Вселенной. Поэтому рискну предположить: время — это энергия, которая переносит пространство. Время — величина циклическая. Сутки, год — видимые интервалы. Время движется по спирали, и каждая маленькая спираль находится в большой спирали. Наверное, поэтому что для нас — вечность, для Бога — минута. Он же не крутится с нами на этих каруселях. Самая большая временная спираль растет вширь, тем самым расширяя пространство и расширяя Вселенную. На каждый новый виток оказывает влияние прошлый. Происходит как бы проекция. Поэтому события нынешних дней — это отголоски прошлого. Зачем Бог создал этот мир и человека в том числе? Только одна причина приходит на ум. Чтобы, наблюдая за своим творением, познавать самого себя, так как в целом весь мир и мы в частности копия его. Написано в Ветхом Завете: «И сотворил Бог человека по образу Своему». Это не значит, что у него, как у нас, две ноги, две руки, человеческий лик. Суть заключается в одинаковой тройственной природе. Для лучшего понимания возьмем пример с компьютером. Из чего он состоит?

— Из системного блока, монитора, принтера, — стал перечислять Перепелкин.

— То есть из так называемого «железа», — перебил Звягинцев.

— Да, — подтвердил Виктор.

— У Бога это будет весь материальный мир, частью которого является и человек со своим телом. Таким образом, мы разобрались с видимой частью мироздания. Еще есть невидимая часть. Для ее понимания вернемся опять к компьютеру. Чтобы он работал, что еще необходимо? — пытался наиболее доходчиво объяснить свою теорию Звягинцев.

— Воткнуть туда программы, — ответил Перепелкин.

— Правильно, необходимо установить программное обеспече-

ние. У человека это будет называться душой. У Бога — законами Божиими, то есть это программа, по которой существует все мироздание и о которой мы говорили ранее и также заметили, что они намного сложнее, чем трактует современная наука. И третья составляющая — это дух. Душа и дух неразделимы между собой, дух исходит от души и также может оказывать влияние на душу. Это нам ярко демонстрируют йоги. В масштабах Бога такой пример находим в Ветхом Завете при описании сотворения мира: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет». Получается, что дух — это воля, наделенная знаниями, направленная на создание чего-то. Божий Дух — возможность воздействия на законы природы. Дух применительно к компьютеру — желание пользователя, подкрепленное умением, решить определенные задачи с помощью ЭВМ. Человеческий дух — бесконтактное влияние на другие объекты. Один из примеров проявления человеческого духа — гипноз. Это явление наукой официально признано и не оспаривается. Еще есть мистические, так называемые тайные знания для посвященных: кабала у иудеев, веды у славян, йога у индусов, цигун у китайцев, магия у сатанистов. Это далеко не полный перечень учений, существующих на Земле в этой области. Как мы предположили, Бог, ангелы, дьявол и человек наделены способностями одной природы, но разными по силе даром и знаниями. Люди по своим возможностям являются самыми слабыми в этой иерархии. Несмотря на нашу несовершенство и порочность, Бог любит нас, так как мы его дети. И мы должны отвечать ему любовью. Дьявола тоже создал Бог, и в начале своего бытия сатана являлся ангелом, и имя ему было Люцифер. Но в какое-то время он перестал подчиняться Богу, посчитав себя равным ему, взбала-



мутил часть других ангелов и увел их под свои знамена. Которые впоследствии стали «силами тьмы». Сначала Всевышний воспротивился монотонности существования и создал жизнь; потом Люцифер, пытаясь стать первым, восстал против Бога; Адам и Ева, искушенные змеем, сорвали плод с дерева познания добра и зла; Каин убил Авеля — события по значимости и по сути абсолютно разные, но имеющие, как мне кажется, один общий корень. Свет и тьма, добро и зло, воздержание и одержимость — противоречия, окружающие нас, но без них невозможна сама жизнь. Так же как трение, с одной стороны мешающее движению, а с другой — способствующее ему, так как дает возможность оттолкнуться. Чтобы человек не навредил самому себе в этом сложном мире и жил в гармонии с окружающей природой, Господь дал ему постулаты в виде заповедей. Отступление от них называется грехом. В русском языке слова «грех», «огреха», очевидно, изначально по значению соответствуют определению «ошибка». У иудеев для этого понятия используется слово «хэт», то есть «промах». В греческом переводе — «промах, погрешность, провинность». Грешный человек — это невежественный человек по двум причинам. Во-первых, он не осознает всех отрицательных последствий своего поведения для себя самого. Во-вторых, он не умеет приводить в порядок те внутренние энергии, которые своим движением заставляют его совершать греховные поступки. Борьба между Богом и сатаной за наши души идет не ради спортивного интереса. Все рационально. Дьявол, забирая душу

человека взамен на определенные при жизни блага, приумножает свою энергию, так как душа воспроизводит дух, значит, является источником силы. Цель у него — накопить необходимую мощность, чтобы с помощью своего духа перепрограммировать существующие законы мироздания и после этого управлять всем миром по своему разумению. То есть взять верх над Богом. Виктор, вроде я, как смог, ответил на все твои вопросы, — подытожил Звягинцев.

— Надо все осмыслить, сильно много для меня новой информации, — свое мнение высказал Перепелкин. После, прервав минутное молчание, спросил: — Бог отправил «темные силы» в преисподнюю. Где она находится? Где рай? Где ад?

— В нашем понимании пространство трехмерно. Это нам учителя в молодые годы, начертив три линии мелком в школе на доске и подписав их X, Y, Z, убедительно доказали. Кто дальше углубился в познании этого вопроса, того попросили, но уже не так уверенно, прибавить еще и время. Но, как оказалось, и это не все. На сегодняшний день ученые мужи даже предоставили в доказательство расчеты, что пространство как минимум одиннадцатимерное. Это получается ввиду того, что время по своим спиральям крутит пространство, изгибает его, сдвигает пластами. Вот в этих сдвигах и теряются, существуя в других измерениях, вышеназванные объекты.

— Тимофей Петрович, вы предсказываете будущее. Значит, все предопределено заранее?

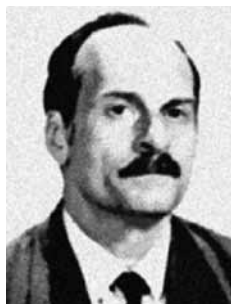
— Есть такой раздел в математике, как математическое моделирование, где даны правила расчета поведения

объекта при определенных условиях. Повторюсь, наше мироздание существует по написанной программе. Подозреваю, в этой большой программе есть подпрограмма, которая автоматически делает прогноз будущего. Так как все исходные данные в наличии, вероятность прогноза высока. Нужно только суметь получить информацию от «природного компьютера» и правильно ее расшифровать. Чем и пользуются предсказатели. Расчет ожидаемых событий — это еще неполученный результат. «Нестандартные» поступки способны изменить предсказание, то есть судьбу. Пример тому — Рудольф Гесс. Являясь одним из руководителей Третьего рейха, с бухты-барахты, без видимых причин, сел в самолет и полетел в Англию, в стан врага. Где был, естественно, арестован. Напрашивается вопрос: «Почему он так поступил?» Загадка кроется в его увлечении оккультизмом: похоже, он узнал дату своей смерти — 1945 год. Этим перелетом он изменил время собственной кончины. Конечно, дальнейшая его судьба не была заведной, но зато, в отличие от других первых лиц фашистской Германии, он умер в преклонном возрасте.

От Звягинцева Виктор возвратился далеко за полночь. Завтра, хотя уже сегодня, он должен уехать из Захолустьяева. Из квартиры выписался, с работы уволился, машину с учета снял. Скрытно, незаметно побывал на квартире, забрал свои вещи. Немного оказалось их у него — две большие хозяйственных сумки. «Мерзко все это, мерзко», — повторял про себя Перепелкин, засыпая на лавке в строительном вагончике.

Продолжение следует.

Новосибирская область



ПОХОЖДЕНИЯ «ПОДМИГИВАЮЩЕГО ПРИЗРАКА»

ПОВЕСТЬ

Глава II. Между двух огней

В лесу стояла тишина. Покрытые причудливыми покровами снега вершины деревьев казались нарисованными на холсте, сотканном из плотного серого воздуха. Гришка снял варежку, подул на застывшие от напряжения пальцы и нервно проверил, снят ли на винтовке предохранитель. Лежащая рядом на куче заботливо постеленного соснового лапника Татьяна успокаивающе положила руку на плечо Гришке и прошептала:

— Делай, как договорились. Возможно, в очередной раз уйдем от костлявой.

— Не бойсь, мы с тобой тоже не льком шиты. И за пять лет многому научились. Главное, сейчас держись все время сзади меня и прикрывай со спины.

Гришка подозрительно покопился на лежащих за пулеметом Дронова и Круглова: «Их благородия офицерье готовы выполнить любой приказ полубезумного есаула, вообразившего себя спасителем Отечества. Все умные атаманы уже давно свои отряды в Маньчжурию отвели. А наш Чистов все геройствует, хотя людей у нас чуть больше

двадцати сабель наберется. Есаул по дурусти надеется, что весной мужик взбунтуется и к нам в отряд лавиной попрет. Какое там: эти хитроумные комиссары заменили продналог продразверсткой. Кто же теперь к нам в леса из родных теплых изб пойдет? Нет, господин есаул, амба настала. Нам бы с Танькой давно от отряда отстать надо было, да все случая удобного не было. А сегодня есаул решил в великого полководца поиграть. С основным отрядом вступит в бой с краснопузыми, постреляет немного и начнет отступать сюда, к реке. Выведет врагана на нашу засаду из шести человек. А мы должны посечь врага из винтарей и двух пулеметов. Только мы с братьями Пашкой и Семёном договорились сначала посмотреть, чья сила брать верх будет. Пашка и Семен из мужиков — не подведут, а вот золотопогонники Дронов и Круглов — патриоты, черт их побери. С ними каши не сварить. В случае чего валить придется».

Внезапно невдалеке прозвучал одиночный выстрел, и тут же по лесу разнеслись звуки беспорядочной

пальбы, по какой-то немислимой прихоти то на мгновение затухающей, то вновь оглушительно многократно возрастающей и сливающейся в единую трескотню. Гришка то и дело возбужденно вытаскивал правую руку из теплой варежки, суетливо дотрагивался до спускового крючка и, обжегшись о холодный металл, вновь погружал вмиг озябшие пальцы в теплый мех.

Пальба постепенно начала приближаться. Напряжение возрастало. Наконец из лесочка на противоположном берегу реки появились фигуры стремительно отступающего отряда Чистова. Их оставалось двенадцать. Не особенно торопя коней, они, по задуманному плану, вместо того чтобы пересечь замершее русло реки, поскакали вдоль берега, стремясь подставить преследующих их красноармейцев под кинжальный огонь затаившихся в засаде пулеметчиков.

Гришка застыл в напряжении: «Сейчас все зависит от сил краснопузых. Если их много, то обнаруживать себя нельзя. По зимнику в глубоких сугробах от погони далеко не уйдешь. Да и по следам быстро



найдут. Надо будет ликвидировать офицеров и в компании с братьями убираться по-тихому подальше к границе. А там с бриллиантом, хранящимся на груди у Татьяны, не пропадем. Куплю лавчонку и буду торговать помаленьку».

Радужные раздумья Гришки прервало появление из леса преследующих чистовцев конников. Насчитав более тридцати врагов, Гришка повернулся и поднял вверх руку, давая знак сообщникам. Пашка и Семен уже и без него поняли расклад сил и стали незаметно подбираться поближе к изготовившимся к стрельбе и ничего не замечающим вокруг офицерам. Еще несколько мгновений — и красные конники войдут в выгодную зону обстрела. И тут почти одновременно братья, ловко орудуя ножами, навсегда прекратили борьбу двух белых офицеров за восстановление прежней, милой их сердцу власти. Несколько мгновений Гришка наблюдал, как Пашка с Семеном торопливо снимают с убитых ордена и выгребают из карманов портсигары, деньги, снимают с пальцев обручальные кольца. Затем его внимание переключилось на вспыхнувшую вновь стрельбу и крики отчаянно рубящихся обреченных ими на гибель людей. Скоро стало ясно, что через несколько минут все завершится. Последним в живых остался израненный есаул Чистов. Он привстал на стременах и громко, на весь лес возопил:

— Сволочи! Иуды! Будьте вы прокляты!

И, не желая быть плененным, выстрелил себе из нагана в висок. Этот крик отчаяния красноармейцы отнесли к себе. И только Гришка с Татьяной да братья-убийцы знали, кому адресовалось горячее проклятие преданного своими бойцами есаула.

Обыскав убитых и забрав себе награбленные за годы партизанства ценности и оружие, красноармейцы поймали уцелевших в бою коней и с

трофеями направились прочь от места минувшей битвы.

Когда весело и нервно обсуждавшие детали минувшего боя красные конники скрылись в лесу, среди уцелевших засадников наступило неловкое молчание. Наконец тишину нарушил Гришка:

— Вот что, парни. Нам дальше не по пути. Сани с лошадьё у нас одни. Мы с Танюхой их возьмем. А вам останутся два коня, и верхом бегите, куда хотите. Мы вам не судьи и вы нам не хозяева. Тут в лесу вам каждая займка знакома и тропы к ним изучены. Авось не пропадете. Ну а мы с женой люди городские. Давай разбежимся по-хорошему.

Пашка в ответ лишь смачно сплюнул, а жадный и болтливый Семка ехидно заметил:

— Ну что же, мы с братом не супротив. Только дело надо делать по разуму.

— Это ты о чем?

— Да все о том же. Делиться будем тем, что имеем, поровну. Мы вот у офицериков кое-какое золотишко взяли. А вы даже претензий не предъявляете. Значит, есть на что в городе жить. Вот и поделитесь с нами. Все по справедливости. Или вы супротив?

Гришка поудобнее переложил в руку винтовку:

— Нам с вами делить нечего.

— Ладно, Гриня. Мы пошутили. Оставь винтарь в покое. Поехали, Пашка, а то ныне быстро темь сгущается.

Гришка внимательно следил, как братья отвязывают коней и, взяв под уздцы, ведут вниз к реке. Свернув за густой ельник, они скрылись из виду.

Облегченно вздохнув, Гришка развернул сани в сторону находящегося неподалеку тракта. «Избавимся от оружия и выдадим себя за погорельцев, едущих к родственникам жены — староверам. Авось пронесет».

Он уже хотел вслед за женой сесть в сани, как Татьяна внезапно оттолкнула его в сторону и выстрелила навскидку в сторону густого

кустарника. Повинуясь звериному инстинкту самосохранения, Гришка рывком выбросил свое сухошащее тело из саней и, откатившись в сторону, открыл огонь по ели, из-за которой вели за ним охоту братья. В пылу скоротечной перестрелки он успел подумать:

«Почему Татьяна так глупо подставляет себя, продолжая находиться на виду у стрелков в саях? Со страху, что ли, обмерла. Но нет, продолжает, хоть и редко, отвечать на пальбу нападающих». Заметив едва колыхнувшуюся зеленую ветку, Гришка поймал в прицел краешек меховой ушанки и плавно спустил курок. Тут же услышал злобный мат:

— Теперь, подлюки, не выпущу вас живыми. За Пашку люто отве...

Выстрел Татьяны оборвал злобные угрозы. Гришка не спешил выходить из укрытия: «Вроде бы Татьяна сразила Семена: очень уж натурально крик его оборвался. Ну а ежели притворяется Семка, хочет на фу-фу взять, как только подойду поближе?»

Прошла минута, и Татьяна слабым голосом позвала:

— Гришка, сходи посмотри. Вроде бы я не промахнулась. Невмоготу мне. Я кровью истекаю. Зацепило меня сразу пулей в ногу. Боли не чувствую, а только двинуть ей нет возможности.

Перебежками Гришка начал заходить сбоку к елке, за которой затаилась опасность. Наконец, заметив овчинные полушубки лежащих навзничь лицом в снег братьев, подбежал к ним и, поспешно отбросив в сторону валенком винтовку, держа наготове охотничий нож, перевернул тела поверженных врагов: «Все, амба братьям. Одно я уложил, а другого Татьяна навсегда успокоила. Да еще как ловко: прямо в лобешник угодила».

Он стал с жадностью выгребать из карманов убитых взятые у офицеров трофеи. Его остановил доносившийся от саней наполненный страданием голос Татьяны:

— Да где же ты застрял, Гришка? Перевязать меня надо. Слабею я.

Гришка торопливо закончил обыскивать второй труп и пристыженно поспешил на помощь жене. Откинув полушубок, ужаснулся: «Кровищи-то сколько вытекло. Не довезти бабу до врача. Плохо дело».

Быстро сняв с винтовки ремень, туго перетянул Танькину ногу выше разорванного пулей отверстия. Фонтанчик крови, бьющий из раны толчками, слегка притих, словно затаился до поры до времени. «Это ненадолго. Минут через двадцать все будет кончено. Что я ей скажу?»

Татьяна с бледным лицом устала неподвижно в небо. Затем с тихой сказала:

— Не томись, Гришаня. Мне конец. Жаль, и пожить не успели. Так этот бриллиант нам счастья и не принес. От большевиков четыре года убегали да по лесам ховались. Я с самого начала нутром чуяла: не будет нам покоя. Через грех убийства достался нам этот камушек. Когда помру, сними с меня эту тяжелую ношу и избавься от него поскорее. Не то сам в беду попадешь. А сейчас не утешай напрасно. Помолчи, дай помолиться и покаяться.

Некоторое время Татьяна лежала молча, беззвучно шевеля губами. Наконец открыла глаза и строго спросила:

— Скажи, Гришка, только честно: любил ли ты меня или так, для забавы тешился?

— Если бы не любил, то зачем четыре года вместе мыкались? Зарезал бы тебя во сне и ушел на волю с драгоценным камушком. Чего зря спрашиваешь?

— Ладно, считай, поверила. Мне так легче будет на том свете объяснять, почему на смертоубийство решила из-за друга сердечного.

— Тьфу ты, совсем с ума походила. Даже перед кончиной о любви думаешь. Лежи и молчи. Тебе сейчас силы беречь надо.

Татьяна обреченно закрыла глаза. Через некоторое время Гришка

притронулся к холодной щеке жены. Затем для верности поднес ко рту отнятый у офицера портсигар. Зеркальная гладкая поверхность металлической крышки осталась незамутненной. «Ну все, отмучилась. Любила она меня крепко. Ничего не скажешь. И я к ней привык за эти годы. Ни разу не пожалелась на судьбу. И похоронить ведь бабу не смогу: яму в мерзлой земле не вырыть. Зарю просто в сугроб. А по весне зверье растащит ее косточки по чашобе. Но не ночевать же мне тут».

Злясь на Татьяну, словно она была виновата в том, что приходится оставлять ее тело в заснеженном лесу, Григорий резко рванул кофту и, обнажив грудь, осторожно снял с шеи женщины кожаный мешочек с бриллиантом. Заботливо надел драгоценность на себя. Затем с трудом вытащил начинающее коченеть тело Татьяны из саней и, положив под березу, тщательно закидал снегом и ветками ели. Затем, стараясь не смотреть на возвышающееся под березой последнее Танькино пристанище, стеганул вожжой лошадь. Та с напряжением заставила сани оторвать примерзшие полозья и покорно ползла между деревьями к виднеющейся внизу у реки тропе.

Григорий еще раз беспокойно нащупал на груди под свитером драгоценный кожаный мешочек и подумал: «А мешочек-то за эти годы начал подгнивать от пота. Надо будет сменить упаковочку, а то, не ровен час, рассыплется. Мне только не хватало потерять бриллиант, когда, наконец, он всецело поступил в мое распоряжение. А Таньку все-таки жалко. Безотказная была. Но не повезло: поманил ее дорогой камушек, приблизился вплотную, да утек, как песок между пальцами. Уж я-то постараюсь не дать себя обмануть этому кусочку прозрачного камня».

Лошадь неловко оступилась в рыхлом снегу, и сани резко

развернуло в сторону. Virtuозно выругавшись, Гришка потянул за поводья и выровнял сани: «Доберусь до людей и загоню лошадь с санями. Много за них от подозрительных и зажимистых мужиков не выручишь. Но добраться до железной дороги на полученные деньги можно. Да еще и офицерского барахла хватит до Москвы доехать. К китаезам не пойду. Там мне, русскому мужику, делать нечего».

Окончательно принятое решение его успокоило, и он хлестнул лошадь, торопясь отъехать как можно дальше от небольшого заснеженного сугроба, временно укrywшего от голодного зверья тело несчастной Татьяны.

...Гришка объявился в Москве лишь через полгода. Путь к дому был долог. Поезда ходили нерегулярно. Да и остановка на пару месяцев в уютном доме вдовы в Казани чуть не заставила оставить мысль о Москве. Но душа позвала в дорогу, и ранним утром он вышел на привокзальную площадь. В кармане оставалось немного денег, обручальное кольцо зарезанного в сибирской тайге офицера Дронова, да на груди привычно грел душу бриллиант с причудливым прозвищем «Подмигивающий призрак». В дом Татьяны он идти не хотел: «Кто знает, как расценили власти внезапную смерть Вадима и подозрительное исчезновение из города его жены с названным братом».

Вопрос с жильем решился довольно просто. Зайдя в привокзальную чайную, Гришка заказал яичницу и чай. Смачно обмакивая хлеб в растекшийся по тарелке желток, почувствовал на себе пристальный взгляд молодого блондинистого мужика с косящим глазом. Тот приветственно кивнул Гришке как старому знакомому и пересел за его столик:

— Здорово, Цыган. Давно в Белокаменной объявился? Вижу, не узнаешь. Напомнить надо: в 1909 году во Владимирском центре вместе



кантовались. Я Леха Косой. В тот год бакалейную лавку неудачно подломил.

— Не помню я тебя.

— Немудрено. У меня была первая ходка, а ты уж авторитетным вором был. Мне тебя во время прогулки показали: вот, дескать, «клюквенник» знатный идет. Ты тогда в Псковской губернии церкви чистил, как перчатки менял.

«Надо же, узнал, мазурик. Освободился я в тот раз в 1914 году, с Татьяной снюхался. Здесь, в Москве, не шкодил. По областям мотался. А потом к нам с Татьяной бриллиант приплыл. По сибирским лесам от большевиков и советов бегал, чужую кровь пускал и свою житуху ни в копейку не ставил. Отсидки забубенные уже стали казаться сном далеким, словно и не со мной было. А этот тип вдруг нарисовался и мне о былом напомнил. Но нет худа без добра. Через него на постой определиться можно. Только на “малину” идти не резон. Подрезать и ограбить могут, наплевав на воровской авторитет. Да и уголовка накрыть может. Мне это ни к чему. Затаиться на время надо и осмотреться. Понять, что к чему. За пять лет многое могло измениться».

Молчание затянулось, и Леха не выдержал:

— Если я не по делу к тебе подсел, то извиняй. Могу и уйти. Но ты, похоже, с саквояжем потрепанным только что в Москву прибыл. Откуда и зачем, не спрашиваю. Я умею держать язык за зубами. Иначе бы так долго на свободе не гулял.

— Никогда, Леха, не хлестайся свободой. Она как баба: сегодня с тобою, а завтра с другими забавляется, а ты в темнице сырой о ней, изменнице, тоскуешь. Может быть, ты вольным воздухом дышишь, поскольку сыскари совдеповские работать как следует не научились?

— Похоже, кое-что уже умеют. В начальстве у них обретаются подпольщики, на каторге побывавшие. Да и кое-кого из старых

специалистов за паек к делу приставили. Полицейские картошки в азарте пожгли в феврале 1917 года. И теперь у красноперых служат опознаватели из дореволюционных сыщиков. Ты, к примеру, залетел к ним в лапы и Васькой Котом рекомендуешься, а тут в камеру тип в старомодном котелке входит и определяет гнусавым голосом: «Врет, скотина: это Иван по кличке Конь из Тулы к нам пожаловал».

— Значит, плохо дело?

— Нет, Цыган. Это я сказал для твоего упреждения. Жить можно. Сейчас при новой экономической политике богатенькие, как тараканы, из всех щелей повылазили. Есть кого пощипать. Только не зевай. Могу свести тебя кое-кем из лихих людишек. По моей рекомендации тебя к делу пристроят. Что скажешь?

— Спешить не будем. Осмотреться надо. Хата нужна на первое время. Да не шумный шалман с развеселыми марухами, а где тихо и безопасно.

— Есть такое место. Для себя про запас держал. Старуха комнату сдает. По виду вылитая Баба-яга. И вправду страшна: нос крючком, с бородавкой на кончике, и волосы над верхней губой растут, как у мужика. Но живет тихо, незаметно. Кличут ее Няня, поскольку до революции в больнице на Садовом работала. А ныне комнату сдает, тем и кормится. Ее прежнего жильца пару недель назад за шулерство в карты зарезали в одном загородном доме. Красноперые об этом адреске не знают. Отведу тебя к ней. Только она деньги за месяц вперед требует. Вы, говорит, либо за решетку угодите, либо со смертью с глазу на глаз повстречаетесь, а я не хочу убытки за ваши дела греховные терпеть.

— Резонно. Мне этот вариант подходит. Только я сейчас не при деньгах. Надо одну вещичку загнать, прежде чем к старухе на постой вставать.

— Что там у тебя, покажи.

— Да вот колечко золотое Бог послал по бедности нашей.

— Перстечек не дутый, по весу целиком литый. Но есть серьезный изъян: внутри гравировка приметная читается: «Навеки благодарен судьбе». С такой приметной вязью вмиг по тухлому делу загреметь можно. Серьезный барыга такую вещичку не купит. Есть у меня на примете дантист, тот в переplавку на коронки рыжие возьмет. Много не даст, но на съем квартиры и неделю кормежки с хорошей выпивкой хватит.

— Хорошо, я согласен. Пойдем к дантисту.

— Тут пешком дойти можно. Но к зубодеру я один зайду. Он при незнакомце на сделку не пойдет.

— Ладно, только смотри, не будь слявкой. Я сам тебе за сделку процент дам хороший. Деньги мне все честно отдашь.

— Не обижай, я никогда не крысятничал.

Покрутившись по проходным дворам, Леха остановился перед аркой, ведущей в темный двор:

— Дальше тебе нельзя. Стой здесь, целее будешь. Я недолго.

Не прошло и пятнадцати минут, как Леха вывернулся из-под арки, благодушно улыбаясь, и протянул Гришке пачку денег! Тот, держа воровской форс, щедро отделил несколько ассигнаций и протянул посреднику:

— Хватит?

— Никаких претензий, премного вами благодарен. Так бы всегда фартило. Ты мне вещички чаще поставляй, а я их стану сбывать за небольшой процент. И мне хорошо, и у тебя лишних забот не будет.

— Ладно, об этом потом поговорить успеем. Веди напрямик к Няне.

До покосившегося домика на берегу Москвы-реки добрались на извозчике. Старуха подозрительно воззрилась на чернявого Гришку, но получив вперед деньги за жилье, смягчилась:

— Иди прямо по коридору в угловую комнату. Не сори там, табакком не дыми и девок срамных не

води. Я этого не люблю. Ну а насчет выпить, если без скандалу и мордобоя, то и я поучаствую.

Леха сразу заторопился:

— Ну все, я побежал. С полученными от тебя деньгами я сегодня кум королю и сват королеве. Завтра с утра забегу, потолкуем о деле. А ты пока отдыхай с дороги.

Гришка прошел в дальнюю комнату. Выглянув в окно, увидел узкую кромку берега и старую лодку: «Это удобно. В случае кипиша можно от сыскарей по реке сплавиться».

Затем, скинув сапоги, прилег на кровать поверх одеяла и тут же безмятежно заснул. Если бы он знал, куда напрямик направился от его нового пристанища Леха Косой, ему было бы не до сна.

... Леха стремительно вошел в кабинет сыщика Губина и хвастливо сообщил:

— Есть новости, гражданин начальник. В Москве появился Гришка Цыган — знатный «кдюквенник». Сельские церкви раньше грабил. Я его по Владимирскому централу знаю. До революции слухи ходили, что с церковью на хаты переключился. Но в 1918 году исчез, а сейчас вновь здесь появился. Я его срисовал, когда он только с «железки» сошел и в чайную закусить направился.

— Короче, Косой, давай ближе к делу. Где он сейчас?

— Я его к Няне отвел. Он у нее комнату на Бережках снял.

— Откуда приехал? Какие за ним дела, удалось вызнать?

— Я и заикаться не стал. У урок за такие вопросы языка лишиться можно. Только с собой у него рыжье было. Я помог ему сбить колечко обручальное. Там надпись внутри была: «Навеки благодарен судьбе».

— Романтические штучки из барской жизни. Кому загнали?

— Как всегда, дантисту Рубину на переплавку.

— Засветил барыгу перед Цыганом?

— Нет, только до проходного двора довел.

— Это правильно. Слушай, а он действительно цыган из табора?

— И близко не лежал. Сам чернявый, смуглый и нос с горбинкой. Вроде из казаков терских будет. Так какие будут указания?

— Сведешь его с Коляном Дутым. Слухи ходят, он новое крупное дело готовит. А после проведенных нами облав и арестов людей у него поубавилось. Посоветуешь Дутому этого Цыгана. Колян должен опытного уголовника приветить. Сам в банду глубоко не влезай, чтобы за решетку самому не угодить ненароком. Там мкрые дела готовятся. А с Гришкой Цыганом продолжай корешиться. Через него и о Коляне знать будешь многое. Все, иди теперь. Да и ко мне сюда реже ныряй. А если кто из уголовников заметит тебя у моего кабинета, скажешь, вызывали по подозрению в грабеже на Пречистенке. Там действительно накануне был гоп-стоп на седока в бобровой шубе: шум большой по городу идет. Ну все, держи меня в курсе дела.

— И все? Дай для подогрева Цыгана хоть немного на расходы. Мне с ним выпить надо. Я завтра с утра поведу его к Коляну.

— Денег я тебе дам немного, так что на кокаин не рассчитывай. Цена на него опять подскочила. Да еще советую сегодня к Коляну заглянуть, рассказать о залетном воре и спросить, можно ли того к нему привести. А то, не ровен час, он вас обоих на перо посадит, заподозрив ловушку. Понял? Вот, возьми деньги и будь поосторожнее: Колян Дутый после провалов настороже и нового человека в свое окружение может не принять.

Глядя вслед сексоту, Губин с тоской подумал: «Разве мог я, ученик художественного училища, тайно состоящий в партии эсеров, предположить, что тесно буду общаться с подобной человеческой мразью. А ведь тогда в Воронеже, участвуя по заданию комитета в нападении на банк, мечтал о свободе

для этого народа. Вот и захлебнулись в свободе, как в дерьме. Одни ноздри торчат, да и те скоро окончательно залепятся. Хорошо, что товарищи-большевики о моем прошлом не знают. Думают, что я из сочувствующих им студентов. Взяли меня в угрозыск и держат здесь как человека грамотного и умеющего бумагу толковые писать. Зато выходцы из гегемона смотрят в мою сторону недобро. Чужой я для них навсегда. Хоть сотню бандитов за решетку посажу. Ну ладно, еще посмотрим, на чьей улице праздник будет».

Губин вздохнул и достал из сейфа секретные материалы. Ему предстояло еще раз продумать план операции по аресту банды Дутого.

Леха, выйдя на улицу и ощущая радость от хрустящих в кармане денег, направился прямо в трактир, где часто бывал Дутый. Тот был на месте. Рассказ Косого о возвращении в Москву известного в прошлом вора его явно заинтересовал. Узнав все детали встречи Лехи с Цыганом, уточнил:

— Значит, фартовый на мели, если начал с продажи буржуйского колечка. Это хорошо. Мне для дела нужны рискованные люди. Так, значит, он просил его со мной свести?

— Ты что, Дутый! Он пока и не подозревает, что ты на свете живешь и в знатных московских жиганах числишься. Я же говорю, он только с бана вышел и в чайной приземлился. Откуда ему о тебе знать.

— И с ходу попросил первого встречного свести его с фартовыми людьми?

— Ничего он не просил, я сам ему предложил.

— С чего бы это?

— Да в дольщики мечу. Я его в дело, а он мне процент отвалит. Так я могу его сюда привести?

— В этом нет надобности. Я его сам навешу у Няни. Адресок этот знаю. А ты пообщайся с ним потеснее. Если заметишь за ним что-нибудь тухлое, тут же мне звякни. Услугу оплачу.



— Слушай, Дутый. Я на мели. А мне с этим залетным гульнуть надо знатно. За водочкой и закуской он мне все откровенно выложит.

— Ну ты и шакал, Леха. Ладно, возьми в счет будущих доходов. Потом, после дела, я из твоей доли вычту.

Получив, деньги, Леха выскочил на улицу: «Мне подфартило. С появлением в городе Цыгана денежки буду доить и с сыскарей, и со своих, блатных. Только бы не заиграться, а то не сносить головы между молотом и наковальней».

Но о плохом думать не хотелось, и Косой отправился в магазин за водкой и колбасой. Жизнь в этот момент ему казалось вполне удавшейся: «Эх, пить будем и гулять будем, а смерть придет — помирать будем».

Леха уже давно привык жить одним днем, не думая о будущем.

* * *

Услышав вкрадчивый условный дробный стук в окошко, Няня поспешила впустить незваных гостей. Увидев на пороге Коляна Дутого с приятелем Зубом, истово, в испуге, перекрестилась. Дутый тихо спросил:

— Где постоялец?

— Там, в угловой комнате. Проходи, только не грязните мне там. Вчера полы мыла.

— Не волнуйся, если надобность возникнет кровь пускать, то на берег твоего жилья выведем, к реке. Благо тут все под боком.

Увидев внезапно появившихся в комнате людей, Гришка понял, что не успеет схватить лежащий на столе нож, и медленно присел на кровати, не делая резких движений. Колян по-хозяйски подвинул к себе стул и присел, широко расставив ноги в начищенных до блеска ботинках. Его охранник Зуб остался

стоять, готовый по первому сигналу наброситься на застигнутого враг-сплох постояльца. Некоторое время Дутый и Цыган смотрели неподвижно друг другу в глаза. Наконец, посчитав, что приезжий вор выдержал экзамен на прочность, Дутый, криво усмехнувшись, произнес:

— Ну, хватит в гляделки играть.

Леха Косой сказал, что вчера тебя в чайной возле бана встретил. Откуда прибыл?

— Где был, там уже нет. У меня память короткая, подзабыл малость.

— Леха толковал, что ты «кдюквенником» промышлял.

— Так это один раз и было, в молодости. «Шука» опытная меня сразу и прихватила.

— Я тут успел вывернуть тебя на лицо. Знают тебя опытные сидельцы. Слухи ходят, что ты и квартиры подламывал знатно.

— Так кто же меня на этом ловил?

— Ты со мной не темни. Я Коля Дутый. Слыхал?

— Нет, в газетах же о тебе не писали.

— Бог пока миновал. Леха сказал, что ты верных людей для дела ищешь. Мы проверили: балана на хвосте ты не приволок. Берлога у тебя надежная. А как с биркой?

— Ты прав, документов нет.

— Ну, это мы выправим. Ты, кстати, не на «лимоне»?

— Нет, я не в розыске. Мусора о моем существовании пока и не догадываются.

— Ну что же, ты нам подходишь. Только гады лютуют в последнее время, научились работать. Потому без проверки на крупное дело тебя не возьмем. Лады?

— А куда мне теперь деваться, когда ты передо мной засветился? Да еще этого амбала с собой приволок по мою душу.

— На Зуба не обращай внимания. Он без моего приказа, как сторо-

жевой пес, никого и пальцем не тронет. Добрейший малый. Когда-то в цирке греко-римской борьбой на жизнь зарабатывал. Пока ему конкуренты важную жилу на правой грабке в уличной драке ножом не перерубили. Ну, хватит зря балабонить. Раз на проверку согласен, то давай собирайся, пойдём прямо сейчас. Я дело наметил фартовое через пару дней. Темных для меня людей туда не возьму. Да и деньги нужны немалые на подготовку: не менее трех подвод с лошадьми купить надо. Иначе товар не вывезти. Так что не обессудь. На «мокруху» сейчас идти надо. Заодно и себя проявишь.

Гришка встревожился: «Похоже, я здорово влип. Но делать нечего. На первых порах, прежде чем дорогой камушек сбыть, надо в городе осмотреться, чтобы не кинули меня, как последнего фраера. Так что пока завяжусь на делах этого Дутого. Судя по всему, вор серьезный, фуфло не гонит. А там видно будет».

Гришка натянул на голову картуз и уже направился к двери. Но его остановил Дутый:

— Ножичек-то с наборной рукояткой на столе не оставляй. Он тебе сегодня наверняка пригодится. Я же тебя не «вертануть угол» на вокзал приглашаю. Кражей чемодана у зазевавшегося пассажира доверия у меня не добьешься. Пока в доску человека не загонишь, дел совместных не будет. Ну так идешь?

Взглянув на могучую фигуру Зуба, Гришка засунул нож поглубже за голенище сапога и отправился вслед за своими новыми поделщиками. Он не видел, как, закрывая за ними дверь, хозяйка украдкой их перекрестила: старуха не желала быстро терять выгодного постояльца, рассчитывая в будущем на дополнительное вознаграждение.

Продолжение следует.

Владимир ГРИПАК

*Владимир Грипак
родился в 1945 году в Киеве.
Жил в Харькове, где и окончил
Политехнический институт.
С 1988 года живет в Москве.
Публиковался в «Литературной
газете», журнале «Юность», автор
сценариев для радиопостановок
на «Радио-1» (передача
«С добрым утром!»), «Маяк».*



СЧАСТЛИВОГО ПУТИ

Все. П посадка закончена. В путь!

Надо сказать, сразу же воцарилась какая-то гнетущая напряженность. Пассажиры затравленно оглядывали друг друга.

Тем временем мы взмывали все выше и выше.

— Паспорта у всех при себе? — неожиданно деловито осведомился старичок с рюкзаком.

— При чем здесь паспорта?! — почуввав подвох, взвизгнула дородная дама. — Паникер старый!

Она недружелюбно зыркнула на старичка.

— А вы что, в первый раз?

— Нет, действительно, — пробасил мужчина в ковбойской шляпе, — зачем паспорта?

— Для идентификации.

Старик был невозмутим и уверен в себе.

— Типун вам на язык! — взорвалась дама.

Где-то заплакал ребенок.

— Ну-ка придвиньте ко мне поближе этого эксперта, — прорычал кто-то из глубины. — Ему для идентификации и пять паспортов с пенсионным удостоверением не помогут!

— Смотря с какой высоты падать, — философски вмешался в разговор

парень в шортах и бейсболке. — Можно так шарахнуться, что и от паспортов одна пыль останется, — закончил он свой убийственный пассаж.

— Господи, не остави мя, помилуй, спаси и сохрани, — запричитал кто-то, как из преисподней.

— Прекратить нагнетать сейчас же! — пожелал взять ситуацию под контроль басистый ковбой, но голос его сорвался на фальцет.

Между тем совсем не к месту что-то закрипело, застучало. Воцарилась гробовая тишина,

«Черт, что это так дребезжит и лязгает?» — подумал я.

— Это в голове у вас дребезжит и лязгает! — зло процедила старуха напротив.

Вот тебе и на! Оказывается, я не подумал, а вслух произнес! Что-то новенькое...

— Пешком идти надо было! Там бы вам и не дребезжало и не лязгало, — горячо поддержали шипящую бабушку.

— Ох какие мы остроумные, — огорчился я.

— Да не обращайтесь внимания, — дружелюбно обратился ко мне парень азиатской внешности в оранже-

вой жилетке. — Это экстренный секс, наверное, однако.

— Да ты сам, братишка, телепат, что ли? — спросил я его.

Но в ответ — тишина.

Погас свет. И начался настоящий кошмар.

Все пришло в движение, в выражениях уже никто не стеснялся, даже кто-то богобоязненный.

На меня откуда-то сверху свалилось что-то похожее на сумку.

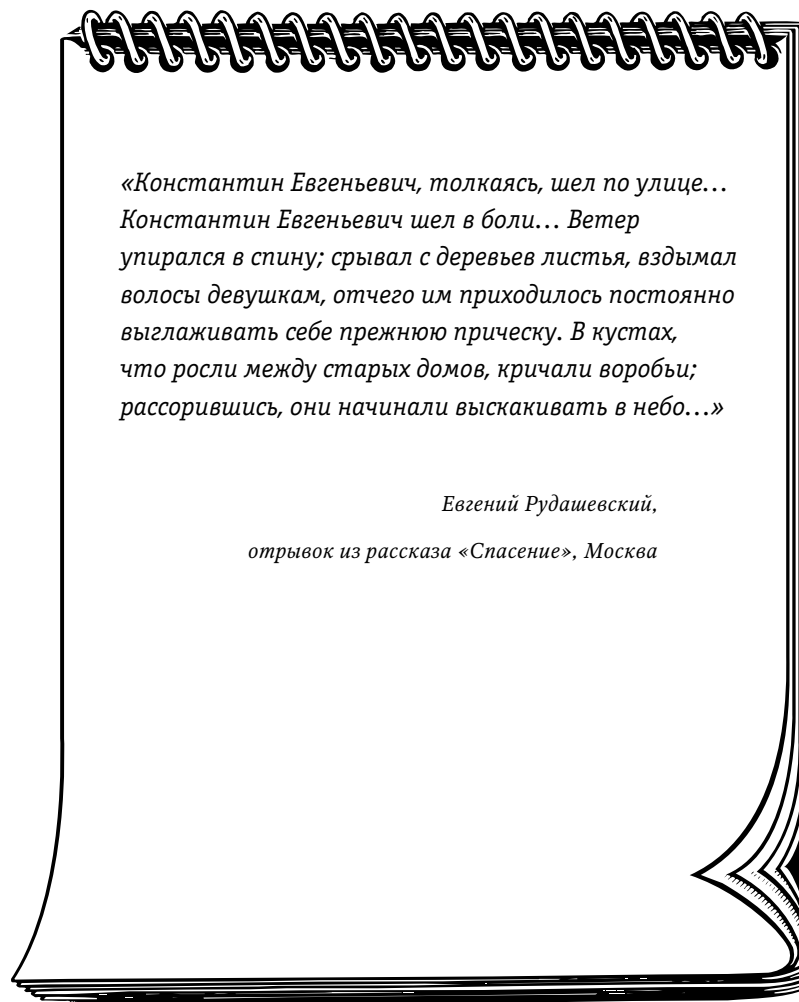
— Господи, не остави мя, спаси и сохрани, — опять послышалось, как из подземелья.

Но вот и спасительная остановка. Двери открываются. На лестничной площадке вся семья. Цветы, дети скачут с надувными шариками, жена в слезах, но счастливая. Папка добрался-таки до дому! Чувствительный мужик, работая локтями и всем корпусом, победителем никак в космос слетал, протискивался на спасительный этаж. Оставшиеся с нескрываемой завистью смотрели ему вслед.

Но хуже всех чувствовал себя я, потому что проскочил в этом хаосе свой этаж...

Да и встречать меня так, как этого космонавта, некому.

Галка ГАЛКИНА



*«Константин Евгеньевич, толкаясь, шел по улице...
Константин Евгеньевич шел в боли... Ветер
упирался в спину; срывал с деревьев листья, вздымал
волосы девушкам, отчего им приходилось постоянно
выглаживать себе прежнюю прическу. В кустах,
что росли между старых домов, кричали воробьи;
рассорившись, они начинали выскакивать в небо...»*

*Евгений Рудашевский,
отрывок из рассказа «Спасение», Москва*

Галка ГАЛКИНА:

Евгений, Ваш Константин Евгеньевич похож на героя сказки Лии Гераскиной «В стране невыученных уроков». Помните, там был такой персонаж — «полтора землекопа»? Трагический, в общем, персонаж. Надо бы и Вам, Евгений, что-то срочно делать с Вашим Константином Евгеньевичем, а не то он так и будет всю жизнь маяться — идти, «толкаясь... в боли». Да и девушек по большому счету тоже жалко. Это ж какие такие прически у них, чтобы «ветер их вздымал», как солону или словно экскаватор свой железный ковш? Надо срочно их всех либо подстричь наголо, чтобы эти прически им не упали на голову, либо укоротить стихию, которая упирается в спину, что ружье. Это тоже не порядок.

Ну а воробьи? Воробьи ведут себя крайне вызывающе, выскакивая в небо, словно петарды или ракеты ближнего радиуса действия.

С другой стороны, если стиль Вашего произведения продиктован жанром, скажем, Вы написали триллер или хоррор, то все сразу встает на свои места. Константин Евгеничу остается только почувствовать. Впереди его ждут испытания. Причем такие, что толкотня на улице, девушки с копной соломой на голове и воробьи, сигающие петардами в небо, покажутся цветочками.

Спасать надо Константин Евгенича!

ФАЗА МЕСЯЦА:

К чему мы шли то?!



Июльские преамбулы

- ☺ *От жары дохнут и комары!*
- ☺ *В такую жару станешь и кенгуру!*
- ☺ *В жару держи кегельбан в чистотеле!*
- ☺ *С лопухом и крапивой будешь счастливой!*
- ☺ *Разлюбил тебя милой — прогони его метлой!*
- ☺ *От «жуков» и «ё-мобилей» помогает баскервилей!*
- ☺ *Ё-мобиль ты, ё-мобиль, вставить шкворень — и в утиль!*
- ☺ *Прохор сел на ё-мобиль, откупорил ё-бутыль!*
- ☺ *Если вор пришел во власть, в эйфорию можно впасть!*
- ☺ *Ты с намеком не пиши, оточи карандаши!*

Августовские постскриптумы

- ☼ *Разбил копилку, выписал «Мурзилку»!*
- ☼ *Лето близится к концу, ешь грибочки и мацу!*
- ☼ *Август близится к развязке, собирай деревья в связки!*
- ☼ *Солнце село на Аляске, хороши такие встряски!*
- ☼ *Солнце село за Кремлем, снова выпьем и нальем!*
- ☼ *Солнце ближе к Мавзолею, подливай смелей елею!*
- ☼ *Если солнце не садится, то пора и протрезвиться!*
- ☼ *Если в дом залез медведь, то пора и протрезветь!*
- ☼ *Если белочка в окошке, съешь ватрушку и крошки!*
- ☼ *Ой Дубай ты, мой Дубай, водка, девки и гуд бай!*

© Фото Игоря МИХАЙЛОВА



**SMS'КА, ОТПРАВЛЕННАЯ ПРОХОРУ:
Чу!**

БЛАНК-ЗАКАЗ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «ЮНОСТЬ» ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

- Да, я подписываюсь на 6 номеров журнала «Юность» – 1000 руб.
- Да, я подписываюсь на 12 номеров журнала «Юность» – 1900 руб.

Мой адрес:

Индекс:	Республика
Район	
Город / село	
Улица	Дом Квартира
Фамилия, Имя, Отчество подписчика:	
Телефон:	

Извещение	Получатель платежа: НП «Редакция журнала Юность»		
	Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва		
	ИНН: 7710047052 КПП: 771001001		
	Расчетный счет № 40703810138040100906		
	ОАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК 044525225		
	Корр. Счёт: 30101810400000000225		
	Ф.И.О. и адрес плательщика		
	Вид платежа:	Дата	Сумма
	Подписка на журнал «Юность»		
	Плательщик:		
Квитанция	Получатель платежа: НП «Редакция журнала Юность»		
	Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва		
	ИНН: 7710047052 КПП: 771001001		
	Расчетный счет № 40703810138040100906		
	ОАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК 044525225		
	Корр. Счёт: 30101810400000000225		
	Ф.И.О. и адрес плательщика		
	Вид платежа:	Дата	Сумма
	Подписка на журнал «Юность»		
	Плательщик:		